

Е. В. Рахилина

**КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН:**

СЕМАНТИКА И СОЧЕТАЕМОСТЬ

**Москва
«Русские словари»
2008**

Рахилина Е. В.

Р27 Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. — М.: Русские словари, 2008. — 416 с.

ISBN ****

Эта книга — о том, что носитель русского языка думает о простых, конкретных предметах (таких, как чашка, дерево, море), когда говорит о них. Объяснение языкового поведения (прежде всего лексической сочетаемости) русских предметных имен опирается на понятие “языкового образа объекта”; одновременно воссоздается языковое представление о размере, цвете, форме, ориентации объектов в пространстве и др. Обсуждаются возможности когнитивного подхода к описанию семантики естественного языка.

Книга рассчитана прежде всего на филологов, но также и на преподавателей русского языка, в том числе и как иностранного.

ББК 81

Предисловие автора ко второму изданию

В первом издании эта книга вышла 7 лет назад — весной 2001 года — и весь ее тираж разошелся через четыре месяца. До сих пор я получаю отклики на эту книгу; опубликованы две рецензии на нее [1–2] — я пользуюсь случаем поблагодарить своих внимательных и благожелательных рецензентов. Между тем, для меня как для лингвиста с тех пор прошло много времени: я успела поработать над семантикой посессивных [3–4] и генитивных [5–9] конструкций, включая генитив с отрицанием [10], над русскими глаголами способа движения [11–16], открыла для себя проблематику лексической типологии [17–21], пробовала заниматься многозначностью качественных прилагательных, всерьез увлеклась теорией Ч. Филлмора Construction Grammar [22] и чуть не написала учебник по когнитивной лингвистике. С тех пор произошло множество интересных конференций (см., например, [23–26]), встреч, прочитаны новые курсы, появились новые соавторы — и вообще жизнь изменилась.

Но главное в том, что тогда моим основным инструментом и помощником была база данных «Лексикограф», теперь же появился Национальный корпус русского языка, а с ним — и опыт работы с этим новым лингвистическим ресурсом. Так что если бы я писала эту книгу сегодня, она оказалась бы гораздо толще и внушительнее: в ней было бы много примеров из настоящих русских текстов, да и, наверное, кое-что из моих утверждений под их давлением пришлось бы подправить. В каком-то смысле книга тогда стала бы совсем другой — но мне этого не хочется: в конце концов, хотя сегодня в это трудно поверить, и правда было время, когда у русистов не было Корпуса, но результаты, которые были получены в тот период, вовсе не обязательно хуже нынешних — просто добыты более тяжелым и долгим трудом. Ко многим своим идеям, высказанным тогда, я возвращаюсь снова и снова [27–31], кое-что «оживает» в работах моих учеников. Тем временем, старая книга осталась у меня в одном-единственном экземпляре, а мне хотелось бы подарить ее новым друзьям и новым

студентам. Поэтому я благодарна Л. А. Григоровичу и другим сотрудникам издательства «Азбуковник», которое взяло на себя труд выпустить ее снова в дополненном и исправленном виде, а также старым друзьям, которые меня уговорили на это согласиться. Особая благодарность — Аркадию Магамбетову, внимательно и профессионально сделавшему новую верстку и указатели, с учетом всех исправлений и дополнений. Обложка тоже новая, но художник старый — моя дочь Надя Плунгян.

Август 2008

Е. В. Рахилина

1. L. Janda, G. Rubinstein. — Cognitive Linguistics, 15.3, 2004, 397–428.
2. P. Kosta — Russian Linguistics, 29.3, 2005, 403–407.
3. Е. В. Рахилина. Показатели посессивности и их функции в русском языке // Исследования по языкознанию. СПб.: СПбГУ, 2001, 197–207.
4. E. Rakhilina, D. Weiss. Forgetting one's roots: Slavic and Non-Slavic elements in possessive constructions of modern Russian // STUF, 2002, 55.2, 173–205, spec. issue «Possession: Focus on the languages of Europe».
5. E. Rakhilina. Russian genitive constructions with *nomina agentis*: towards a unified semantic description // P. Kosta et al. (eds.). Investigations into formal Slavic linguistics, Pt. II. Frankfurt: Lang, 2003, 849–858.
6. E. Rakhilina. The case for Russian Genitive case reopened // W. Browne et al. (eds.). Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Amherst meeting 2002. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2003, 433–450.
7. E. Rakhilina. On genitive and 'stability': evidence from Russian // Ji-yung Kim, Yury A. Lander and Barbara H. Partee (eds.). Possessives and beyond: Semantics and syntax. (UMOP 29) Amherst (Mass.): GLSA, 2004, 45–58.
8. Е. В. Рахилина, Ли Су-Хён. Количественные квантификаторы в русском и корейском: *моря* и *капли* // Н. Д. Арутюнова (ред.). Квантификативный аспект языка. М.: Индрик, 2005, 425–439.
9. Е. В. Рахилина. Контейнер и содержимое в русском языке: наивная топология // О. А. Сулейманова (ред.). Языковые значения. Методы исследования и принципы описания (памяти О. Н. Селиверстовой). М.: МГПУ, 2004, с. 233–257.
10. А. Б. Летучий, Е. В. Рахилина, Т. В. Резникова (ред.). Объектный генитив при отрицании в русском языке. М.: Пробел, 2008.
11. Е. В. Рахилина. О семантической структуре глагола *лезть* // М. Гиро-Вебер, И. Б. Шатуновский (ред.). Русский язык: пересекая границы. Дубна: Межд. ун-т «Дубна», 2001, 171–177.
12. Е. В. Рахилина. О природе бесконечного движения: «качаться» // Prace filologiczne, t. XLVI. Warszawa, 2001, 493–502.
13. Е. В. Рахилина, М. Копчевская-Тамм. Почему глагол *лезть* так трудно перевести на русский язык? // P. Ambrosiani et al. (eds.), *Explorare necesse est*. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2002, 133–147.

14. Е.В. Рахилина. *Мы едем, едем, едем...* // В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева (сост.). Языки мира. Типология. Уралистика. Памяти Т. Ждановой. М.: Индрик, 2002, 395–402.
15. Е.В. Рахилина. *Ползти*: путь к хаосу // Н.Д. Арутюнова (ред.). Космос и хаос. М.: Индрик, 2003, 415–430.
16. Е.В. Рахилина, И.И. Макеева. Семантика русского *плыть* ~ *плавать*: синхрония и диахрония // Ю.Д. Апресян (ред.). Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. Сб. ст. в честь Н.Д. Арутюновой М.: ЯСК, 2004, 176–186.
17. Е.В. Рахилина, М. Лемменс. Русистика и типология: лексическая семантика глаголов со значением ‘сидеть’ в русском и нидерландском // *Russian Linguistics*, 2003, 27.3, 313–328.
18. Е.В. Рахилина, И.А. Прокофьева. Родственные языки как объект лексической типологии: русские и польские глаголы вращения // *Вопросы языкознания*, 2004, N 1, 60–78.
19. Е.В. Рахилина, И.А. Прокофьева. Русские и польские глаголы колебательно-го движения: семантика и типология // В.Н. Топоров (ред.). Язык. Личность. Текст. Сб. к 70-летию Т.М. Николаевой. М.: ЯСК, 2005, 304–314.
20. Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина (ред.). Глаголы движения в воде: лексическая типология. М.: Индрик, 2007.
21. А.А. Бонч-Осмоловская, Е.В. Рахилина, Т.И. Резникова. Глаголы боли в свете грамматики конструкций // *НТИ*, сер. 2, 2008, № 4.
22. Г.И. Кустова, Е.В. Рахилина (ред.). Грамматика конструкций Ч. Филлмора в приложении к описанию русских конструкций // *НТИ* сер. 2., 2007, N 4.
23. Е.В. Рахилина. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // *Изв. РАН, СЛЯ*, 2000, 59.3, 3–15.
24. Е.В. Рахилина. VII Международная конференция по когнитивной лингвистике (обзор) // *Вестник РГНФ* 2001, N 4, 162–167.
25. Е.В. Рахилина. IX Международная конференция по когнитивной лингвистике (обзор) // *НТИ*. Сер.2, 2005, N 12.
26. Е.В. Рахилина. X Международная конференция по когнитивной лингвистике // *Вопросы языкознания*, 2008, N 2.
27. Г.И. Кустова, Е.В. Рахилина. О nazwach barw *зелёный* i *жёлтый* w języku rosyjskim // R. Grzegorzczkova, K. Waszakowa (red.). *Studia z semantyki porównawczej*, cz. II. Warszawa: UW, 2003, 23–36.
28. Е.В. Рахилина. O znaczeniach przenośnych przymiotników wymiaru // R. Grzegorzczkova, K. Waszakowa (red.). *Studia z semantyki porównawczej*, cz. II. Warszawa: UW, 2003, 201–214.
29. Е.В. Рахилина. Семантика прилагательных цвета: сочетаемостный подход // А.П. Василевич (ред.). Проблемы цвета в этнолингвистике, истории и психологии (мат-лы круглого стола). М.: ИЯЗ РАН, 2004, 44–47.
30. E. Rakhilina. Linguistic construal of colors: the case of Russian // R.M. MacLaury, G.V. Paramei, D. Dedrick (eds.). *Anthropology of Color*. Amsterdam: Benjamins, 2007, 363–379.
31. В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина. *Приземлиться* и *промахнуться*: семантические механизмы синтаксических ограничений // *Восток – Запад: Вторая международная конференция по модели «Смысл ⇔ Текст»*. М.: ЯСК, 2005, 374–382.

Предисловие к первому изданию

Эта книга — о том, что сочетаемость предметных имен не случайна и не свободна, но и не идиоматична: она отражает некоторые их существенные, глубинные характеристики, связанные с образами конкретных объектов в естественном языке (такие, как размер, форма, цвет и др.). Такие характеристики имен могут быть названы — и обычно называются в работе — *семантическими*, но, кроме того, и *когнитивными*, потому что они часто не умещаются в рамки традиционной семантики. Обычно семантику интересует правильное употребление и правильное понимание именных конструкций — эта задача в книге ставится и, по мере возможности, решается, в продолжение традиций Московской семантической школы и школы «логического анализа языка». Но помимо этого интересен и сам способ представления носителем языка окружающей его действительности, т. е. то, как человек думает, когда говорит об объектах внешнего мира. Так обычно формулируют свою главную цель представители когнитивного направления в лингвистике, поэтому в книге используется и такой термин.

С достаточной степенью условности книга разделена на пять глав, а кроме того содержит Введение, Заключение, Приложение и необходимые указатели. Эти пять глав и их последующее подразделение призваны структурировать довольно большой фактический материал, собранный мной за последние несколько лет. Это анализ множества типов русских конструкций, содержащих такие простые, обыденные слова как *стол*, *рука*, *гора*, *вода* и т. п., и описывающих их части, число, таксономию, размер, форму, цвет, температуру, ориентацию в пространстве, состояние покоя, движения и др. Главы объединяют эти конструкции в более или менее однородные группы: например, Глава II описывает атрибутивные конструкции с предметными именами, Глава III — пространственные конструкции, Глава IV — глагольные, и т. д. Конечно, здесь мне важен не столько конкретный способ организации материала и не полнота этого материала, сколько его разнообразие и, тем самым, многообразие тех свойств, которые мы,

как носители русского языка, подразумеваем, употребляя предметные имена.

При разделах даются ссылки на первые публикации (в книгу они вошли, как правило, значительно переработанными). Несколько работ было опубликовано в соавторстве: так, в основу § 2 Главы I была положена статья в соавторстве с М. И. Воронцовой, § 2 Главы III — статья в соавторстве с В. И. Подлесской; отмечу также, что § 1 Главы V является радикально переработанным фрагментом совместной статьи с Н. В. Городковой, а материал § 6 Главы II был затем включен в статью Копчевская, Рахилина 1999. Всем своим соавторам я приношу искреннюю благодарность за их вклад в решение стоявших перед мной задач и за разрешение включить полученные совместно результаты в мою книгу.

Отдельного упоминания — и отдельной благодарности — заслуживает И. С. Красильщик как создатель программного обеспечения базы данных «Лексикограф. Предметные имена». Эта база данных (идея которой была сразу поддержана фондом «Культурная инициатива») строилась как автоматический словарь по русской предметной лексике, способный предоставлять пользователю тематические списки лексем по заданным признакам и затем вошла в более общий проект, включающий глагольную лексику и наречия (под руководством Е. В. Падучевой). Краткое описание лингвистической части базы «Лексикограф. Предметные имена» содержится в статье Красильщик, Рахилина 1992 (о базе в целом см. также Кустова, Падучева 1993).

База данных служила мне главным инструментом работы и давала материал для всех лингвистических исследований. Она позволила работать не с отдельно взятыми именами, а с группами похожих по своему языковому поведению имен. Выяснилось, однако, что сходство такие группы лучше всего демонстрируют в рамках небольшого фрагмента языка, т. е. одной или нескольких семантически близких конструкций. Другие конструкции требуют другого разбиения имен на группы, поэтому для решения моей задачи и потребовался такой обширный и разнородный материал, представляющий целый набор именных классификаций.

Практически все разделы этой книги обсуждались на лингвистических семинарах (прежде всего, на семинарах Института языкознания РАН, Института проблем передачи информации РАН) и на различных конференциях. Я пользуюсь случаем поблагодарить

руководителей семинаров, Нину Давидовну Арутюнову и Юрия Дерениковича Апресяна, и всех участников дискуссий, а также всех тех, кто читал рукопись в первоначальной редакции и помогал ее совершенствованию: А. Е. Кибрика, Е. С. Кубрякову, Г. И. Кустову, Т. М. Николаеву, И. Б. Шатуновского, А. Д. Шмелева и всех, кто читал и обсуждал предварительные фрагменты этой работы, в их числе В. М. Алпатов, В. Б. Борщева, Т. В. Булыгину, Д. Вайса, А. А. Кибрика, Х. Р. Мелига, Е. В. Падучеву, Д. Пайара, Б. Парти, О. Н. Селиверстову, В. А. Успенского, М. В. Филипенко, М. Е. Фрид, Р. М. Фрумкин. Фрагменты моего исследования, посвященные прилагательным размера и цвета, неоднократно обсуждались на конференциях и рабочих встречах в рамках проекта по контрастивной лексикологии под эгидой Польской академии наук. Я искренне благодарю руководителей проекта, проф. Ренату Гжегорчикову и всех его участников, в особенности К. Вашакону, Я. Линде-Усекневич, В. Труба, Г. Яворскую за доброжелательный интерес к моей работе и незабываемую атмосферу этих встреч.

Для исполнения такого большого проекта необходимы сразу две составляющие: сначала — вдохновение, а потом — кропотливая, часто техническая, работа по редактированию и сверке окончательного варианта рукописи. Вдохновлял, поддерживал меня, давал неоценимые советы и не давал пасть духом мой муж, В. А. Плунгян. Вместе с ним написаны три статьи (ставшие основой для § 4 Главы I, Экскурса к § 6 Главы I и § 3 Главы III). И он же великодушно и терпеливо помогал мне готовить рукопись к печати. Эта книга не была бы написана без его участия.

Я благодарю также нашу старшую дочь, Надю Плунгян, которая выполнила все иллюстрации и схемы, приведенные в книге.

Моя исследовательская работа на разных этапах поддерживалась научными фондами: на начальной стадии — фондом RSS Института Открытое общество (грант 49\94), затем Российским гуманитарным научным фондом (грант 97-04-06-380), а собственно создание книги стало частью более обширного проекта под руководством А. Спенсера и Е. В. Падучевой, поддержанного фондом INTAS (грант 96-0085). Я благодарю также Фонд Веннер-Грена (Wenner-Gren Foundations), предоставивший мне возможность в течение трех месяцев в 1997 г. работать на славянской кафедре Стокгольмского университета, и заведующую кафедрой проф. Барбро Нильссон за создание идеальных условий для работы.

Средства на издание этой книги выделил Российский фонд фундаментальных исследований по издательскому гранту 00-06-87061 (полученному через Институт русского языка РАН; за помощь в этой сложной процедуре я благодарю дирекцию Института, и особенно ученого секретаря В. А. Пыхова). Но в наше время никакие издательские гранты не покрывают усилий, которые требуются от издателей. За эти сверх-усилия, с любовью вложенные в издание моей книги, — моя благодарность директору издательства «Русские словари» Е. А. Гришиной.

ВВЕДЕНИЕ

В самом названии этого исследования соединены его объект (русские предметные имена) и его метод (описание сочетаемостных характеристик имен). Главная идея работы состоит в том, что сочетаемостные характеристики имен дают возможность восстановить некоторые — мы назвали их когнитивными — аспекты именной семантики.

Начнем с метода.

§ 1. Семантика и сочетаемость. Когнитивный аспект

1. О природе сочетаемости

Как известно, идея сочетаемости имела в лингвистической теории сложную судьбу, и отношение лингвистов к этому понятию (в частности, готовность считать его релевантным для описания смысла слов) существенно менялось. Ведь даже сам термин «сочетаемость» предполагает, что это свойство языковой единицы никак не связано с ее значением: отдельно существует языковая единица с ее означаемым и означающим — и отдельно существует способность этой языковой единицы взаимодействовать с тем или иным контекстом. Например, И. А. Мельчук предлагал для отражения этой немотивированной способности ввести особую зону описания — *синтактику*. В синтактику, по мнению И. А. Мельчука, может попадать самая разная информация о сочетаемости — от грамматической (например, сведения о типе склонения) до лексической — так называемые лексические функции слова, т. е. свойственные данному языку, в отличие от других, контексты употребления, представленные в виде определенной классификации. Ср. пример из Мельчук 1997: 114: по-русски говорят *бурные аплодисменты*, а по-французски *applaudissements nourris*, букв. ‘насыщенные’; см. также Иорданская, Мельчук 2007. Более традиционным для лингвистики способом зафиксировать «конвенциональные» употребления отдельных слов в языке является словарь сочетаемости (а не обычный толковый), представляющий объемные и разнообразные списки приемлемых сочетаний. Если говорить о лексической сочетаемости, то за пределами синтактики остаются знаменитые *Бес-*

цветные зеленые идеи яростно спят, по традиции выставляемые за дверь лингвистического описания как «с языковой точки зрения безупречные» (Мельчук 1997: 116), ввиду того, что семантические правила, определяющие сочетаемость в этой фразе, не являются специфичными для какого-то конкретного языка (ср. Мельчук 1997: 114).

Надо признать, что тот ход рассуждений о природе сочетаемости, которого придерживается И. А. Мельчук, в целом (если отвлечься от конкретной терминологии, принятой в его модели), имеет в лингвистике достаточное число сторонников, хотя и вызывает определенные сомнения.

Сомнение первое. Все-таки, фраза *Бесцветные зеленые идеи яростно спят* с языковой точки зрения не безупречна. Сочетаемость в ней нарушена: в частности, нельзя сказать **яростно спят* уже потому, что *яростно* требует агентивного предиката. Этот предикат, кроме того, должен иметь адресат или хотя бы объект: ведь ярость — это эмоция, на кого-то направленная, ср.: *яростно кричать*, *яростно возражать*, *яростно колотить кулаком по столу* и под. Напротив, *спать* — предикат стативный, безобъектный и безадресатный. Такого рода рассуждения являются вполне законным *лингвистическим* объяснением того, почему сочетание **яростно спать* в русском языке аномально. Так ли важно, что это рассуждение может быть воспроизведено и применительно к французскому, английскому и многим другим языкам? И, кстати, верно ли, что не существует языка, в котором сочетание, близкое по смыслу к *яростно спать*, допустимо?

Этот вопрос внушает **сомнение второе**. Действительно, поскольку до сих пор лексической типологии как науки не существует, никто не проверял степень специфичности всех сочетаний в данном конкретном языке. Некоторые вещи очевидны — типа только что упоминавшихся *бурных аплодисментов*, но никому не придет в голову включать во фразеологический словарь (или в число лексических функций) сочетания со значением ‘горячая вода’ или ‘широкая улица’, потому что кажется, что эти сочетания являются «естественными», т. е. мотивированными внеязыковым устройством мира. Между тем, в китайском языке, например, так же, как и в русском, существует ‘широкая улица’, но невозможны (приемлемые с точки зрения русского) ‘широкая щель’ или ‘широкое поле’ (примеры Тань Аошун). По-шведски в значении русского *горячая вода* скорее употребят сочетание, соответствующее ‘теплая вода’, и вместо *горячий чай* тоже скажут ‘теплый’ (*varm*), — в точности, как вместо русского *бур-*

ные *аплодисменты* французы говорят ‘насыщенные’. Значит ли это, что и такого рода сочетания, раз они оказываются специфичны для конкретного языка, должны попасть, в терминологию И. А. Мельчука, в лексические функции? Конечно, нет: ведь в синтактику попадает только то, что **необъяснимо** с точки зрения означаемого и означающего, а описание *горячий* или *высокий* в каждом из этих языков, как выясняется, позволяет предсказать эти и подобные им запреты (подробнее см. Главу II).

Но тут возникает **сомнение третье**: а что если семантический анализ слова *бурный*, с одной стороны, и семантический анализ слова *pourris*, с другой, позволит объяснить, почему они сочетаются со словом *аплодисменты* в русском и со словом *applaudissements* во французском (ср. обсуждение семантического основания для метафорических переносов прилагательных температуры в русском и шведском языках в § 6 Главы II)? Конечно, по-русски нельзя сказать **дать крик* (как по-испански) или **звать крик* (как по-вьетнамски) в значении русского *издать крик* (Мельчук 1997: 116). Но, с другой стороны, никто не сказал, что русское *дать* идентично испанскому *dar*, а русское *звать* — его вьетнамскому эквиваленту, да и слово *крик* во всех этих языках может иметь нетождественное значение. Поэтому в принципе, такого рода «сочетаемостные разногласия» могут оказаться и объяснимыми. Существенно, что сам способ объяснения, хотя и касается отдельного конкретного языка, в общем, не отличается от того, который применим к объяснению запретов, действующих одновременно во многих языках — типа **яростно спать*.

Современная семантика вообще, скорее, склонна искать объяснения. И постепенно в ней начинает преобладать точка зрения, согласно которой сочетаемостные характеристики не существуют сами по себе: они (по крайней мере, большинство из них) мотивированы содержательными, т. е. семантическими свойствами. В явном виде эту концепцию сочетаемости наиболее ярко изложила в своих работах А. Вежбицкая (см. прежде всего Wierzbicka 1985; 1988). По ее мнению, сочетаемость объяснима и подчиняется сложным, но, вообще говоря, вычислимым правилам, прежде всего семантическим. В работах А. Вежбицкой приводятся многочисленные примеры того, как в разных зонах языка, на разных уровнях (морфологическом, лексическом, синтаксическом) можно осуществлять эту «объяснительную» стратегию. Например, толкование (т. е. семантическое описание) творительного падежа в русском объясняет, почему невозможно сочета-

ние **прыгнуть окном*, но возможно *идти своей дорогой* (Wierzbicka 1980b)¹, толкование конструкции с дательным падежом объясняет, почему по-польски нельзя сказать **‘оторвать ему пуговицу’* (а по-русски можно, см. Wierzbicka 1988), толкование числовых значений — и соответствующих существительных — объясняет языковой запрет на сочетание **есть репы* и «разрешение» на сочетание *есть огурцы* (Wierzbicka 1988).

Одновременно позиция А. Вежицкой является и наиболее радикальной: А. Вежицкая, в отличие, например, от Ю. Д. Апресяна, вообще не признает «случайных» (т. е. немотивированных) ограничений в сочетаемости. Применительно к лексике такую принципиально необъяснимую сочетаемость в традиции Московской семантической школы называют лексической, в противоположность объяснимой, которую называют семантической; о понятии лексической и семантической сочетаемости см. подробнее Апресян 1974: 60–67. Несколько огрубляя, можно было бы сказать, что, в частности, все случаи лексической сочетаемости должны в идеальном описании, следующем духу теории А. Вежицкой, перейти в класс сочетаемости семантической².

2. Языковая картина мира

Вообще говоря, в некотором смысле даже не важно, какая точка зрения тут ближе к истине: радикальная (она привлекает большей последовательностью и целостностью концепции) или более умеренная. Важно, что если сочетаемость в принципе в большом числе случаев семантически мотивирована, то она является мощным лингвистическим инструментом семантического описания, и, как говорит А. Вежицкая, языковым свидетельством, доказательством (linguistic evidence) правильности этого описания. Например, если по-русски не говорят **прошел сквозь улицу* (ср. возможное *прошел сквозь тоннель*) или **длинный лоб* (при том что можно *длинные уши* или *длинный нос*),

¹ Интересно, что в древнерусском языке такое употребление (сохранившееся не только в польском, но и даже в большем объеме в чешском) было возможным; ср. подробный анализ материала в Бернштейн 1958: 253–258.

² Ср., однако, одну из недавних статей Ю. Д. Апресяна, в которой формулируется в принципе аналогичная задача: «Задача работы — показать, что между значением лексемы и другими ее свойствами <...> существуют мотивированные связи. Иногда эти связи настолько сильны, что можно говорить о принципиальной выводимости несемантических свойств лексемы из ее семантики» (Апресян 1999: 82).

это свидетельствует о том, что несовместимы не только слова, но и соответствующие им понятия, т. е. что в представлении этих объектов и параметров есть характеристики, исключающие друг друга. Но тогда подробное лингвистическое исследование сочетаемости может воссоздать тот образ действительности, который человек имеет в виду, когда говорит и понимает. Обычно его называют *языковой картиной мира*. Задача реконструкции языковой картины мира — вернее, отдельных фрагментов такой картины, является главной и в этом исследовании, посвященном сочетаемости предметных имен.

У этой задачи есть, вообще говоря, и другой аспект — диахронический, или культурно-исторический, так как «в основе <...> языковой модели восприятия <...> лежат древнейшие, реликтовые представления об устройстве человека» (Урысон 1998а: 19). С другой стороны, следует иметь в виду, что язык нельзя рассматривать как *непосредственное* отражение древнейших культурных концептов. «Так например, формирующие языковой образ (стереотип) камня признаки “крепость”, “неподвижность”, “несокрушимость”, отраженные в таких выражениях, как *каменное лицо*, *сердце не камень*, как *за каменной стеной* и т. д., находят подтверждение в традиционной ритуальной практике <...>. Однако другие свойства камня, составляющие его культурный образ в народной картине мира, не получают отражения в языке. О том, что камни растут, что они могут падать с неба, что они могут быть оружием божества или нечистой силы <...> — обо всем этом мы не можем узнать “из языка”, эти черты культурного образа камня реконструируются из верований, обрядов, бытовой практики, но не имеют прямого языкового подтверждения» (Толстая 1995: 126). Сопоставление языковой и культурно-исторической картины мира является в большей степени задачей этнолингвистики, чем лексической семантики (ср. Цивьян 1990, Толстой 1995 и 1999), но мы по мере возможности будем привлекать и такие данные.

Конечно, языковая картина мира — это метафора. Но в науке часто бывает, что метафоры, возникая, как бы «получают обратную силу», перестраивая всю, так сказать, идеологическую базу этой науки. Язык как структура — это ведь тоже метафора. Она заставляла воспринимать суть языка как сложнейшее взаимодействие отдельно взятых деталей, из которых собирается что-то общее. Метафора же языковой картины мира подразумевает сходство языка с другой системой — зрительной. Зрительный образ объекта целостный, он не складывается из отдельных параметров (например, формы или размеров); но то же самое верно, как выясняется, и для языкового образа, в котором размеры и форма «слиты» и образуют то, что Л. Талми назвал топологическим типом объекта (подробнее см. Главу III, а также Приложение, 2.2).

3. Салиентность

Другое следствие «картинной» метафоры: картина не копирует, а отображает действительность, и это отображение, конечно, в каком-то смысле означает ее искажение: некоторые свойства объектов при отображении неизбежно теряются, а остаются только безусловно **значимые**, или, как принято говорить, **салиентные** (англ. *salient*, см., например, Evans 2007, ср. также Кубрякова 1994). Лингвистическая роль значимости хорошо известна синтаксистам — в связи с проблематикой порядка слов или выбора подлежащего. Существенна значимость и в самой процедуре номинации. Исследователи неоднократно отмечали обилие слов в языках для обозначения общих, базовых категорий (*general categories*) — таких, как *медведь, собака, слон*, по сравнению с родовыми (такими, как: *животное, птица, мебель* и под.) или видовыми (ср. *терьер, лайка, овчарка* и проч.). Причиной этого считается то, что именно базовый уровень категоризации в языке оказывается наиболее значим, потому что разница между представителями базовых категорий для человека оказывается большей, чем между представителями родовых или видовых имен (подробнее см. Rosh et al. 1976; Rosch 1977). Таким образом, область базовых категорий оказывается более разработанной — пользуясь художественными терминами, более прописанной, т. е. лучше отраженной в языковой картине мира.

Отсутствие названий для незначимого — это не исключение, а правило, действующее в языке повсеместно. Например, русское слово *край* обозначает не всякую границу объекта, а только открытую: *край стакана* — это именно верхняя, но не нижняя (соприкасающаяся с дном) граница стенки стакана. Тем самым, неназванная граница как бы не существует в языковой картине мира (о чем подробнее см. главу V). Вообще, если говорить о форме, то значимыми оказываются только определенные, функционально важные **типы** форм. Языковое поведение слов, представляющих разные типы, различается. Так, различается сочетаемость контейнеров и поверхностей с предлогами (в частности, контейнер будет сочетаться с предлогом *внутри*, а поверхность — нет, ср. **внутри лужайки — внутри стакана*), с прилагательными (контейнер может быть *глубоким*, а поверхность — нет) и под. Но контейнер с ровными стенками не отличается от контейнера с кривыми — по языковому поведению (т. е. возможностям своей сочетаемости). Поэтому ваза, вытянутая строго вверх, с точки зрения языковой картины мира будет тождественна другой — с неровными, сложной формы стенками.

Обратим внимание, что и визуальная, и языковая картина мира, отображая действительность, искажают ее во многом по одним и тем же «правилам». Шофер, ведущий машину, мимо которого «движется» окружающее пространство, совсем не обязательно его «видит»: как правило, он замечает светофоры, знаки поворота, полосу разметки и под., но вполне может «не видеть», скажем, деревьев или домов на обочине. Это тот же эффект **салиентности**, или значимости, о котором говорят в лингвистической литературе. На этом «визуальном» примере очевидно, кстати, что речь должна идти не вообще о значимости, а о **значимости для человека** — и это еще одна грань картины мира: ее **антропоцентричность**, т. е. ориентированность на человека.

4. Антропоцентричность языка

Идея антропоцентричности языка тоже в наибольшей степени характерна для того теоретического взгляда на язык, который предлагает А. Вежицкая. По ее мнению, то, что человек приспосабливает данный объект для определенной постоянной функции, отражается не только в структуре вещи, артефакта как такового, но и в структуре его имени. Чашка отличается от кружки в нашем языковом представлении множеством свойств — толщиной стенок, высотой, наличием блюдца и проч. — но оказывается, что для языка важны только такие свойства, которые проявляются в процессе использования этих объектов человеком (Wierzbicka 1985). По мнению А. Вежицкой, антропоцентричность описания языка должна быть его главной доминантой: в языковой картине мира никак нельзя «упустить» информацию, которая значима для человека.

Всплеск интереса к к «человеческому фактору» в языке начался, пожалуй, с дейксиса и дейктических категорий: местоимений, модальностей (см., например, Якобсон 1957, Бенвенист 1958 и др.). В начале 70-х годов Ч. Филмор доказал необходимость дейктического компонента в толковании глаголов *come* ‘приходить’ и *go* ‘уходить’ (ср. также обсуждение этой идеи на русском материале в Апресян 1986b). В середине 80-х Ю. Д. Апресян предложил использовать термин «личная сфера говорящего», в частности, для описания (дейктических) семантических эффектов, связанных с местоимениями *тот* и *этом*. С «присутствием» говорящего, конечно, связаны и слова оценочной семантики (ср., в частности, Арутюнова 1988). Получается, что говорящий, в каком-то смысле конструирующий язык (по выра-

жению французского лингвиста Клода Ажежа [Hagège 1993], являющийся его строителем, language builder), одновременно и изначально сам встроен в его мир. Между прочим, эта ситуация вполне созвучна метафоре картины: внутренний мир художника всегда так или иначе отражен в созданном им произведении.

В целом, доказательств антропоцентричности языка лингвистами на сегодняшний день обнаружено уже довольно много (об истории вопроса см. также Алпатов 1993). Особенный интерес для нас в этой работе представляют такие доказательства, которые, во-первых, проявляются в поверхностной сочетаемости, а во-вторых, явным образом «прорисовывают» картину мира как ее представляет язык. Обнаружено, что практически во всех языках человек моделирует ориентацию предметов в пространстве, так сказать, по себе: отождествляя предмет с человеческим существом, наделяя его «лицом» (ср. *лицевая сторона, перелицевать*), «боками» (ср. *сбоку от стола*), «макушкой» (ср. *на макушке сосны*), иногда — «ногами» (ср. *у подножия*), и под. Очень редко «образцом» для ориентации выступает не человек, а животное — это так называемая «пастушеская модель» ориентации (обратим внимание, что принцип антропоцентричности, судя по названию, и здесь в какой-то мере сохранен). Подробнее о моделях пространственной ориентации см. Главу III.

Другой пример того же рода представляет способ отражения в языке цветовой палитры действительного мира. Любой объект действительности имеет какой-то цвет. Но оказывается, что мы имеем возможность назвать этот цвет только в том случае, если он способен меняться. Если же цвет объекта постоянен, он не значим для человека, — так что в языковой картине мира множество объектов оказываются как бы «бесцветными», ср. *белый / черный / пегий ... конь, серый / белый заяц*, но **белая извесь, *черный уголь*, <неизвестно какой> (= 'бесцветный?') *барсук / червяк / еж...* (подробнее см. § 4 Главы II). А вот функциональность с точки зрения носителя языка всегда важна. Поэтому в языке она различается даже для неподвижных, статичных объектов — на первый взгляд одинаково «выключенных из жизни»: функционирующие и нефункционирующие в данный момент объекты описываются в русском языке разными позиционными предикатами (см. главу IV). Впрочем, наш опыт семантического описания предметной лексики показывает, что антропоцентричность буквально пронизывает языковые конструкции — подтверждения этому можно обнаружить в любом разделе этой книги.

5. Когнитивный анализ языка

Процедура описания языковой картины мира связана с реконструкцией определенной подсистемы знаний человека, поэтому ее часто называют **когнитивным анализом** (или когнитивной семантикой). Этот термин хорошо известен, но не общепринят — даже применительно к решению непосредственно данной задачи, и даже среди тех, кто принимает метафору картины мира. Между тем существует — на сегодняшний день уже очень значительное — направление западной лингвистики (прежде всего, американской), которое называет себя когнитивным. К нему принадлежат Р. Лангакер, Дж. Лаков³, Л. Талми, в какой-то степени Ч. Филлмор и многие другие — в числе которых, например, и А. Вежицкая (подробный обзор работ этого направления см. в Приложении). Вместе с тем, например, Рей Джекендофф, который тоже много занимался отображением пространства в языке (ср., например, Jackendoff 1996) — по сути дела не вошел в этот круг исследователей и не принял для себя их самоназвания (хотя его работы много цитируются и широко обсуждаются когнитивистами — см. посвященный ему номер «Cognitive linguistics» [1996, v. 7], и особенно статьи Goldberg 1996 и Taylor 1996 — и фактически уже «встроены» в предлагаемую ими когнитивную модель языка).

Другой пример «отторжения» когнитивного дискурса представляет Клод Ажеж. Он согласен, что язык есть способ хранения и представления некоторой информации, но считает, что эта — когнитивная — составляющая языка не является главенствующей, потому что прежде всего язык есть средство коммуникации (т. е. **передачи информации** — заметим, что здесь К. Ажеж продолжает французскую лингвистическую традицию, следуя за Э. Бенвенистом и многими другими). Но если в представлении языка перенести акцент с

³ Транслитерация этой фамилии в русских переводах сильно различается; самым распространенным вариантом является самый непоследовательный *Лакофф*, в котором гласный «русифицирован», а согласный — нет (ближе всего к реальному английскому произношению был бы вариант «Лейкофф»). Между тем, преобладающая в России тенденция реального произнесения фамилии этого крупнейшего американского лингвиста (имеющего, кстати, российские корни) — полностью русифицированное *Лаков*. Этого написания мы и придерживаемся (ср. «неосвоенную» фамилию *Джекендофф*, сохраняющую глухой конечный согласный основы при склонении). Аналогично, при транслитерации другой «трудной» фамилии *Лангакер* мы ориентируемся на наиболее распространенный вариант ее реального произношения русскими лингвистами.

«долговременной» процедуры восприятия, членения действительности и затем представления этой информации в некотором стабильном, принятом для данного языка виде (ср. картина мира) на «сиюминутную» процедуру общения, включающей мгновенную настройку на собеседника, тему — т. е. в сущности, на речь, а не на язык, то, конечно, сама идея описания отраженного языком мира отпадает, оказываясь избыточной.

В отечественной семантике термин «когнитивный анализ» первоначально получил распространение в работах Е. С. Кубряковой и ее последователей (ср., например, Кубрякова 1998, А. Кравченко 1996 и др.), а также в работах школы А. Е. Кибрика (см. Кибрик 1992; 2003). С другой стороны, задача построения наивной картины мира является одной из приоритетных для Московской семантической школы (полнее всего она воплощена в коллективной монографии Апресян 2006, ср. также Апресян 1995а, словарь Апресян 2004, Урысон 2003 и др.) и в еще большей степени — для школы «концептуального анализа» (ср. многочисленные сборники серии «Логический анализ языка» под редакцией Н. Д. Арутюновой, а также монографию Анна Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005). Тем самым, в качестве цели лингвистического описания эта задача у нас была осознана (а вернее, «восстановлена в правах» — со времен Гумбольдта) значительно раньше, чем на Западе. Собственно, это и есть основная причина, по которой сам термин «когнитивный» для обозначения той же процедуры семантического анализа используется сравнительно редко. Определенную роль играет и то, что если в рамках когнитивной лингвистики для реконструкции представлений носителя языка применяются самые разные методики — вплоть до статистических опросов говорящих, — то в отечественных школах «разрешенной» основой для лингвистического анализа является исключительно языковое поведение (*linguistic behaviour*, по А. Вежицкой), т. е. сочетаемость языковых единиц. Для этой процедуры существует более «строгий» термин — *семантический* (или *концептуальный*) анализ; результат этого анализа называется *семантическим описанием* (или *концептом*).

В целом можно было бы считать, что западные теоретики-когнитивисты и — в широком смысле — Московская семантическая школа решают одну и ту же задачу, но как бы с разных сторон, так что можно механически соединить эти два подхода как опирающиеся на одни и те же представления о языке. Но это все-таки не совсем так. Когнитивный подход сразу, с момента рождения, осознал вто-

ричность всех собственно лингвистических исследований, проводимых в его рамках. Параллельно и во взаимодействии с ними проводятся работы по психологии, нейропсихологии и нейролингвистике, психологии видения, памяти, восприятия музыки и другим когнитивным областям — все эти исследования имеют общую цель: описание различных когнитивных способностей человека. Поэтому из науки о языковых знаках лингвистика превратилась в науку о человеке.

Однако если объединение лингвистики с другими когнитивными науками понимать не просто как перевод ее из одной строки научной классификации в другую, тогда нужно специально доказывать, что существует единое «когнитивное пространство», в котором действуют общие механизмы и принципы. В рамках того (западного) подхода к языку, который принимает название «когнитивного», такая задача действительно ставится и решается, а в качестве одного из принципов такого рода когнитивистами была провозглашена идея прототипического устройства всех когнитивных систем, основанная на противопоставлении «центра» и «периферии» (в частности, такое противопоставление действует в системе зрения, памяти и др.)⁴.

В качестве подробной иллюстрации этой идеи применительно к лингвистическому описанию русской лексики ниже в специальном курсе мы рассмотрим анализ русского слова *скотина*.

Экскурс. Размышления о скотине

В самом деле, что такое *скотина*?

Если бы мы хотели дать на этот вопрос «традиционный» ответ, в духе толкового словаря, нужно было бы построить толкование по схеме: «*X* — это такой *Y*, который обладает свойствами *A*, *B* и *C*». Хорошие толкования представляют исчерпывающий список всех таких необходимых компонентов; толкование может, конечно, быть не полным (когда компонентов не хватает) или не точным (когда компоненты выбраны неправильно), но важно, что в принципе (с точки зрения всякого лексикографа) оно должно выглядеть именно так. Например, *гвоздь* — «это такой предмет, металлический, длинный, тонкий, с острым концом, который вбивают молотком в твердую поверх-

⁴ Ср. также обсуждение этой проблематики в статье Апресян 2004а.

ность, и т. п.». Действительно, если он не железный — то это уже не *гвоздь*, а *клин*, если его не вбивают, а заворачивают отверткой — это *шуруп*, а если у него к тому же нет острого конца, это *винт* и т. п. Смысл слова определен, когда все необходимые компоненты перечислены.

Эта схема кажется на первый взгляд очень убедительной. Теперь вернемся к слову *скотина* и попробуем подобрать нужные для его описания семантические компоненты.

- 1) Скотина — это млекопитающее (т. е. «зверь») — ни птицы, ни рыбы, ни муравьи, ни змеи не годятся;
- 2) она имеет хозяина-человека и живет с ним — потому что дикие звери, такие, как лиса или лев, тоже не подходят;
- 3) она приносит человеку пользу — ручная обезьяна или домашняя морская свинка скотиной не являются.

В принципе, этот перечень можно было бы считать достаточно полным и здесь поставить точку. Однако, и кошки, которые приносят очевидную пользу (ловят мышей), и собаки, которые приносят еще большую пользу, от скотины так же далеки, как и ручные обезьяны. Может быть, неточно сформулирован третий признак и польза от скотины должна быть какой-то более специфической? Например, можно считать, что скотина — это только такое домашнее животное, которое дает человеку пищу — молоко или мясо. Но и этого не достаточно: ведь, например, кролик в русском языке тоже не скотина, хотя кроликов и разводят на шерсть и мясо. Неясно также, можно ли считать скотом верблюда, или северного оленя, или прирученного слона. Тем самым, получается, что круг домашних животных, приносящих пользу, значительно шире круга скотов.

Попробуем изменить способ рассуждения и искать не исключения из «скотиньего» множества, не трудные случаи, которые бы позволили это множество жестко ограничить, а наоборот, его типичных представителей. В первую очередь «настоящей» скотиной являются, конечно, корова и бык; пожалуй, еще коза с козлом... Однако всякая попытка расширить этот список уже наталкивается на трудности. Лошадь и свинья — это, конечно, скотина, но явно скотина в меньшей степени, чем корова. Где-то посередине находятся овцы. Когда говорят: «Он завел скотину», это может значить и корову, и овцу, и свиней. Но когда мы слышим: «Ушел пасти скотину», вряд ли речь идет о табуне лошадей или стаде свиней. (А вот стадо коров вполне может иметься в виду.)

Надо сказать, что толковые словари, как ни странно, никак не помогают разрешить возникшие со скотиной проблемы. МАС толкует слово *скотина* всего лишь как «четвероногие домашние сельскохозяйственные животные» — неточность такого толкования кажется теперь, после нашего подробного обсуждения, очевидной. Немного лучше толкование однотоного словаря Ожегова—Шведовой: «Крупные сельскохозяйственные млекопитающие животные, а также (прост.) одно такое животное» — как видим, эти словари обращают наше внимание на некоторые особенности числового поведения слова *скотина*: оказывается, правильное называть *скотиной* много животных сразу, а не одно. Но каких именно — опять неясно: неясно и что такое «крупное» животное, и что такое животное «сельскохозяйственное». Пример МАСа из крестьянского писателя начала века Ивана Вольнова:

«Нанимались мы пасти скотину: я — овец, товарищ мой — телят со свиньями» не убеждает и кажется искусственным, особенно если учесть, что «очевидные» представители класса (коровы и быки) авторами МАС как будто специально проигнорированы.

И только В. И. Даль с определенностью говорит: *скот, скотина* — «общее название домашних животных: лошадь, корова, верблюд, овца, олень, например, но, как встарь, так и поныне, больше вола и коровы».

Несмотря на некоторую «ненаучность» этого толкования, возникает ощущение, что именно Даль с наибольшей точностью отразил интуицию носителя русского языка. Сводится она к следующему. Имеется некоторое множество домашних животных, называемое *скотина*, а в нем есть одна «центральная» подгруппа — *вола и коровы*. Они и есть самая несомненная — или, как говорят, **прототипическая**, скотина. Именно к волам и коровам и применима по-настоящему процедура поиска признаков, о которой мы говорили выше. Но признаков у них, конечно, больше, чем было перечислено: это крупный скот, имеющий рога, а также копыта, скот, который пасут, держат в стойле, он дает молоко и мясо, его можно использовать при пахоте и т. д. Вокруг этого **центра** категории «скотина» располагается **периферия** нашего множества, т. е. животные, разделяющие с центром большее или меньшее число семантических признаков, и поэтому в большей или меньшей степени **похожие** на коров. Лошадей пасут и держат в стойле, на них пашут, но их обычно не едят — т. е. не для этого разводят; у них есть копыта, но нет рогов. У оленей — и рога, и копыта, но зато они не стоят в стойле, на них никто не пашет

и молоко их не пьют. Еще хуже — с овцами: они даже и не крупные, поэтому они отстоят от центра дальше, чем олени. А свиньи — совсем дальняя периферия: на них не пашут, они не дают молока, по-видимому, они и недостаточно крупные, рогов у них нет (разве что копыта).

И все-таки, несмотря на то, что периферийной скотине «не хватает» признаков до скотины прототипической, эти животные могут в реальном русском языке подпадать под понятие «скотина», и, как мы видели, в каких-то случаях (в частности, в примере из И. Вольнова) подпадают. Другое дело — кролики или гуси: их **никогда** нельзя назвать *скотиной* — это будет **ошибкой** в русском языке.

Любопытный пример как раз такой ошибки представляет текст рекламы средства от тараканов, переведенный с китайского (видимо, китайцами же) и приведенный в Поливанова 1997: 232:

Действенный Мел, Который Уничтожит Черви

Содержание: Это лекарство действенный, когда уничтожить тараканы, клопы, мухи, воши и т. д., когда употребите этот мел не можете вредите человеку и скотам.

Способ употребления: провести с этим мелом в месте в котором тараканы часто двигаюсь, после задеют этот лекарство, черви сразу пасют.

Текст этот, конечно, неправильный, но восстановить его смысл вполне можно, как можно и восстановить причины сделанных ошибок. В частности, оказывается, что переводчик не знает, что такое *скотина*: он думает, что *скотина* — это **всякое** четвероногое домашнее животное, в том числе и собаки с кошками (что, как мы знаем, неверно, хотя и винить его в этой ошибке трудно).

Между тем, в данном тексте есть еще одно место, касающееся скотины. Речь идет о загадочном слове *пасют*. Конечно, это должно было бы быть настоящее время от глагола *пасть* (просто переводчик ошибся в русском чередовании) — потому что про настоящую скотину в русском языке не говорят, что она умерла, а говорят, что она *пала*. Случайно оказалось, что *черви* (т. е. тараканы) попали у переводчика под определение скотины (видимо, как своеобразные домашние животные). Если бы в русском языке они действительно назывались скотиной, то, конечно, надо было бы сказать, что они *«сразу падают»*. Так что у слова *скотина* есть еще один признак, и тоже неустойчивый: говорят: *лошадь пала, корова пала, овца пала* — но говорят ли *свинья пала? кролики пали?* (ср.: *массовый падеж кроликов*). Заведомо не говорят *собака пала*: про собаку положено говорить *издохла* или *околела*

(но про домашнюю собаку современный городской житель, конечно, скажет *умерла*⁵).

Обращает на себя внимание еще одна деталь: все эти признаки в каком-то смысле имеют разный «вес». Например, если считать, что *пасть* применимо к кроликам, а не только к коровам и овцам, то оказывается, что этот признак для скотины слабый, потому что кролика скотиной никто не назовет. А вот наличие копыт — довольно сильный признак, потому что не имеющее копыт животное ни при каких условиях не может претендовать на то, чтобы называться скотиной, пусть даже периферийной.

Как видим, жесткого признакового описания типа компонентного анализа слово *скотина* не приемлет — оно тяготеет к модели, которую принято называть **прототипической организацией значения**. — Такая модель значения, конечно, более гибкая и менее строгая; она предполагает и по-иному организованное (можно было бы сказать: более размытое) толкование — примерно в стиле В. И. Даля. Однако, в некотором отношении эта модель лучше, потому что, видимо, вернее отражает то, как человек действительно обращается со значениями слов: не запоминая множество отдельно взятых признаков, а составляя образ категории «по аналогии», т. е. сравнивая разные объекты друг с другом: похожи они или нет.

Принятие идеи прототипического устройства языка означает прежде всего принципиальный отказ от жестких определений — как в семантических описаниях, так и в лингвистической терминологии (подробнее см. Taylor 1995). Нет точного определения для таких основных лингвистических понятий как «слово», «морфема», «корень», «грамматическое значение» (в остальном вполне реальных и обоснованных). У каждого из них, как и у категорий естественного языка, нечеткие границы. Сегодня это признают даже давние сторонники строгих формулировок (см. Мельчук 1997: 96–97, 236 и др.). Что касается картины мира, то она, сквозь призму прототипов, перестает быть похожей на творения художников-реалистов, с их четкими контурами изображенных предметов. Скорее, она напоминает полотна импрессионистов, на которых зыбкий образ объекта выступает постепенно, как из тумана.

⁵ Ср., например: *И давно уж собака моя умерла — стало меньше дыханьем в груди у меня, и чураются руки пера и тетради* (Б. Ахмадулина).

Другая сторона «прототипического» способа отражения внешнего мира состоит в том, что никакой языковой образ никогда прямо не соответствует конкретному объекту действительности. Он отражает некоторые канонические представления носителя языка о том, каким этот объект должен быть — «канонические» птицы должны летать, красный цвет должен быть похож на цвет огня, и т. д. «Центральные» объекты ближе к этому образу; «периферийные» — дальше от него. Обратим внимание, что и сама семантическая сочетаемость устроена по такому же принципу.

Действительно, что мы имеем в виду, говоря, что данное сочетание — например, *старый соловей* — неудовлетворительно с точки зрения русского языка? Мы подразумеваем, что в прототипической ситуации к такому объекту, как названный, не может быть применено данное свойство. Конечно, часто приходится слышать, что «все всегда можно сказать, нужно только подобрать подходящий контекст» — это один из самых распространенных аргументов, с помощью которого оппоненты сочетаемостного подхода пытаются поставить под сомнение действенность сочетаемости как лингвистического инструмента. На самом деле, выбор искусственного, специально сконструированного контекста и есть поиск периферийных, не прототипических представителей данной категории, обладающих определенными свойствами. Например, можно использовать сказочный контекст, в котором соловей будет уподоблен человеку (как это происходит в приемлемом, даже характерном сочетании *премудрая старая сова*; подробнее о семантике *старый* см. § 5 Главы III), и тогда наше сочетание будет звучать лучше. Но говорящий, в памяти которого в виде языковой картины мира зафиксированы наиболее частые и естественные употребления — другими словами, прототипические, — все равно будет ощущать такую возможность как «неполноценную».

6. Картина и мир: языковая и энциклопедическая информация

Итак, перед нами уже «вырисовывается» языковая картина мира. На ней «видны» не отдельные независимые признаки предметов и событий, а сразу целостные объекты действительного мира. При этом их образы искажены: «прописаны» только те контуры и свойства, которые значимы с точки зрения человека. Цвет, форма, положение в пространстве — все изображено так, как удобно «художнику», автору

этого полотна. Но даже если бы он этого хотел, он не смог бы добиться полного тождества с оригиналом: его образы — только образцы, а не подлинная натура.

Теперь хотелось бы понять, какого рода информацию можно было бы почерпнуть из такого «изображения» — или, наоборот, какого рода свойства реального мира могут быть в нем отражены. Обсуждаемая проблема известна в лингвистике как проблема границы между семантической и энциклопедической информации и затрагивалась не раз. Вспомним пример Ю.Д. Апресяна (1974: 12):

Он проплыл 100 метров кролем за 45 секунд.

Безупречная логика рассуждений Ю.Д. Апресяна состоит в том, что этот пример с лингвистической точки зрения правилен — независимо от того, соответствует ли результат, полученный спортсменом, принятому нормативу. Даже если мы признаем, что «такого на самом деле не может быть», — наш лингвистический анализ предложения от этого не меняется.

И действительно, информацию о том, за какое минимальное время человек может проплыть 100 метров, по-видимому, следует считать надъязыковой. Так же, как и информацию о температуре кипения воды или плавления чугуна, скорости света и под. Более того, информация об измерении времени в секундах — тоже принадлежит научной, а не языковой картине мира. Дело в том, что время в языке (по крайней мере в русском) измеряется ограниченными периодами фиксированной длины — такими, как *час, год, век, день* и под. *Секунда* — как и *миг, мгновение* — в этот список не входит, потому что они не осмысляются как имеющие длительность. Так, по-русски можно сказать: *прошли час / годы*, но не: **прошли миги / ?секунды* или: *она часами (днями / годами / веками) смотрела на дорогу в ожидании знакомой кареты*, но в том же длительном значении невозможно, например: **она секундами / мгновениями смотрела на дорогу...* (подробнее см. § 5 Главы I).

Научная картина мира обычно очень значительно отличается от языковой — поэтому энциклопедическая информация не помогает лингвистическому описанию, детализируя и дополняя его, а, наоборот, мешает ему. Случайные совпадения ни о чем не говорят, а только подтверждают это. Например, одно из общепринятых правил распределения русских предлогов *на* и *в* (ср. Всеволодова, Владимирский 1982: 30–45) опирается на противопоставление, казалось бы, со-

вершенно «географическое»: между названием отдельной страны и названием тоже отдельной, но «земли», т. е. острова или полуострова. Страны сочетаются с предлогом *в* (*в Италии, Индии, Японии* и т. д.), а «земли» — с предлогом *на* (*на Корсике, Кубе, Хоккайдо, Камчатке...*). Тем не менее, оказывается, что даже в этой семантической зоне научная картина не совпадает с языковой. Дело в том, что это «географическое» противопоставление есть следствие определенной концептуализации действительности: страны представляются как пространства (поэтому с ними и употребляется «пространственный» предлог *в*, ср. *в шкафу*), а «земли» — как поверхности (поэтому говорят *на острове / полуострове, на столе, на стене* и под.). Но в русской языковой картине мира, например, Крым остается пространством (а не поверхностью, как должен был бы, с «географической» точки зрения) и требует предлога *в*⁶.

Очень похожий пример приводит в своей книге А. Херсковиц (подробный анализ этой ее работы Herskovits 1986 см. в Рахилина 1998: 303–307). Обсуждая значение английского предлога *at*, она показывает, что этот предлог употребляется при объектах, которые могут концептуализоваться в английском языке как точка. Поэтому понятно, что можно сказать *at the desk*, описывая сравнительно небольшой объект (который естественно представить себе уменьшенным до точки), но не **at France*, потому что страна — это пространство, или на худой конец, поверхность, но никак не точка. Однако город, с точки зрения, например, картографа, легко представим в виде точки, — но, как оказывается, не в языковой картине мира; одним из «языковых свидетельств» этого является запрет на сочетания типа: **at London* (о противопоставлении типа *in March — on Tuesday* см. также в Wierzbicka 1988). Таким образом, утверждение, высказанное на заре семантики и многократно затем повторенное, — о том, что семантическое описание должно отражать только релевантную информацию, а энциклопедические сведения избыточны и не нужны, например, в словарном описании, с сегодняшней точки зрения можно было бы не только полностью принять, но даже и усилить, сказав, что в действительности энциклопедическая информация, внесенная в лингвистическое

⁶ Вполне вероятно, что это «исключение» — дань истории (может быть, со времен Крымского ханства); в таком случае это прямое свидетельство того, как язык «запаздывает» по сравнению с жизнью и открывает нам предыдущий исторический слой в семантике точно так же, как «глубинное» морфонологическое описание часто превращается в реконструкцию фонетического прошлого языка.

описание, не просто дополняет избыточными деталями, а *искажает* реальную семантику и ту картину мира, которую предполагает язык.

Однако, отказываясь от энциклопедических сведений, необходимо понять, какая информация является релевантной для лингвистического описания и где граница между ней и энциклопедической зоной. В принципе, ответ на этот вопрос во многом зависит от задачи, которую данное описание решает. Например, когда речь шла о простых моделях машинного перевода, где «на вход» системы подавался уже готовый смысл будущей правильной фразы, об устройстве внешнего мира, действительно, как будто бы вовсе не требовалось никакой дополнительной информации.

Впрочем, современные прикладные разработки как раз зачастую могут служить своеобразными «linguistic evidence» в пользу лингвистической релевантности абсолютно нетривиальных характеристик объектов и ситуаций. Об одном из таких «открытий» рассказали японские компьютерные лингвисты (Shimazu et al. 1988; см. также Кулагина и др. 1989). Их задачей было компьютерное порождение движущегося изображения (мультфильма) по очень простому тексту африканской сказки, приблизительно такому:

Заяц бежал за Черепахой. Черепаха повернула голову, посмотрела и сказала: «Заяц далеко. Он меня никогда не догонит». После этого Черепаха легла и уснула.

Как видим, текст действительно предельно примитивный с лингвистической точки зрения. Все «подводные камни» здесь намеренно устранены, с тем чтобы облегчить компьютеру техническую задачу «понимания» сказки, тождественного тому, которое демонстрирует получивший ту же задачу человек. Тем не менее, оказывается, что «понимание» машины отличается от человеческого, и, соответственно, изображение которое она в результате представила, было тоже специфически «машинным». Дело в том, что на рисунках машины черепаха, поглядевшая назад, уснула со свернутой шеей, так и не повернув голову обратно.

Человек-переводчик, конечно, переводит не так, как машина. Его знание о каждом из языков неотделимы от представлений о соответствующих картинах мира (а то, что картины мира разных языков различаются, сегодня уже общеизвестно; дополнительным подтверждением этому может служить § 6 Главы III). Например, он обязан догадаться, что сочетание *шнурки на ботинках* подразумевает не стандартное положение одного объекта сверху другого (ср.: *книга на столе*), а особого рода их взаимодействие. Или что *ваза с цветами* значит не ‘цветы рядом/вместе с вазой’ (ср.: *Он с независимым видом проходил мимо «Тойот» с «Мерседесами»* ≈ ‘«Тойот», стоящих рядом с «Мерседе-

сами»'), а 'цветы, помещенные в вазу'. Для того, чтобы правильно понять и перевести эти русские сочетания, необходимо осознавать специфику таких взаимоотношений между объектами (шнурками и ботинками, вазой и цветами и т. п.) как релевантную с языковой точки зрения. (Подробнее о типе этой информации, опирающейся на особое понятие «дополнителя», см. Главу I.)

Раз такая информация нужна для правильного анализа и синтеза, значит она является языковой, а не энциклопедической и должна быть учтена в словарном описании соответствующих слов. Обычно, однако, так не делается, и при этом основным аргументом против включения такого рода сведений в словарное описание является объем словаря и объем человеческой «языковой» памяти: нетрудно представить толщину словаря, в котором только про то, как вдевать шнурки в ботинки, написан целый абзац, а если считать, что такой «словарь» каким-то образом хранится в голове каждого говорящего — то невольно возникает сомнение, что человеческая память способна оперировать такими объемами.

Конечно, вопрос о толщине словаря — чисто технический. Современные словари вообще создаются на машинных носителях и имеют приданный им поисковый аппарат, так что этот вопрос можно считать решенным самой жизнью. Остается вопрос о человеческой памяти. Но дело в том, что человеческая память устроена принципиально иначе, чем машинная. Держа в уме всю эту информацию, человек помнит не отдельные факты, а связанные между собой сведения об окружающем его мире. Эти сведения могут быть специфичны для данной конкретной культуры — например, особый способ разведения костра у индейцев. В языке индеец максимально естественным образом выражает свой повседневный опыт. Поскольку у всех других народов опыт другой, очевидно, что соответствующая языковая информация будет необходима при описании данного фрагмента данного языка индейцев. Другая ситуация — с людьми приблизительно одной культуры, например, европейцами. Все европейцы одинаково хорошо знают, как завязывать шнурки, и поэтому связь между шнурками и ботинками для них одинаково очевидна; одинаково представляют себе европейцы и стандартное отношение между вазой и цветами. Если французу, например, понадобится перевести на русский фразу:

Les lacets de ses chaussures étaient verts,

т. е. породить русское предложение ‘У него на ботинках были зеленые шнурки’ (а не: «*У его ботинок были...!»), то трудности для него будут связаны только с поиском языкового эквивалента, а не с пониманием ситуации: такого рода информация безо всякого интеллектуального напряжения «всплывет» у него (как и у любого другого европейца) в голове. Но (относительная) общность информации такого рода еще не говорит о том, что она не должна быть включена в языковое описание. Лингвист, по-видимому, обязан ее «регистрировать», и чем полнее будут его наблюдения, тем больше мы будем знать о природе языкового механизма. Кроме того, именно полное описание позволит в дальнейшем восполнить серьезную лауну современной семантики — практически полное отсутствие работ по теме, которую можно было бы назвать «лексической типологией», и сравнить весь объем сведений, необходимых для употребления семантически близких слов в разных языках. Экспериментальное исследование такого рода обсуждается в § 6 Главы III (см. также Майсак, Рахилина 2007 и цитируемую там литературу).

§ 2. Предметные имена

Теперь перейдем к характеристике объекта нашего исследования — предметных имен. С лингвистической точки зрения, этот материал представляет двоякую трудность.

1. Трудность первая: имя *vs.* объект

Основным инструментом исследования в этой зоне всегда были опросы носителей языка. Например: информанту предъявляют картинки, и он должен выбрать такие, которые, по его мнению, лучше «подходят» для данного слова, или сам информант словами описывает соответствующий предмет. Цель такого рода экспериментов — выявить языковые представления о данных объектах (ср. прежде всего известные работы У. Лабова [1978] и др.). Однако, как блестяще показала А. Вежбицкая, те исследователи, которые основывают свои лингвистические описания на результатах подобных психолингвистических экспериментов, обычно подменяют изучение языковых сущностей (т. е. имен) изучением называемых ими объектов внешнего мира (ср. Wierzbicka 1985 и др.).

2. Трудность вторая: имя vs. глагол

Между тем, вторая трудность состоит в том, что альтернативный психолингвистическому, т. е. обычный инструмент семантических исследований — сочетаемость — к именам применим гораздо менее, чем к глаголам. Отчасти этим и объясняется поиск других способов описания имен, результаты которого так осуждает А. Вежицкая. Дело в том, что все те целостные представления о семантике глагола, которые лингвистика может считать известными и, в общем, не зависящими от способа описания, основаны на жестком синтаксисе глагольной лексемы. Глагол называет ситуацию и вводит ее обязательных участников с помощью тех синтаксических отношений, которые закреплены в его модели управления, ср. *давать* (кто? кому? что?). Все семантические свойства глагола «прочитываются» по его поверхностно-синтаксическим «обязательствам» (о некоторых издержках такого чисто синтаксического подхода см. нашу работу Плунгян, Рахилина 1998, подробно отраженную в соответствующем разделе Тестелец 2001). У имен же нет жесткой сочетаемости — потому что нет жесткой «привязки» к определенной ситуации. В этом и состоит, по нашему мнению, одно из их (возможно, главных) отличий от глаголов. Данное свойство имен можно, по аналогии с известным свойством глаголов, назвать *лабильностью*.

Надо сказать, что, касаясь такой общей проблемы, как сущностные свойства имен, трудно придумать что-то принципиально новое — слишком глубока история размышлений на эту тему. В принципе, все важное было сказано еще в рамках философской традиции описания языка (подробную историю вопроса см. в Степанов 1985, а также в Степанов 1998, часть II). В первой половине двадцатого века в логике — прежде всего благодаря Б. Расселу — установилось представление о «вещи» как о множестве признаков. Почти одновременно с Расселом ту же мысль — уже в собственно лингвистическом контексте — сформулировал О. Есперсен. Противопоставляя существительные и прилагательные, он обращал внимание на то, что первые, как правило, обозначают множество свойств — в противоположность вторым, связанным с одним-единственным признаком (Jespersen 1924: 79). Эту идею можно проиллюстрировать примером Гивона (Givón 1984): слово *лошадь* (*horse*) подразумевает и определенный цвет, и форму, и размер, и множество других свойств объекта. Даже если один из этих признаков меняется, все равно в лошади легко распознать «лошадность» (ср. прилагательные, обозначающие только одно свойство).

Этот так называемый «кластерный эффект», свойственный в наибольшей степени как раз классу предметных имен, которые нас интересуют прежде всего, очень многое объясняет в их поверхностных свойствах. В частности, если предметное имя — действительно множество свойств, то у него (в отличие от прилагательного) в принципе не может быть степеней сравнения, потому что в его семантике нет ясного основания для сравнения (см. Камп 1975). Действительно, слову *мальчик* нельзя приписать степень сравнения, потому что непонятно, какая именно его характеристика при этом имеется в виду (Wierzbicka 1986: 375). Разумеется, есть множество пограничных случаев (многие из них отмечаются А. Вежибицкой), но в данном случае они не так уж важны.

В сущности, то, что мы назвали *лабильностью* предметных имен и вытекающая отсюда их неспособность иметь жесткую сочетаемость, также связаны с кластерным эффектом. «Разнородные, диффузные, недостаточно отделенные друг от друга и даже необязательные признаки» (Шатуновский 1996: 37), составляющие семантику имени, вполне объясняют его семантическую нестабильность и синтаксическую «всеядность».

Обычно в лингвистических работах описание кластерного эффекта сопровождается замечанием, о том, что значение (предметных) имен, тем не менее, не сводится к множеству признаков, поскольку главная функция имени состоит в выделении определенного референта или класса референтов: см., например, Wierzbicka 1980: 468, Bhat 1994: 30–31; в своей особенной манере ту же идею формулирует и Р. Лангакер, говоря, что «если предикаты профилируют связи или свойства, то для имен они являются только частью базы» (Langacker 1987: 189; о понятиях «профиль» и «база» см. Приложение, 2.6). Для нас же, наоборот, лабильность, связанная с кластерным эффектом, представляет сейчас наибольший интерес: дело в том, что несмотря на всеобщее признание самого факта существования у (предметных) имен разнообразных семантических свойств, сами эти свойства на сегодняшний день практически не изучены.

3. Шкала лабильности

Свойство лабильности можно рассматривать в том же ряду, что и предложенное Т. Гивоном (Givón 1984; ср. также Тестелец 1990, Кубрякова 1997) в качестве диагностического отношение языковых единиц к времени. Т. Гивон считал, что степень связанности разных ти-

пов языковых единиц с временными характеристиками можно представлять в виде шкалы. На одном полюсе этой шкалы располагаются глаголы, которые в наибольшей степени призваны выражать время, на другом — предметные имена, существующие «вне времени» (ср. впрочем § 4 Главы III, где предлагается несколько более точное описание временных и аспектуальных характеристик предметных имен). Между этими полюсами располагаются, согласно классификации Гивона, другие типы языковых единиц. Например, постоянные свойства (типа *редкий* — см. Булыгина 1982; Падучева 1985), которые на этой оси оказываются ближе к именам, временные признаки (типа *пьяный*), приближающиеся к глаголам, и под.

Наверное, свойство, которое мы назвали «лабильностью», тоже следовало бы рассматривать в виде шкалы, которая бы определяла степень связанности семантики языковой единицы с определенной ситуацией и ее участниками. Один полюс этой шкалы — как и шкалы Гивона — был бы занят глаголами, которые, как мы только что говорили, жестко связаны с называемыми ситуациями и их участниками⁷. Из остального множества нас, конечно, в наибольшей степени интересуют предметные имена. Однако их состав не вполне однороден. В частности, выделяется группа имен, которая с данной точки зрения очень близка к глаголам: это реляционные имена типа *отец, друг, родственник*.

3.1. Реляционные имена Реляционные имена обозначают отношения, участники которых строго определены и практически всегда однозначно «вычислимы». Аргументная структура этих имен поэтому может быть признана абсолютно тождественной глагольной (ср. Главу V). И все-таки, реляционные имена

⁷ Отметим, что данная шкала может быть оценена и с типологической точки зрения: в разных языках имена и глаголы могут представлять прототипические свойства в разной степени. Например, в английском глаголы устроены более лабильно, чем в русском — уже потому, что они часто не различают одноместные и двухместные употребления, ср. *the door opened — he opened the door*. В русском языке такое более типично для отглагольных имен, чем для глаголов, ср. *возвращение*, соотносящееся одновременно и с *возвращать*, и с *возвращаться*. Однако и граница между именами и глаголами в английском, как известно, значительно более зыбкая, чем в русском: ведь именно в английском ее так легко преодолеть, ср. многократно обсуждавшиеся пары вида *a cook — to cook*. Типологи считают, что есть языки, с этой точки зрения еще более продвинутые (т. е. еще менее различающие имена и глаголы), чем английский, — таковы, например, не только изолирующие тайский или вьетнамский, но и самодийские или полинезийские языки. Таким образом, интересующую нас ситуацию в русском языке можно считать близкой к прототипической.

представляют собой хотя и небольшое, но «отступление» от глагольного канона на шкале лабильности.

Действительно, хотя при этих именах всегда есть как минимум один лексикографически заданный обязательный участник, его семантическая интерпретация в реальном предложении время от времени бывает затруднена. Так, если в предложении:

К Николаю пришел брат

имеется в виду брат Николая, а в предложении:

На обратном пути брат зашел к Николаю

подразумевается брат говорящего, то в контекстах типа:

Николай с братом сели играть в шахматы

выбор между этими альтернативными интерпретациями неопределен. При глаголах, если рассматривать их в рамках первичного, простого предложения, такого рода неоднозначность, скорее, исключена. Правда, глаголы тоже могут выступать с невыраженной валентностью, ср. *Пришел, увидел, победил* — но в таких случаях действуют правила восстановления антецедента: либо как кореферентного говорящему ('я пришел'), либо как кореферентного только что упомянутому имени ('победил <известного, имевшегося в виду> врага'), либо — в определенных случаях — как связанного квантором общности (*он поет* <'все, что угодно'>, *а я играю на рояле* <'все, что угодно'>). Заметим, что хорошо известное опущение объекта возможно с глаголами отнюдь не любой семантики; можно сказать, не указав объекта: *пою, читаю, вяжу, пью*⁸, но не: **ударяю, *закрываю, *вытираю* и т. п.

Надо сказать, что реляционные имена, как и глаголы, неохотно допускают опущение объекта, ср. необходимость «обобщающего контекста» в:

Только настоящий друг может сказать такое.

Ср. также невозможность других реляционных имен в том же контексте: **Только настоящий брат/племянник...* Между тем, отглагольные имена легко освобождаются в тексте от своих аргументов и по большей части не предполагают никакой обязательной процедуры их восстановления, ср.: *строитель* <не важно, чего>, *закончено строи-*

⁸ В этом и многих других случаях при опущении объекта происходит семантический сдвиг, приводящий, по сути, к образованию непереходного глагола особой семантики: *пью* ~ 'в большом количестве пью вино/водку'. Появление новых лексем такого рода в результате опущения объекта тоже является косвенным свидетельством в пользу того, что процедура опущения, в общем, глаголам «противопоказана».

тельство <не важно, кто и что строил>, *строение* <не важно, кто строил> и т. д.

Следующую после реляционных ступень на шкале лабильности занимают функциональные имена.

3.2. Функциональные имена Эти имена предполагают определенный постоянный способ использования соответствующего предмета: книга — это то, что читают, окно — то, куда смотрят, чемодан — то, в чем носят вещи, и т. д. В данную группу попадают прежде всего имена артефактов, в которых, конечно, есть определенная предназначенность к тому, чтобы описываемый объект играл определенную роль в определенной ситуации (об этом типе имен см. также Арутюнова 1980). Очевидно, что здесь имеется достаточно жесткая семантическая предрасположенность, сходная с той, которую демонстрирует глагол. Глагол, правда, называет всю ситуацию в целом, но функциональное имя отсылает к ней же и к той же совокупности участников, называя одного из них — такого, как, допустим, *пила* (ср. *пилить* — кто? что? чем?), *веревка* (ср. *завязывать* — кто? что? чем?), *тарелка* (ср. *есть* — кто? что? из чего?) и под. О роли семантической связи имени с функциональным предикатом, «встроенным» в его семантику, мы неоднократно будем говорить ниже (см. Главу II). Именно функциональный предикат позволяет интерпретировать посессивные конструкции с предметными именами, конструкции с качественными прилагательными, его валентные отношения наследует имя, и под.

Между тем, при описании функциональных имен важно иметь в виду принципиальную множественность ситуаций, с которыми имя таким образом связано. Книгу не только читают, но и пишут, в окно не только смотрят — его закрывают и открывают, чемодан не только несут — в нем и что-то хранят, суп не только едят, но и готовят и под. Подобная множественность и есть, по сути дела лабильность для данного класса имен. Носитель языка ее очень хорошо чувствует — это проявляется и в языковом поведении этих имен. В частности, они могут иметь и даже одновременно реализовывать сразу несколько моделей управления. В качестве примера рассмотрим слово *подарок*. Мы говорим и:

подарок бабушке (от внучки),

и:

*бабушкин подарок (*от внучки),*

и:

подарок внучки/бабушки,

и:

внучкин подарок бабушке,

акцентируя разные аспекты одной и той же многогранной ситуации. Действительно, подарок — это объект передачи, т. е. перемещения объекта дарения от одного участника другому. Исходный пункт в этом случае кодируется вполне стандартным способом — с помощью предлога «от», а конечный пункт, поскольку в этой роли оказывается заинтересованное в данном действии лицо, в соответствии с довольно общими правилами русского языка (см., в частности, Рахилина 1982), «вынужден» в качестве единственного приемлемого способа оформления выбрать дательный.

Между тем, подарок — это одновременно и объект посессивного отношения, которое в данной ситуации меняет субъекта: сначала им был даритель, а потом становится одариваемый. Любой из этих субъектов может оформляться посессивным прилагательным (*бабушкин/внучкин подарок*) или приименным генитивом: *подарок бабушки/внучки*. Однако обе эти интерпретации могут и совмещаться в конструкции, которая выражает такое состояние дел, когда даритель еще представляется владельцем подарка, но в то же время подарок имеет адресата, выраженного дательным. (Любопытно, что в каком-то смысле альтернативное данному совмещение в русском языке не реализуется: нельзя сказать **бабушкин подарок от внучки*, считая, что подарок уже получен во владение, но еще можно проследить «путь» его перемещения.)

Таким образом, совмещение различных аргументных моделей (см. подробнее § 1 Главы V) — это тоже проявление лабильности имени. Конечно, с аргументной структурой глагола ничего подобного происходить не может — способ выражения его актантов жестко определен глагольной семантикой. Важно, что лабильность — это свойство, в той или иной степени свойственное всем именам — в противоположность глаголам.

3.3. Отглагольные имена С этой точки зрения интерес представляют имена, образованные от глаголов, причем в первую очередь семантически наиболее близкие глаголам — т. е. имена действия, состояния и под. — такие, которые в традиции Московской семантической школы называются S_0 (ср. *строительство, сон,*

убийство, горение и под.). В Главе V обращается внимание на их поведение во вставленных конструкциях: оно разительно отличается от поведения инфинитивов, которые могут выступать в той же позиции (*жаждать помочь — жажда́ть помощи*). При этом, как показано, трудность интерпретации конструкций с отглагольными именами не только в том, что для них, в отличие от аналогичных конструкций с инфинитивами, имеется много моделей интерпретации, но и в том, что в большинстве случаев интерпретация этих конструкций неоднозначна, ср. предложение:

Кирила Петрович был чрезвычайно доволен этим посещением,

которое может быть понято одновременно тремя способами:

- i) Кирила Петрович был доволен, что он посетил кого-то (допустим, князя);
- ii) Кирила Петрович был доволен тем, что кто-то (князь) посетил его;
- iii) Кирила Петрович был доволен тем, что кто-то (князь) посетил кого-то (Марью Кириловну).

Возможность выбора между разными пониманиями в этом и подобных ему случаях определяется контекстом, а не природой конструкции. Более того, сама необходимость такого выбора в какой-то мере противоречит тому потенциалу лабильности, неустойчивости значения, который оказывается «заложен» в конструкцию благодаря отглагольному имени.

§ 3. Общая схема

Итак, с точки зрения поставленных в этой работе задач, основным свойством, отличающим имя от глагола, является именно лабильность, т. е. неспособность быть связанным семантически с одной конкретной ситуацией. Это свойство может быть выражено сильнее или слабее в той или иной группе имен, но именно оно определяет особенности «именного» поведения. Например, прототипическому имени (но не глаголу) нужна категория детерминации — т. е. указание на определенность/неопределенность, референтность/нереферентность именно как способ некоторым образом «привязать» имя к заданному в речи событию.

Свойство лабильности имени диктует и другие особенности его семантического поведения. Если практически все семантические

свойства глагола «компактно» отражаются в его главной синтаксической конструкции — модели управления, то свойства предметного имени могут быть «вычислены» только из анализа множества (вообще говоря, бесконечного) его разнообразных контекстов, причем плохо совместимых друг с другом. Эта задача — а она является задачей данного исследования — принципиально неразрешима в полном объеме, так что с точки зрения полноты такая работа с самого начала обречена на неудачу. Хотя, как кажется, полнота материала — это не главное. Заменой ей может служить ясная стратегия исследования. Ведь помимо того, что сочетаний с предметными именами слишком много — их еще принято считать свободными — а значит, никак не связанными и с семантикой имени. Поэтому необходимо последовательно «проверить» наиболее частотные, характерные именные сочетания, чтобы доказать, что в них все-таки содержится информация, релевантная для семантического описания имени; если это верно, то анализ таких сочетаний должен составлять необходимую работу, предшествующую собственно лексикографическому описанию любого предметного имени. Между тем, заведомо релевантной для имени является:

- информация о его мереологии, т. е. о частях соответствующего объекта и множествах, в которые он входит;
- о таксономическом классе (классах) имени, т. е. о том месте, которое оно занимает в родо-видовой иерархии;
- о функциональной составляющей имени, т. е. указание на основную способ использования соответствующего объекта;
- об основных физических признаках обозначаемого им объекта: его форме и границах, ориентации в пространстве, размере, цвете, температуре и под.;
- о так называемой «валентной структуре» имени, т. е. о некоторых его постоянных семантических связях с другими именами, вступающими с ним в характерные синтаксические отношения ср.: *пассажир автобуса, поле ржи, забор вокруг дома* и др.

Изложение материала в работе следует именно этой схеме, так что каждая глава посвящена именным конструкциям, проясняющим данный «слот» именного «фрейма».

Глава I

В ЗЕРКАЛЕ ГРАММАТИКИ: МЕРЕОЛОГИЯ И ТАКСОНОМИЯ

Введение

Материалом для данной главы служили в основном *грамматические формы* имен — падежные (родительный и творительный падежи), а также форма множественного числа. В этот же ряд мы включили и отыменные (относительные) прилагательные, имея в виду их тесную семантическую связь с генитивом (об особой близости отыменных прилагательных к генитиву см. также Копчевская-Тамм, Шмелев 1994, где эта проблема рассматривается преимущественно — но не исключительно — на материале притяжательных прилагательных). Подробное исследование семантики всех этих форм — и в особенности взаимодействия грамматического показателя со значением лексемы — позволяет уточнить таксономическую и мереологическую классификации предметных имен и, главное, указать пути построения таких классификаций.

Начнем с мереологии — тем более, что этот термин требует специальных пояснений.

Мереология — это та часть логики, которая описывает отношения между целым и его частями и множеством и его элементами (подробнее см. Bunt 1985; ср. также Булыгина, Шмелев 1997а: 193–194). Однако для понимания природы этих отношений чрезвычайно существенно, что они не присущи действительности как таковой, а вносятся человеческим разумом. Это человек «видит» объекты как объединенные в множества или расчлененные на части и соответствующим образом называет их. Самую причудливую абстрактную фигуру, нарисованную на бумаге, мы, как носители языка, будем считать «целым», нечленимым объектом, но у нарисованного дерева безошибочно выделим ствол, ветки и корни. Разгадка такой «непоследовательности» поведения носителей языка в том, что как полноценные части объекта воспринимаются только те его фрагменты, которые для данного объекта функционально значимы. Конечно, чисто логический, формальный подход к мереологическим отношениям эти

нюансы игнорирует — между тем, возможно, что именно они, а вовсе не отношения транзитивности, тождественности и др. составляют для человека суть мереологии, что и отражается в естественном языке.

Таким образом, естественный язык конструирует свою систему мереологических отношений, и для ее описания требуется *лингвистическая* мереология. Некоторые ее фрагменты, связанные прежде всего с отношением часть-целое, предлагаются в настоящей главе. Что касается языковых отношений элемент-множество, то их подробное описание и классификацию можно найти в работах О. Н. Ляшевской (ср., например, Ляшевская 1999). О. Н. Ляшевская обсуждает случаи нестандартной семантики субстантивного числа в русском языке и, в частности, подробно рассматривает проблему разграничения понятий «множество» и «совокупность». Мы рассмотрим мереологию множеств лишь отчасти — в § 4, и тоже в связи с семантикой форм множественного числа. Основное же внимание будет уделено мереологии частей.

В русском языке отношение часть-целое может быть выражено с помощью нескольких предложно-падежных конструкций, из которых основными являются:

Генитивная конструкция ($X\ Y-a$), ср.: *хобот слона, пальцы левой руки, аллеи сада*;

Конструкция с предлогом *у* ($X\ у\ Y-a$), ср.: *хобот у слона*;

Локативные конструкции (типа $X\ на / в\ Y-e$): *пальцы на руке, аллеи в саду*.

Мы позволили себе, сосредоточившись на проблемах мереологии, отвлечься от значения этих конструкций в целом и рассматривать ограничения на их употребление только в зоне 'часть-целое'. Под более общим углом зрения, предполагающим единство описания, конструкция с *у* анализируется в Крейдлин 1979, Селиверстова 1997, Мальяр, Селиверстова 1998, а конструкции генитивной конструкции классифицируются в Боршев, Кнорина 1990.

Центральной (в частности, и наиболее частотной) для выражения отношения часть-целое является, конечно, генитивная конструкция. При сопоставлении она может служить своеобразной «точкой отсчета» для остальных. В § 1 такое сопоставление проведено на материале частей тела. Там же вводится понятие *представимости* отношения часть-целое и *денотативной фиксированности* этого отношения.

В § 2 с генитивной сравнивается конструкция с предлогом *от* ($X\ от\ Y-a$, ср. *ручка от чашки*), которая в принципе также может быть

включена в приведенный выше ряд мереологических конструкций, с той лишь разницей, что она используется только для обозначения части, отделенной от целого. Сопоставление зон употребления генитивной и *от*-конструкций позволяет выявить еще одно важное мереологическое отношение — отношение **дополнительности**. Здесь же обсуждаются другие способы выразить отношение дополнительности — локативные конструкции, а также комитативная конструкция с предлогом *с* (*Х с Y-ом*, ср. *сад с <широкими> аллеями, чашка с ручкой*), которую можно считать инверсией к обычным мереологическим — так как в ней отношение часть-целое рассматривается не с точки зрения части, как это обычно бывает в мереологических конструкциях, а с точки зрения целого. В самом деле, в отличие, например, от генитивной или локативной конструкций, где ‘целое’ синтаксически зависимо от ‘части’, в комитативной конструкции, наоборот, синтаксически зависимым является имя со значением ‘часть’. Впрочем, как показано в § 3, именно такая инверсия — но только на семантическом уровне, т. е. уже без «синтаксической поддержки», — свойственна и конструкции с предлогом *у*.

Таким образом, наше исследование выявляет характеристики части и целого, существенные для мереологической системы русского языка.

§ 1. Проблема представимости отношения: части тела *

Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно.

Д. Хармс

Представим себе тело человека или животного. Будем мысленно последовательно делить его на части, имеющие названия в русском языке. Условимся, что каждый шаг деления принимается за ступень некоторой (пусть грубой) иерархии. Так, например, пальцы (большой, указательный, средний...) принадлежат одной и той же ступени иерархии, и при этом другой, чем рука (или нога). Выделенные последо-

* Первоначальный вариант опубликован в: Семиотика и информатика, 1989, вып. 30, с. 75–79.

вательно части тела образуют множество, из которого мы можем выбирать аргументы отношения часть-целое (' X является частью Y ').

Как уже было сказано, в русском языке это отношение может быть представлено по крайней мере тремя способами — конструкцией с родительным падежом (*хвост осла, ноготь мизинца*), конструкцией с предлогом *у* (*нос у майора Ковалева*) и конструкцией с предлогом *на* или *в* (*пальцы на руке*). При этом конструкция с родительным падежом выражает это отношение, так сказать, «в чистом виде», тогда как предлоги *у* и *на* (*в*) — с некоторыми семантическими добавками; в нашем случае это проявляется в тех дополнительных ограничениях на Y , которые свойственны двум последним конструкциям. Так, например, если X — часть тела, то Y в конструкции с предлогом *у* может быть только одушевленным, а в конструкции с предлогами *на/в* — только неодушевленным¹.

Условимся считать, что отношение часть-целое *представимо* в русском языке для данных X и Y , если оно может быть выражено хотя бы одним из указанных выше способов.

Возьмем некоторую часть X и будем для нее выбирать целое Y . Возникает вопрос, каким должен быть Y , чтобы данное отношение (для частей тела) было представимо.

Выясняется, что прежде всего должен существовать некоторый Z одной ступени иерархии с Y -м, такой, что X одновременно является частью как Y -а, так и Z -а. Если это условие не выполнено и X вступает в данное отношение только с Y -м, мы будем называть такое отношение **денотативно фиксированным**. Для того чтобы отношение часть-целое было представимо в русском языке, оно не должно быть денотативно фиксированным. Примеры представимого отношения: *ладонь / мизинец правой руки* (ср. *ладонь / мизинец левой руки*); *пятка / колено правой ноги* (ср. ... *левой ноги*); *мышцы спины* (ср. *мышцы шеи / живота*). Напротив, денотативно фиксированное отношение между частью и целым имеется у элементов пар: *ухо — голова*, *пупок — живот*, *глаз — лицо*, *пятка — нога*, *палец — конечность*, и т. д. Во всех этих случаях для части нет альтернативного целого: нельзя сказать **ухо головы*, так как ухо ничего другого не часть, точно так же, как *пупок* есть только на животе, *пятки* — только на ногах и т. д. (ср. **пупок живота*, **пятки ног*...). Легко видеть, что денотативная фиксирован-

¹ В общем случае (т. е. если не ограничиваться только частями тела) правила употребления этих предлогов несколько сложнее: в частности, предлог *у* в принципе может вводить и неодушевленное целое, ср. *спинка у стула*.

ность отношения часть-целое свойственна прежде всего уникальным частям, таким, как нос, хвост, вымя, лоб, спина, язык и т. п. Этим же свойством обладают и те парные части, для которых в языке не нашлось парных целых, ср. бок, ключица, почка, крыло, плечо, ухо, рука, нога, губа, висок и т. п. Представимыми для такого рода частей будут только отношения с целым-человеком или целым-животным, ср. *крыло орла, бок тельника, глаза прекрасной Елены* и т. д.

Результатом действия правила денотативной фиксированности может быть не только то, что некоторое целое не представимо по отношению к некоторым своим частям, но и то, что это целое не представимо по отношению к любым своим частям, т. е., собственно говоря, вообще не выступает в языке как целое. Ср., например, лексему *тело* в русском языке: в силу его денотативной фиксированности как второго аргумента отношения часть-целое, оно непредставимо как целое по отношению ни к какой из своих частей — рукам, ногам, спине, животу и т. п. (О кажемся исключением сочетания *кожа тела* см. непосредственно ниже.)

Итак денотативно фиксированное отношение часть-целое не представимо в русском языке, по крайней мере этого нельзя сделать с помощью генитивной конструкции². Что касается конструкций с *на*³, то они, помимо собственно отношения часть-целое, указывают местонахождение *X*-а по отношению к поверхности *Y*-а. Поэтому правило денотативной фиксированности для этих конструкций, на первый взгляд, работает не так жестко, как для генитивных конструкций, ср. допустимое *бакенбарды на его лице посидели*, при невозможном **бакенбарды его лица посидели*. Однако в действительности это объясняется не тем, что конструкции с *на* не подчиняются правилу, а тем, что локативное значение, выражаемое этим предлогом, добавляет противопоставлений там, где у значения чистого отношения часть-целое их не может быть. А именно: конструкции с *на* могут кодировать не только собственно отношение между частью *X* и целым *Y*, но и отношение между определенной частью *X*-а и *Y*-м, ср. *бакенбарды на (его) подбородке и щеках (посидели)*, но: **бакенбарды*

² Впрочем, в двух случаях, несмотря на очевидную денотативную фиксированность, наше правило все-таки нарушается: можно сказать *мочка уха и кисти рук*, хотя *мочка* есть только у уха, а *кисти* — только у рук. Представляется, однако, что в этих случаях название части тела — не *мочка* и *кисть*, а *мочка уха* и *кисть руки*.

³ Конструкций с *в* на материале частей тела можно построить всего несколько; во всех этих случаях правило денотативной фиксированности работает, ср., например, **жало (язык, зубы) во рту*.

подбородка / щек... Если бы генитивная конструкция оказалась в данном случае грамматически правильной, то ей должно было бы быть приписано не «партитивное» значение ('та часть бакенбард, которая принадлежит подбородку'), а значение типа 'бакенбарды, такие, что они принадлежат подбородку' (и, в силу правила денотативной фиксированности, сюда должен был бы «добавляться» имплицитный смысл 'есть еще и такие бакенбарды, которые принадлежат не подбородку, а другой части того же иерархического уровня').

Как видим, *X* в конструкции с родительным падежом денотативно отличается от *X* в конструкции с *на*: в первом случае это прагматически цельная, неделимая часть, качественно отличная от других. Этим объясняется сомнительность сочетаний типа ?*шерсть спины*, ?*мех головы*, ?*шкура лап*. В связи с последним примером интересно отметить, что в русском языке легко допустимо сочетание *кожа рук*. С точки зрения русского языка, шкура отличается от кожи, так сказать, по степени денотативной однородности. Кожа на руках — это особый объект (денотативно — только кожа кистей рук, а не, например, предплечья или локтя), противопоставленная коже на лице и коже на теле⁴, тогда как шкура зверя, по-видимому, представляет собой некоторое единое целое, качественно однородное. Ср. прагматически невыделенные и потому непредставимые ?*кожа ступни*, ?*кожа правого бока*, ?*кожа бедра*.

Последние примеры свидетельствуют о том, что выбор целого в представимых конструкциях, выражающих отношение часть-целое, может определяться не только правилом денотативной фиксированности, но и другими, также чисто языковыми ограничениями. Круг такого рода случаев можно расширить.

Представим себе нижнюю часть ноги. Она называется ступней. У нее есть пальцы, лодыжка, подошва, пятка. Совершенно ясно, что денотативно — это части ступни. Однако данные отношения не представимы в русском языке: ?*пальцы правой ступни*, ?*лодыжка правой ступни*... Точно так же непредставимо отношение между подошвой и пяткой: ?*пятка правой подошвы*. Все это, с точки зрения русского языка, части ноги, такие же, как колено, бедро, икра. По отношению к частям человеческой руки русский язык тоже устанавливает свою «иерархию», по которой оказывается, что палец и ладонь представимы не как части **кисти** руки, а только как равноправные с ней части **руки**.

⁴ Обратим внимание: кожа рук не является, таким образом, частью кожи тела — они противопоставлены как части одного уровня иерархии.

Итак, для того, чтобы русский язык «заметил» отношение между частью и целым — иными словами, чтобы это отношение было **представимо** в языке хотя бы какой-то конструкцией, необходимо, чтобы данное отношение не являлось **денотативно фиксированным**. Именно благодаря денотативной фиксированности некоторые объекты оказываются не представимы как целые по отношению ни к каким своим частям (*руки / *ноги / *спина / *живот... *тела*).

В то же время мы показали, что язык — помимо данного общего ограничения — использует и свою собственную иерархию объектов, и, согласно этой иерархии, некоторые «незаметные» ‘целые’ (вроде ступни или подошвы) попросту игнорируются и замещаются функционально более значимыми. Заметим, что если ограничения, связанные с денотативной фиксированностью, в принципе формализуемы и легко могут войти в логическую теорию мереологии, то эти случаи имеют принципиально иную природу и свидетельствуют о специфичности мереологии лингвистической.

§ 2. Части и дополнители *

1. Вводные замечания

Рассмотрим теперь генитивную конструкцию вида $X\ Y-a$, где X — любая часть, а Y — любое целое (ср. *ножка стула*) в паре с конструкцией с предлогом *от* вида $X\ от\ Y-a$ (ср. *ножка от стула*). В предложной конструкции, в отличие от генитивной, часть (X) интерпретируется как **отделенная** от целого (Y). Последнее при этом обычно понимается как уже не существующее — разбитое, разрушенное, уничтоженное или, по крайней мере, актуально изолированное от соответствующей части, ср. *мачта от корабля*, *ручка от двери* и т. п. Попробуем проделать мысленный эксперимент по преобразованию генитивных сочетаний в сочетания с предлогом *от* и, наоборот, сочетаний с *от* — в генитивные.

В результате прежде всего выделится очень большой класс пар лексем, допускающих обе конструкции, только в разных ситуациях. Если отношение часть-целое между объектами актуальное, «дей-

* Первоначальный вариант опубликован в: В. И. Беликов, Е. В. Муравенко, Н. В. Перцов (ред.). Знак: Сб. статей памяти А. Н. Журина. М.: Русск. уч. центр, 1994, 181–190 (в соавторстве с М. И. Воронцовой).

ствующее», то оно кодируется родительным, а если оно уже неактуально (в момент речи объекты изолированы друг от друга), то используется конструкция с *от*: *ножка [от] стула, мачта [от] корабля, воротник [от] пальто* и под.

Однако оказывается, что не всякая часть настолько независима от своего целого, что может существовать отдельно от него. Существуют, так сказать, «никогда не отторжимые» части, и в случае, если конструкция с родительным падежом содержит в качестве *X*-а такую часть, переход к конструкции с предлогом *от* неосуществим, ср. *край стола* ~ **край от стола*; *гребень холма* ~ **гребень от холма*; *угол комнаты* ~ **угол от комнаты*. Неотторжимость — это, безусловно, общая семантическая характеристика лексемы, обозначающей часть. Она отражает специальный вид отношений между частью и целым, который должен обязательно фиксироваться в лексикографическом описании. Противопоставление отторжимых и неотторжимых частей проявляется особенно наглядно на материале частей тела. На первый взгляд, правда, части тела вообще с трудом осмысляются как отторжимые от одушевленных объектов, ср. **рука от Иванова*. Однако как только речь заходит о куклах и плюшевых медведях, *рука от куклы Киры* и *ухо от медведя* становятся абсолютно приемлемы. С другой стороны, такие части тела, как *локоть, лоб, спина, колено* оказываются не отторжимыми ни при каких обстоятельствах, ср. **локоть от Машиной куклы*, **лоб от мишки* и под. Очевидно, что это чисто языковая «неотторжимость» — в действительности, можно, конечно, отделить и эти части от целого.

Естественно, что совершенно противоположный полюс в отношениях между *X* и *Y* означал бы полную независимость этих объектов друг от друга, а значит отсутствие отношения часть-целое и, ввиду этого, неприменимость обеих конструкций, ср. примеры типа **Солнце Луны* / **Солнце от Луны*. С точки зрения лингвистической мереологии такая ситуация «неинтересна». Гораздо интереснее случаи, когда, при запрете на родительный, конструкция с *от* все же возможна. Это означает, что, хотя *X* и *Y* связаны между собой, они независимы — но ровно настолько, что конструкция *X от Y* не предполагает обязательного разрушения (или отсутствия) *Y*. Ср. *ключ от шкафа, наволочка от подушки, пояс от пальто*. Конечно, такие *X* и *Y* не могут выступать в конструкции с родительным падежом (**ключ шкафа, *наволочка подушки*) — это вполне естественно, поскольку они не связаны отношением часть-целое: ключ — не часть шкафа, наволочка —

не часть подушки и т. д., каждый раз это два отдельных предмета. Между тем, такие лексемы, безусловно, связаны друг с другом определенным отношением. Мы будем называть его отношением *дополнительности*. Отношение дополнительнойности не симметрично. Его первый член — дополнительный — точно так же, как и в отношении часть-целое, обозначает объект, второстепенный по отношению к объекту, обозначаемому вторым членом отношения: блюдец дополняет чашку (но не наоборот), галоши дополняют валенки (а не валенки — галоши), ключ — дополнительный по отношению к шкафу (обратное — не верно)⁵.

О психолингвистической релевантности отношений дополнительнойности и близких к ним см. Фрумкина, Мостовая 1988, Фрумкина и др. 1991. Ср. также близкое (хотя и не тождественное) понятие относительной неотчуждаемости, введенное в Головачева 1986: «Относительно неотчуждаемые R мыслятся как элементы PS <посессивного отношения — E.P.>, присущие ему с большой степенью вероятности, но не как необходимые его элементы. Это в первую очередь одушевленные R релятивной семантики, некоторые отрастающие части тела (борода, усы), предметы личного обихода, а также факкультативные элементы неодушевленных объектов, например, тумба (стола)» [Головачева 1986: 198].

Итак, если неотторжимые части максимально жестко связаны со своим целым, могут входить в генитивную конструкцию и не допускают конструкции с предлогом *от*, то дополнители, напротив, с семантической точки зрения наиболее независимы по отношению к связанной с ними лексеме; соответственно, они легко допускают конструкцию с *от* и не могут входить в генитивную конструкцию. Между дополнителями и частями (если представлять себе некоторую иерархию степени связанности двух объектов) находится большой промежуточный класс «отторжимых» частей, более или менее свободно допускающих как конструкцию с *от*, так и генитивную конструкцию. Между такими частями и дополнителями нет того, что называется «жесткой границей»: легко отторжимые части могут функционировать отдельно от своего целого, переходя в класс дополнителей. Такие пары допускают и генитивную конструкцию, и конструкцию с предлогом *от*, не предполагающую в этом случае обязательного разрушения Y, ср. *пуговица пальто / пуговица от пальто*.

⁵ В некоторых парах эти роли могут меняться, ср. пару *нитка — иголка*; но и здесь более обычным все же является сочетание *нитка от иголки*. Впрочем, такие случаи очень редки.

Таким образом, мы ввели отношение дополнительности. Оно связывает лексемы, обозначающие разные, но не абсолютно независимые друг от друга объекты, и связь эта с семантической и синтаксической точек зрения кажется похожей на ту, которая имеется между членами пары часть-целое. Ниже мы покажем, что в контексте некоторых предложно-падежных конструкций поведение пар часть-целое и дополнительность-дополняемое полностью сходно.

2. Конструкция с предлогом с

2.1. Общая характеристика Прежде чем перейти к описанию особенностей поведения частей и дополнителей в конструкции с предлогом с, необходимо сказать несколько слов о самой этой конструкции.

Предлог с соединяет предметные имена в конструкции X с Y -ом⁶, интерпретирующейся как сопутствие (соположение) двух неравноправных объектов: Y сопутствует (соположен) X -у, ср. *васильки с ромашками*, *Алексей Петрович с женой*, *человек с ружьем*, *ваза с цветами*, *компот с черносливом*. Уже из приведенных здесь примеров видно, что простое соположение — т. е. наличие одновременно в одном и том же месте двух предметов, как в случае *васильки с ромашками* (прагматически асимметричная конъюнкция), — имеет место далеко не для всякой пары X и Y . Для интерпретации этой конструкции (как, впрочем, и других предложно-падежных конструкций с предметными именами) решающее значение имеет семантика входящих в нее лексем X и Y . В частности, оказывается, что если X — лицо, а Y — независимый от X неодушевленный объект, размером меньший, чем X , то сочетание X с Y -ом интерпретируется как ‘человек X , держащий [в руках или в руке] Y ’ (ср. *мужчина с газетой*). В случае, если Y — тоже, как и X , одушевленное, имеет место простое соположение: *Иван Иванович с Иваном Никифоровичем* (\approx ‘Иван Иванович и Иван Никифорович’)⁷. Если X — вместилище, т. е. в нем имеется углубление, сопоставимое с X -ом по размеру, то X с Y -ом интерпретируется как ‘ X , в

⁶ Предлог с входит также в конструкцию X с Y -а, с родительным падежом лексемы Y , ср. *скатерть со стола*; в настоящем разделе эта конструкция не рассматривается (ее анализу посвящена статья Агафонова 2000).

⁷ Ср. «промежуточный» случай: X и Y одушевленные, но Y меньшего размера (*женщина с ребенком*, *дама с собачкой*), который может интерпретироваться и как простое соположение (*женщина и ребенок*, *дама и собачка*), и как ‘лицо X , держащее в руках Y ’ (*женщина с ребенком на руках*; *дама, на руках у которой — собачка*).

углублении которого находится *Y*: *ваза с цветами, корзина с словыми шишками* и т. п. Если же *Y* значительно превосходит по своим размерам *X* (и углубление в *X*-е), то *X* с *Y*-ом может пониматься как ‘изображение *Y*-а на внешней поверхности *X*-а’, ср. *чашка со слоненком*.

Перебирая таким образом варианты интерпретации конструкции *X* с *Y*-ом, мы заполняем своеобразную таблицу с двумя входами: семантические характеристики *X*-а и семантические характеристики *Y*-а. На пересечении строк этой таблицы оказывается интерпретация конструкции *X* с *Y*-ом.

Несмотря на некоторую внешнюю громоздкость, такого рода таблица не будет содержать «лишней» информации — она отражает тот факт, что для некоторых групп предметов сопутствие или соположение двух объектов осуществляется некоторым стандартным способом — для двух предметов, один из которых имеет выемку, естественно «вкладывание» одного в другой, для двух предметов, имеющих поверхности, — положение одного сверху другого, для веществ — смеси; естественное отношение между человеком и небольшой вещью — чтобы человек держал ее в руках и т. д. Но для того, чтобы смоделировать эти естественные способы соположения, необходимо выделить признаки предметных лексем, существенные для правильной интерпретации таких конструкций. Эти признаки неизбежно оказываются лексикографически значимыми — так, при описании формы того или иного предмета необходимо указывать, является ли он вместилищем⁸.

Наша таблица работает — если мы выберем произвольную лексику, то зная ее семантические характеристики, мы сможем предсказать интерпретацию конструкции с предлогом *с*. И только в одной зоне предметных имен эта таблица дает сбой — а именно, в зоне частей—целых и дополнителей.

2.2. Части и дополнители в конструкции с предлогом *с*

Возьмем, например, сочетание *милиционер с усами*. Согласно нашему правилу, мы должны рассматривать его как ‘лицо, держащее в руках небольшой неодушевленный предмет’, однако такая интерпретация совершенно несостоятельна. То же для сочетания *валенки с галошами* или *чашка с блюдцем*. Валенки и чашка, конечно, являются вместилищами (ср. *валенки с носками*, где носки находятся

⁸ Признак ‘быть вместилищем’ необходим и для описания других предложных конструкций, в частности, конструкций с предлогом *от* и *из-под*.

внутри валенок), но в данном случае интерпретация ‘валенки, внутри которых находятся галоши’ также абсолютно неприемлема. Ср. другие примеры частей и дополнителей в конструкции *X с Y-ом*, также не дающие «табличной» интерпретации: *лампа с абажуром, дом с трубой (с аркой, с балконом), забор с воротами, стол с ящиками, кольцо с жемчугом (с бриллиантами), шаль с каймой, брюки с карманами, зверь с когтями, корабль с мачтой, часы с маятником, велосипед с мотором, корова с рогами*⁹, ср. также: *платье с бантом, фуражка с гербом, иголка с ниткой, наволочка с меткой, пистолет с кобурой, собака с ошейником, молоко с пенкой, бутылка с пробкой, бутылка с этикеткой* и др.

Нестандартность поведения частей и дополнителей в конструкции *X с Y-ом* легко объясняется. Дело в том, что для пар, связанных отношением часть-целое или отношением дополнительности, «естественное» соположение заранее задано, фиксировано, и при этом для каждой пары — индивидуально. Известно место трубы как части дома, жестко задано положение камня на кольце, рогов на корове и т. п. То же для дополнителей — один предмет дополняет другой, функционируя вместе с ним, поэтому их взаимоотношения также определены и фиксированы — нитка продета в иголку, пробка торчит из горлышка бутылки, ошейник закреплен на шее собаки, и т. д. Конструкция *X с Y-ом* для частей и дополнителей интерпретируется так, чтобы соответствующие пары предметов (часть-целое и дополнительное-дополняемое) находились в естественном для себя «рабочем» состоянии. Верно и обратное: нестандартность, лексикализованность такого состояния для *X* и *Y* позволяет относить их к разряду частей или дополнителей. Так, безусловно нестандартна интерпретация сочетаний *мужчина с сигаретой* (только *во рту*), *человек с орденом* (не *в руках*, а *на груди*), *ребенок с градусником* / *с грелкой*, *дама с браслетом*. Обратим внимание, что диагностический контекст для дополнителей с предлогом *от* не работает в случаях одушевленного дополняемого, как в приведенных выше примерах (**сигарета от мужчины*).

⁹ В конструкции *X с Y-ом* выступает не всякая часть целого, а только нетривиальная — т. е. та, которая не обязательна для данного целого, ср. невозможность этой конструкции с тривиальной частью: **дерево со стволом, *река с берегами* и под. В подобных случаях возможна лишь такая интерпретация конструкции, согласно которой *Y*, тривиальная часть *X-а*, как-то маркирован, чем-то отличается от обычных, ср. *мужик с руками* (= ‘умелыми руками’), *человек с головой* (= ‘умной головой’), и т. п., ср. Журинская 1979. Механизм такого рода семантических сдвигов прослежен в Плунгян 1983 на примере русских производных прилагательных типа *носовой, горбатый, крылатый* и т. п.

Поэтому в данном случае диагностическим будет контекст конструкции с предлогом *с*.

Впрочем, контекст конструкции с предлогом *с*, точно так же, как и контекст конструкции с предлогом *от*, не всегда оказывается диагностическим. Так, например, все предметы одежды, которые в первую очередь, конечно, претендуют на роль дополнителей, тем не менее, в конструкции с предлогом *с* ведут себя стандартно: *мужчина с брюками* интерпретируется совершенно так же, как *мужчина с газетой*: ‘мужчина держит в руках брюки (газету)’. Для того, чтобы одежда оказалась «в рабочем состоянии» (т. е. была надета), необходима конструкция с предлогом *в* — *мужчина в брюках, дама в соболях* и т. п. Украшения (кольца, бусы, серьги), будучи, безусловно, дополнителями, ведут себя точно так же, как одежда, и не так, как *браслет, значок* или *орден* (ср. приведенные выше примеры). Интересно, что так же, как одежда (и украшения) ведет себя и лексема *очки*, ср. *мальчик с очками* (‘в руках’) ~ *мальчик в очках*. Модель поведения лексемы *очки*, как видим, отлична от модели поведения лексем *трубка, сигарета* или *орден*.

Итак, конструкция с предлогом *с* обнаруживает нетривиальность (и вместе с тем тождественность) семантического поведения частей и дополнителей. Перейдем теперь к рассмотрению конструкции с предлогом *на*.

3. Конструкция с предлогом *на*

Таблица, интерпретирующая сочетание *X на Y*, распадается на две части — ту, где для понимания конструкции существенно наличие у *X* и *Y* поверхностей, способных находиться в контакте, и ту, где важна конфигурация *Y*, способного держать *X* в равновесии (на весу). Эти две части таблицы мы назовем условно *на-контакта* и *на-поддержки* и будем рассматривать последовательно, объединяя их при этом в одно значение предлога *на*, точно так же, как мы объединяли разные строки и столбцы таблицы, иллюстрирующей поведение предлога *с*.

3.1. На-контакта Так же, как и в предыдущем разделе, прежде чем перейти к исследованию поведения в конструкции частей и дополнителей, изложим некоторые общие принципы самой этой конструкции.

При описании предметных имен, их формы и размеров необходимо указывать верхние, нижние и вертикальные поверхности предмета, способные служить опорой. Так, для лексемы *стол* верхней опорной поверхностью является наружная поверхность крышки сто-

ла, а нижней поверхностью — нижние поверхности ножек. Основной верхней опорной поверхностью стула является, безусловно, сиденье, хотя и у спинки есть своя верхняя поверхность. Информация об имеющихся у предмета поверхностях обязательна: для понимания естественно-языковых текстов необходимо, например, знать, что трава образует горизонтальную верхнюю поверхность, что человек может не только стоять (опираясь на ступни) и сидеть, но и стоять на коленях, и у него, таким образом, можно выделить по крайней мере три нижних опорных поверхности. Если для каждого имени вся такого рода информация известна, то строить и интерпретировать конструкции *Х на Y-е* с *на*-опоры нетрудно: *Х на Y-е* будет обозначать в этом случае такое расположение двух предметов, при котором одна из опорных поверхностей *Х*-а соприкасается с опорной поверхностью *Y*-а.

При этом соприкасающиеся поверхности осмысляются как неравноправные — поверхность *Y*-а выше рангом в некоторой иерархии (т. е. больше, прочнее, устойчивее), чем поверхность *Х*-а. (Ср. здесь противопоставление фона и фигуры у Л. Талми — подробнее см. Приложение.) Выбор же соприкасающихся поверхностей при интерпретации сочетания *Х на Y-е* осуществляется по, так сказать, правилу геометрического согласования. Наиболее естественны случаи, когда выбирается нижняя поверхность *Х*-а и верхняя поверхность *Y*-а, ср. *чашка на столе*, *корова на лугу* и под. Легко интерпретировать и случаи, когда у *Х*-а — опорная поверхность верхняя, а у *Y*-а — нижняя (*люстра на потолке*) или когда обе соприкасающиеся поверхности — вертикальные (*афиша на стене*). Если же опорные поверхности расположены неудачно с геометрической точки зрения — например, вертикальная у *Х*-а и верхняя у *Y*-а, или обе поверхности нижние, то в интерпретационной картинке предмет, обозначаемый *Х*-ом, как менее устойчивый и более мобильный, поворачивается так, чтобы стало возможно соприкосновение его опорной поверхности с поверхностью *Y*-а: ср. *муха на потолке* — предмет, обозначаемый *Х*-ом, поворачивается так, что его опорная нижняя поверхность становится верхней¹⁰.

¹⁰ В случае, если такой поворот *Х* трудноосуществим (в особенности, если опорная поверхность *Y*-а — боковая), *Х на Y-е* может интерпретироваться как ‘изображение *Х* на опорной поверхности *Y*-а’, ср. *домик на стене*, *корова на заборе* и под. Такая интерпретация, вообще говоря, допускается и в других клетках таблицы, ср. *цветы на скатерти* <вышиты>.

Соответствующий фрагмент таблицы для интерпретации сочетания *X на Y-е* может выглядеть следующим образом:

$X \backslash Y$	нижняя горизонтальная	верхняя горизонтальная	вертикальная
нижняя горизонтальная	(поворот) <i>муха на потолке</i>	<i>чашка на столе</i>	(изображение)
верхняя горизонтальная	<i>люстра на потолке</i>	см. Примечание	(изображение)
вертикальная	(поворот) <i>обои на потолке</i>		(поворот) <i>афиша на стене</i>

Примечание к таблице

Для этой клетки таблицы трудно подобрать такой пример, где у *X*-а была бы только одна верхняя поверхность. Обычно наряду с этой поверхностью есть еще какая-то, и в качестве соприкасающейся с *Y*-ом выбирается именно она, ср. *коврик на полу* или *облако на утесе*, где у *X*-а две опорные поверхности — нижняя и верхняя. По правилу геометрического согласования выбирается первая, а не вторая.

Приведенный фрагмент таблицы описывает только сочетания независимых друг от друга лексем с предлогом *на*. Если же *X* и *Y* связаны отношением часть-целое или отношением дополнительности, изложенные выше правила интерпретации конструкции с *на*-контакта не соблюдаются. Ср. *грива на лошади*, *копыто на правой ноге*, *абажур на лампе*, *булавка на галстуке* и т. д. Действительно, если *X* часть или дополнение *Y*-а, то их соприкасающиеся поверхности заранее фиксированы, как фиксировано взаимное расположение предметов. Конструкция с *на*, таким образом, в этих случаях призвана не выделять соприкасающиеся поверхности, а просто указывать на актуальную (т. е. имеющую место в данный момент времени) связанность двух объектов. Соотношение *X* и *Y* при этом остается таким же, как и в ядерных случаях *на*-контакта: *X* ниже *Y*-а по иерархии, следовательно, *X* — часть (дополнитель), а *Y* — целое (дополняемое). Заметим, что в случае, если это соотношение нарушается, т. е. *X* становится целым (дополняемым), а *Y* — частью (дополнителем), конструкция теряет идиоматичность и интерпретируется согласно таблице для *на*-контакта¹¹, ср. *наволочка на подушке* (наволочка — дополнение, интер-

¹¹ В этом случае она может также быть отнесена в клетку другой части таблицы, а именно, в зону *на*-поддержки (ср. *платье на бретельках*) — см. подробнее следующий раздел.

претация нестандартная) — *подушка на наволочке* (интерпретация по таблице, см. клетку «чашка на столе»).

Примеры нестандартной интерпретации конструкции *X на Y-е* (*на-опоры*) для частей и дополнителей: *шнурки на ботинках, браслет на руке, балконы на здании, игла на швейной машине, галоши на валенках, вешалка на пальто, герб на фуражке, замок на двери, вывеска на ларьке, пояс на платье, шнур на телефоне, кран на плите, кольцо на двери* и др.

3.2. На-поддержки Для интерпретации конструкции *X на Y-е* в зоне *на-поддержки* существенны главным образом геометрические характеристики *Y-а*. *Y* должен обозначать «нитеобразный» предмет (веревка, нить, проволока, канат и т. д.) или кронштейн (гвоздь, крюк, шип...) — т. е. такой, за который может держаться предмет *X*, находясь в равновесии. Ср. *ключ на гвозде, свиная туша на крюке, зуб на ниточке, матрос на канате*¹² и др. Таким образом, *X* здесь обозначает такой предмет, который держится (находится в рабочем состоянии) за счет *Y*. Здесь, безусловно, основным, главенствующим в паре является *X*. Поэтому в тех случаях, когда *X* и *Y* связаны отношением часть-целое или отношением дополнительности, целое или дополняемое оказываются на месте *X*, а часть или дополнительный — на месте *Y*. В этих случаях конструкция *X на Y-е* вводит для *X* ту часть или тот дополнительный *Y*, которые поддерживают *X*, за счет которых *X* находится в рабочем состоянии.

Примеры конструкции *X на Y-е* (*на-поддержки*), содержащей части или дополнители: *туфли на каблучке, платье на кнопках, рубашка на пуговицах, трактор на колесах, рюкзак на лямках, медведь на задних лапах, галстук на булавке, пальто на вешалке, дверь на замке (крюке, задвижке), юбка на застёжке*.

4. Выводы

Рассмотренные конструкции — генитивная (*ручка двери*), с предлогом *от* (*ручка от двери*), с предлогом *с* (*дверь с ручкой*) и локативные (*ручка на двери*) — позволяют реконструировать наивную клас-

¹² Обратим внимание, что матрос должен в этом случае висеть, держась за канат (канат может быть расположен как горизонтально, так и вертикально). В случае, если матрос идет по канату (ср. *дама на проволоке*), мы интерпретируем *X на Y-е* в зоне *на-контакта*, а не *на-поддержки*: горизонтально протянутый канат, безусловно, имеет верхнюю поверхность, а ступни матроса или дамы представляют собой нижнюю поверхность.

сификацию предметов по степени их членимости, или, если угодно, отторжимости. В этой классификации три основных группы. Есть **неотторжимые части**, для которых годится только генитивная конструкция, ср. *угол стола*, но не **угол от стола* или **угол на столе*. Есть просто части целого — как *ручка двери*, с которыми возможна и генитивная, и локативная конструкция и которые в произвольный момент могут быть отторгнуты от своего целого, и тогда отношение между этой частью и целым будет выражаться конструкцией с *от*. Наконец, в языке выделяется еще одно отношение, которое названо отношением **дополнительности**. Мы показали, что хотя это отношение и связывает **разные** объекты, оно, тем не менее, воспринимается носителями языка как безусловно входящее в мереологическую систему.

§ 3. Отношение часть–целое и коммуникативная организация*

1. Предлог *у* и беспредложный генитив

Рассмотрим предлог *у* в тех его употреблении, которые выражают отношение часть–целое в именных конструкциях вида $X \text{ у } Y\text{-}a <P>$ (ср.: *правое колено у Маргариты распухло*).

Вообще говоря, сам факт, что объект ‘*X*’ является частью объекта ‘*Y*’, недостаточен для того, чтобы конструкция $X \text{ у } Y\text{-}a$ была допустима в русском языке. Известны случаи, когда отношение часть–целое не представимо с помощью данной конструкции, и говорящий должен использовать другие средства для его выражения. Так, возможно сочетание *ломать хлеба*, но невозможно **ломать у хлеба*, *осколок зеркала* (**у зеркала*), *палец руки* (**у руки*) и др. подобные. Эти запреты, как легко показать, связаны с семантическими ограничениями на *X* или *Y*. В частности, сочетания $X \text{ у } Y$ с трудом допустимы, если наряду с ‘*X*’ и ‘*Y*’ существует третий объект ‘*Z*’, частью которого является ‘*Y*’ (ср.: ?*ноготь у пальца* <*руки*>, ?*палец у руки* <*присяжного поверенного*>). Далее, *X* в сочетании $X \text{ у } Y$ не может обозначать такую часть, которая уже не составляет с *Y* единого целого — именно поэтому конструкция с *у* не употребляется в случаях типа *ломать хлеба* или *осколок зеркала*. Иными словами, предлог *у* может соединять толь-

* Первоначальный вариант опубликован в: НТИ, сер. 2, 1992, № 6, 27–30.

ко «настоящую часть» с «настоящим целым», не сочетаясь с обозначениями «промежуточных» или «изолированных» частей.

Изложенные правила достаточно просты и, с точки зрения практики лексикографии, имеют вполне традиционную природу., ср. Крейдлин 1979. Хотелось бы только, чтобы, при наличии ограничений на сочетаемость семантического характера, толкование лексемы давало бы возможность непосредственно выводить эти ограничения из ее семантики.

Более детальное исследование конструкций с *у* обнаруживает, однако, существование правил, в гораздо меньшей степени поддающихся традиционной технике описания. Речь идет о правилах принципиально иной природы, а именно — касающихся контекста употребления нашей конструкции. Например, в русском языке недопустимо **Рука у Ивана Ивановича белела*, но возможно: *Рука у Ивана Ивановича все время вздрагивала*. Получается, что одно и то же в этих двух случаях отношение часть-целое в том контексте, который задает первый пример, нельзя выразить с помощью конструкции с *у*, а в том контексте, который задает второй пример, — можно. С точки зрения лексикографа, правила, регулирующие такого рода запреты, должны быть странной природы: в зависимости от того, **что** говорится про отношение часть-целое, носителю языка приходится выбирать способ поверхностного выражения этого отношения: с помощью лексемы *у* или без нее.

Действительно, природу отношения часть-целое не может изменить никакой контекст, никакая внешняя ситуация — то, что было частью, останется частью. И все-таки, по-видимому, в значении нашей конструкции имеется компонент, который делает ее употребление зависящим от контекста. Какой же? С нашей точки зрения, это прагматический, или коммуникативный аспект восприятия отношения часть-целое. Гипотеза состоит в том, что отношение часть-целое может быть «прочитано» как с точки зрения *части* ('*X* принадлежит *Y-y*'), так и с точки зрения *целого* ('*Y* включает *X*'). В первом случае прагматически выделенным, коммуникативно значимым компонентом будет часть — и такого рода случаи оформляются в русском языке генитивной конструкцией; во втором случае таковым будет целое — эти случаи как раз и оформляются конструкцией с *у* ¹³.

¹³ Ср. в связи с этим также Крейдлин 1979 и в особенности статью Мельчук, Иорданская 1995, о которой см. также ниже. Мы не имеем возможности рассмотреть здесь другие подходы к описанию конструкций с предлогом *у*, не связанные

Итак, конструкция с *у*, помимо того, что она обозначает отношение часть–целое, *ориентирована на целое*. Если принять эту гипотезу, то оказываются более мотивированными те ограничения на *X* и *Y*, о которых мы упоминали в начале. В самом деле, прагматический акцент на целом означает, что, с одной стороны, такое целое не может одновременно рассматриваться как часть (это предполагало бы изменение его прагматического статуса), а с другой стороны, данная именная конструкция не может описывать «ущербные», «нецелые» целые, лишенные каких-то своих существенных частей.

Понятно, что неименные конструкции, на которые обращается внимание в Мельчук, Иорданская 1995: 155, типа *Этот зуб у ребенка был удален...* (= *удален у ребенка*) могут иметь другое устройство. Вместе с тем, то, что наше правило о «нецелых» целых имеет коммуникативную, а не чисто семантическую природу, делает его менее жестким: теоретически, в определенной прагматической ситуации, могут найтись такие уже отторгнутые части, которые будут интересны говорящему только тем, что характеризуют существующее без них целое — и конструкция с *у* будет приемлема. Ближе всего к этому случаю пример *Волосы у нее выпали* (= «она лысая»).

Представляется, что именно «коммуникативная» гипотеза способна объяснить те ограничения на употребление *у*, которые связаны с контекстом. Дело в том, что в примерах такого рода возникает своеобразное согласование коммуникативных акцентов: лексикографически значимых, т. е. *внутрилексемных*, и тех, которые присущи в целом *предложению* с данной лексемой. Коммуникативно значимым для лексикографического описания лексемы *у*, как мы говорили, будет целое — тем самым, контекст употребления конструкции *X у Y-a* должен быть таков, чтобы предикат, являющийся коммуникативным центром высказывания в целом и подчиняющий конструкцию с *у*, характеризовал бы *Y*, а не *X*. Ср. генитивную конструкцию типа *X Y-a*, в которой коммуникативно значимым компонентом является часть — т. е. не *Y*, а *X*. Эта конструкция в точности соблюдает данное правило: в предложении *Рука Ивана Ивановича белела <на фоне стены>* предикат *белеть* характеризует руку, а не ее владельца.

Ситуация с *у* по сравнению с генитивной конструкцией осложняется тем, что синтаксически в предложении вида *X у Y-a Р* предикат *Р* должен относиться не к *Y*, а к *X*, так как именно *X* является здесь подлежащим. Таким образом, чтобы предложение стало пра-

прямо с коммуникативной организацией текста (см., например Маляр, Селиверстова 1998, Селиверстова 2004, Вайс 2004 или Кибрик и др. 2006).

вильным и с точки зрения семантики, и с точки зрения синтаксиса, говорящий должен пойти на компромисс — выбрать такой предикат, который, даже будучи синтаксически связанным с *X*-ом (т. е. с частью) и, тем самым, приписывая *X*-у некоторое свойство, вместе с тем семантически характеризовал бы *Y* как коммуникативно выделенный компонент именной группы *X* у *Y*-а. Таким свойством, безусловно, обладает предикат *вздрагивать*: сочетание *рука вздрагивала* описывает состояние части <тела> и в то же время целого — посессора этой части тела. Таковы же и все так называемые предикаты локализованного состояния (Рахилина 1990: 89–90) — например, *гнуться, пачкаться, гнить, ломаться* и др. Определяющим их свойством является следующее: то, что они сообщают про какую-то часть объекта, верно и для объекта в целом. Если сломалась ножка стула, можно сказать, что сломался стул; если есть пятно на манжете, можно сказать, что запачкалось платье. (Напротив, если, например, *X* купил ручку двери, нельзя сказать, что *X* купил дверь.) Понятно, что все глаголы локализованного состояния представляют собой удачный контекст для конструкций с *у* — ср.: *ножка у стула сломана, подол у платья запачкался*, и т. п. Очевидно и то, почему контекст глагола *белеть*, напротив, оказывается в этом случае неудовлетворительным. Таким образом, мы видим, что толкование лексемы *у* (если мы хотим, чтобы оно отражало все особенности поведения этой лексемы) должно содержать пометы о различном «коммуникативном весе» отдельных его фрагментов.

2. Коммуникативная организация лексемы и сочетаемость

В целом сходное решение предлагается в работе Мельчук, Иорданская 1995, где конструкция с *у* рассматривается как посессивная, причем посессор (в нашем случае — ‘целое’) предлагается считать обязательно **фокализованным**, салиентным¹⁴. Между тем, с нашей точки зрения, данный коммуникативный эффект в конструкции с *у* вернее представлять не как уникальное свойство данной конкретной кон-

¹⁴ Обратить внимание, что, тем не менее, некоторые примеры, с нашей точки зрения безупречно вкладывающиеся в коммуникативную гипотезу описания *у*, в Мельчук, Иорданская 1995 признаются фразеологизованными, т. е. необъяснимыми. Ср. с. 141: *Сердце у Маши / *Маша оборвалось* (фокусируется Маша) или: *Тело Маши / *у Маши сотрясало от рыданий* (описываются движения тела, которые Маша не контролирует, поэтому возможен только генитив).

струкции¹⁵, требующее специальных средств описания, а как проявление гораздо более общего языкового феномена — принципиального коммуникативного неравноправия элементов смысла внутри языковой единицы. Нам представляется, что этот феномен играет существенную роль и в объяснении многих других языковых фактов — причем фактов на первый взгляд различной природы. Кратко перечислим некоторые из них.

Атрибутивные конструкции Аномальность (или, по крайней мере, семантическая нестандартность) атрибутивных конструкций типа *уточенный агроном* или *глубокая брошюра* вызывается рассогласованием коммуникативно выделенных компонентов существительного и конструкции в целом. Действительно, прилагательное, будучи коммуникативным центром конструкции, воздействует как некоторый семантический оператор на коммуникативно наиболее значимую часть смысла существительного. Для существительного *брошюра* таковой оказывается информация о внешних характеристиках издания (ср. нормальное: *потрепанная / голубая брошюра*), тогда как прилагательное *глубокий* предполагает апелляцию к его содержательным свойствам (ср.: *глубокая статья / глубокое сочинение*).

Наречия Сказанное выше о сочетаниях прилагательного и существительного может быть с соответствующими изменениями отнесено и к сочетаниям наречия и глагола, — ср., в частности, *быстро одевал*, но **быстро кутал*; *энергично расхаживал по комнате*, но **энергично мельтешил по комнате* (другие примеры того же рода приводятся в работах Филипенко 1994, 1998 и 2003, а также Падучева 1998, 2004). Так, в семантике слова *мельтешить* нет компонента, противоречащего семантике *энергично* — более того, в обоих словах имеется общий семантический компонент ‘интенсивно’. Запрет на их сочетаемость объясняется именно рассогласованием их внутренних (лексикографических) коммуникативных

¹⁵ В статье Вайс 1999 с привлечением диалектных данных прослеживается любопытная картина своеобразного семантического развития конструкции с *у*, в результате которого она превращается в пассивную с агентивным дополнением (ср. *У кого здесь налито?* в значении ‘Кем здесь налито?’). По-видимому, именно обязательный коммуникативный акцент на посессоре / целом служит причиной для такого развития, давая исходный толчок к постепенному приобретению этим аргументом агентивного статуса.

центров: говорящий, выбирающий лексему *энергично*, должен иметь коммуникативный замысел, полностью отличный от замысла говорящего, выбирающего лексему *мельтешить*.

Проблемы номинации

Уже из рассмотренных примеров видно, что проблема согласованности (или несогласованности) внутренних коммуникативных центров лексем и их сочетаний тесным образом связана с проблемой лексического выбора говорящих — иными словами, с той областью, которую принято относить к проблемам номинации. Действительно, многочисленные наблюдения над парадоксами сочетаемости лексических единиц (ср. хотя бы комический эффект, возникающий в известном примере из М. А. Булгакова *Напившись, литераторы <...> начали икать*, см., например, Крейдлин 1982) очевидным образом подчиняются той же логике; сходные примеры рассматриваются и А. Вежбицкой (Wierzbicka 1988: 474). Существенно при этом, что речь не идет о простой необходимости дублировать какие-то семы в составе, например, предложения (ср., в частности, Апресян 1974: 13 и след.; Арутюнова 1977, Крейдлин 1982; ср. также Кронгауз 1989а, где эти проблемы рассматриваются с другой точки зрения); идея «дублирования» (вообще говоря, справедливая) возникает скорее при подходе, ориентированном на анализ уже готового текста и в особенности на проблему разрешения семантической неоднозначности (выбор наиболее предпочтительной интерпретации многозначных лексем в примерах типа *Кондитер жарит хворост* — Ю. Д. Апресян, или *Учитель взял журнал и вошел в класс* — Г. Е. Крейдлин). В целом же (т. е. с учетом не только анализа, но и синтеза текста) описание явлений такого рода должно, с нашей точки зрения, опираться на более сложные прагматические правила согласования коммуникативных центров у составляющих высказывания — ср. разбиравшийся выше пример с наречием *энергично*, где дублирование семы само по себе никак не поддерживает правильность конструкции, ср. в этой связи Булыгина 1980: 34–39.

Вопросительные конструкции

Проблема выбора говорящим той, а не иной языковой единицы известна как одна из главных в проблематике вопросов с вопросительными словами. В принципе, способ ответа на такие вопросы определяется семантикой той лексемы, которая попадает в сферу действия вопросительного слова — а именно, набором ее семантических валентностей

(подробнее об этом см. в Крейдлин, Рахилина 1984 и Рахилина 1990). Так, отвечая на вопрос *Какими проблемами занимается ваша лаборатория?*, говорящий должен заполнить свободную валентность имени *проблемы*, и этим объясняется тот факт, что правильным ответом на подобные вопросы будет только ответ о *содержании* проблем, а не вообще о какой-то их признаковой характеристике (ср.: **Часто встающими перед учеными*). Между тем, нередко встречаются вопросы к таким лексемам, у которых незаполненными оказываются несколько валентностей одновременно, ср., например:

— *Какое письмо ты имеешь в виду?*

— *От Жерара Дюмestre. // — Об экспедиции в Африку,*

где в первом ответе заполняется валентность ‘автор письма’, а во втором — валентность ‘содержание письма’. Практически во всех подобных случаях создается впечатление, что существует некоторая иерархия предпочтительности ответов на вопрос с данным вопросительным словом. В частности, второй ответ (о содержании письма) кажется более естественным в прагматически нейтральном контексте. Дело в том, что частный вопрос с *какой* (в случае описанной семантической неопределенности) также представляется ориентированным на коммуникативный центр лексемы, попадающей в сферу его действия. Для лексемы *письмо* таковым безусловно является информация о его содержании. Ср. также следующую пару ответов, из которых более предпочтителен первый:

— *Какой памятник стоит на этой площади?*

— *Памятник Бальзаку. // — Памятник работы Родена.*

Заметим здесь, что никакие оценочные «добавки» к той семантической информации, которая дается в ответе, не допускаются, ср.:

— *Какое письмо ты имеешь в виду?*

— **Неприятное.*

Ответ подобного рода, помимо требуемой информации о содержании — и как бы сверх нее — содержит оценку этой информации; именно эта оценка становится коммуникативным центром ответа, в результате чего коммуникативное рассогласование с вопросом, который не содержит оценочного компонента и ориентирован на другой коммуникативный центр, приводит к нарушению правильности диалога.

Другой пример того же рода (предложенный В. А. Успенским): почему на вопрос *Кто вы <по профессии>?* можно ответить: *Я инженер / врач* и т. п., но нельзя ответить: *Я ученый?* В русском языке лексема

ученый безусловно содержит некоторый (причем коммуникативно выделенный) дополнительный оценочный компонент: *ученый*, таким образом, — это ‘тот, кто занимается научной работой’ + ‘делает это хорошо’ (ср. *Он ученый/настоящий ученый*, и другие подобные примеры). Ни лексема *инженер*, ни лексема *врач*, ни, например, *электрик* не имеют в своем семантическом представлении такого дополнительного коммуникативно значимого компонента. Спрашивающий также не имеет его в виду. Цель его вопроса — лишь в том, чтобы выяснить профессиональную принадлежность собеседника. (Если бы отвечающий хотел соблюсти коммуникативные требования спрашивающего, он должен был бы ответить нечто вроде: *Я — научный работник.*)

Глагольный вид Приведем теперь пример совсем из другой области.

Как представляется, выбор в русском языке глагольной формы несовершенного вида с префиксом или без префикса (типа *сжигал/жег*) в ряде случаев обусловлен действием аналогичного механизма. Так, форма *жег* представляется более предпочтительной в контекстах типа *От нечего делать он жег бумаги...*, а форма *сжигал* — в контекстах типа *Опасаясь обыска, он сжигал бумаги...* (на этот факт наше внимание обратила Жюли Гроэн; ср. также его обсуждение в Зализняк, Шмелев 1997: 37–38). Мы видим здесь то же явление коммуникативного согласования, так как добавление префикса усиливает акцент на целевом характере действия, превращая его в эксплицитно предельное; естественно, что такой выбор говорящего лучше сочетается с контекстами, где имеется указание на цель или мотивы действия. Верно и обратное: отсутствие префикса согласуется с отсутствием в тексте эксплицитных указаний такого рода. (Заметим, что с денотативной точки зрения эти два глагола, в сущности, описывают одну и ту же ситуацию; различия касаются лишь способа ее интерпретации говорящим.)

3. Терминология

Приведенные языковые факты дают представление о степени общности высказанных здесь утверждений — все это разные явления, допускающие (и предполагающие) одну интерпретацию. Нам представляется, что именно идея коммуникативного согласования позволяет дать такую интерпретацию. В связи с этим хотелось бы остановиться на таких общепринятых в лексикографии «интерпретирую-

щих» понятиях, как *презумпция* и *ассерция*. Собственно, ряд приведенных выше фактов можно было бы объяснить, используя это противопоставление, т. е. постулируя, что, например, в словосочетаниях типа *глубокая брошюра* ассерция (*глубокая*) должна быть семантически согласована с ассертивной частью смысла определяемого существительного (*брошюра*). Рассогласование ассертивных компонентов приводит к аномальности словосочетаний. Такое описание этого и некоторых других языковых явлений с лингвистической точки зрения верно, однако в принципе понятие презумпции (ассерции) нам кажется здесь все-таки недостаточным. Действительно, во-первых, далеко не все приведенные примеры укладываются в схему такого объяснения (ср., например, сочетания с предлогом *у*); во-вторых, само по себе понятие ассерции оказывается не более строгим, чем понятия коммуникативного уровня.

В самом деле, согласно каноническим определениям, презумпция — это тот компонент смысла, который не подвергается отрицанию. Однако известно, что ассерция — это не весь отрицаемый остаток: помимо утверждаемого ассертивного компонента и неотрицаемого презумптивного в толковании может иметься еще некоторая никак не называемая часть смысла лексемы (подробнее об этом см. в Богуславский 1985: 29–32). Какова в таком случае конструктивная процедура выделения ассерции — в общем, неясно. Более того, легко видеть, что презумпция и ассерция — это два совершенно *разных* понятия, так как выделяются они по разным основаниям и, в сущности, с разными целями. То, что они противопоставлены в паре как оппозиция, — в некотором смысле, чистая случайность.

Понятие презумпции изначально было введено Г. Фреге (см. подробнее Падучева 1985: 54–55) и широко использовалось и используется до сих пор в логической литературе. Логики, сталкивающиеся с предложениями естественного языка, пытаются перевести его в дискретные формулы, содержащие, среди прочего, оператор отрицания. Проблема сферы действия этого оператора решалась введением презумпции: есть презумпция, или то, что по разным причинам не входит в сферу действия отрицания, и не-презумпция — то, что отрицанию подвергается. Чем сложнее семантически языковая единица, тем шире и сложнее набор утверждений, составляющих ее презумпцию, и тем более различна природа этих утверждений. Хотя, конечно, вопрос о том, *почему* один компонент смысла способен отрицаться, а другой — нет, выходит за рамки логической проблематики. Кроме

того, в языке есть, помимо отрицания, и другие операторы — например, наречия, которые при глаголе ведут себя таким образом, что в их сферу действия попадает не вся глагольная семантика, а только ее часть. Как соотносится этот компонент глагольного значения с ассерцией (а его дополнение — с презумпцией), будет ли он общим для всех наречий или может меняться — это вопросы, поиск ответа на которые требует специального и достаточно глубокого семантического исследования. Здесь нам важно подчеркнуть, что с этой точки зрения презумпция — всего лишь результат работы одного из множества языковых операторов, по-видимому, наиболее подробно описанного на сегодняшний день; но роль других операторов при этом может быть не менее значима. Однако природа действия этого языкового оператора, точно так же, как и природа других, аналогичных ему, связана прежде всего с коммуникативной стороной языковых знаков и правил их взаимодействия: «мишенью» действия всех таких операторов должен быть именно «коммуникативный центр» лексемы¹⁶.

Отрицание естественным образом воздействует на коммуникативную выделенную часть толкования (лексемы или предложения); поэтому и невозможность присоединять отрицание — лишь одно, достаточно частное свойство «фонового» семантического компонента некоторых лексем. При более общем подходе имеет смысл обращать внимание на коммуникативное членение смысла лексем независимо от воздействия отрицания (которое, к тому же, далеко не на все лексемы способно воздействовать — ср. служебные слова и др.). Толкование, таким образом, представляется как особого рода текст, и к его исследованию могут быть применены все приемы исследования текста (в том числе и выделение в нем коммуникативной структуры). С другой стороны, между макро-текстом (семантикой предложения) и микро-текстом (семантикой слова) имеется постоянное взаимодействие, одним из проявлений которого и становятся описанные выше правила коммуникативного согласования.

В принципе похожие семантические эффекты привлекали внимание и ведущих теоретиков когнитивной семантики — Л. Талми и Р. Лангакера (см. Приложение). В частности, в Когнитивной грамматике Р. Лангакера вводятся термины *профиль* и *база*, которые, в

¹⁶ Заметим, что тем самым презумпция ~ ассерция и тема ~ рема перестают пониматься как противопоставленные друг другу пары элементов семантического и коммуникативного уровня, такие, что элементы второй пары имеют только «сентенциальный статус» (Апресян 1988: 13). К обоснованию точки зрения, предполагающей нетрадиционное сближение двух данных пар понятий, см. также работу Саввина 1985.

рамках его теории, как раз служат для формализации фонового и коммуникативно выделенного фрагментов значения языковой единицы (подробнее об этих понятиях см. Приложение, раздел 2.6) и с нашей точки зрения могут быть применены и для описания фактов, приведенных выше, — включая особенности мереологической конструкции с *у*. Такое решение терминологической проблемы (т. е. проблемы того, как *назвать* описанное коммуникативное противопоставление смыслов, в частности, противопоставление целого и части для *у*) кажется нам более удачным, чем введение фокуса в толкование конструкции с предлогом *у*, именно потому, что противопоставление профиль ~ база хотя и не применялось ранее к этим конкретным фактам или их аналогам, тем не менее задумано было как очень общее и работающее на разных (семантических) уровнях: и морфемном, и лексическом, и уровне предложений.

* * *

На этом мы закончим обсуждение *мереологии* предметных имен. Прежде чем перейти к проблемам *таксономии*, кратко суммируем результаты, касающиеся мереологии частей.

Мы показали, что мереологическая система русского языка в зоне отношений между частями и целыми из множества пар объектов, для которых такое отношение могло бы быть установлено, выделяет подмножество — те, для которых оно представимо в языке, и выражает его предложно-падежными конструкциями. Для того, чтобы отношение было представимо, существенно, чтобы оно не было денотативно фиксированным. Для представимых отношений важными оказываются различия между отторжимыми и неотторжимыми частями, а также частями и дополнителями. Эти различия учитываются говорящим при выборе языковой конструкции, маркирующей отношение часть-целое. С этой точки зрения значимым для носителя языка оказывается, кроме того, место коммуникативного акцента внутри мереологического отношения — или, в терминологии когнитивной грамматики, его профиль: в конструкции с *у* целое является профилем, а часть — базой (в отличие от генитивной конструкции, где, наоборот, целое — база, а часть — профиль).

Ниже следуют разделы, посвященные прежде всего *таксономической* классификации предметных имен и способам ее построения и уточнения.

§ 4. Категория числа: мереология и семантические типы предметных имен*

1. Лексическая и грамматическая информация

Сама логика развития грамматических исследований заставляет синтаксистов или морфологов обращаться в поисках тех или иных конкретных решений к семантической классификации лексики. Например, в рамках традиционного трансформационного синтаксиса возникло особое направление «лексико-грамматических» исследований (Gross 1975, Daladier 1990 и др.; подробнее см. также обзор Рахилина 1993), которое демонстрирует чрезвычайно сильную зависимость синтаксических преобразований от их лексического «наполнения»; близкие идеи высказывались также в рамках некоторых синтаксических теорий, связанных с генеративными моделями, ср., например, Levin 1993; Levin, Rappaport Hovav 1995 и др. В каком-то смысле наиболее ярким воплощением идеи является «грамматика конструкций» Ч. Филлмора (Fillmore, Kay 1992), в которой акцент делается не столько даже на описании семантики определенных (синтаксических) конструкций, сколько на подробном анализе лексико-семантических ограничений, касающихся заполнения всех возможных «мест» в каждой такой конструкции (см. Приложение, раздел 2.10).

Интересно, что сходные тенденции можно наблюдать и в концепции Московской семантической школы, которая на первый взгляд может показаться далекой от упомянутых выше теорий. Но если внимательнее посмотреть на динамику ее концептуального развития (ср., например, Апресян 1967, 1974 и 2006), то можно заметить, что и здесь проявляется тенденция к своего рода лексикализации синтаксиса, хотя, в отличие от предыдущих случаев, синтаксическая семантика присутствовала и в самых первых версиях модели «Смысл \Leftrightarrow Текст», а движение происходило в сторону индивидуализации этой семантико-синтаксической информации — в частности, усиливалось внимание к особенностям синтаксического/сочетаемостного поведения

* Первоначальный вариант опубликован в: «Диалог '95»: Труды Международного семинара по компьютерной лингвистике. Казань, 1995, 252–258 (в соавторстве с В. А. Плунгяном).

Следует учесть, что многие проблемы, лишь намеченные в данном разделе, впоследствии получили детальную разработку в фундаментальной монографии О.Н. Ляшевской (2004).

отдельной лексемы (причем поведения преимущественно семантически мотивированного).

Лексическая семантика «захватила» не один синтаксис. Сегодня она успешно продвигается и на традиционно считавшиеся более «поверхностными» уровни языкового представления. Правда, в описании чисто грамматических (словоизменительных) механизмов языка независимость от лексико-семантических факторов, кажется, пока сохраняется в большей степени. Формальные описания, ориентированные на задачи автоматического анализа и синтеза словоформ (образцом которых можно считать, например, «Грамматический словарь» А. А. Зализняка [1977]), практически не апеллируют к значению лексемы. Однако в теории грамматики достаточно давно известна по крайней мере одна область, в которой грамматическая информация теснейшим образом взаимодействует с лексико-семантической: это аспектология; после работ З. Вендлера и др. общепризнанными стали положения о том, что интерпретация аспектуальной формы глагола (это, разумеется, относится и к русскому виду), а также возможность ее порождения связаны с семантикой глагольной лексемы, и что аспектология должна опираться на некоторую независимую семантическую классификацию предикатной лексики (ср. прежде всего Булыгина 1982; Гловинская 1982; 2001; Падучева 1996; Татевосов 2005).

Другие грамматические категории исследованы с этой точки зрения гораздо слабее; среди них, однако, выделяется категория числа имени. Настоящий раздел как раз и посвящен проблеме зависимости этой грамматической категории от семантики именной лексемы.

Вообще говоря, можно было бы считать, что сама идея подобной зависимости в принципе известна в лингвистике (и, в частности, в русистике). Внимание исследователей категории числа в русском языке давно привлекали такие классы именной лексики с «нестандартным» числовым поведением, как, например, названия веществ или объектов сложной структуры — прежде всего, парных. Во всех грамматических описаниях упоминается о необходимости особым образом интерпретировать формы множественного числа у таких существительных; кроме того, для некоторых групп лексем (впрочем, достаточно аморфных с семантической точки зрения) в традиционных грамматиках выделяется особая категория «собирательности» (ее грамматический статус также не вполне определен, но отмечается характерная числовая дефектность собирательных существительных).

Подробный анализ — с попыткой классификации и диахроническими параллелями — нестандартных форм множественного числа в современном русском языке был предложен более полувека назад в работе Д. И. Арбатского (1954); в дальнейшем «лексикализация» отдельных явлений этого рода не раз становилась предметом специального обсуждения в работах по русистике (ср., в частности, Соболева 1979, Шелякин 1985, Красильникова 1989 и др.).

С другой стороны, самого пристального внимания «извне» — со стороны теоретиков, грамматистов и лексикографов — удостоилась группа (русских) существительных-названий овощей, ср. Мельчук 1985, Поливанова 1983, Wierzbicka 1988: 499 и след. Все исследователи отмечают, что в этой (на первый взгляд, семантически однородной) группе лексем выделяются крайне разнообразные модели числового поведения. Такого рода факты, конечно, требуют осмысления; в результате строятся новые, более общие гипотезы — причем они касаются не только природы грамматической категории (ср. опыт уточнения этого понятия в Поливанова 1983), но и построения более детальной и дробной семантической классификации существительных в целом (ср. Wierzbicka 1988, где показана значимость таких признаков, как форма, размер и тип функционирования объекта для интерпретации грамем единственного и множественного числа существительных). Существенный шаг вперед здесь состоит в том, что «аномалии» числового поведения не только фиксируются, но по существу впервые (особенно в работах А. Вежицкой) ставится вопрос о причинах такой неоднородности в поведении именной лексики, о возможной семантической мотивированности наблюдаемых эффектов.

Но почему полученные результаты столь фрагментарны? Почему, например, не проведено расширенное исследование такого рода на материале существительных, обозначающих, допустим, деревья или растения в целом или же, напротив, на материале совсем других семантических групп существительных? Представляется, что одна из причин кроется в отсутствии сколько-нибудь приемлемой и общепринятой семантической классификации существительных (в отличие от классификации глаголов). Конечно, классификации глагольной (предикатной) лексики, предлагаемые разными исследователями для решения разных задач, часто не совпадают друг с другом, оказываются весьма разной степени дробности и детальности; на границах основного деления выделяются промежуточные классы, за

счет которых картина значительно размывается. Тем не менее все эти классификации имеют немало общих черт — в частности, в них так или иначе предусматривается, например, различение состояний, (неконтролируемых) процессов, (контролируемых) действий и «точечных» событий. Поэтому «лексикографическая» постановка задачи для описания, например, русского вида может сводиться к последовательному анализу семантических классов, уточнению их состава и более глубокому описанию их семантики в связи с особенностями видового поведения соответствующих лексем. Именно так и строятся в последнее время многие работы, касающиеся видовой проблематики.

2. Классификация имен и грамматическое число

Если бы исследователи располагали некоторой достаточно детальной классификацией предметной лексики, то подобным же образом можно было бы подойти и к описанию русского числа.

Такого рода классификацию представляет система «Лексикограф. Предметные имена», и на нее опираются наши наблюдения относительно многообразных «лексических» особенностей числового поведения¹⁷.

Заметим, что говоря о классификации существительных, мы пока имеем в виду классификацию предметной лексики. Вообще говоря, проблему числа интересно было бы рассмотреть и на материале предикатных имен, но классификации предметных и предикатных имен строятся по разным принципам, поэтому анализировать числовое поведение в этих группах имен также предпочтительнее независимо друг от друга. В сущности, принципы семантической классификации предикатной лексики должны оказаться общими с глагольной классификацией, да и категория числа здесь, как известно, часто используется для отражения типичных глагольных (аспектуальных) значений — таких, например, как итеративность (ср. такие пары, как *вздох* ~ *вздохи* и под.).

В данном разделе нас будет интересовать только таксономическая информация и, в зависимости от типа заполнения таксономического поля, — семантика формы множественного числа предметного су-

¹⁷ В рамках той же идеологии выполнены и работы О. Н. Ляшевской (ср. Ляшевская 1999; 2004), которые посвящены нестандартной семантике русского множественного числа.

ществительного. Отметим здесь, что во многих работах, посвященных семантике числа, акцент делался не на анализе числовой формы как таковой, а на анализе оппозиции граммем единственного и множественного числа и различного рода аномалий в рамках этой оппозиции: грамматическое единственное выражает семантическое множественное, грамматическое множественное — семантическое единственное, оба числа соотносятся с единичным (множественным) объектом, и т. п. К нашей постановке задачи ближе рассуждения несколько другого типа (они тоже встречаются в лингвистической литературе) — о различных возможных интерпретациях формы множественного числа у определенных групп лексем: феномен «видового» множественного у названий веществ (*вино* ~ *вина*) или «парного» множественного у названий парных предметов (*сапог* ~ *сапоги*).

Однако сплошной анализ русской предметной лексики показывает, что зона «лексически детерминированных отклонений» в интерпретации форм множественного числа в русском языке значительно шире, чем это могло бы представляться *a priori*.

Приведем лишь некоторые примеры, подтверждающие данное положение и иллюстрирующие те проблемы, с которыми приходится сталкиваться при попытке более глубоко описать семантику числа.

Так, например, «видообразующее» множественное обычно ассоциировалось с классом веществ и материалов — на том естественном основании, что существительные из этого класса являются в русском языке неисчисляемыми и не сочетаются с количественными числительными; если у таких существительных все же отмечается форма множественного числа, то она как раз и обозначает чаще всего множество видов данного вещества (*металлы*, *яды*, *краски*) — тем самым, видообразующее множественное у этого класса слов, так сказать, наиболее заметно. Но верно ли, что принадлежность к таксономическому классу веществ однозначно коррелирует с наличием формы множественного числа, имеющей «видовую» интерпретацию? Даже если обратиться к результатам, полученным в традиционной русистике, легко заметить, что это далеко не так; сплошная проверка таксономических характеристик в базе данных подтверждает отсутствие здесь прямой зависимости. Действительно, множественное число у имен этого класса может также обозначать большое количество вещества, сосредоточенное в одном месте (*льды*, *пески*); далее, форма множественного числа может являться единственным возможным обозна-

чением вещества (*духи, чернила*), она может обозначать не множество видов данного вещества, а только одну определенную его разновидность (*пары, грязи, воды*); наконец, форма множественного числа может просто отсутствовать (**кислороды, *сургучи, *желчи*). К этому следует добавить, что форма множественного числа может содержать нетривиальное семантическое приращение, например, смысл '(совокупность) изделий из вещества *X*' (*жемчуга*).

Не менее разнообразно числовое поведение существительных в семантически близкой веществам группе 'материал изготовления'. Так, достаточно сравнить лексемы *мех, ткань, шерсть* и *волос₂* (в значении 'волосая покров', как в сочетании *конский волос*): если форма *ткани* реализует «видовую» модель (ср. *яды*), форма *меха* — «предметную» (ср. *жемчуга*), форма **шерсти* в общеупотребительном языке не засвидетельствована (ср. **сургучи*), то форма *волосы* синонимична форме *волос* с точностью до вида обозначаемого объекта (ср. *пары*).

Таким образом, возможность иметь видовое множественное (которая, конечно же, должна опираться на какие-то семантические корреляты) связана не с таксономическим классом как таковым, а скорее с особым таксономическим признаком — с возможностью «видовой» референции лексемы (т. е. с возможностью обозначать вид соответствующего объекта) уже в единственном числе (ср. сходное утверждение в работе Соболева 1979; см. также Mehlig 1994 и 1996). В исследованиях по русскому числу обычно не обращается внимание на то, что за пределами группы имен веществ есть свой аналог «видового» множественного, ср. *прочел эти книги*, где форма *книги* в нормальном случае не может интерпретироваться как 'разные экземпляры/издания одного и того же текста'. При этом интерпретация, например, формы *газеты* не вполне симметрична. Так, в ситуации, когда некто продает тираж (только одной) газеты «Московские новости», тем не менее, естественно сказать *Он торгует газетами / продает газеты*; несколько более странно **Он продает газету*. Ср., однако, абсолютно правильное *Он сам продает свою книгу* (= 'экземпляры своей книги'). В принципе, глагол *продавать* относится к контекстам, «проявляющим» эту форму видового и квази-видового множественного: сочетание *продавать X-ы* обычно интерпретируется как 'продавать разные виды (а не экземпляры) X-ов'. Тем не менее, предметные существительные, в зависимости от своей семантики, в этом контексте также демонстрируют разную интерпретацию

формы множественного числа, ср.: *продают книги* — только ‘разные виды книг’, *продают рубашки/пирожные* — скорее, ‘разные виды’, но возможно и ‘разные экземпляры’, *продают кирпичи* — только невидовая интерпретация. Другой такой контекст создается глаголами *собирать* и *коллекционировать*: *он собирает книги/марки/значки/монеты* и под. понимается как ‘разные экземпляры (разных) книг, марок и т. д.’

В силу сказанного становится понятным, почему среди имен веществ «видовую» интерпретацию множественного числа получают только имена таксономических классов, ср. *спирты, соки, газы* и под., но не **чады, *кислороды, *свинцы*. Верно и обратное: если имя обозначает таксономический класс, то оно получает обязательную «видовую» интерпретацию — в том числе и за пределами класса веществ, ср.: *приборы, материалы, инструменты, строения, транспортные средства* и т. д. Крайне трудно представить себе такую ситуацию, в которой выражение *три транспортных средства* относилось бы, например, к трем троллейбусам (т. е. не трем разным видам, а к трем экземплярам одного вида). С этой точки зрения представляется интересной задача тестирования лексем на их способность выступать в роли таксономического класса, где лингвистическим критерием была бы возможность лексемы иметь «видовое» множественное число.

Другая проблема состоит в том, что, помимо широко известного «парного» множественного, на наш взгляд, имеет смысл говорить о множественном числе со значением «набора» — т. е. таком значении множественного числа, которое интерпретируется апелляцией к фиксированному количеству совместно функционирующих объектов: *колеса* <машины>, *струны* <гитары>, *клавиши* <компьютера, пианино и проч.>, *паруса* <яхты>, *дети* <в семье>, *лошади* <кареты>, *пуговицы* <рубашки> и т. п. Во всех этих случаях мы очевидным образом имеем дело с нестандартной интерпретацией множественного числа, причем «парное» множественное оказывается частной разновидностью множественного «набора» — его интерпретация также опирается на фиксированное число объектов (два) и совместное их функционирование, ср. *сапоги, руки, глаза, рельсы, берега, полозья, запонки, гусеницы* <танка> и др.

Между тем, количество объектов значимо далеко не всегда — в таких случаях можно говорить не о наборах, а о «группах» совместно функционирующих объектов, ср. *спички, краски, карандаши*, где ко-

личество элементов группы может меняться, и тем не менее, особое значение множественного числа сохраняется. Так, предложение *Он достал свои карандаши* интерпретируется в том числе и как ‘достал набор цветных карандашей’, ср. словоформу *ручки*, для которой такая интерпретация значительно менее вероятна.

Обратим внимание, что из только что сказанного следует, что наборы и группы являются столь же необходимой составляющей для лингвистической мереологии множеств (по крайней мере, в русском языке¹⁸), как, например, отторжимые и неотторжимые части — для мереологии частей.

Уже приведенные группы примеров достаточно красноречиво свидетельствуют о подлинной степени лексикализованности русского множественного числа существительных. Когнитивный подход позволяет увидеть в этом не хаотичное собрание различных «интерпретаций», а общее проявление одной глубинной тенденции, состоящей в том, что множество объектов воспринимается носителями языка прежде всего в зависимости от типа объекта и способа его использования человеком. Конечно, с описательной точки зрения тут возможны самые разные решения, однако заметим, что ни механическое умножение «значений» категории числа, ни умножение лексических значений самих существительных все равно не будет в состоянии предусмотреть того разнообразия интерпретаций, которое порождает, и при том с легкостью, очевидным образом антропоцентрически ориентированное языковое поведение говорящего.

Данный языковой материал с неожиданной стороны объясняет постоянно возобновляемые попытки приписать категории числа в русском языке словообразовательный статус (ср., например, Булатова 1983): действительно, внимательный анализ фактов так или иначе приводит нас к выводу, что русское число слишком непохоже на эталонное представление о грамматической категории. Иное дело, что это эталонное представление само может не соответствовать реально наблюдаемому положению дел: ведь идиоматичность форм типа *капли* (в значении ‘лекарство’) для русского языка не исключение, а вполне распространенное и даже закономерное явление.

¹⁸ Во многих других языках эти противопоставления грамматикализованы. Грамматикализация двойственного числа — известный факт; менее известно грамматикализованное групповое множество (свойственное, например, дагестанским языкам — ср. Кибрик 1985; Кибрик, Тестелец 1999: 50–51).

Как бы то ни было, трудно отрицать, что граммемы числа являются для русских существительных обязательными. Но оказывается, что в целом ряде наиболее естественных контекстов «эталонные» языки с грамматически обязательным числом по сути не так уж сильно отличаются от «эталонных» языков без грамматического числа (т. е. языков типа современного китайского).

§ 5. Семантика русского творительного и таксономия*

1. Вводные замечания

В настоящем параграфе мы продолжим обсуждение роли, которую играют таксономические характеристики имен при выборе грамматических показателей. На этот раз материалом нам будут служить формы творительного падежа. Надо сказать, что семантика творительного падежа неоднократно служила полигоном для различных лингвистических теорий. Поэтому данный раздел состоит из трех основных частей, помимо вводной и заключительной. В первой (раздел 2) мы обсудим «лингвистическую историю» русского творительного (начиная с работ Р. О. Якобсона), кратко охарактеризовав разные подходы к описанию его семантики и связь между ними. Во второй части (раздел 3) мы рассмотрим альтернативную — «номиноцентричную» — гипотезу, а в третьей (раздел 4), опираясь на эту гипотезу, проанализируем одно частное значение творительного падежа, а именно — творительный сравнения. Мы покажем, что номиноцентричное описание творительного позволяет не только уточнить таксономическую классификацию имен, но и — как и в случае с числом — более адекватно представить семантику самого грамматического значения.

2. «Лингвистическая история»

Хорошо известно, что творительный — один из самых многозначных русских падежей, традиционные описания обычно выделяют у него порядка 20 значений. Основными считаются значение инстру-

* Первоначальный вариант опубликован в: Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. М.: РГГУ, 1999, 496—507.

мента (*резал ножом*) и агенса при пассивной форме глагола (*был прощен ею*), но кроме того выделяются значения средства (*мыл мылом*), транспорта (*ехал поездом*), времени (*не спал ночами*), места (*шел лесом*), сравнения (*выл волком*) и некоторые другие, а также очень много совсем частных, редко встречающихся и лексикализованных, иногда даже ускользающих от внимания тех или иных исследователей, например, *повернуться боком* или *идти группами*.

Картина слишком разнородная — поэтому так много было принято попыток ее теоретически упорядочить.

Первой такой попыткой можно условно считать статью Р. О. Jakobson 1936 года «К общему учению о падеже», в которой было предложено инвариантное значение творительного в терминах признаков ‘периферийность’ и ‘направленность’: ‘+ периферийность’ и ‘– направленность’. Правда, главной задачей Р. О. Jakobson было не определить творительный, а скорее отделить его от других падежей, используя при этом один и тот же ограниченный набор признаков — это было образцовое решение проблемы в рамках структурного подхода.

Действительно, если взять глагол, то каждый его аргумент соотносится с ним по-своему: именно эти соотношения Jakobson описывал признаками ‘периферийность’ и ‘направленность’ — периферийность аргумента в ситуации и направленность действия на объект. Между тем, поскольку аргументы одного предиката обычно кодируются разными падежами, в результате получаются признаковые описания падежей в основных, глагольных контекстах.

Любопытно было бы в этой связи проследить «превращения», которые претерпела идея Р. О. Jakobson в дальнейшем — рассмотрим, например, падежную грамматику Ч. Филлмора или аргументные структуры Р. Джэкендоффа — но вернемся к лингвистической истории творительного и отметим два главных, на наш взгляд, положения Jakobsonовского подхода:

- 1) взгляд на творительный с позиции глагола;
- 2) общее описание значения (инвариант) в терминах признаков.

Описание Р. О. Jakobson, как мы уже говорили, ввиду особенностей его задачи, не было ни полным, ни самодостаточным, и, конечно, не предсказывало конкретных употреблений творительного. Последующие исследования, как бы компенсируя этот пробел, уделяли частным значениям гораздо больше внимания. Отметим здесь книгу Р. Мразека 1964 года, подробный и глубокий анализ которой дан, в

ряду разбора других работ о русском творительном, в книге Janda 1993. Мразек последовательно перечисляет 19 значений творительного падежа, представляя их как независимые друг от друга (впрочем, впоследствии, Л. Янде удалось «открыть» в его описании радиальную структуру).

Третьей (опять-таки, с некоторой долей условности) попыткой «штурма» русского творительного можно считать книгу А. Вежицкой 1980 года. Особенность описания А. Вежицкой, в частности, по сравнению с Р. О. Якобсоном, с которым она полемизирует, — с одной стороны, в пристальном внимании к «мелким» подзначениям, а во-вторых, в принципиальном отказе от признакового описания и замены его на толкования. При этом творительный падеж оказывается полигоном для фундаментальной идеи А. Вежицкой о том, что грамматические значения — не менее «полноценные», чем лексические, и что для описания обоих классов значений должен использоваться один и тот же метаязык.

Рассмотрим здесь в качестве примера предлагаемое А. Вежицкой толкование творительного инструмента:

‘Нечто случилось с *Y*
потому что нечто случилось с *IN*,
потому что *X* что-то сделал’.

Обратим внимание, что в этом толковании, так же, как и в описании Р. О. Якобсона, присутствует глаголоцентричность: по сути, толкование А. Вежицкой «добавляет» к глагольной схеме только условное описание ролей пациенса (*Y*), агенса (*X*) и инструмента (*IN*) — как если бы падежные роли Филлмора были бы дополнены краткими семантическими пояснениями.

Следующее цельное описание русского творительного сделано американской славистской Лорой Яндой, см. Janda 1993. Для Л. Янды самым важным было установить связи между разными значениями творительного и найти обобщающие описания классов употреблений. Такие описания Л. Янда представляет в виде принятых — в рамках когнитивного направления — (четырёх) образных, или топологических схем. Вот одна из них, соотносящаяся с творительным инструмента:

nom =====> instr =====> acc

Очевидно, что не только толкования А. Вежицкой, но и топологические схемы Л. Янды — в некотором смысле тоже реинтерпре-

тация предикатно-аргументной структуры Р. О. Якобсона: эти схемы «рисуют» взаимодействие разных ролей с вершинным предикатом. На картинке, собственно, и изображено, что инструмент — это то, на что *направлено* действие, но при этом он *не основной* участник ситуации, потому что служит лишь «проводником» воздействия агенса на объект.

Разумеется, и описание А. Вежбицкой, и описание Л. Янды решали каждое свою задачу и значительно обогатили лингвистическое представление о значении русского творительного — но ровно в том очень узком аспекте, который мы рассматриваем сейчас, они, по сути дела, повторили Якобсона.

3. «Номиноцентричная» гипотеза

Идея данного описания состоит в том, чтобы принципиально *изменить* схему Р. О. Якобсона, сделав точкой отсчета падежного описания не глагол, а имя. Вспомним здесь Е. Куриловича (1949), который говорил, что падеж не полностью выводим из глагола, т. е. не полностью определяется глагольной семантикой. Очень близка нашей точке зрения точка зрения М. В. Панова, который также в ряде работ подчеркивал важность лексической семантики существительных для описания русского творительного (см. Панов 1990; 1992 и в особенности Панов 1999: 194–201).

Итак, попробуем подойти к творительному падежу как бы со стороны имени (мы ограничимся здесь только именами конкретных предметов). Пусть у нас есть список предметных имен. Поставим все имена в творительный падеж и определим значение падежа в каждом случае, например:

- палка* — *палкой*: творительный инструмента;
- краска* — *краской*: творительный средства;
- лес* — *лесом*: творительный места;
- змея* — *змеей*: творительный сравнения, и т. д.

Сплошной просмотр такого рода списка показывает, что формы творительного разных лексем *распределены* по значениям. С чисто теоретической точки зрения эта картина довольно неожиданна: действительно, если принять, что у русского творительного, скажем, 20 значений, то следовало бы ожидать, что у каждой лексемы будет 20 интерпретаций соответствующей словоформы, — между тем в рус-

ском языке не только не возникает 20 параллельных значений каждой формы, но на самом деле почти для каждой лексемы фактически только одна интерпретация оказывается наиболее естественной¹⁹. И тем не менее, это совершенно понятный семантический эффект: каждое предметное имя соотносится с определенным таксономическим классом, который определяет роль соответствующего объекта в ситуации и, тем самым, саму ситуацию. (Ср. формулировку М. В. Панова: «Основа вызывает у флексии творительного падежа такое значение, которое свойственно ей самой» — Панов 1999: 198.)

Так, *топор* относится к классу 'инструментов', поэтому для него естественна ситуация деятельности и инструментальный творительный²⁰; *краска* — это вещество, а вещество легко выступает в такой ситуации, где оно исполняет роль 'средства' — следовательно, творительный здесь естественным образом интерпретируется именно как творительный средства, и т. д.

Ср. здесь пример, подсказанный нам Т. В. Булыгиной. У В. Маяковского есть следующие строки:

*«Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
втиснулся очками в комнатный футляр»,*

где *очками* легко понимается в более естественном для него инструментальном значении; между тем, неологизм здесь в том, что данный творительный должен интерпретироваться в значении сравнения (вообще активно эксплуатировавшимся Маяковским): 'втиснулся, как очки'. Это прочтение для неподготовленного носителя языка, очевидным образом, трудное, непредсказуемое (и, кстати, с точки зрения правил употребления творительного сравнения, нетривиальное, см. третий раздел) — именно потому что оно не выводится из семантики таксономического класса существительного.

В принципе, в естественном языке часто возникают случаи, которые условно можно было бы назвать «множественностью таксономических характеристик имен» — когда одно и то же имя, в силу того, что в его семантике имеются компоненты разного плана, попадает одновременно в несколько таксономических классов. Можно было бы ожидать, что хотя бы за счет таких случаев в русском языке будет

¹⁹ Разумеется, такая постановка задачи не отменяет существования небольшой группы «универсальных» контекстов типа *доволен / восхищается палкой / краской / лесом / змеей*, но смещает их на периферию исследовательских интересов.

²⁰ Ср.: «Такое [= инструментальное. — Е.Р.] значение появляется в том случае, если глагол и основа существительного-дополнения имеют общие семантические признаки. *Топор* — то, чем рубят. Поэтому понятно выражение *рубить топором*» (Панов 1999: 195).

значительное число многозначных форм творительного падежа. Однако подобные ожидания тоже не оправдываются — по разным причинам.

Возьмем, например, слово *поезд*. Оно называет, с одной стороны, транспортное средство, а с другой — место. У русского творительного есть значение ‘творительный транспорта’; оно реализуется при лексеме *поезд*: *ехал поездом*. Однако в значении ‘место’ форма *поездом* не интерпретируется, ср.: **шел поездом целых 20 минут* (правильно: *шел по поезду*). Дело в том, что в действительности то значение творительного, которое традиционно описывается как местное, следовало бы назвать значением ‘траектории движения’. Оно называет не вообще место, а именно путь и образуется только от тех имен, которые обозначают некоторый выделенный в пространстве стандартный участок движения, ср. *дорогой, тропинкой, колея, просекы* и т. п. Поле, лес, овраг, море являются пространствами, через которые, как правило, существует совершенно определенный, фиксированный («проложенный») маршрут движения, поэтому возможно *шел полем, лесом, оврагом; плыл морем*, но не **плыл океаном, летел воздухом / небом / космосом* (ср. также недопустимое **гулял полем / лесом; *плавал морем* — опять-таки в силу отсутствия в этих контекстах фиксированной траектории движения). Там, где траектория не названа (как в случаях типа *дорогой*), но задана единственным образом, творительный не годится, ср. **плыл рекой*. Поэтому в значении ‘траектория движения’ оказывается неприемлемым и *поездом*.

Другой пример — форма *лошадью*. Имя *лошадь* обозначает, с одной стороны, живое существо, которое в контексте пассивного глагола обычно обозначает деятеля (*был вспахан лошадью* — как *был сведен медведем* или *был убит французом*), а с другой стороны, является транспортным средством (ср. *ехать на лошади*) и, следовательно, «претендует» на творительный транспортного средства. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что никакие «индивидуальные» (или окказиональные) транспортные средства не входят в допустимую зону для творительного транспорта, ср.: **плыл яхтой / лодкой / плотом*, а также **подводной лодкой / крейсером-эсминцем* и др. под. (при возможном: *плыл пароходом / паромом*); **ехал ослом / яком / караваном верблюдов / каретой / тройкой / бричкой / кибиткой /[?] машиной* (последнее абсолютно запрещено, если ездок сам является одновременно водителем) и под. — хотя можно *ехал поездом / дилижансом / автобусом / такси*. Ср. также невозможность **летел ракетой / парашютом / воз-*

душным шаром и др. — при допустимом *летел самолетом / вертолетом*.

Создается впечатление, что творительный транспортного средства — это тоже такой (немного особенный) творительный траектории: выбирая маршрут, путник может выбрать и *готовый транспорт*, который предназначен, чтобы этот путь преодолевать. Поэтому *лошадь* не подходит для «транспортной» интерпретации творительного, в отличие от *лошадьми*, которое, особенно в литературе прошлого века, свободно употреблялось в этом значении.

Таким образом, сама семантика значений творительного «удерживает» его от, так сказать, повальной многозначности. Конечно, полисемия форм творительного все равно возникает время от времени — например, уже во множественном числе, в форме *лошадьми*, *лошадь* будет пониматься и агентивно, и (правда, значительно реже) транспортно; форма *поездом* тоже может осмысливаться не только как средство передвижения, но и как агенс при пассивном глаголе (*был сбит поездом*) — и тем не менее, таких случаев во много раз меньше, чем можно было бы ожидать.

Другой вопрос — насколько точно сама таксономическая категория определяет значение творительного. Рассмотрим два примера — с именами отрезков времени и частей тела.

Пример первый: названия отрезков времени

Имена со значением ‘единица, называющая некоторый отрезок времени’ (*год, век, час, неделя, сутки, месяц* и под.) в творительном падеже множественного числа имеют значение ‘непрерывный (и очень долгий) период, измеряемый соответствующей единицей времени’: *годами* — ‘долгий период времени, измеряющийся с помощью такой временной единицы, как год’, аналогично — *веками, часами* и др.

Однако с **дискретными** отрезками времени — или очень короткими (как *момент, мгновение, минута*), или прерывистыми (как *ночь, вечер*) — т. е. такими, которые не «складываются» в один длинный промежуток времени, возникает другая интерпретация: ‘в некоторые моменты из периода *X*’, ‘иногда, время от времени’ (ср. также Janda 1993: 167–170). Таким образом, привычная таксономическая категория имени со значением ‘период времени’ должна быть поделена гораздо более дробно, если мы хотим получить однозначную интерпретацию творительного.

Пример второй: части тела Части тела представляют собой гомогенный таксономический класс; тем не менее, разные подгруппы лексем этого класса получают традиционно признаваемые разными значения творительного (о связи этих значений между собой см. подробнее § 2 Главы III). Так, формы *руками* / *рукой*, *ногами* / *ногой*, *ногтями* / *ногтем*, *когтями* / *когтем*, *кулаками* / *кулаком*, *зубами*, *плечом* (но с меньшей вероятностью: *зубом*, *плечами*) и некоторые другие интерпретируются как творительный инструмента; *кожей* — как творительный восприятия тактильных ощущений; *боком*, *спиной*, *лицом* (а также *затылком*, *макушкой*) — как творительный ориентирования. Заметим, что для имен *макушка*, *бок*, *спина* стандартная инструментальная интерпретация полностью исключена.

Такое распределение значений творительного вполне объяснимо и даже в каком-то смысле естественно: подвижные части тела, выступающие в ситуации деятельности человека как инструменты, интерпретируются как инструментальный творительный²¹, а неподвижные не могут иметь такой интерпретации — зато они, в отличие от подвижных и потому не имеющих стабильного положения в пространстве частей, способны задавать ориентацию тела человека по отношению к какому-то внешнему объекту. Тем самым для правильной интерпретации форм творительного существенной опять оказывается некоторая дополнительная семантическая характеристика, которая задает более дробное деление таксономического класса и даже заставляет объединять полученные в результате классы с другими таксономическими категориями (например, подвижные части тела с классом инструментов типа *нож*, *лопата* и т. п.).

Уже приведенные нами примеры показывают, что значения творительного оказываются тесно связаны со значением исходной лексемы и даже более или менее распределены по лексемам в зависимости от их семантики — в частности, от их таксономических характеристик. Фактически это значит, что данное *грамматическое* значение ведет себя в языке так, как это принято ожидать от значения *словообразовательного*. Еще раз обратим внимание, что творительный падеж — не единственный случай нестандартного, с точки зрения

²¹ Ср. *зубы* — подвижная часть тела, а *зуб* — уже нет (но имя *зуб* не может выступать и в качестве ориентира, потому что это не наружная, видимая часть тела — подробнее см. § 2 Главы III), *плечо* подвижно, а *плечи* — в каком-то смысле нет, потому что амплитуда их синхронного движения слишком мала: *плечами* можно только *пожать*.

теории, поведения грамматического значения: так ведет себя в русском языке, как известно, глагольный вид, а также — как было показано в предыдущем параграфе — и число существительных, но это случай достаточно показательный, и он, конечно, заставляет задуматься о семантической природе падежа в целом.

4. Творительный сравнения

Ниже мы рассмотрим семантику одного частного значения творительного падежа — творительного сравнения. Этот тип употреблений интересен по крайней мере в двух отношениях.

Во-первых, если согласиться с А. Вежбицкой, чье толкование творительного сравнения, как кажется, «вбирает» в себя все другие предшествующие его описания, это значение можно было бы описать следующим образом:

‘Я говорю: представь себе $Y(IN)$,
потому что я хочу, чтобы ты мог представить себе X' ’.

Исходя из этого представления, предложение:

Колесом за сини горы солнце красное скатилось

может быть проинтерпретировано как:

‘Я говорю: представь себе колесо, потому что я хочу, чтобы ты представил себе солнце’.

Похожее толкование дается в Туровский 1988: 137:

$X P Y-om$ = ‘чтобы представить себе $P(X)$, представь себе, что в ситуации, описываемой данным предложением, X есть Y' ’,

а также в очень интересной статье Анны А. Зализняк, которая посвящена проблеме нежесткой границы между творительным сравнения, творительным предикативным и творительным образа действия. Ср. толкование следующего примера в Зализняк 1996: 172 (см. также Анна Зализняк 2006):

Дикой кошкой горбится столица =

- (1) нечто происходит со столицей;
- (2) представь себе дикую кошку, выгибающую спину;
- (3) то, что происходит со столицей, внешне похоже на это;
- (4) представь себе на мгновение, что столица и есть дикая кошка.

Однако такое описание (по крайней мере, в данном виде) не предсказывает никаких семантических ограничений на употребление тво-

рительного в данном значении — и это удивительно. В самом деле, творительный транспорта обязательно предполагает, что он «применим» только к именам, обозначающим (или воспринимающимся как обозначающие) транспортные средства, творительный времени — к названиям моментов или периодов времени, даже творительный инструмента, в принципе, имеет какие-то ограничения: например, как мы уже говорили, не характерны в качестве инструментов неподвижные части тела типа *зуб* или *бок*, неестественны в этом значении и одушевленные существительные (**стукнул Васей*), а также вещества (для которых характерен творительный средства) и т. д. Между тем, рассуждая чисто логически, сравнивать можно что угодно с чем угодно, поэтому, возвращаясь к приведенным выше толкованиям (ориентированным, как мы уже говорили, скорее на предикат, чем на имя), следует заметить, что семантических ограничений здесь в принципе и не должно быть.

Второе обстоятельство, которое обращает на себя внимание в связи с творительным сравнения, состоит в том, что данное значение творительного, по крайней мере в данных выше его толкованиях, выглядит совершенно синонимичным конструкции с союзом *как*²²:

Колесом за сини горы солнце красное скатилось =
Как колесо за сини горы солнце красное скатилось.

Итак, складывается впечатление, что творительный сравнения не имеет ограничений на употребление и синонимичен конструкции с *как*.

Однако подробный анализ сочетаемости предметной лексики с творительным сравнения показывает, что оба эти утверждения неверны: в действительности семантических ограничений на использование творительного сравнения, в отличие от конструкции с *как*, очень много, и следовательно, эти два способа выражения сравнения отнюдь не синонимичны, ср.:

греет как печка — **греет печкой*;
молчит как рыба — **молчит рыбой*;
тает во рту как мед — **тает во рту медом*;
утонул, как топор — **утонул топором*, и мн. др.

²² Ср. толкование *Х Р как У* в Туровский 1988: 137: 'чтобы представить себе *Х* в отношении *Р*, представь себе *Р Х*-а замененным на *Р У*-а'; предлагаемая здесь семантическая разница между творительным сравнения и конструкцией с *как*, как кажется, недостаточна и не описывает тех нюансов их употреблений, о которых пойдет речь ниже.

Более того, ограничений так много, что, кажется, легче просто перечислить те случаи, когда такой творительный возможен.

Итак, когда же возможен творительный сравнения?

В двух случаях — в стативной ситуации, когда описывается особая **форма** объекта, и в динамической ситуации, когда описывается особый **характер движения**. В первом случае при предикате местонахождения (*стоять, лежать, располагаться* и под.) или каузации местонахождения (*положить, сложить, встать* и др.) косвенным объектом в творительном падеже выступает имя, обозначающее объект характерной формы, с которой сравнивается субъект некаузативного предложения или объект каузации, ср.:

стулья располагались / поставили правильным овалом;
сложить руки крестом на груди;
выпятить грудь колесом и др.

Сама форма может быть более канонической: *углом, дугой, <полу>кругом, каре, подковой, петлей, горой, кучей* и менее канонической, ср.: *свитер висел на нем мешком, лежал безжизненной куклой, сидел барином / именинником, стоял столбом / величественным монументом / идолом / истуканом* и др. — главное, чтобы она была достаточно характерной, внешне выделенной.

В некоторых случаях предикат местоположения может «развиваться» в предикат движения — тогда движение осуществляется таким образом, что объект сохраняет принятую им форму, ср.:

полк стоял / ⇒ шел строем;
солдаты стояли / ⇒ двигались цепью;
дороги располагались / ⇒ расходились веером.

В случае, когда предикат описывает изначально динамическую ситуацию — движение объекта, в ней подчеркивается какая-то качественная характеристика — например, скорость или направление. Так, резкое внезапное движение (обычно вверх) описывается в сопоставлении с движением пружины или (особенно из закрепленного положения) пробки: *выскочить пружинной / пробкой*, ср. также: *взлететь птицей*; быстрое горизонтальное движение — сравнивается с движением стрелы, молнии, птицы или пули (в этом случае — обычно из закрепленного начального положения), ср.: *лететь / нестись стрелой / птицей / молнией; пулей вылетел из кабинета начальника* (ср.: [?]*молнией вылетел из кабинета*); быстрое движение вниз — с падением камня:

падал / летел камнем. Заметим, что сравнения закреплены в языке: нельзя и представить себе сопоставление летящего вверх предмета с подброшенным камнем или падающего вниз — с опускающейся на землю стрелой, ср.: **падал стрелой, *взлетел камнем*.

Жидкости движутся иначе: они *льются* (обычно вниз) *струей, потоком, рекой* или *бьют* (вверх) *струей, ключом, фонтаном* (но не наоборот: **льется ключом / фонтаном; *бьет рекой / потоком*), или меньшими порциями (тоже сверху вниз) — *капают каплями, рассыпаются брызгами*. Есть и другие характерные особенности движения веществ, совмещающие направление, способ движения и консистенцию вещества: *сыпаться / лететь / *взлететь хлопьями*, *<мелкой> крупной*, а также *рассыпаться пылью*. Важно, что эти два класса ситуаций — стативные с характерной формой объекта и динамические с характерным типом движения — объединяет, на наш взгляд, следующее обстоятельство: в обоих случаях речь идет о **наблюдаемых** событиях и об их видимых, так сказать, простым глазом, особенностях. Оказывается, что слишком сложные характеристики ситуации, которые невозможно наблюдать, нельзя выразить с помощью творительного сравнения. Так, ненаблюдаем процесс нагревания (**греть печкой*), таяния (**таять льдом*), ср. также: **молчать рыбой, *тонуть топором* и др. под. Слишком сложным для «наивного» наблюдателя оказывается движение в ситуации *бегать как сумасшедший / как угорелая кошка*: из видимых характеристик здесь есть только скорость, остальное — так сказать, «внутреннее содержание» этого движения — общая беспорядочность и беспорядочность. Ср. также «сложную» для чисто внешнего наблюдения ситуацию *дрожит как заяц* — смысл ее не в том, что заяц как-то особенно движется, когда дрожит, а в том, что заяц труслив, и поэтому дрожит, так что здесь уподобляется именно эта, «внутренняя» характеристика ситуации.

Во всех «ненаблюдаемых» случаях используется конструкция с *как*, не имеющая такого рода ограничений, ср.: *устал как собака (*собакой); работает как вол (*волом); спит как сурок (*сурком)* и др.

Творительному же остаются «простые», зримые ситуации — положение в пространстве в определенной форме или особенное движение. Многочисленные примеры сравнения (обычно человека) с животными подчеркивают такого рода запоминающиеся особенности, ср.: *пятиться раком; бежать петушком; выгибать шею лебедем; ходить уткой; парить орлом; вертеться ужом; ходить гоголем; кружить вороном* и другие.

Ср. здесь — тоже обозначающий в этих случаях «видимую» ситуацию с яркими внешними характеристиками — предикат *смотреть* (который, однако, не является глаголом движения): *смотреть волком / зверем* и в особенности *глядеть* в значении ‘выглядеть’: *глядеть орлом / соколом*; ср. также: *выглядеть / казаться совершенным ангелом / полной идиоткой / иностранкой / пришельцем с того света...* Обратим внимание также на то, что предикат *плыть* (движение, но в воде!) описывает, с языковой точки зрения, как бы невидимую ситуацию, по-русски невозможно сказать: **плавать рыбой*, а только: *плавать как рыба*.

Интересно, что зрительный эффект, как это часто случается в естественном языке (см., например, Geeraerts 1988) в нашем случае прямо соотносится со слуховым, звуковым, так что предикаты, описывающие характерные звуки, также легко допускают творительный сравнения: *крякать уткой, квакать лягушкой, петь / разливаться соловьем, реветь белугой, выть волком* и мн. др.

В подтверждение нашей гипотезы о «наблюдаемости» творительного сравнения, рассмотрим следующие два примера.

Почему не говорят *бросало щепкой*, а только *бросало, как щепку*? Потому что так выражается внутреннее, ненаблюдаемое ощущение неконтролируемости ситуации, подвластности внешним силам (стихиям) и обстоятельствам, ср.: *Шторм все усиливался, пора было рубить последнюю мачту: корабль бросало, как щепку*.

Другой пример: по-русски не говорят **он воевал Наполеоном* — только ... *как Наполеон* (ср. также: **отвечал на экзамене Ломоносовым* — при возможном *как Ломоносов*) — опять-таки потому, что это слишком сложный комплекс ненаблюдаемых со стороны свойств ситуации, однако разрешено «видимое»: *смотрел / глядел Наполеоном*.

Любопытно, что принятое сопоставление конструкции творительного сравнения с метафорой получает в предложенном нами описании дополнительное развитие: зрительный образ — обязательный признак метафоры (Арутюнова 1983: 7; 1990: 28) — оказывается и обязательным компонентом толкования данного значения творительного (ср. Зализняк 1996: 173, где тоже упоминается идея зрительного образа в связи с сопоставлением метафоры и творительного сравнения).

5. Выводы

Итак, исследование семантических ограничений на употребление творительного сравнения «открывает» дополнительное семантическое свойство — уже не глагола, а, так сказать, самого падежного значения творительного, а именно, ‘наблюдаемость’. В таком случае возникает вопрос, является ли ‘наблюдаемость’ семантической характеристикой творительного падежа в целом — или это случайное свойство сравнительных контекстов. С лингвистической точки зрения первое было бы более естественно и мотивировало бы возникновение «странного» семантического ограничения для контекстов сравнения.

Нам кажется, что идея наблюдаемости очень хорошо согласуется с общим значением творительного. Дело в том, что творительный во всех своих разновидностях — будь то творительный инструмента, траектории или, например, агенса при пассивном глаголе — детализирует ситуацию и тем самым делает ее более зримой, наблюдаемой. Обратим внимание, что с абстрактными глаголами типа *мстить*, *препятствовать*, *мешать*, *наказывать мешать*, *наказывать*, акцентирующими результат ситуации и нечувствительными к конкретному наполнению отдельных ее фаз (подробнее о классе абстрактных глаголов см. Плунгян, Рахилина 1990; ср. содержательно близкий термин «глаголы интерпретации» в Апресян 1999 и Кустова 2004: 232 и след.), творительный не употребляется, ср. **отомстил топором* (при возможном: *убил топором*).

Признать, что ‘наблюдаемость’ — семантическое свойство творительного в целом — значит, с одной стороны, вернуться к — якобы-соновской — «объединительной» идее значения падежа, восстановив его семантическую доминанту, а с другой стороны, наоборот, отказаться от глаголоцентричного — опять-таки якобысоновского — описания творительного, признав за творительным собственное, независимое от глагола значение. Это — путь к тому, чтобы рассматривать падеж как конструкцию — в смысле Construction Grammar Ч. Филлмора (Fillmore, Kay 1992, см. также Goldberg 1995 и Приложение, 2.10), где глагол занимает вторичное, семантически подчиненное положение, а его контекст как бы выходит на передний план.

§ 6. Таксономическая классификация имен и семантика отыменных прилагательных *

1. Общее правило

В этом параграфе будет показано, что таксономическая классификация имен является основой также и для описания семантики отыменных прилагательных.

Отыменные прилагательные — прежде всего по формальным причинам — не принято включать в грамматическую зону, они входят в зону словообразовательную. Тем не менее, суффиксы отыменных прилагательных обладают некоторыми семантическими свойствами, сближающими их с грамматическими показателями. В частности, по мнению Е. А. Земской, которая много занималась семантикой отыменных (или относительных) прилагательных (см. Белошапкова, Земская 1962; Земская 1973, 1991, 1992 и др.), семантика отыменных прилагательных всегда предсказуема, а значит не идиоматична, как у «классической» словообразовательной категории. Е. А. Земская считает, что носитель русского языка не помнит в готовом виде значение лексемы, а порождает его по определенной «типовой» модели. В целом эта идея поддерживается и опытом работы Е. А. Земской с русской разговорной речью, и ее исследованиями семантики новообразованных отыменных прилагательных в этой зоне языка (см., например, Земская 1992).

Однако такая точка зрения может вызывать и определенные возражения (см., в первую очередь, Апресян 1974: 211–212). Возражения эти сводятся обычно к тому, что то или иное прилагательное предлагается считать нестандартным с семантической точки зрения, т. е. не укладывающимся ни в один продуктивный семантический тип.

Представляется, что для того, чтобы снять подобного рода возражения или, наоборот, признать их, необходимо было бы провести, так сказать, полную инвентаризацию материала. Эта работа, в идеале, представляла бы двумерную таблицу, одним из входов которой были бы имена, образующие отыменные прилагательные, а другим входом — имена (нас будут интересовать только предметные имена) или группы имен, с которыми эти прилагательные могут сочетаться.

* Первоначальный вариант опубликован в: Л. П. Крысин (ред.). Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М.: Наследие, 1998, 298–304.

На пересечении строк и столбцов этой таблицы давались бы интерпретации соответствующих сочетаний. Сопоставление интерпретаций разных клеток таблицы позволило бы выявить их семантические типы и, определив условия применения той или иной интерпретации, описать точные границы этих типов. В качестве примера ниже приводится фрагмент такого рода таблицы, касающийся прилагательных, образованных от имен из семантической группы с общим значением ‘помещение’:

	объект / изделие	лицо	большее помещение	меньшее помещение
<i>комнатный</i>	<i>растение; собака</i>		<i>трехкомнатная квартира</i>	
<i>кабинетный</i>	<i>мебель</i>	<i>ученый</i>		
<i>купейный</i>			<i>вагон</i>	
<i>кухонный</i>	<i>мебель; нож</i>	<i>мужик</i>		
<i>спальный</i>	<i>гарнитур</i>			
<i>столовый</i>	<i>гарнитур; сервиз</i>			
<i>подвальный</i>	<i>окно</i>	<i>житель</i>		<i>помещение; этаж</i>
<i>чердачный</i>	<i>окно; лестница</i>			<i>помещение; этаж</i>

Вертикальным входом данной таблицы фактически служат не прилагательные, а производящие их имена со значением ‘помещение’ — и здесь приведенный фрагмент не полон, хотя и достаточно представлен. Горизонтальные входы представляют собой обобщение тех семантических групп имен, с которыми производные прилагательные вертикальной колонки (хотя бы некоторые из них) сочетаются, и это практически исчерпывающий список в данном случае, так что по данной таблице мы можем заключить, что, например, сочетания этих прилагательных с именами веществ или существительными, обозначающими период времени по меньшей мере нестандартны, ср.: *комнатный воздух*, *кабинетный отпуск / январь* и под.

Что же касается приемлемых сочетаний, то их семантика легко предсказуема. Она определяется прежде всего локативной семантической ролью, свойственной названиям пространств, так что обычно *X-овый Y* интерпретируется как ‘Y, [постоянно] находящийся в помещении X’ (ср. *кабинетный ученый*, *комнатное растение*, *кухонный стол* и проч.). В случае, если Y само является пространством — например, помещением, интерпретация зависит от соотношения раз-

меров *X* и *Y*: либо *X* «вкладывается» в *Y* (*подвальное помещение*), либо *Y* в *X* (*купейный вагон*).

Обратим внимание на некоторые семантические особенности «разрешенных» сочетаний.

Во-первых, допускается только **постоянное** отношение двух объектов: если это изделия, то они связаны с данным помещением функционально: *кухонный нож* — это нож, **предназначенный** для использования на кухне; если это нефункциональный объект, то либо он осмысливается как функциональный (*комнатная собака* — это собака, предназначенная для использования в комнате, ср. *дворовая собака*), либо он связан с данным помещением постоянным локативным отношением, ср. *кабинетный ученый*, в отличие от **кабинетный маляр* ('тот, который красил кабинет').

Во-вторых, выражение постоянного отношения обязательно «совмещено с выражением качественной характеристики» (Белошапкова, Земская 1962: 20; ср. также Панов 1999: 135–136). Это значит, что объект, описываемый с помощью отыменного прилагательного, должен иметь некоторую **специфику** — в нашем случае, столовый нож отличается от других ножей, спальная мебель — от другой мебели, кухонное ведро от других ведер и под. За счет этого требования стандартное отношение часть–целое описывается атрибутивной конструкцией крайне редко, ср. **комнатный угол*, **коридорная стена*, **кабинетное окно* — а именно, только в тех случаях, когда есть особая качественная характеристика, ср.: *вагонное / подвальное / чердачное окно*, *чердачная лестница*.

Вообще говоря, идея качественной характеристики подразумевает некоторое постоянное отношение между объектами, так что указанные два условия не независимы. Они создают для носителя языка своеобразный семантический стереотип атрибутивной конструкции, в которой прилагательное образовано от имени со значением 'помещение', так что, с одной стороны, сочетания типа *??комнатный потолок* кажутся нам аномальными — например, потому, что здесь есть постоянное отношение, но нет качественной специфики, — а с другой стороны, если прагматический контекст данной ситуации «добавляет» нам особую качественную характеристику, мы легко (хотя и не бесконечно) расширяем круг приемлемых сочетаний с этими прилагательными.

Решение такой задачи — **обратной** по отношению к классификации атрибутивных сочетаний, принятой не только в русистике, но и,

например, в традиционной англистике (для образований типа *stone wall*; ср. Jespersen 1942, Marchand 1960), — как нам представляется, могло бы пролить свет на то, в какой степени предсказуема семантика атрибутивных сочетаний с отыменными прилагательными, производными от предметной лексики.

В процессе этой работы обнаруживаются случаи нетривиального семантического поведения прилагательных. На некоторых из них мы хотели бы остановиться подробнее.

2. Некоторые нетривиальные случаи

Обычно сочетаемостное поведение прилагательного определяется таксономической категорией исходного имени (это демонстрирует и приведенная выше таблица): близкие по смыслу лексемы имеют сходную сочетаемость. Наоборот, разные по своему значению лексемы и даже разные значения одной лексемы (т. е. относящиеся к разным таксономическим классам) имеют разную сочетаемость — можно было бы сказать, «разные сочетаемостные модели». Ср., например, лексему *дорога*, имеющую, в частности, «материальное» и «абстрактное» значения, как в следующих примерах: *Лошадь стояла на дороге* (= *дорога*₁) и *Собираемся в дорогу* (= *дорога*₂; ср. также подробное описание этих значений на материале фольклорных текстов в Никитина 1997, Арутюнова 1999). Соответственно, прилагательное *дорожный* может быть образовано как от первого, так и от второго значения, ср. *дорожный мастер / строительство / пыль* ~ *дорожный чемодан / костюм / принадлежности / впечатления / знакомства* и под. Легко видеть, что модели сочетаемости этих значений прилагательного различаются. (Заметим, что данное противопоставление значений прилагательных представлено и в МАС, однако распределение примеров на значения, с нашей точки зрения, проведено там не всегда корректно.)

Редкие исключения из данного правила все же случаются. Например, слова *деревня* и *село*, очевидным образом, принадлежат к одному и тому же таксономическому классу и в современном языке представляют собой практически синонимы (ср. МАС: *деревня* = ‘крестьянское селение’, *село* = ‘большое крестьянское селение’); отметим, впрочем, отрицательные коннотации «провинциальности» и «неграмотности / невежества» у *деревня* (в отличие от нейтрального *село*), проявляющиеся, в частности в переносных употреблении типа *Ну ты, деревня!* (ср. также производное *деревенщина*), но, между про-

чим, полностью отсутствующие в обычных «прототипических» употреблениях типа: *Орловская деревня обыкновенно расположена среди распаханых полей* или: *В деревнях, как всегда, не хватало школ и больниц.*

Между тем, вопреки ожиданиям (а также вопреки МАС, практически отождествляющему семантику прилагательных *сельский* и *деревенский*), сочетаемость этих прилагательных различается весьма существенно. Говорят: *сельская* (но не *деревенская*) *молодежь, интеллигенция, специалисты, газета*, и, наоборот, *деревенский* (но не *сельский*) *воздух, платок, деревенское (*сельское) детство, деревенские (*сельские) избы*, и под. Выясняется, что в противопоставлении *городской ~ деревенский / сельский* прилагательное *деревенский* выбирается как характеристика уклада, противоположного городскому, т. е. близкого к природе (*деревенский / *сельский воздух, молоко, собаки, воробьи...*), а значит, патриархального (*деревенская / *сельская изба, баня, детство, плетень, сало* и под.) Особенно интересно сочетание *деревенская церковь*, которое описывает качественные характеристики объекта — это, скорее всего, церковь небольшая, небогатая, но уютная (заметим, что по старым правилам церковь — принадлежность не деревни, а села). Таким образом, *деревенский* — это максимально удаленный от городского по своим **качественным** характеристикам, и здесь возникает поле деятельности для оценочного компонента. Так, 'патриархальный' может осмысляться далее как 'устарелый', в частности, недостаточно модный (об одежде) или недостаточно образованный (о человеке), ср.: *деревенское (*сельское) платье, деревенский (*сельский) родственник.*

Прилагательное *сельский*, с другой стороны, лишено пейоративного компонента и в большей степени — яркости качественных характеристик, присущих прилагательному *деревенский*, поэтому оно используется как «нейтральное», в частности, при обозначении престижных профессий, учреждений и под., чисто географически не относящихся к городской сфере, ср.: *сельский (*деревенский) учитель, врач, руководитель, специалист, покупатель, потребитель, гражданин; совет, милиция, суд, клуб, библиотека* и под.; ср. также: *деревенский (?сельский) пастух, сторож, деревенский / сельский священник, деревенский / сельский участковый.*

Сходным образом, слова *лошадь* и *конь* (которые также практически являются синонимами, различаясь в основном коннотациями) образуют прилагательные *конный* (≈ 'верховой') и *[без]лошадный*, раз-

личие между которыми гораздо более существенно: оно опирается на тот факт, что *конь* интерпретируется в первую очередь как животное для верховой езды, а *лошадь* — как животное для повседневной (крестьянской) работы.

Другой пример не вполне стандартной модели сочетаемости отыменного прилагательного — прилагательное *морской*. Исходное существительное *море* принадлежит к классу емкостей, ср. *озерный*, *речной*, а также *баночный*, *бутылочный* и имеющие сходную интерпретацию *тюремный*, *дворцовый*, а также *комнатный*, *подвальный*, *чердачный* и под., см. выше.

Интерпретация сочетаний этих прилагательных с предметными именами такова, что соответствующий объект либо оказывается помещенным в данную емкость, либо является ее частью (при этом, как мы уже говорили, он должен быть связан с данной емкостью некоторым постоянным пространственным отношением и иметь особые качественные характеристики). Ср.: *морская / речная рыба*, *морской / речной / озерный песок*, *баночное / бутылочное пиво*, *пещерные люди*, *тюремные / дворцовые / подвальные / чердачные помещения*, *жители* и под. Большинство имен, сочетающихся с *морской*, «проходят» именно по этой модели: *ил*, *вода*, *песок*, *камушки*, *раковина*, *пещера*, *впадина*, *сокровища*, *пена*, *волна*, *рыба*, *животное*, *царь*, *утес*, *риф*, *дно*, *берег*, *мыс*, *залив*; к той же модели, видимо, следует отнести и названия морских профессий (*офицер*, *пехотинец*, даже *морской волк*, и под.). В случае, если прилагательное, образованное от имени со значением 'емкость', сочетается с артефактом, интерпретационная модель атрибутивного сочетания немного меняется. Обычно артефакт представляет собой изделие, имеющее определенное назначение, поэтому прилагательное описывает не просто место нахождения, а место *использования* данного изделия: *морской бинокль*, *морской транспорт*, *морской катер* и под. (ср. также *кухонный нож*, *садовая лопата* и др.).

Итак, мы описали почти все возможные сочетания прилагательного *морской* с именами предметов. Однако «остаток» никаким образом не укладывается в основную модель интерпретации, ср.: *морской воздух*, *буря*, *ветер*, *пространство*, *даль*, *ширь*. Например, *морской воздух* — это воздух *над морем*, *морское пространство* — пространство *над поверхностью* моря, а *морской ветер* — и вовсе ветер, дующий *с моря*. Зато именно такая модель сочетаемости (т. е. именно эти имена как приемлемые существительные в атрибутивной конструкции) характерна для прилагательных, производных от имен, которые представ-

ляют другой таксономический класс — класс «безграничных пространств» типа *пустыня* и в особенности *степь* (к сожалению, не все имена этого класса образуют прилагательные).

Таким образом, прилагательное *морской* как бы раздваивается, демонстрируя в точности тот же эффект, который был показан выше на примере прилагательного *дорожный*. Однако там речь шла о двух разных значениях производящего имени: *дорога* в значении места и *дорога* в значении ситуации. Что же касается имени *море*, то традиции различать у него два нужных нам в данном случае значения — значение емкости и значение пространства, насколько нам известно, нет (см., например, МАС). Заметим, впрочем, что употребления типа *глубоко в море* <двигались диковинные рыбы> и *далеко в море* <показался слабый силуэт корабля> довольно ясно демонстрируют это различие: в первом случае представлена интерпретация моря как емкости, а во втором — как пространства, и замена невозможна. Ср. также переносное значение, ‘обширное пространство чего-либо’ (*море спелой ржи*, *море людей*, и под.), обычно отмечаемое в словарях. Впрочем, во многих употреблениях лексемы *море*, как кажется, возможны обе эти интерпретации одновременно, ср., например, *Море спокойно раскинулось до туманного горизонта* или *Из моего окна хорошо видно море*.

Нам представляется, что лексема *море* лишний раз подтверждает распространенность такого явления, как **сдвоенная таксономическая характеристика** у предметных имен, ср. в этой связи описание лексемы *небо* в Урысон 1998; ср. также понятие сдвоенной денотативной характеристики в Падучева 1979. Имена со сдвоенной таксономической характеристикой — типа *небо* или *море* — представляют собой сложные (в частности, в топологическом отношении) объекты, совмещающие характеристики двух разных таксономических классов. Например, *небо*, по Урысон 1998, это одновременно пространство и купол (т. е. пространство, ограниченное куполом), поэтому оно ведет себя в тексте то как поверхность (*звезды на небе*), то как пространство (*лететь в небе*), то совмещающая обе идеи вместе (*ветер по небу гуляет*)²³. С другой стороны, *море* — это очень большое пространство, ограниченное снизу емкостью с водой (или, наоборот, огромная ем-

²³ Очень похожая ситуация в традиции логической семантики называется *type-shifting*, т. е. сдвиг семантического типа, см. об этом Partee 1986. Ср. также Борщев, Кнорина 1990 и Борщев, Парти 1999, где эта модель применяется к описанию семантики генитивной конструкции.

кость с водой, над которой — огромное пространство). Отсюда описанные выше эффекты с прилагательным *морской*.

Аналогичную картину представляет, например, прилагательное *колодезный* (ср.: *колодезный ворот* — ‘часть **устройства**’, но *колодезная вода* — ‘вещество, содержащееся в **емкости**’²⁴). Ср. также различие между сочетаниями типа *фортепьянная пьеса* (соответствующий таксономический класс выявлен в таких употреблении, как *концерт для фортепьяно*) и сочетаниями типа *фортепьянная клавиатура* (таксономический класс тот же, что и в: *поставить новое фортепьяно в ванной*).

Стандартная таблица сочетаемости имен с прилагательными, о которой мы говорили в начале данной главы, позволяет «вычислить» сочетаемостное поведение прилагательного по таксономическому типу исходного предметного имени. В приведенных примерах, напротив, сочетаемостное поведение прилагательных выявляет нетривиальные таксономические характеристики имен.

Экскурс: О сочетаемости прилагательных и национальных стереотипах в языке *

1. Вводные замечания Семантика отыменных прилагательных, конечно, не исчерпывается теми случаями, которые были рассмотрены выше. В качестве простой иллюстрации этого факта мы хотели бы предложить анализ особой семантической группы относительных прилагательных, связанных с названиями национальностей. Этот материал уже не связан напрямую с предметными именами, но нас по-прежнему будет интересовать то, каким образом можно извлечь лингвистически релевантную для описания имени информацию из «косвенных» контекстов; в данном случае в фокус нашего внимания попадают имена национальностей, имеющие, как будет показано, целый ряд лингвистически нетривиальных свойств.

В этом экскурсе речь пойдет в первую очередь о национально-географических стереотипах (и, в связи с ними, также о некоторых других), т. е. о том, каким образом в русском языке отражается «наивная мифология», описывающая свойства и особенности различных наций (в том числе и своей собственной).

²⁴ Ср. толкование в Толстой 1999: 536: «*Колодец* — объект и локус, совмещающий признаки водного источника и хозяйственной постройки».

* Первоначальный вариант опубликован в: Московский лингвистический журнал, 1996, т. 2, 340–351 (в соавторстве с В. А. Плунгяном).

Национальные стереотипы — тема весьма сложная и запутанная, можно даже сказать — болезненная (некоторые авторы вовсе отрицают их существование, другие, напротив, склонны придавать им слишком большое значение), и поэтому мы хотели бы сразу предупредить читателя, что наше исследование никоим образом не является ни философским, ни психологическим, ни этнографическим, ни социологическим — оно вообще не имеет отношения к «этнической реальности» как таковой, а описывает лишь «языковую реальность», т. е., грубо говоря, особенности языкового поведения (прежде всего, сочетаемости) определенной семантической группы слов.

Для анализа были выбраны существительные, обозначающие различные человеческие качества, и прилагательные, обозначающие национальную или географическую принадлежность (типа: *французский, европейский, южный* — см. подробнее ниже). Далее исследовалась сочетаемость получающихся таким образом определительных синтагм.

Нас интересовала не степень правильности словосочетания как такового (можно ли, например, сказать: *европейская нежность*, и если да, то что это будет значить), а то, что мы бы назвали *лингвистической отмеченностью* сочетания. А именно, определительная синтагма вида *Adj* (S_1) + S_2 [где *Adj* (S_1) — относительное прилагательное, образованное от существительного S_1] признается лингвистически отмеченной, если она может обозначать некоторую *стандартную* (лексикографически закрепленную) *модификацию* качества S_2 и/или *максимальную степень* проявления этого качества (по модели: ' S_2 , такое, какое <обычно> приписывается S_1 '). Синтаксически такие сочетания (в отличие от лингвистически неотмеченных) часто могут распространяться словами *типично, чисто, истинно, подлинно, настоящий* и под.

Ср.: (*типично*) *немецкая аккуратность* (= 'выдающаяся аккуратность особого типа — такая, какая <обычно> приписывается немцам'), (*чисто*) *французская галантность*, и т. д., и т. п. В силу сказанного, сочетания *немецкая аккуратность* и *французская галантность* являются лингвистически отмеченными (в русском языке они обозначают, в числе прочего, максимальную степень аккуратности и галантности), а, например, сочетание *испанская аккуратность* (или уже упоминавшееся *европейская нежность*) таковым не является: если даже указанный вид аккуратности или нежности и существует, он не является стандартизованным языковым обозначением максимального проявления этого качества, не является, так сказать, «эталонным».

В связи с этим необходимо сделать одно важное замечание. Ни наличие, ни отсутствие лингвистической отмеченности а priori, само по себе, никак не связано с реальностью / распространенностью / типичностью данного качества у данной группы людей; лингвистическая отмеченность — следствие весьма прихотливой языковой воли, подчиняющейся своим собственным законам. Возьмем один из самых тривиальных примеров. Хорошо известно, что многие наблюдатели были склонны отмечать терпеливость

русского народа, и как будто не существует априорных оснований им возражать (если только не подвергать сомнению правомерность самого понятия «народ» как психологической общности, но это совсем другая — по крайней мере, не лингвистическая — проблема). Тем не менее, сочетание *русская терпеливость* лингвистически не отмечено: оно не обозначает ни особой, ни ярко выраженной, ни максимальной терпеливости. Иными словами, русский народ, может быть, и терпелив, но, с точки зрения русского языка, он терпелив «обычной» терпеливостью, а не эталонной «чисто русской». (Ср. несомненную лингвистическую отмеченность *русской широты* или *русской удалости*.) Точно так же, многие мужчины суровы, а многие женщины стыдливы, но в языке не засвидетельствована ни особая ²⁵*чисто мужская суровость*, ни особая *чисто женская стыдливость*: эти сочетания лингвистически не отмечены. (Такого рода факты являются дополнительным аргументом в пользу того, чтобы не впасть в соблазн считать данные замечания своего рода философским эссе на тему о «народной душе»²⁵.)

В ходе исследования лингвистической отмеченности «национальных» качеств обнаружили две любопытные закономерности, которые во многом повлияли на наш подход к материалу и постановку задачи.

Во-первых, лингвистически релевантными являются названия далеко не всех народов, окружающих русских: лингвистически отмеченные сочетания возможны прежде всего со словами *русский*, *французский*, *немецкий*, а также *восточный* и *южный* (о более конкретной интерпретации двух последних понятий на «лингвистической карте» см. ниже). Кроме того, небольшое число лингвистически отмеченных сочетаний (впрочем, достаточно бесспорных) засвидетельствовано для слов *английский*, *американский*, *испанский*, *европейский*, *азиатский* и *славянский*. Таким образом, видно, что наш список не является чисто этническим: он скорее этно-географический, и такое определение лучше отражает специфику устройства этого фрагмента наивной картины мира. Обращает на себя внимание также неоднородность этого списка: в Европе по понятным причинам выделяются французы и немцы (в меньшей степени отмечены испанцы и англичане), но полностью отсутствуют, например, итальянцы, греки или голландцы (напомним, что последние, например, занимают значительное место в языковом сознании носителей английского языка). С другой стороны, никак не дифференцирован славянский мир (если оставить в стороне единственный, и то несколько сомнительный, пример ²⁵*чисто польский гонор*); из ближайших соседей любопытно также отсутствие цыган, татар и китайцев (при том, что названия этих трех народов достаточно заметно представлены в русской

²⁵ Психолингвистический аспект данной проблемы (в духе работ Лабова), связанный с тем, что говорящие на русском языке *думают* о соответствующих качествах и их носителях, когда их об этом спрашивают, представляет собой совершенно отдельную область исследования; попытка такого исследования предпринята в Кобозева 1995.

идиоматике в целом, сочетаний интересующего нас типа они не образуют — возможно, это связано с тем, что данные ареалы уже обслуживают «неиндивидуализированные» лексемы *южный, восточный и азиатский*).

Во-вторых, сочетаемость этно-географических прилагательных с названиями качеств обнаруживает очень интересные и, с нашей точки зрения, не случайные аналогии с сочетаемостью прилагательных *провинциальный и столичный*, с одной стороны, и прилагательных *детский, мужской и женский* — с другой. Поэтому сопоставлению сочетаемостных свойств всех этих групп лексем ниже посвящены специальные разделы²⁶.

2. Русские, французы и немцы Как представляется, именно эти три народа воплощают в наивном языковом сознании представления о полюсах этнического несходства, о максимально далеких эмпирических реализациях этно-психологического разнообразия (ср.: *Что русским здорово, то немцу смерть*). Французы и немцы — единственные «лингвистические иностранцы» с ярко выраженной индивидуальностью, полностью несхожие ни друг с другом, ни с русскими в том чрезвычайно своеобразном виде, в котором эти последние сами отражаются в своем языке. Удивительным образом, при этом не обнаруживается *ни одного* лингвистически отмеченного качества, которое было бы общим хотя бы у каких-нибудь двух из этой тройки народов.

Каковы лингвистически отмеченные русские качества? Это, прежде всего, *удаль, широта и прямота; сметка и смекалка; гостеприимство (хлебосольство), (за)душевность и щедрость*; но также *беспечность, бесхозяйственность, расхлябанность, лень и барство* и даже *хамство, свинство, дикость и варварство* (менее бесспорны такие качества, как *духовность и загадочность*). Как видим, сочетание достаточно противоречивое (что само по себе весьма характерно), однако в этом объединении есть определенная логика. Во-первых, большинство из этих качеств «эндемично»: так, по крайней мере слова *удаль, сметка, смекалка, хлебосольство, задушевность, бесхозяйственность, расхлябанность, хамство* крайне трудно поддаются переводу на иностранные языки; кажется, что некоторые из них так и существуют в языке совместно с эпитетом *русский*. При этом их ближайшие смысловые эквиваленты, если они оказываются лингвистически отмеченными, попадают со-

²⁶ Почти все приведенные выше рассуждения касались специфики этно-географических прилагательных в составе лингвистически отмеченных сочетаний. Между тем, определенная специфика есть и у существительных — названий человеческих качеств: далеко не все они могут входить в состав таких сочетаний. Не допускаются, в частности, названия со слишком сильно выраженным оценочным компонентом («очень хорошие», «очень плохие», или же, например, «очень странные» качества), такие, как, например, *святость, героизм, скопидомство, обжорство, карьеризм, вульгарность, скоморошество*: как представляется, такого рода характеристики имеют все-таки скорее индивидуальную, чем массовую сферу применения. О некоторых отклонениях от этого правила см. ниже.

всем в другие зоны притяжения: так, *грубость* (в отличие от *хамства*) — качество скорее *мужское*, чем национально-географическое; *мужскими* (либо *женскими*) являются также *непрактичность* (в отличие от *бесхозности*) и *ум* (в отличие от *смекалки*); специфически *женской* является *проницательность*, тогда как *мудрость* — *восточной*.

Во-вторых, почти все эти качества обозначают некоторые *крайние проявления* (как положительные, так и отрицательные); такие слова, как *широта* или *удаль* практически одну только эту идею крайности и выражают. Можно также сказать, что лингвистическим инвариантом всех (или почти всех) «русских» качеств является *отсутствие ограничителей или сдерживающих тенденций*, своего рода «центробежность», отталкивание от середины: это и есть то единственное, что объединяет *щедрость* и *расхлябанность*, *хлебосолюбство* и *удаль*, *свинство* и *задушевность*. Русские охотно признают у себя самые разные недостатки, важно только, чтобы это были «выдающиеся» недостатки, связанные так или иначе с идеей чрезмерности / безудержности. Таким образом, становится понятным, почему *аккуратность*, *практичность* или *размеренность* могут быть с точки зрения семантической сочетаемости чьими угодно качествами, но только не русскими.

...В частности, они могут быть качествами *немецкими*, и здесь вступает в силу в некотором смысле противоположный инвариант. «Образ немца» в русском языке чрезвычайно тесно связан с идеей взвешенности, продуманности, целесообразности — своего рода психологической «золотой середины», которая, впрочем, может представляться и как ограниченность²⁷. В этом смысле можно утверждать, что «немецкие» сочетаемостные свойства — антиподы соответствующих русских.

«Типично немецкими» в русском языке признаются: с одной стороны, *организованность*, *упорядоченность*, *размеренность*, *серьезность*, *основательность*, *аккуратность*, *тщательность*, *дотошность*, *добротность*, *честность*, *бережливость*, *экономность*, *хозяйственность*, *деловитость*, *практичность*; с другой стороны — *педантичность*, *рассудочность*, *расчетливость*, *ограниченность*, а также более маргинальные *флегматичность*, *тяжеловесность* и *сентиментальность*. Иными словами, это список превосходных деловых качеств, сопровождаемых, однако, некоторой, если можно так выразиться, эмоциональной недостаточностью.

«Образ француза» кардинально отличается от двух предыдущих: в сочетаемом списке нет ни русской широты, ни немецкой организованности. Зато в изобилии встречаются качества, инвариант которых можно определить как «тонкость»; свойство это имеет две грани и может прояв-

²⁷ — *Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.*

— *Германн немец: он расчетлив, вот и всё, — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна (А. Пушкин, «Пиковая дама»).*

ляться либо как эмоциональная и культурная утонченность, «цивилизованность» (впрочем, прежде всего — во внешних проявлениях, в «форме»: в частности, в словах, в одежде, в поведении), либо как некоторая хрупкость, переходящая в легковесность, как отсутствие «фундамента». «Типично французские» качества столь же далеки от русских, сколь и немецкие, но по сравнению с немецкими им свойственна, помимо всего прочего, некоторая «экзотичность»: они имеют тенденцию описывать «яркие» свойства, которые так или иначе поражают слух или зрение наблюдателя.

С точки зрения сочетаемости, *французскими* бывают, с одной стороны, *тонкость, утонченность, грациозность, изящество, изысканность*, даже *пикантность*, а также *любезность* и *галантность*, но, с другой стороны, *жеманность, кокетливость, легковесность, ветреность* и даже *испорченность*, которую, впрочем, искупают *игривость* и *живость*. В целом эта группа характеристик достаточно однородна (даже более однородна, чем «немецкие»); «скольжения» внутри нее определяются в основном колебаниями в этической оценке говорящим близких разновидностей одного и того же, по сути, свойства (ср. *живость* и *ветреность*, *грациозность* и *жеманность*, *тонкость* и *легковесность*, и т. п.).

3. Другие народы Как уже было сказано, другие народы представлены на наивной лингвистической карте далеко не столь рельефно; тем не менее, существует небольшое количество лингвистически отмеченных сочетаний со словами *английский, испанский и американский*, а также *европейский и славянский*; последние два апеллируют не столько к национальной, сколько к культурной общности. Любопытно, что сочетаемость прилагательных *славянский* и *русский* почти не совпадает: *славянскими*, в отличие от *русских*, могут быть *мягкость* и *доброта*, а общими «русско-славянскими» являются *загадочность, гостеприимство* и (за)душевность; этими душевно-мягкими свойствами славянский комплекс и исчерпывается. Тем самым, славянам в целом не приписывается русской безудержности и любви к крайностям: они оказываются лишены как русских недостатков, так и русских *удали / прямоты / широты* вкуче со *смекалкой*.

«Чисто английских» качеств с несомненностью можно выделить два: *холодность* и *чопорность* (первое при этом можно считать и семантической доминантой «английского комплекса»). К ним примыкает более маргинальная *корректность* (ср. семантически близкие, но культурно противопоставленные *восточную учтивость* и *французскую галантность*). Помимо этого, существуют общие англо-немецкие *рассудочность* и *практичность*. Последнее качество может приписываться и американцам, однако несравненно более характерным для «американского комплекса» является *прагматичность*, к которой примыкают *деловитость, предприимчивость* и *динамичность*: это фактически сильно обедненный вариант «немецкого комплекса», но с важным дополнительным компонентом «активности».

Любопытны сочетаемостные характеристики прилагательного *европейский*: исключительно европейскими (так сказать, наднациональными) качествами оказываются *воспитанность, образованность* и *просвещенность*, а также, возможно, *рациональность; рассудочность* объединяет европейцев с англичанами и немцами, а *тонкость, утонченность* и *изысканность* — с французами, которые, тем самым, оказываются европейцами в наибольшей степени.

О сочетаемости прилагательного *испанский* см. в следующем разделе.

4. Европа и Азия; Восток и Юг Прилагательные *восточный, азиатский* и *южный* вынуждают нас перейти от чисто национального деления к географическому; между первым и вторым, однако, существуют нетривиальные корреляции.

Наиболее важен в лингвистическом плане обширный «восточный комплекс», с которым связывается общая идея сочетания притягательной и совершенной *формы* с непонятным и опасным *содержанием*. Тем самым, лингвистически отмеченными оказываются, с одной стороны, *восточные пышность, великолешие, роскошь; тонкость, утонченность, изысканность, грация; вежливость, учтивость, любезность, гостеприимство, церемонность, неторопливость*, а также *мудрость, духовность* и *загадочность*, но, с другой стороны, *хитрость, коварство, лукавство; лень, сибаритство; наконец, дикость, жестокость и фанатизм*. Среди «внешних» качеств преобладают положительные, среди «внутренних» — отрицательные (это отнюдь не совпадает с принципом распределения отрицательных качеств в «русском комплексе», несмотря на то, что некоторые из них — например, *лень* — являются у них общими).

По сравнению с «восточным комплексом», «азиатский комплекс» представляется его односторонне отрицательным и при этом ухудшенным вариантом: если «восточные» качества вызывают неоднозначное отношение (и среди них встречаются, например, *мудрость* и *загадочность*), то набор «азиатских» качеств однозначно негативный: это *дикость* (азиатская доминанта), *варварство, косность, жестокость, фанатичность, хитрость, вероломство* (ср. слово *азиатчина*, воплощающее приблизительно тот же набор представлений). Можно сказать, что русские зачарованы опасным притяжением «загадочного Востока», но всеми силами стремятся дистанцироваться от «дикий Азии».

Так же, как *Азия* воспроизводит в обедненном виде внутреннюю суть *Востока*, *Юг* воспроизводит в обедненном виде его внешнюю сторону. Южный инвариант — яркость; лингвистически отмеченные «южные» качества выделяются прежде всего своим внешним проявлением. Это *горячность, пылкость, порывистость, страстность, темпераментность, колоритность*; очень периферийны *романтичность* и *гостеприимство*.

Специфически «южной» нацией оказываются только испанцы (что резко противопоставляет их французам): лингвистически отмечены *испанские*

горячность, страстность и темпераментность (возможно, также *пылкость* и *романтичность*). Кроме этого, правда, испанцы обладают такими восточными чертами, как *фанатичность* и *загадочность*.

В свою очередь, «восточные» черты распределены более прихотливо. Их немало у русских — как «положительных» (*гостеприимство, духовность, загадочность*), так и «отрицательных» (*дикость* и *лень*²⁸), но они удивительным образом присутствуют у французов и даже у европейцев: это *тонкость, утонченность, изысканность, грация, изящество*. Впрочем, здесь, как и в случае с *ленью*, имеется определенное внутреннее различие между «цивилизованной» европейско-французской *тонкостью* и «коварной» *тонкостью* Востока. Целиком вне «восточного комплекса» находятся только германские народы: немцы, англичане и американцы.

5. Провинция и столица Так же, как среди народов есть восточные и южные, среди них обнаруживаются провинциалы и столичные жители. Набор «столичных» свойств отражает совершенство формы при внутренней пустоте (равной выхолощенности, бессодержательности или даже испорченности: это вполне толстовский взгляд на столичную жизнь). Первая часть этого инварианта сближает столицу с Европой, Францией и Востоком, вторая — отчасти с той же Францией; ср. такие лингвистически отмеченные *столичные* качества, как *пышность, тонкость, утонченность, изысканность, пикантность, галантность*, а также *ветреность, капризность, пресыщенность, испорченность*. Таким образом, возникает сильная эквивалентность между столицей и Францией-Европой: и преимущества, и слабости французов есть преимущества и слабости (культурной) столицы, противопоставляющие ее более косной, но и более нравственной провинции.

Есть еще одна бесспорно столичная нация — англичане: два эталонных английских качества — *холодность* и *чопорность* — оказываются одновременно и столичными; это другая ипостась столицы, но вполне вписывающаяся в логику столичных изысков.

В свою очередь, немцы удивительным образом оказываются волею языка безнадежно провинциальной нацией: почти все эталонные немецкие качества являются одновременно провинциальными, и наоборот: *солидность, серьезность, основательность, добротность, честность, чинность, флегматичность, тяжеловесность*, даже *сентиментальность* и *ограниченность*. Правда, здесь имеются две важных группы исключений. С одной стороны, такие немецкие качества, как *аккуратность, организованность, рассудочность,*

²⁸ Заметим, впрочем, что *русская лень* и *восточная лень* — явным образом разные виды лени; если первая сродни *беспечности* и *бесхозяйственности*, то вторая — *сибиритству* и *неге*, т. е. является не простым нежеланием делать что-либо, а скорее, сознательным желанием ничего не делать, специальным времяпровождением, «заятием».

деловитость, хозяйственность и под. не имеют «провинциальных» аналогов (дело здесь, по-видимому, в том, что провинция всё-таки имеется в виду по преимуществу русская); с другой стороны, и провинциальные *любопытство, непосредственность, неопытность, наивность, застенчивость, узость* не имеют национальных коррелятов.

Справедливости ради следует признать, что отдельные «провинциальные» черты всё же проявляются и в других национально-географических зонах: это азиатские *дикость* (также *русская*) и *косность*, французские (!) *жеманность* и *галантность*, английская *чопорность*, восточная *учтивость*, южно-испанская *романтичность*. Совпадения эти любопытны, но не носят столь массового характера. К тому же, как и в ряде предыдущих случаев, за формальной идентичностью здесь могут скрываться внутренние различия: например, изысканная *французская галантность* и благородная *английская чопорность* — совсем не то же самое, что неуклюжие *провинциальная галантность* и *провинциальная чопорность*...

6. Мужчины, женщины и дети Существование «мужской» или «женской» доминанты в национальном характере — проблема, давно занимавшая философов; впрочем, лингвистические данные (вкуче с сочетаемостными свойствами прилагательного *детский*) и в этом случае оказываются достаточно парадоксальными.

В наименьшей степени национально окрашен набор «детских» черт, которые в целом замечательным образом очень близки к «провинциальному комплексу»: это *детские любопытство, непосредственность, неопытность, наивность*, а также не пересекающиеся ни с кем *любопытность* и *восприимчивость*. Есть только одна нация, которая обнаруживает детские свойства: это французы с их *игривостью* (впрочем, не вполне детской) и *живостью*. Отметим также, что *серьезность*, напротив, бывает не только *немецкой* и *провинциальной*, но и *недетской*.

Лингвистически отмеченные «мужские» качества (и сами по себе немногочисленные) также не имеют четко выраженной национальной ориентации: с русскими мужчин сближает *прямота*, с немцами — *основательность, рассудочность* и *ограниченность*, с англичанами и европейцами в целом — та же *рассудочность*. Специально мужскими свойствами остаются *твердость* и *грубость*, а также *эгоизм, непрактичность* и *ум*; но последние три равным образом могут быть и *женскими*. Вряд ли имеет смысл специально доказывать, что *женский ум* — это отнюдь не то же, что *мужской ум*, а *женская непрактичность* не имеет ничего общего с *мужской непрактичностью*.

Пересечение «женских» и «национальных» качеств более обширно. Бесспорный лидер по числу женских черт, конечно, французы: это, во-первых, *кокетливость, ветреность*, а также общие с Востоком *тонкость, грациозность* и *изящество* (напомним, что *тонкость* — это также качество *европейское* и *столичное*). Восточные параллели продолжают *лукавство, хитрость* и *коварство* женщин. Отметим также русскую и женскую *беспечность*, юж-

ную и женскую *эмоциональность*, и, наконец, русско-славянско-восточно-испанско-женскую *загадочность*.

Конечно, у женщин есть немало и «вненациональных» свойств: это, во-первых, *любопытство* (которое бывает также *детское* и *провинциальное*), *легкомыслие*, *непостоянство*, *непоследовательность*, *слабость* и несущие более выраженную отрицательную оценку (что, как мы видели, в целом для национальных свойств не характерно) *капризность*, *болтливость*, *упрямство*, *дурость*, *вздорность*, но, с другой стороны, *обаяние* и *проницательность*.

Таким образом, женщина предстает в языке как существо одновременно по-французски тонкое (воплощая разные грани этого понятия), по-восточному притягательно-опасное и по-русски неконтролируемое (с некоторым сдвигом от стихийной русской бесшабашности в сторону упрямства / вздорности)...

Здесь любопытно сравнить сочетаемостные свойства прилагательных *женский* и *бабий*: *баба* оказывается ухушенным и опрошенным вариантом *женщины*, обладая лишь *болтливостью*, *вздорностью*, *дуростью* и сверх того еще *плаксивостью* (правда, дополняемой *жалостливостью*). Ср. также противопоставление *настоящая женщина* ~ *настоящая баба* (последнее однозначно пейоративно и может, кроме того, с одинаковым успехом относиться как к женщине, так и к мужчине). Характерный пример использования всех этих коннотаций дает следующий текст:

В жизни Стриндберга было время, когда всё женское вокруг него оказалось «бабьим»; тогда во имя ненависти к бабьему он проклял и женское; но он никогда не произнес кощунственного слова и не посягнул на женственное; он отвернулся от женского только, показав тем самым, что он не заурядный мужчина, так же легко «ненавидящий женщин», как поддающийся расслабляющему бабьему влиянию, а мужественный, предпочитающий остаться наедине со своей жестокой судьбой, когда в мире не встречается настоящей женщины, которую только и способна принять честная и строгая душа (А. Блок, «Памяти Августа Стриндберга»).

3. Таксономия имени. Некоторые итоги

Подведем итоги.

Традиционное понятие таксономической характеристики является конституирующим для семантического представления имени — толкования. Мы показали, однако, что таксономическая характеристика имени является еще и «работающей» частью толкования: она определяет приемлемость и тип семантической интерпретации по крайней мере некоторых грамматических форм (в частности, множественного числа и творительного падежа), а также формы отыменного прилагательного. Правда, для того, чтобы эта характеристика действительно работала в лингвистическом описании, степень дробности таксономической классификации должна быть достаточно высока.

Интересно, что механизм функционирования таксономической характеристики оказывается *единым* и для чисто грамматических значений (как число и падеж), и для традиционно считающихся словообразовательными (как отыменные формы). Он сводится к тому, что таксономическая характеристика взаимодействует со значением данной формы, и в случае их семантической несовместимости данная форма оказывается неприемлемой, а в случае их семантической согласованности она интерпретируется по одной из типовых моделей. Обратим внимание, что в этом механизме, предполагающем *мотивированность* языковых форм, в принципе нет места семантическому противопоставлению между словоизменением и словообразованием: все рассмотренные формы не являются идиоматичными и строятся по регулярным моделям (ср. прототипическое словоизменение), но в то же время их интерпретация апеллирует к семантике исходной лексемы (ср. прототипическое словообразование).

Другой интересный результат, который дает рассмотренный материал, — это доказательство *недревовидности* таксономической классификации. Мы показали, что одно и то же имя в сознании носителя языка может легко относиться к двум и более классам таксономической классификации, причем в одном и том же значении. Как будет видно из дальнейшего изложения (см., например, раздел «Аспектуальные характеристики предметных имен»), то же верно и для других, нетаксономических именных классификаций. Данное свойство есть одно из проявлений *лабильности* именной семантики (см. Введение, раздел 2.2).

Глава II

В ЗЕРКАЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Введение

1. О классификации прилагательных

Эта глава — самая большая по объему рассмотренного материала. Здесь описываются принципы семантической организации атрибутивных сочетаний предметных имен с качественными прилагательными различных типов.

Заметим сразу, что термин «качественные прилагательные» обычно понимается морфологически — как прилагательные, способные образовывать формы степеней сравнения. Однако семантика этих форм различна для разных семантических групп прилагательных. Так, семантика сочетаний с качественным прилагательным типа *жирный кусок* (≈ ‘кусок, содержащий жир’), в сущности, всего лишь конверсна по отношению к семантике сочетаний с относительными прилагательными типа *кровяные шарики* (≈ ‘шарики, содержащиеся в крови’). Возможность в первом случае степени сравнения (равно как и невозможность во втором) легко объяснима: *жирнее* означает, что увеличилось количество содержащегося жира. Совершенно очевидно, что природа степени сравнения других семантически качественных прилагательных типа *глубокий*, *узкий* или *острый* иная — она связана непосредственно с градуированием признака. Тем самым, более существенным для семантического описания является противопоставление между отыменными и неотыменными прилагательными. Особенности семантики отыменных прилагательных были рассмотрены нами в § 6 Главы I; в настоящей главе нашим материалом будут неотыменные прилагательные.

В свое время Р. Диксон выделил 7 основных семантических типов прилагательных (Dixon 1982) — и затем (в Dixon 1991) увеличил этот список до 10. Прототипическими для прилагательных он считал значения размера, физических свойств (‘крепкий’, ‘тяжелый’, ‘чистый’, ...), скорости (‘быстрый’, ‘медленный’, ...), возраста (‘старый’, ‘молодой’, ...), цвета, оценки (‘хороший’, ‘плохой’, ‘стран-

ный', ...), трудности ('простой', 'сложный', ...), «квалификации» ('возможный', 'правильный', 'нормальный', ...), человеческих свойств и склонностей ('счастливый', 'сердитый', 'умный', ...), сходств ('похожий', 'непохожий', ...). По мнению Р. Диксона, из этих 10 можно выделить еще более компактную группу значений — размер, цвет, возраст и оценка; эти значения настолько естественны для прилагательных, что выражаются адъективно даже в таких языках, в которых прилагательные как морфосинтаксический класс практически отсутствуют. Поведение представителей этой центральной группы прилагательных с именами будет интересовать нас, конечно, в первую очередь: в § 2 будут подробно рассмотрены сочетания с прилагательными размера, в § 4 — сочетания с прилагательными цвета и в § 5 — сочетания с прилагательным *старый*, представляющим «возрастную» группу. Сочетаемость прилагательных оценки, к сожалению, не дает такого интересного материала для классификации имен — их «заменяют» прилагательные физических свойств, из расширенного списка Диксона (об этих прилагательных см. § 1). Однако, помимо этого, мы проанализируем семантику именных сочетаний с (редкими) прилагательными формы (§ 3) — в связи с топологией имен, а также с прилагательными температуры (§ 6).

Мы покажем, что каждая из рассматриваемых групп прилагательных связана со своей особой языковой классификацией объектов — по их топологическим типам, цветам, аспектуальным или температурным характеристикам. Представление о месте предметного имени в данной классификации является его постоянным семантическим свойством, которое носитель языка «знает» — впрочем, это знание не требует от него никаких дополнительных усилий: дело в том, что все эти классификации в конечном счете опираются на способ функционирования денотата предметного имени, а он, конечно, говорящему хорошо известен.

2. Атрибутивные и предикативные конструкции

Прежде чем перейти собственно к анализу материала, мы хотели бы обсудить, какие именно конструкции с прилагательными названных типов нас будут интересовать и почему.

Дело в том, что для прилагательных, в том числе в русском языке, характерны две конструкции — атрибутивные и предикативные. Они отличаются синтаксически, а в русском языке даже отчасти мор-

фологически: краткие формы прилагательных, как известно, могут выступать только в предикативной, но не в атрибутивной позиции. Однако между этими двумя конструкциями есть не только морфосинтаксические, но и семантические различия; по-видимому, впервые на них было обращено внимание в Bolinger 1967. На материале английских прилагательных в препозиции и постпозиции Болинджер показал, что в атрибутивной конструкции (препозиция) выступают обычно постоянные признаки, тогда как в предикативной (постпозиция) — временные; кроме того, в атрибутивной конструкции прилагательное семантически модифицирует (заранее заданное) значение существительного, а в предикативной — приписывает ему некоторый новый признак. Не раз отмечалось, что и семантические группы прилагательных распределяются по тому, тяготеют ли представители этой группы к атрибутивной или предикативной конструкции. Например, по-английски можно сказать: *the main reason* ‘основная причина’, но не: **the reason is main* и наоборот, невозможно **the ready man*, но абсолютно приемлемо *the man is ready* ‘человек готов’. В Quirk et al. 1972: 263 замечено, что английские прилагательные, тяготеющие к предикативной позиции, семантически оказываются ближе к глаголам и наречиям — и в частности, в отношении к времени: для них естественнее обозначать временный признак, чем постоянный, ср. *ill* ‘болен’, *well* ‘здоров’, *faint* ‘в обмороке’ и др. (ср. шкалу Гивона — см. об этом также Введение, § 2; заметим попутно, что в русском языке краткие прилагательные, для которых возможны только предикативные употребления, тоже принято сближать с глаголами, см. Бэбби 1973). Наоборот, типичные перфектные причастия в английском, которые употребляются атрибутивно, — это те, которые обозначают оставленный на чем-л. след, т. е. постоянный признак, ср.: *a bruised cheek* ‘щека в синяках’ — **a scratched head*, букв. ‘почесанная голова’; *labeled goods* ‘товары с маркировкой’ — **sent goods*, букв. ‘посланные товары’ (Bolinger 1967; ср. также Bhat 1994). В русском языке также, как известно, существуют прилагательные, употребляющиеся только предикативно (например, *рад*) и только атрибутивно (например, *шоссейный* или *какой-нибудь*; о синтаксических особенностях последнего см. Джусты 1982: 509).

Итак, атрибутивные и предикативные конструкции оказываются семантически противопоставлены. Если суммировать все отмеченные частные различия между ними, то можно сказать, что атрибутивные сочетания семантически предполагают согласование прила-

гательного с именем, а предикативные — навязывают ему некоторый внешний (возможно, случайный) признак¹. Если это так, то необходимо не только различать эти конструкции при описании прилагательных, но и определить, какая из двух является, так сказать, приоритетной. И Болинджер, и многие другие известные лингвисты (ср., например, Dik 1989) считали главной атрибутивную конструкцию. Приоритет атрибутивности для прилагательных на большом типологическом материале последовательно защищается в Bhat 1994 (с. 104 и след.). Д. Бхат показывает, что в предикативных употреблениях прилагательные теряют свои индивидуальные характеристики, отличающие их, в частности, от глагола. В связи с этим Бхат критикует тех типологов, которые, строя гипотезы относительно семантики прилагательных в языках мира исключительно на материале предикативных употреблений, приходят к выводу, что «своей» семантики у прилагательных нет (см. Bhat 1994: 258–259 по поводу работы Wetzler 1992, а также Bhat 1999 по поводу работ Stassen 1997 и Wetzler 1996).

Довольно серьезным оппонентом по отношению к этой точке зрения выглядит С. Томпсон (Thompson 1988). Занимаясь дискурсивным анализом, она исследовала прилагательные в устной речи, и по ее данным частотность предикативных употреблений в два раза превышает атрибутивные. Кроме того, она считает, что по своей семантике именно к предикативным, а не к атрибутивным (т. е. к вводящим новый референт, а не модифицирующим старый) должны причисляться довольно многочисленные случаи типа *I saw something remarkable* ‘я увидел нечто замечательное’, где определяемое имя фактически ничего не обозначает.

Тем не менее, возражает Бхат (Bhat 1994: 256–257), в этих контекстах прилагательное вводит референт только опосредованно, т. е. все-таки с помощью имени — ср. чисто номинативные употребления типа *На этой картине слишком много белого*. Что же касается статистики, то ее результаты, как всегда, нуждаются в тщательной проверке и перепроверке — например, по данным в Croft 1991:122, соотношение атрибутивных и предикативных контекстов ровно обратное (в два раза больше оказывается, наоборот, атрибутивных), и эти данные подтверждаются исследованиями У. Чейфа (Bhat 1994: 257).

Первичность атрибутивной конструкции по сравнению с предикативной может служить примером иконичности языка: в атрибутивной конструкции обычно происходит морфологическое согласова-

¹ Интересно, что в работах, написанных в рамках грамматики Монтегю, предлагается трактовка предикатных употреблений как «экстенциональных», а атрибутивных — как «интенциональных» (см., в частности, Lewis 1976: 10–11, Siegel 1979; ср. также Taylor 1992: 7).

ние прилагательного с существительным — и ей же свойственно семантическое их согласование. На это обстоятельство в свое время обратил внимание Э. Кинен (Keenan 1979). Он полагал, что, согласуясь с существительным, прилагательное тем самым проявляет свое скрытое семантическое подчинение ему — и это объясняет, почему в языках не бывает обратного: согласования существительного с прилагательным.

Семантические принципы согласования прилагательного с существительным в атрибутивной конструкции обсуждались в работе Е. М. Вольф. Ср.:

«Семантические соотношения имени признака и имени объекта характеризуются рядом специфических особенностей. Рассмотрим их на примере прилагательного *аккуратный*. <...> Имена, которые могут сочетаться со словом *аккуратный*: *человек, работник, почтальон, запись* <...>. Трудно предположить, что слова *почтальон* или *запись* содержат сему 'аккуратный/неаккуратный'. <...> Но в то же время у всех слов, входящих в серию, есть нечто общее в денотации и значении, что позволяет им иметь общую характеристику. Это общее следует искать не в самом признаке, который для каждого из определяемых возможен, но лишь в редких случаях обязателен, а в более общих свойствах денотатов. Для объяснения таких сочетаний должно быть раскрыто «основание» для признака, т. е. глубинные пропозициональные связи определяемого. <...> Основание ограничивает сочетаемость прилагательного, позволяя ему присоединяться лишь к тем именам, которым могут быть приписаны соответствующие признаки» (Вольф 1985: 65).

Всё сказанное заставляет нас исключить предикативные употребления прилагательных и рассматривать только атрибутивные. Нам интересны не прилагательные как таковые, а свойства предметных имен, которые прилагательные так или иначе проявляют. Последнее же возможно только в случае, когда прилагательное семантически подчинено этому имени и по своим свойствам согласовано с ним. Благодаря этому именно в атрибутивных, а не в предикативных конструкциях возникают семантические запреты на сочетаемость прилагательных с предметными именами, которые дают ключ для семантического описания и тех, и других. В большинстве случаев соответствующие предикативные сочетания оказываются в гораздо большей степени свободными и с точки зрения семантического анализа имен малоинтересными.

§ 1. Прилагательные сквозь призму существительных и vice versa *

1. Функциональная составляющая

Этот параграф предваряет подробный разбор атрибутивных сочетаний имен с прилагательными различных типов. В нем пойдет речь о качественных прилагательных вообще и об особенностях интерпретации их сочетаний с предметными именами в целом.

Данная проблема имеет некоторую лингвистическую историю. Я подразумеваю в первую очередь статью З. Вендлера «The Grammar of Goodness» (Vendler 1967), посвященную интерпретации сочетаний имен с чисто оценочными прилагательными типа *good*, *beautiful*, *comfortable* и под.² Идея З. Вендлера состояла в том, что в сферу действия таких прилагательных, которые можно было бы рассматривать в качестве специальных операторов, попадает не само зависимое существительное, а некоторый внешний по отношению к нему предикат, ср.: «Свойство быть удобным соотносится с вещью лишь через некоторое действие, в котором вещь принимает участие» (Vendler 1967: 534).

В то же время исследования предметных имен как таковых показывают, что предикат, который З. Вендлер считал «внешним» по отношению к предметному имени, на самом деле как раз составляет основу его семантического представления. *Удобный дом* не потому интерпретируется как ‘дом, в котором удобно жить’, что говорящий в данный момент имеет в виду ситуацию, связанную с предикатом *жить*, а потому, что лексема *дом* описывает некоторое сооружение, приспособленное для того, чтобы жить в нем, и предикат *жить* всегда имеется в виду, если речь идет о лексеме *дом*. «Имеется в виду» на более жестком языке семантических описаний — в терминах предикатов и их аргументов — означает, что в толкование подавляющего большинства предметных имен³ входит некоторый предикат, обычно

* Первоначальный вариант опубликован в: НТИ, сер. 2, 1991, № 9, 26–28.

² Здесь можно было бы назвать и другие имена, — сам З. Вендлер ссылается, в частности, на Аристотеля.

³ Несколько сложнее, как правило, ведут себя названия животных (ср. *павиан*) и слова типа *человек* (Вендлер даже считает их исключениями из этого слишком общего правила). В данном разделе, однако, мы позволим себе отвлечься от обсуждения проблем, связанных с этими именами.

описывающий стандартный способ использования соответствующего объекта⁴. Тем самым, в случае, когда речь идет о разного рода синтаксических конструкциях с именем *дом*, их интерпретация достаточно часто опирается на семантику «встроенного» в семантическую структуру имени предиката, ср. посессивные конструкции типа *наш дом* ('дом, в котором мы живем'), а также примеры З. Вендлера с оценочными прилагательными — *удобный, хороший* и под.

Между тем, круг прилагательных, которые семантически взаимодействуют с встроенным в имя предикатом, значительно более широк, чем может показаться читателю статьи о слове *good*. Так, для многих качественных прилагательных интерпретация сочетания *А-ый Х* может меняться в зависимости от того, каков стандартный способ использования объекта, названного лексемой *Х*. Ср., например, *скрипучий пол* = 'пол, который скрипит, когда по нему ходят', *скрипучая дверь* = 'дверь, которая скрипит, когда ее открывают или закрывают'. Ср. также *теплый суп* = 'суп, теплый на вкус', *теплая грелка* = 'грелка, теплая на ощупь', *теплый песок* = 'песок, теплый на ощупь' (не на вкус!), *теплая вода* = 'вода, теплая на вкус или на ощупь' (*Лось жадно пил теплую воду; Из крана текла чуть теплая вода*).

Заметим, что степень «функциональной» антропоцентричности (по А. Вежбицкой — см. Wierzbicka 1985) во всех примерах такого рода (и, в частности, в случае с прилагательным *теплый*) очень высока. Например, неверно, что все, что едят, оказывается теплым на вкус — таким образом не интерпретируются ни *теплое яблоко*, ни *теплый банан*, ни даже *теплый хлеб*. Важнейшим обстоятельством здесь является то, что все эти съедобные вещи человек, прежде чем пробовать на вкус, берет в руки — именно поэтому «осязательная» интерпретация одерживает верх (семантике сочетаний с температурными прилагательными посвящен особый раздел настоящей главы, см. подробнее ниже).

⁴ Ср. здесь систему семантической производности имен от глаголов в модели «Смысл \Leftrightarrow Текст»: имя действия или состояния (S_0), имя первого актанта (S_1), второго актанта (S_2) и т. п., см. Мельчук 1974, Апресян 1974, а также близкий подход в модели «порождающего словаря» Дж. Пустеевского (Pustejovsky 1991). Существенным преимуществом такого описания является, между прочим, то, что валентности исходного предиката наследуются семантически производным предметным именем — это позволяет адекватным образом интерпретировать синтаксические связи предметных имен; см. в связи с этим Главу V.

2. Прочный и крепкий

Рассмотрим некоторые примеры другого рода. Что такое *крепкий* или *прочный*? В самых общих чертах смысл этих прилагательных можно описать как ‘устойчивый к деформации’, причем *крепкий* — это устойчивый к такой деформации, при которой объект распадается на части⁵, а *прочный* — к деформации под воздействием веса (силы тяжести). Ср. *крепкая мебель* (= ‘не распадающаяся на части при длительном использовании’) vs. *прочная мебель* (= ‘выдерживающая большой вес’), *крепкий* (**прочный*) *орех*, (**крепкая*) *крыша*, *прочный* (**крепкий*) *мост*, *крепкие* или *прочные* (в особенности, если они служат вешалкой) *рога*, *крепкая* (*прочная*) *веревка* и под. Между тем, возникает вопрос, почему не говорят **крепкие часы*, **крепкая посуда*, **прочная грелка*, **прочные очки* и мн. др. Оказывается, устойчивость к деформации в случае с *крепкий* и *прочный* должна быть некоторым постоянным свойством данного объекта, связанным с особенностями его функционирования. Например, орех в некотором смысле предназначен, чтобы его раскалывали (и ели). Крепкий орех — это такой, который трудно расколоть. Мост предназначен, чтобы по нему ходили и ездили — тем самым, в процессе своего функционирования он постоянно подвергается воздействию силы тяжести, так сказать, испытывается на прочность. Прочный мост — это такой, например, по которому может ездить очень тяжелый транспорт. В принципе, можно сказать *крепкий мост*, имея в виду, что мост состоит из каких-то частей, и конструкция его так хороша и надежна, что в процессе функционирования он никогда не распадется на части (ср. *крепкая мебель*), но не **прочный орех*, потому что орех не предназначен для выдерживания физических нагрузок, веса, силы тяжести. То же с часами, очками, посудой или грелкой: все эти предметы, в принципе, могут сломаться, развалиться на части, лопнуть, разбиться — но не в процессе своего функционирования, а вне его, как бы случайно, — и такое повреждение, безусловно, нарушило бы нормальный «жизненный путь» этих объектов. Поэтому, если мы все же хотим осмыслить сочетания типа *прочные очки* / *крепкие тарелки*, нам придется изобре-

⁵ Исключение здесь составляют некоторые овощи и человеческое тело, а также некоторые его части, ср. *крепкая свекла*, *крепкий кочан*, *крепкие щеки* и др. Ближайшим синонимом для *крепкий* в сочетаниях с именами этой семантической группы будет *упругий*, а не *прочный*, так как способ деформации, характерный для соответствующих объектов, совершенно иной, чем в основной группе.

сти специальный сильный прагматический контекст, позволяющий сделать это, — например, представить себе ситуацию, в которой кто-то ронял очки или бросал об пол тарелки — словом, делал что-то совершенно неподходящее для данного предмета. Естественно, что сами сочетания с *прочный* и *крепкий* будут в этом случае восприниматься как окказиональные, стоящие на грани правильности.

Крепкий и *прочный* не представляют исключения — это примеры, иллюстрирующие правило взаимодействия значения качественных прилагательных определенного семантического типа со значением предметной лексемы. Правила семантической интерпретации таких сочетаний связаны с индивидуальными лексическими свойствами соответствующих существительных и прежде всего — с типом предиката, содержащегося в их семантическом представлении (см. выше). В самом общем виде здесь можно было бы говорить об интерпретации адъективного сочетания $A\text{-ый } X(P) \approx$ «В процессе функционирования P объект X подвергается некоторого рода воздействию и обнаруживает свойство A ». Ср. *жесткий, твердый, гибкий* и мн. др. Так, *твердый предмет* — это такой предмет, который в процессе использования трогают, и он оказывает сопротивление; таким образом, *твердый* — это всегда твердый на ощупь: ср. *твердый камень, твердое дно* [= по которому «твердо» ходить], а также *твердое мясо* (например, если оно было заморожено) vs. *жесткое мясо* (по отношению к тому, что съедобно: *жесткий*, в отличие от *твердый*, понимается как «твердый на вкус, а не на ощупь»). При этом нельзя в обычной ситуации сказать **твердая стена, *твердая лампа, *твердая книга*, так как нормальный способ функционирования этих объектов не включает «проверки на мягкость». В этом отношении интересна пара *мягкая мебель* vs. **жесткая мебель*. Если считать *мягкий* квазиантонимом к *твердый* и антонимом к *жесткий*, становится понятно, как интерпретировать сочетание *мягкая мебель* — «та, на которой мягко сидеть или лежать». Что касается «жесткой» мебели — шкафов, буфетов, столов и проч. — то у этого класса объектов совершенно другие функции, так что процесс их использования не связан с осязанием, поэтому такая мебель и не называется *жесткой*.

То же нарушение симметрии наблюдается в паре *глубокий — высокий*. С некоторой точки зрения, эти прилагательные семантически очень близки — одно из них обозначает большие (больше нормы) размеры внешней вертикальной поверхности объекта, другое — большие (также больше нормы) размеры его внутренней поверхности, но

в том случае, если этот объект — емкость. Тем самым, если емкость имеет еще и некоторую сравнимую с внутренней наружную поверхность, *высокий* и *глубокий* измеряют почти одно и то же, но с разных сторон: извне и изнутри, так что глубокий контейнер будет, в нормальной ситуации, также и высоким. Между тем, измерение глубины и высоты в языке (по крайней мере, в русском) точно так же подчинено функциональной идее, как и проверка на прочность или мягкость; подробнее этот материал будет разобран в разделе 4 («Антропоцентричность и размер») § 2 настоящей главы.

3. Прилагательные и ролевая классификация имен

Наконец, рассмотрим еще один аспект интерпретации адъективных сочетаний, также связанный со скрытой предикативностью предметного имени. Вернемся к слову *крепкий*. Есть целый класс объектов, которые, вообще говоря, могут в процессе функционирования сломаться, развалиться на части или разрушиться. Речь идет об инструментах и механизмах. Тем не менее, ни один представитель этого класса не может быть определен как *крепкий*: **крепкий молоток*, **крепкие грабли*, **крепкий трактор*, **крепкая машина* и т. д., и т. п. — во всех таких случаях говорят *надежный* или просто *хороший*. Почему? Потому что *крепкий* определяет только те объекты, на которые направлено некоторое воздействие, а не те, которые сами это воздействие осуществляют. Таковы же *прочный*, *твердый*, *мягкий*, *гибкий*, *упругий*, *шаткий*, *горький*, *сладкий*, *шершавый*, *липкий*, *вязкий*, *плотный*, *хрупкий* и очень многие другие качественные прилагательные. Они, так сказать, *пацентны*, так как общая схема их толкования (см. выше) в конечном счете сводится к условию: 'Если в процессе функционирования на объект воздействовать определенным способом, то он проявит свойство А'. Понятно, что ни один инструмент не вписывается в эту схему толкования (именно за счет ее, так сказать, «ролевой» специфики), и это отчетливо видно в приведенных выше примерах со словом *крепкий*. Сказанное имеет одно очень важное лексикографическое следствие. Если дело обстоит так, как было описано выше, то это означает, что мы должны располагать не только ролевой классификацией глаголов, но и ролевой классификацией имен — с тем, чтобы иметь возможность строить грамматически правильные сочетания с разными семантическими группами качественных прилагательных.

Легко видеть, что первый класс имен, агентивный, или, скорее, активный, составляют прежде всего инструменты и механизмы — они являются первыми актантами встроенного в их семантику глагола (ср. Апресян 1974): *игла* — ‘то, что колет’, *молоток* — ‘то, что забивает гвозди’, *нож* — ‘то, что режет’ и под. Круг прилагательных, которые описывают эти предметные имена, тоже составляют имена, так сказать, агентивных признаков: они характеризуют потенциальную успешность того рода действия, которое выполняется с помощью этого инструмента: *острый* ≈ ‘такой, что если режет или колет, то хорошо [т. е. быстро, легко, ровно...]’, *звонкий (колокольчик)* ≈ ‘если звенит, то хорошо слышно’⁶, и т. п.

Понятно, что агентивность в данном случае понимается очень условно, так как существует реальный деятель — человек, и именно он в действительности совершает действия, имея все эти предметы лишь в качестве инструментов⁷. Между тем, если говорить не о ситуации резания, пиления и т. д. вообще, а о толковании данных конкретных предметных лексем (*нож*, *пила* и т. п.), — здесь агентивная функция этих предметов становится как бы главнее функции человека (ср. естественные в языке метонимические переносы типа *нож режет*, *игла шьет*, и т. п., в особенности: *нож хорошо режет*, *игла хорошо шьет*). Человеку же в такой интерпретации ситуации (сделанной как бы с точки зрения инструмента) отводится совершенно другая роль, а именно, роль некоторого заинтересованного в осуществлении данного действия лица: *острый* ≈ ‘режущий легко для человека, с минимальными усилиями со стороны человека’.

Объекты, которые описывают «пациентные» имена, имеют не-агентивные роли в стандартной для себя ситуации использования. Дверь — то, что открывают и закрывают, пол — то, по чему ходят, дом то, где живут и т. д. Как мы видели, имеется особый класс прилагательных, которые учитывают специфику семантики таких имен. Сочетание ⁷*острая дверь* может быть проинтерпретировано с большим

⁶ Здесь и ниже мы намеренно отвлекаемся от интересных семантических подробностей толкования как имен, так и прилагательных — речь идет, конечно, об очень грубых с семантической точки зрения схемах.

⁷ Проницательные замечания о связях инструмента и агенса можно найти в ранней работе К. Чвани (Chvany 1975); ср. также более развернутые рассуждения в Chvany 1996 о «континууме агентивности» (в который входят и инструменты). В контексте такого континуума интересны также условия, в которых инструменты не объединены с механизмами, а противопоставлены им по степени агентивности — для обсуждения здесь задачи это противопоставление, однако, нерелевантно.

трудом (в очень сильном прагматическом контексте): в нормальной ситуации дверь ничего не режет, она сама подвергается физическому воздействию, и при этом принципиально иного рода.

В языке, однако, могут возникать своеобразные «семантические коллизии», не предусмотренные сформулированным выше правилом. Это становится возможным потому, что далеко не все существительные имеют жесткую семантическую структуру, и при этом однозначно полярную — агентивную или пациентную. Например, камень — такая вещь, которая не имеет строго определенной функции. Камень может быть острый — это значит, что этот камень может что-то разрезать или проткнуть. Стол не бывает острым — по тем же причинам, что и дверь, ср. *“острый стол*, но при этом сочетание *острый край стола* возможно — край также не имеет строго определенной функции, хотя роль его, в частности, из-за жестко фиксированного пространственного расположения, скорее, пациентна: *острый край* — это такой, например, о который можно обрезать. Еще труднее применять простые семантические правила к именным группам типа *острый локоть* или *острый нос*. В таких случаях доминирующей оказывается идея формы (в сущности, вторичная для функционального *острый*).

То же происходит и с прилагательным *крепкий*: оно может иметь в качестве зависимого имени названия некоторых веществ — *крепкий чай* (*духи, водка, бульон* и некоторые другие, ср. также *крепкий мороз*). Семантически эта группа необычна для *крепкий*: соответствующие объекты — имена веществ — не подвергаются деформации в процессе использования и не состоят из частей. Тем самым, стандартная функциональная интерпретация становится здесь невозможной. С лексикографической точки зрения, мы имеем дело с двумя разными (хотя и связанными) значениями слова *крепкий*; это второе значение (≈ ‘имеющий высокую степень плотности / интенсивности’) порождается именно сменой области сочетаемости прилагательного. Ср. аналогичное противопоставление для наречия *крепко*: *крепко прибил, приклеил* vs. *крепко задумался*; различие здесь тоже определяется семантическим типом предиката, попадающего в сферу действия наречия.

В этом отношении чисто оценочные прилагательные группы *хороший*, выбранные в свое время для анализа З. Вендлером, очевидным образом, представляют исключение — они в принципе не обладают избирательностью по отношению к именам, их собственная семантика настолько широка и нейтральна, что они способны сочетаться

с очень широким кругом существительных, вбирая в себя полностью не только их функциональную семантику, но и прагматику контекста.

§ 2. Семантика размера*

1. Некоторые стереотипы

В сознании неискушенного носителя языка идея предметности ассоциируется прежде всего с такими свойствами объекта, как размер, форма и цвет. Но и в лексической семантике, т. е. в научной традиции, общеприняты представления о том, что предметное имя может и должно характеризоваться в первую очередь с точки зрения размера, формы и цвета. Практическим следствием таких представлений оказывается, в частности, предположение (не формулируемое обычно в явном виде) о свободной сочетаемости прилагательных соответствующей семантики с предметными именами. Именно с этой точки зрения мы предполагаем рассмотреть проблему описания размеров в русском языке в настоящем разделе.

С некоторой долей условности можно принять, что измеряя величину объекта (т. е., в конечном счете, определяя, большой он или маленький), мы характеризуем объект в отношении его длины, ширины, высоты, толщины и глубины. В принципе, каждый из перечисленных параметров имеет два значения: 'большой' (по высоте, глубине, толщине и т. п.) и 'маленький'. Этим значениям соответствуют пары типа *высокий* ~ *низкий*, *глубокий* ~ *мелкий* и др. (ср., например, толкования в МАС: *узкий* = 'имеющий малую протяженность в поперечнике'; *широкий* = 'имеющий большую протяженность в поперечнике'). Таким образом, мы будем рассматривать пять пар русских прилагательных, описывающих отдельные размеры предметов в русском языке, а также пару *большой* ~ *маленький*, исследуя их семантику в атрибутивных конструкциях с предметной лексикой.

Первое, что бросается в глаза при такой постановке задачи, — это **избирательность** прилагательных размера в конструкции *А-ый Х*. Х здесь не только не любой, но выбирается по достаточно сложным и не всегда ясным правилам. Например, согласно МАС, основное зна-

* Первоначальный вариант опубликован в: Семиотика и информатика, вып. 34, 1995, 58–81.

чение *длинный* — это ‘имеющий большую длину’, т. е. ‘протяжение линии, плоскости, тела в том направлении, в котором две крайние его точки наиболее удалены друг от друга’. В принципе, такое определение вполне согласуется с языковой интуицией. Тем не менее, в нормальных, прагматически не отмеченных ситуациях не говорят ^{??}*длинный уют*, **длинная книга* (в качестве характеристики ее внешних размеров), **длинная туча*, **длинный материк (степь, пустыня, море)* и даже **длинная река*, **длинная лошадь*, **длинные губы (десны)* и мн. др. То же верно для прилагательного *широкий* (напомним, что по, опять-таки, вполне интуитивно адекватному толкованию МАС *широкий* значит ‘имеющий большую протяженность в поперечнике’), ср.: ^{??}*широкое зеркало*, **широкий живот* (при допустимом *широкий таз*), **широкий автобус*, **широкая шея*, **широкая стена комнаты*, а также **широкий пол (потолок)*; ср. также запрет на сочетания **длинная стена комнаты (пол, потолок)*⁸.

Легко видеть, что во всех приведенных примерах сам по себе объект может удовлетворять (или даже всегда удовлетворяет) тем минимальным требованиям, которые предъявляет к нему толкование: он имеет большую протяженность в длину или в поперечнике — и тем не менее соответствующее сочетание оказывается неприемлемым.

Примеры нетривиальных запретов на сочетания прилагательных размера с предметными именами можно легко продолжить, ср.: **толстая шляпа* (при допустимом *толстое пальто*), ^{??}*толстая грудь* (ср. *толстые губы, ноги*), **толстый тигр* и др.; вполне соответствуют норме *глубокая посуда (миска, тарелка)*, но недопустимы сочетания **глубокая рюмка (ковш, ложка)*; допустимы *глубокие корни (недра, дно)*, но не **глубокий якорь*; *высокие ветки*, но не **высокие плоды*. Замечательно, что даже прилагательное *большой*, хотя и имеет гораздо более широкую сочетаемость, употребляемо тоже далеко не во всех контекстах, ср.: **большой берег*, **большая суша*, ^{??}*большой экземпляр (товар)*, **большие обои*, [?]*большой телефон*, **большой штрих*, **большая бактерия* и др.

Такого рода запреты, конечно, свойственны не только русскому языку; так, подробный анализ польского материала можно найти в Linde-Usiekiewicz 2000. Примечательно, что в разных (даже генети-

⁴³ В работе Журинский 1971 (одно из ранних исследований такого рода и одно из немногих, специально посвященных прилагательным размера) приведены результаты психолингвистического эксперимента с пространственными прилагательными, которые также подтверждают избирательность их сочетаемости.

чески близких) языках эти запреты оказываются разными. Укажем, в частности, на результаты, полученные в рамках международного проекта по изучению семантики обозначений размера и цвета в польском, украинском, чешском, шведском и нек. др. языках⁹. С нашей точки зрения, различия в сочетаемости в описываемых языках не являются случайными — за ними стоят различия в национальных картинах мира.

2. Форма и размер. Топологические типы

Итак, на вопрос, в действительности ли всякий материальный объект в русском языке можно охарактеризовать с точки зрения его размеров или хотя бы величины, можно с уверенностью ответить «нет». Повторим, что при этом с денотативной точки зрения соответствующие объекты могут быть глубокими, высокими, большими, но это совершенно не меняет дела: в язык «встроена» своя система измерения величины объектов, отличная от той, которую человек тщательно отработал в занятиях физикой и геометрией и... зафиксировал в лучших толковых словарях.

Что же касается языковой картины мира, на которую опирается сочетаемость, то здесь прежде всего обращает на себя внимание связь формы и размера. В самом деле: охарактеризовать, например, как *глубокий*, мы можем только объект определенной формы; тем самым, определяя размер, мы, кроме того, одновременно описываем и форму предмета. То же относится и к другим размерам — в частности, к высоте. Более того, по замечанию Ю. Д. Апресяна (1974: 58), «в наивной геометрии осмысление одного из измерений предмета как *высоты* зависит от его внутреннего устройства, его формы, места крепления к другому предмету, соседства других тел и т. п.» Таким образом, Ю. Д. Апресян обращает внимание на еще более сложную связь размера с формой. Показательным примером такой связи всегда считалась водосточная труба: если она тянется от желоба на крыше до

⁹ Проект под рук. проф. Ренаты Гжегорчиковой был поддержан Польской академией наук (1996—1999); о проекте в целом см. Grzegorzczukowa 1997, Grzegorzczukowa, Waszakowa 1998; ср. также § 2, раздел 3. В результате работы над проектом, помимо коллективных сборников (Grzegorzczukowa, Zaron 1997; Nilsson, Teodorowicz-Hellman 1997; Grzegorzczukowa, Waszakowa 1999), Ядвигой Линде-Усекневич подготовлена монография о семантике польских прилагательных со значениями 'высокий' / 'низкий' и 'глубокий' / 'мелкий' (Linde-Usiekiewicz 2000); ср. также другие ее работы: Linde-Usiekiewicz 1997, 1998.

земли, про нее почему-то — и в отличие от, например, заводской трубы — говорят не *высокая*, а *длинная* (Leisi 1953: 85; ср. также Bierwisch 1967, Апресян 1974; Dirven, Taylor 1988).

В рамках структурного описания подобная зависимость описывалась довольно сложной системой признаков — ср. в особенности работы М. Бирвиша и его учеников (например, Bierwisch, Lang 1989; Lang 1995 и др.; ср. также Spang-Hansen 1990). Так, в Lang, Carsten 1990 предлагается учитывать не только собственно форму объекта, но и его *ориентацию в пространстве*. В этой работе способы ориентирования объекта даже подвергаются классификации. Выделяются имена объектов *фиксированной* ориентации — т. е. такие, которые ее никогда не меняют — для контейнеров это имена типа *яма* или *пруд*; имена *канонической* ориентации — такие, которые обычно ориентированы каким-то одним образом, но в принципе могут быть повернуты или перевернуты, ср. предметы мебели, например, *буфет*; имена, имеющие *унаследованную* ориентацию — к ним авторы относят бутылки и банки, а также, видимо, посуду вообще: измеряя величину таких объектов (в данном случае, их глубину), мы измеряем величину, характеризующую их содержимое. Отдельный класс, по Э. Лангу, составляют имена, *приобретающие ориентацию благодаря контексту*, ср., например, сочетание *глубокая шляпа* — правильное, только когда прагматический контекст позволяет представить шляпу перевернутой.

Следующим шагом в исследовании языковой системы размеров стало понятие *топологического типа*, которое предложил Л. Талми (Talmy 1983, 1988 и 2000). В Приложении мы подробно рассматриваем топологическую теорию пространства, поэтому здесь скажем о ней лишь самое необходимое для представления нашего материала.

Л. Талми предложил считать, что в языковой картине мира все объекты видятся как представители нескольких эталонных форм, таких, как поверхности, емкости и под. Эти эталонные формы он и называл топологическими типами. Топологические типы как бы «вбирают в себя» сложные наборы признаков, которые пытались отразить структурные описания, и являются для антропоцентричного подхода к языку ясной альтернативой евклидовой геометрии: они объясняют, в частности, почему в языке, в отличие от геометрии, не у всякого объекта есть все измерения. Дело в том, что каждый топологический тип характеризуется только некоторым определенным, свойственным лишь данному типу, набором измерений.

Так, в русском языке, прилагательное **высокий** «применимо» не просто к вертикальным объектам, но к объектам с изначально заданным, фиксированным положением в пространстве: ни *гвоздь*, ни *палка*, ни *лыжи*, ни *стрелка* не могут выступать в соответствующих сочетаниях именно по этой причине, ср. невозможность **высокие лыжи* даже в том случае, если лыжи стоят вертикально, и **высокая стрелка*, даже если это стрелка, указывающая вверх. То же верно для «гибких» объектов (не имеющих фиксированной конфигурации): **высокая веревка*, *канат*, *провод* и т. д.

В другой группе употреблений **высокий** (ср. также **глубокий**) не обозначает размера предмета, а указывает на его удаленность от поверхности земли: *высокая ветка* — ‘находящаяся высоко над поверхностью земли’. При этом опять-таки — так характеризуются только объекты, постоянно находящиеся высоко, ср. *высокое место*, *высокий карниз*, *самая высокая ступенька лестницы*, но не **высокие цветы* (при возможном *цветы на высоких стеблях*), *плоды*, *лампочки*, *люстры*, **высокие гуси*, **высокий самолет*. Отметим, что такого рода употребления прилагательного **высокий** распространяются и на объекты, у которых выше обычного располагается только их опорная поверхность, ср. *высокий стол* (= ‘стол с высоко расположенной столешницей’), *высокая табуретка* и т. п.

Описывая сочетаемость **высокий** более детально, мы должны были бы оговорить для этого же употребления **высокий** его совместимость с «квазиопорами» — поверхностями, ограничивающими пространство сверху: *высокие потолки*, *своды*, *купол*, *небо*. Возможны (особенности в поэтических текстах) *высокие звезды* и *высокие облака*, однако не **высокие планеты*, **высокая луна*, **высокое Северное сияние*, **высокий Млечный путь*, **высокий Сириус*.

Прилагательное **длинный**, напротив, характеризует как раз объекты, не обязательно фиксированные в пространстве — достаточно, чтобы они имели вытянутую форму (со значительным превышением нормальной длины над нормальной шириной), ср. *длинная веревка*, *гвоздь*, *палка*, *забор*, *ветка* и т. п. Однако объекты с другими исходными параметрами опять-таки не могут характеризоваться этим прилагательным: **длинное море*, *длинный журнал* и проч.

Толстый измеряет толщину либо плоских объектов (т. е. таких, у которых длина и ширина несравнимо больше высоты — последняя превращается в таких случаях в толщину — ср. Апресян 1974: 59): *толстая фанера*, *броня*, *обложка*, *тетрадь*, *материя*, *одеяло*, *стекло*, либо

диаметр «палок» и «веревоч» (т. е. также таких объектов, у которых толщина, соответствующая в этом случае поперечному диаметру, несопоставима с его линейными размерами): *толстая свеча, мачта, сигара, спичка*, а также *кабель, шнур, девичья коса* и т. д. Вертикально повернутая плоскость также сохраняет параметр толщины, ср. возможность сочетания *толстая доска* (независимо от положения в пространстве), а также *толстая стена* (см., однако, ниже, раздел «Антропоцентричность и размер»). Такая избирательность объясняет запреты на сочетаемость с *толстый* имен объектов другой формы: **толстый шкаф*, **толстая подушка*, **толстый мяч*.

Сочетаемость *толстый* с обозначениями «мягких» емкостей и живых существ (*толстый бумажник, конверт* — но не **толстый сундук*!, — а также *толстый кот, щенок, повар*) нужно рассматривать отдельно; в частности, антонимом к такого рода употреблению *толстый* будет не *тонкий*, как в рассмотренных выше случаях, а *тощий*: *тощий карман, бумажник, живот*¹⁰, *поросенок*; сочетание *тонкий конверт* скорее понимается как ‘конверт из тонкой бумаги’, а не как антоним к *толстый* в значении ‘<туго> набитый конверт’. Заметим, что несмотря на то, что в этой зоне действуют, вообще говоря, другие правила семантической сочетаемости, они также избирательны, ср. *толстая жаба, хомяк, крыса, гусь*, но ?*толстая лиса, волк, слон, дельфин* и под. Что касается животных, то здесь, по-видимому, важнейшей является идея прожорливого или специально откормленного зверя (плюс обычный отрицательная коннотация: названия животных, всегда имеющие положительную коннотацию, с *толстый* сочетаются плохо: ?*толстый орел*, ?*толстый лев* и проч.). Тем самым, в сочетаниях с названиями животных и «мягких» емкостей *толстый* также в конечном счете ориентируется на объекты определенной формы, только имеет более сложную семантику.

Широкий применимо прежде всего к вытянутым поверхностям или предметам, имеющим такую поверхность в качестве функционально значимой (см. ниже): *широкая лестница, пояс, скамейка, дорожка, лыжи, ладонь, парус, спина, лопата*, но не: **широкий круг, шар, веревка, столб, книга*.

Кроме того, *широкий* характеризует «безграничные» пространства: *широкое пространство, простор(ы), степь, поле*. Для отверстий и полых вытянутых предметов *широкий* описывает диаметр/величину от-

¹⁰ Характерно здесь семантическое противопоставление в паре *толстый живот* — *большой живот*: в случае, если размеры живота не связаны с результатами обильных трапез, *толстый* оказывается неуместно, ср. *женщина с большим животом*. Ср. также наблюдение А. В. Кравченко (1996: 36) о невозможности сочетаний типа **тонкие щеки* (следует сказать *валившиеся* или *впалые*) в отличие от сочетаний типа *тонкие руки / пальцы*.

верстия: *широкая дыра, нора, петля, зрачок, горлышко бутылки, люк*. Именно в этом смысле, по-видимому, следует интерпретировать сочетание *широкая одежда*.

Связь прилагательного *глубокий* с формой объекта очевидна: *глубокий* сочетается почти исключительно с именами емкостей постоянной формы (*глубокая река, глубокая коробка*, но не **глубокий мешок*). Заметим, что эта емкость может быть «развернута» горизонтально, ср. *глубокая пещера, нора*. (В изысканных прагматических контекстах емкость может быть «развернута» и иным образом, ср. *глубокое небо / глубокий купол неба*.) Представляется, что именно по этой модели должны интерпретироваться немногочисленные примеры типа *глубокая чаща, глубокий тыл*. Тем самым, некоторые имена пространств (но не все! — ср. **глубокий лес, *глубокая пустыня*, а также **глубокие горы*, при возможном *глубоко в горах*) должны получить соответствующую словарную помету.

«Емкостную» интерпретацию в контексте *глубокий* получают также некоторые предметы мебели — а именно те, которые предназначены для сидения и имеют внешнее и функциональное сходство с формой емкости — например, кресло и диван, но не стул и табуретка, ср. *он опустился / погрузился в мягкое глубокое кресло*.

Другой класс употреблений *глубокий* связан с именами веществ, ср.: *глубокая вода / глубокий снег / глубокий песок / глубокий ил / машина застряла в глубокой грязи*. Класс таких веществ очень ограничен, так как сочетания типа *глубокий X* с веществами описывают только **слой** вещества на поверхности земли. Поэтому нельзя сказать ни **глубокий дождь* (дождь не образует слоя), ни **глубокий пот* (пот тоже не слой), **глубокая каша / кисель* (они если и образуют слой, то в посуде), и под.

Наконец, в третий тип контекстов с *глубокий* попадают сочетания типа *глубокие пласты угля* или *глубокие корни*¹¹, в которых имена и не обозначают вещество, и не являются контейнерами. Они интерпретируются, так сказать, «дистантно»: обозначаемый именем объект воспринимается как находящийся на большой глубине под землей или

¹¹ В работе Linde-Usiekiewicz 2000 у польского *głęboki* 'глубокий' в сочетании 'глубокие корни' выделяется особое значение, отличное от того, которое усматривается в сочетании 'глубокие пласты'; в результате у *głęboki* выделяется четыре (а не три, как в нашем описании) класса употреблений: характеризующие размеры объемлющего элемента [польск. *gospodarz*] ('глубокий ров'), удаленность активного элемента [польск. *intruz*] от поверхности ('глубокие пласты'), размеры активного элемента ('глубокие корни') и относительную емкость объемлющего элемента ('глубокий снег').

водой (ср. *высокий*). Так, *пласты угля*, если они *глубокие*, залегают на большой глубине; те корни растений, которые называют *глубокими*, тоже воспринимаются как находящиеся глубоко под землей. Ср. сочетание *глубокое место* = ‘такое, которое далеко под водой/землей’.

Интересно, что в редких случаях возможна конкуренция между дистантной интерпретацией и интерпретацией по классу контейнеров, ср., например, *Как-то крот вырыл себе глубокие ходы по всему саду*, где неясно, то ли ходы были расположены на большой глубине от поверхности (дистантное понимание), то ли ходы были очень длинными (и тогда, по аналогии с сочетаниями типа *глубокая ниша* или *глубокие глазницы*, описывающими углубления в горизонтальной плоскости, ходы — это такие контейнеры). Ср. аналогичную двойственность, возникающую для сочетаний *глубокие пещеры, норы, тоннели* и др. Этот эффект можно назвать «сдвоенной топологической характеристикой» объекта (по аналогии со сдвоенной таксономической характеристикой, рассмотренной в § 6 Главы I).

Важно, что как и в случае с контейнерами (ср. также дистантное *высокий*), дистантное *глубокий* описывает только постоянную характеристику объекта — поэтому дистантно расположенный объект не может быть подвижным, ср. **глубокий якорь* в значении ‘брошенный на большую глубину’, так что вместо невозможного **глубокие рыбы / *глубокие подводные лодки* в значении ‘плавающие на большой глубине’ следует сказать: *глубоководные рыбы* или: *лодки / рыбы, плавающие на большой глубине*.

В русском языке есть и еще одно прилагательное со значением дистанции — *глубинный*. *Глубинный* «измеряет» дистанцию как в воде (*глубинные течения*), так и в толще земли (*глубинные породы земной коры*). В этом отношении оно похоже на *глубокий*, а не на более узкое *глубоководный*, но, как и *глубоководный*, не требует фиксированности объекта в пространстве, ср. *глубинная* (не: **глубокая*) *бомба* — ‘действующая на глубине против подводных лодок’, и под. Но кроме того, *глубинный* (в отличие от *глубокий*) употребляется в сочетаниях типа *глубинные села / районы / территории* ‘находящиеся в глубине страны, далеко от центра’; для таких мест имеется и специальное название, производное от *глубинный*, — *глубинка*. Никакие другие пространства (точнее, объекты, в них находящиеся) с помощью *глубинный* не описываются: **глубинные постройки, *глубинные посадки* и т. п.; в таких случаях употребляется менее специфическое *дальние*, способное, кстати, заменять *глубинный* и в только что рассмотренных контекстах, ср. *дальние села* — со значением просто ‘далеко расположенные по отношению к некоторой точке отсчета’, но не обязательно ‘в глубине страны’.

В свете сказанного традиционный перевод известного английского термина *deep structure* как *глубинная структура* не кажется идеальным: предпочтительнее все-таки было бы *глубокая структура* (ср. польск. *struktura głęboka*).

Таким образом, постепенно вырисовывается определенная система описания размеров объектов в русском языке, и главное свойство этой системы — то, что она не независима от других языковых систем. Это значит, что носитель языка, вообще говоря, не может охарактеризовать произвольный объект произвольным образом в отношении его размеров: эта процедура станет осуществимой только после того, как этот объект будет описан с других точек зрения — в частности, как мы видели, должна быть достаточно детально определена его форма и в некоторых случаях положение в пространстве — другими словами, топология.

Заметим, что система устроена экономно: каждое прилагательное «измеряет» свой собственный тип объектов. Действительно, если мы возьмем горизонтальную вытянутую поверхность, то для нее будут определены длина и ширина (ср. *длинная / широкая доска*); однако если мы эту же поверхность повернем вертикально, то у нее появится высота — но обязательно **вместо** какого-то из прежних измерений: другими словами, либо длина, либо ширина **станет** высотой (ср.: *высокие / широкие ворота*, но не **длинные ворота*; *высокий / длинный забор*, но не **широкий забор*)¹². Ср. Апресян 1974: 58: «Измерение, которое у полого предмета (например, ящика, шкатулки) осмысливается как *высота*, у предмета точно такой же внешней формы, но со сплошной внутренней структурой, скорее будет осмысливаться как *толщина* (ср. книгу, металлическую отливку)».

С этой точки зрения заслуживает более пристального внимания прилагательное *большой*.

3. Величина и размер

Прилагательное *большой* традиционно рассматривается как характеризующее величину объекта в целом, ср. толкование МАС для этого значения слова *большой*: ‘значительный по величине, размерам’. Как видим, именно с прилагательным *большой* ожидаются случаи пересечения, или дублирования, способов выражения одного и того же измерения. Естественно возникает вопрос: как связаны в русском

¹² Любопытным примером с этой точки зрения выглядит пара *высокий лоб* ~ *широкий лоб*; если сопоставить ее с парой *низкий лоб* ~ *узкий лоб*, становится очевидно, что как раз в этом случае разными способами измеряется в точности одно и то же (ср., впрочем, как всегда нетривиальный пример из Ф. М. Достоевского, процитированный в Журинский 1971: *Лоб ее был высок, но узок*). Как мы покажем ниже, в других отношениях существительное *лоб* также ведет себя нестандартно.

языке величина и размеры? Другими словами, какие именно параметры предмета должны быть большими, чтобы сам этот предмет можно было назвать большим? Ведь очевидно, что про короткий обрывок толстой веревки нельзя сказать *большая веревка*, про глубокую яму маленького диаметра нельзя сказать *большая яма*, длинный тонкий гвоздь тоже не назовут большим; ср., кроме того, несинонимичные пары *глубокие / большие корни*, *высокий / большой стул* и под.

Понятно, что во всех этих контекстах замена прилагательного размера на *большой* была бы невозможна.

Основные употребления прилагательных размера представлены с этой точки зрения в Таблице 1.

Таблица 1

Прилагательное размера	Тип объекта	Возможность выразить тот же параметр с помощью <i>большой</i>
ТОЛСТЫЙ	(1) «стержни» и «веревки» (<i>палка, канат</i>) (2) «пластины» (<i>доска, ковер</i>)	нет нет
ВЫСОКИЙ	(1) вертикально вытянутые предметы «жесткой» конфигурации (<i>столб</i>) (2) поднятые над поверхностью «опоры» (<i>скамейка, ветка</i>)	есть нет
ДЛИННЫЙ	(1) вытянутые предметы «жесткой» конфигурации (<i>доска, гвоздь</i>) (2) гибкие веревкообразные предметы (<i>волос</i>)	скорее, есть скорее, нет
ШИРОКИЙ	(1) поверхности (<i>стол, доска</i>) (2) «бесконечные» пространства (<i>степь, поле</i>) (3) отверстия (<i>щель, нора</i>)	скорее, есть нет есть
ГЛУБОКИЙ	(1) вещества (<i>снег, вода</i>) (2) емкости постоянной формы (<i>таз, озеро</i>) (3) объекты на глубине (<i>корни</i>)	нет не полная (<i>большое блюдо ≠ глубокое блюдо</i>) нет

Как видим, *большой* подразумевает, что хотя бы два разных измерения объекта больше нормы, причем преимуществом пользуются линейные размеры — длина и ширина; так, у плоских объектов *большой*

выделяет именно эти параметры, ср. *большой ковер* (в противоположность *толстому коверу*), *большое озеро* (в противоположность *глубокому озеру*). Ср. также замечание М. Бирвиша о том, что когда по-немецки предмет называют большим (*groß*), то не имеют в виду его толщину (Bierwisch 1967: 15, 29). При этом *большой* оценивает конечные размеры объекта и поэтому «избегает» объектов неизвестной формы (**большая суша, берег, укрытие, бездна* и под., а также **большой товар, вещь, экземпляр* и др.¹³) — в отличие, например, от *широкий*, употребляющегося и с именами безграничных пространств: *широкая степь*, но не **большая степь*; ср. также пару *широкое поле* ~ *большое поле*, в которой именно последнее сочетание описывает не пространство, а конкретный объект с фиксированными параметрами.

Интересно в связи с этим сопоставить пары *большие ноги / длинные ноги* и *большие руки / длинные руки*, в которых прилагательные описывают не только разные размеры, но и разные объекты: *большая нога* соответствует размеру *ступни*, а *длинная* — длине бедра и голени, причем замена одного на другое невозможна; то же для *большая рука* (близко к 'широкая ладонь') и *длинная рука* (размер руки от плеча до кисти). Как видим, каждый раз *большой* «выбирает» такой ракурс восприятия объекта, чтобы его можно было рассматривать как плоский, имеющий линейные размеры. Отметим здесь, что одним из наиболее непротиворечивых способов лексикографического описания такого рассогласования в сочетаемости является, по-видимому, выделение в русском языке двух пар лексем *нога* и *рука*, соответствующих значению английских *foot / leg* и *hand / arm* или французских *pied / jambe* и *main / bras*.

Однако даже тогда, когда в нашей таблице отмечена возможность замены прилагательного размера на *большой*, таким перифразам обычно далеко до полной синонимии: *большой дом* — это не только высокий дом, но и обычно занимающий большую площадь, длинный забор назовут большим, только если он достаточно высокий (ср. также

¹³ В некоторых случаях «помогает» перевод таких сочетаний в множественное число, ср. допустимое *большие и маленькие вещи, большие экземпляры* (но, конечно, невозможное **большие берега, суши*). Действительно, если мы называем предмет таким общим словом, как *вещь*, мы не знаем или не хотим знать о нем никаких деталей — в частности, его форму и размер (тот же эффект возникает и с прилагательными цвета, см. § 4); если же перед нами множество разных вещей, мы можем хорошо представлять себе каждую из них (в том числе, в отношении формы и размера), но не иметь никакой возможности описать их все сразу каким-то менее общим способом, чем с помощью семантически почти пустого «вещь».

сомнительность ²*большой заборчик*); про глубокую кастрюлю скажут *большая*, только если одновременно она еще и широкая, и т. д. Между тем, случаи, когда увеличение одного параметра с необходимостью требует увеличения всех остальных, также встречаются — и тогда говорящий вынужден выбирать прилагательное *большой*: *большая туча, река, живот, ложка* и др. под.

Практически полные синонимы представляют пары типа *широкие / большие манжеты*, где варьируется только один параметр объекта (в данном случае — ширина), а все остальные строго фиксированы с точки зрения размера. Собственно, именно таким образом, по-видимому, следует описывать взаимозамену прилагательных *большой / широкий* применительно к размерам круглых отверстий. Здесь тоже «измеряется» только один параметр — диаметр отверстия, ср. *широкое / большое горлышко, широкие / большие зрачки, широкая / большая дыра*; однако *большая щель* уже не обязательно просто широкая — скорее всего, она еще и длинная.

Понятно, что именно прилагательное *большой* пользуется преимуществом при характеристике бесформенных, круглых и шарообразных предметов: *большой мяч, большое пятно, большие колеса, крышка, пуговица, циферблат, синяк, яблоко, лимон* и т. д., и т. п. — во всех этих случаях выбрать какое-то другое прилагательное оказывается крайне затруднительным.

Таким образом, из всех прилагательных размера *большой* имеет наиболее свободную сочетаемость — и все-таки, как мы видели, не абсолютно свободную. В целом в измерительной системе эта лексема так же, как и остальные, заполняет свою «нишу» и, вообще говоря, по своему значению не пересекается с остальными ее элементами.

4. Антропоцентричность и размер

До сих пор мы совершенно игнорировали в наших рассуждениях хорошо известную субъективность и антропоцентричность языка в целом и всех его подсистем.

Между тем уже сама оценка величины предмета, как известно, не абсолютна (*большой дом* и *большая книга* несопоставимы по своим размерам), она ориентируется на норму, индивидуальную для каждого предмета, причем маркируются только отклонения от нормы в ту или другую сторону (эта тенденция вообще типична для естествен-

ного языка: подробнее о ней см., например, Арутюнова 1988 и 1999: 81 и сл.). Отсюда становится очевидно, почему в русском языке некоторые имена вообще не сочетаются с прилагательными размера и величины — такие имена описывают объекты, для которых значимы постоянные размеры и форма, ср. **большой / *широкий / *толстый рубль* или *°большой орден Почетного Легиона*, **высокие / *широкие / °длинные / *большие рельсы*, **большие / *длинные обои* и др.; ср. также *°большая крошка*, **большая бактерия* и др.

В свою очередь представление носителя языка о нормативных размерах возникает в связи с той функцией, которую имеет предмет в жизни человека, с процедурой использования его человеком. Так, по А. Вежбицкой (Wierzbicka 1985), большие животные сравнимы с человеком по своим размерам; размер яблока определяется тем, что человек держит его в руке, так что *большое* яблоко держать в руке неудобно, и т. д. Естественно, что эта функциональная система отсчета тоже принимает участие в формировании измерительной системы русского языка, накладывает свои ограничения и усложняет правила, регулирующие сочетаемость предметных имен с прилагательными величины и размера. Мы говорим *толстый карандаш*, но не **толстая ручка* потому, что толщина карандаша коррелирует с толщиной его грифеля и, следовательно, существенна для процесса использования карандаша (толстый карандаш толсто пишет), тогда как размер и форма ручки не связаны со способом и качеством письма, т. е. не ориентированы функционально и, следовательно, нерелевантны в языке, а значит, и не существуют — точно так же, как и величина Ордена Почетного Легиона. По той же причине неестественно выглядят сочетания типа *°большой телефон*, *°толстая тарелка* или *°длинная лопата* (ср. допустимое *длинная палка*): для обычного, естественного способа функционирования этих объектов отклонение от нормы данного размера этих объектов нерелевантно¹⁴.

¹⁴ Понятно, что прагматически маркированная ситуация смещает каноны употребления и может создавать условия, в которых эти сочетания окажутся легко интерпретируемы. Обратим внимание, однако, что сам механизм создания этих условий совершенно тот же: особый контекст в таких случаях — например, контекст противопоставления, делает релевантным для функционирования объекта в данной ситуации его размер. Ключ к построению семантической модели, интерпретирующей такого рода смещения, на наш взгляд, — в том, что нестандартная, но прагматически сильная, т. е. значимая для говорящего и слушающего ситуация как бы «дообраивает» исходное общеязыковое семантическое представление лексемы, расширяя и дополняя его необходимыми свойствами.

К этой проблеме можно подойти и с другой стороны. Если топологическая модель пространства верна, то каждому объекту должен быть приписан его топологический тип. В частности, в отдельный тип должны быть занесены все имена контейнеров: они легко сочетаются и с прилагательным *глубокий*, и с предлогами типа *в*, *внутри*, *изнутри*, *наружу* и *под*. Между тем, попытка решить эту, казалось бы, вполне бесхитростную задачу, ставит массу вопросов. Действительно, если контейнером следует признавать любой объект, содержащий полость — тогда почему не говорят **кошка в столе*, имея в виду кошку, спрятавшуюся под письменным столом в пространстве, ограниченном с трех сторон — полом, тумбами и задней стенкой? Или: если предлог *под* в самом деле означает ‘под нижней поверхностью’ (ср.: *под куполом*), то почему не говорят: **электрическая лампочка под патроном*? Ведь у контейнера, которым является *патрон* (ср. *лампочка в патроне*), пусть в перевернутом положении, тоже имеется поверхность, ниже которой находится лампочка! К подобным примерам, ставшим уже хрестоматийными после работ Р. Лангакера, А. Херсковиц, К. Ванделуаза и др. (см. обзор Филипенко 2000; подробнее о русском *под* см. также Плунгян, Рахилина 2000), можно было бы добавить еще множество. Так, не говорят **глубокое окно*, подразумевая пространство между рамами; с другой стороны, говорят *глубокое кресло* — но только имея в виду пространство, предназначенное для сидения, а не пространство под креслом между ножками; если представить себе двухэтажную кровать, то про нее можно сказать лишь *широкая*, но не **глубокая*, тогда как применительно к двухэтажной полке такой же конфигурации прилагательное *глубокая* вполне применимо — и т. п.

Следовательно, топологический тип не является абстрактной категорией, объективно характеризующей чистую форму данного объекта действительности. Способ разбиения на топологические типы связан с природой объектов, а это значит (в той антропоцентричной картине мира, которую предлагает естественный язык) — со способом использования их человеком. Поэтому попытки объяснять семантику и употребление прилагательных размера (а также предлогов или других «индикаторов» пространственной картины в языке), рисуя пересечения плоскостей в разных ракурсах, обречены на неудачу: одна и та же (с точки зрения стереометрии) картинка в человеческом мире неизбежно будет соответствовать различным объектам с различающимися функциями (ср. кровать — полка, купол — патрон,

функционально значимое сиденье кресла — не используемое пространство под креслом, и др.), и поэтому описывающие их существительные имеют разную сочетаемость. В частности — если вернуться к контейнерам — «измеряется» (т. е. сочетается с *глубокий*) только **функционально значимая** полость, другими словами, место, куда что-то кладут и откуда вынимают, ср., например, *глубокий стол* ≈ ‘стол с вместительными ящиками, в которые много помещается’, *глубокая пропасть* ≈ ‘куда глубоко падать’, *глубокая миска* ≈ ‘та, из которой приходится вычерпывать содержимое ложками’, и т. д. При этом процесс **использования** всех глубоких объектов совпадает с процессом **измерения** их глубины: так, мы выясняем глубину колодца, доставая из него воду, глубину ямы — выкапывая землю, и т. д. Все прочие, нефункциональные полости при этом как бы игнорируются: например, *шляпа* уже не называется *глубокой*, потому что ее «глубина» не релевантна для пользователя и не измеряется в процессе использования. Следовательно, несмотря на «подходящие» особенности формы, *шляпа* в настоящем смысле не является контейнером. Однако перевернутая шляпа, которая является уже не головным убором, а, например, емкостью для сбора милостыни, меняет вместе с функцией и топологию (т. е. приобретает возможность восприниматься как контейнер), и сочетаемость: именно поэтому в таком случае и *глубокая шляпа* окажется приемлемым сочетанием.

Аналогичный ход рассуждений объясняет нам, почему прилагательное *глубокий* столь избирательно сочетается с именами веществ (см. выше): *глубокий* характеризует только те вещества, которые человек «измеряет» в очень естественной жизненной ситуации, и при этом, как мы покажем ниже, стандартным для самого прилагательного *глубокий* способом, — погружая и вынимая ноги при ходьбе. Ср. *глубокий снег*, *песок*, но **глубокие камни* — даже в мелкие камушки, которые могут образовывать слой (так что соответствующие ситуации должны были бы допускать *глубокий*), нога не проваливается на расстояние, достаточное, чтобы «измерить» толщину слоя до дна; по той же причине сомнительно и сочетание ?*глубокая пыль*.

Другой пример на ту же тему представляет пара *толстая стена* — **толстый забор* (ср. также **толстая калитка*, **толстая изгородь*, ?*толстые ворота* и др.). Во всех этих случаях мы имеем дело с одинаковым образом вертикально повернутой плоскостью, сохраняющей параметр «толщина». Однако для забора толщина не значима: забор служит только для того, чтобы огораживать участок земли (ср. Рахи-

лина 1990а); таким же образом, толщина не релевантна и для изгороди, для калитки, и т. д. Стены же строятся как раз для защиты и укрепления (ср. *прочные / крепкие стены*, но не [?]*прочный забор* или *калитка*), и их основная функция непосредственно связана именно с параметром толщины.

Еще один аспект той же проблемы антропоцентричности размера представляет сама стратегия измерения объекта в языке. Так, в некоторых употреблениях, прилагательные *глубокий* и *высокий* семантически очень близки: например, если в качестве измеряемого объекта выступает емкость, то одно из них обозначает большие (больше нормы) размеры внешней вертикальной ее поверхности, а другое — большие (также больше нормы) размеры его внутренней вертикальной поверхности. Тем самым, если емкость такова, что ее наружная поверхность практически равна внутренней (ср. стакан с тонким дном или полый цилиндр), то *высокий* и *глубокий* «измеряют» одно и то же, но с разных сторон: извне и изнутри, так что *глубокий контейнер* будет в нормальной ситуации также и *высоким*. Между тем, сам способ измерения объекта в этом случае в языке оказывается единственным, причем выбор из двух возможностей целиком подчинен функциональной идее. Поэтому у нас есть *глубокие* (но не *высокие*) *тарелки* — из них вычерпывают ложкой суп, доставая до дна; *высокий* (но не *глубокий*) *стакан* или *бокал* — его держат в руке когда пьют, так что внутренняя его поверхность с функциональной точки зрения нерелевантна и тем самым как бы не существует. Глубокими будут, таким образом, только те емкости-артефакты, куда что-то кладут или откуда вынимают/вычерпывают (ср. *колодец, корыто, таз* или *тарелка*) — именно для них глубина оказывается функциональной; но те емкости, в которые наливают или выливают, не характеризуются прилагательным *глубокий*: ср. **глубокая чашка (ведро, ковш, колба, пробирка...)*, и т. п. Ср. также *глубокие галоши* (в них вдевают валенки), но *высокие сапоги*, для которых функционально важнее размеры наружной поверхности, защищающей от воды и грязи.

Аналогичным образом ведут себя с полыми емкостями *толстый* и *широкий*, с той лишь разницей, что они описывают их поперечное сечение — снаружи и изнутри: для горлышка бутылки функциональна внутренняя поверхность, поэтому говорят *широкое* (не **толстое*) *горлышко*; для катушки ниток — внешняя поверхность, на которую намотаны нитки (а не размер отверстия, которым она надевается на штырек машинки), отсюда *толстая* (не **широкая*) *катушка*; ср. так-

же *широкие* (*толстые) *рукава* (при допустимом *толстые руки*), и др. под.¹⁵ В паре *толстая труба* — *широкая труба* возможны оба варианта сочетаний, но в тексте они не взаимозаменяемы, и выбор между ними осуществляется по тем же «функциональным» правилам, т. е. в зависимости от способа использования объекта более значимой для наблюдателя оказывается либо внутренняя, либо внешняя поверхность. Ср.:

*Теперь газ поступал по широким (*толстым) трубам нового магистрального газопровода,*

и:

*Реконструкция была в самом разгаре: толстые (*широкие) трубы теплоцентрали перегородили улицу, нависая над необъятными канавами, напоминавшими противотанковые рвы.*

В сущности, похожие проблемы возникают и в паре прилагательных *длинный* — *широкий*. Представим себе плоский прямоугольник: мы всегда называем «длинной» его длинную часть, а «шириной» — широкую. Однако если этот прямоугольник оказывается крышкой нашего письменного стола, мы немедленно изменим свое мнение и объявим его длинную сторону — шириной, ср. *широкий письменный стол*. Если же этот прямоугольник будет сиденьем дивана, мы тоже, говоря о *широком диване*, будем иметь в виду его длинную сторону. Но если мы приляжем на этот диван, все переменится: ширина опять станет длиной (ср. *длинный / короткий диван*). Здесь важна ориентированность объекта относительно человека, использующего этот объект, в процессе функционирования объекта: фасадная часть, т. е. часть, «повернутая» к человеку и обычно представляющая собой «рабочую» сторону объекта, называется шириной даже в том случае, если она оказывается длиннее длины, т. е. боковой, «нефасадной» части, ср. *широкий принтер, широкий экран* и др.

Как раз для описания таких эффектов удобно использовать понятие наблюдателя (ср. *observer* в Bierwisch 1967). Именно наблюдатель (он же — пользователь) «отличит» ширину от длины в случае с диваном или письменным столом; ср. замечание Ч. Филлмора: «диван, имеющий “в ширину” две мили, мы, вероятно, восприняли бы скорее как некоторый физический объект, чем как диван, и, по всей видимости, сказали бы, что он имеет две мили в длину» (Fillmore

¹⁵ См. также Цивьян 1990: 139, где обсуждается роль оппозиции «внутренний ~ внешний» в системе размеров.

1968а: 91). Дело в том, что при измерении ширины наблюдатель помещается посредине измеряемой «протяженности», а при определении длины — в ее начале. Серединное положение наблюдателя дает ему возможность «видеть» оба противоположных конца объекта. Для конечного положения это не обязательно: другой конец объекта может находиться и вне поля зрения. Поэтому естественно, что в примере Филлмора двухмильный диван перестает иметь ширину и начинает иметь длину (впрочем, одновременно переставая быть диваном). Наблюдатель, по нашему мнению, существен и для пары *высокий* ~ *глубокий* (здесь мы расходимся с мнением М. Бирвиша; ненаправленным считает направление ‘высота — глубина’ и Лайзи, см. Leisi 1953: 84): *глубокий* измеряется взглядом наблюдателя сверху вниз, т. е. от входного отверстия контейнера до его дна — и обратно (ср. ситуацию вычерпывания), причем дно как своеобразный предел движения взгляда наблюдателя — очень существенно для семантики *глубокий* (сходная интерпретация предлагается и в Linde-Usiekniewicz 2000: 146–160 при анализе польского материала). Действительно, идея дна так или иначе присутствует во всех топологических классах: контейнерах, слоях, а также при дистантной интерпретации (*глубокие корни*, *глубокое место*), где пределом движения вниз служит сам объект. Наоборот, *высокий* предполагает движение взгляда наблюдателя снизу вверх (ср. Linde-Usiekniewicz 2000: 201), как бы предполагая, что прототипически высокий объект выше человеческого роста. Этим, в частности, объясняется ограничение на употребление *высокий*, отмеченное в Журинский 1971: 99 (ср. также Николаева 1983: 237): никакие объекты, прикрепленные в своей верхней части к другим и направленные вниз (ср. *рука*, *сосулька*, *гроздь*, *пальто* и под.) нельзя назвать *высокими*. Более того, *высокими* не называют и *ноги* или *лапы* — хотя и топологически, и функционально они вполне «похожи», например, на *колонны*, — а *колонны* свободно сочетаются с *высокий*. Конечно, такая несимметричность объясняется тем, что наблюдателю естественно «смотреть» на колонны снизу вверх — как и положено при *высокий*, но *ноги* и *лапы* он всегда «видит» сверху вниз — от того места, где они прикреплены к туловищу. Такое же объяснение получает и знаменитый пример с водосточной трубой.

Отметим в связи с этим пару *глубокая пропасть*, но *высокий обрыв*. Отсутствие в русском языке сочетания **глубокий обрыв* свидетельствует о некотором парадоксе в языковой пространственной картине мира. Действительно, определенное изменение ландшафта мы называем *обрывом*, как бы стоя у его края, т. е. в тот момент, когда «обрывается» нормальная ровная поверхность

земли; человек, стоящий внизу, так сказать, на дне обрыва, не назовет «обрывом» возвышающуюся перед ним стену. Между тем, характеризуя обрыв как *высокий*, мы «смотрим» снизу вверх, а не сверху вниз, т. е. как бы мысленно уже совершив падение.

5. Несимметричность в системе размеров

Таким образом, если в какой-то момент нам казалось, что антропоцентричность реорганизует нашу измерительную систему, образуемую сложным переплетением величины и формы, то теперь очевидно, что она скорее определяет ее: в языке форма предмета навязывается способом его использования, величина же оценивается исходя из привычных человеку норм. Неожиданным, но неизбежным следствием этого обстоятельства является в принципе известный факт частой несимметричности в поведении близких по своей семантике или, наоборот, антонимичных лексем (ср., например, в этой связи Апресян 1974: 65–67 о проблеме «предельных прилагательных»).

В качестве простого примера рассмотрим прилагательные величины и размера, описывающие мир «маленьких вещей», — *низкий, короткий, мелкий, тонкий, узкий, маленький*. Система этих прилагательных устроена сложнее уже потому, что с ними сосуществуют по крайней мере *невысокий, неширокий, небольшой и неглубокий*. Мы не имеем возможности затронуть здесь вопрос о том, почему в русском языке используются эти прилагательные и нет **неузкий, *некороткий, *немелкий* и др.¹⁶ Это значительно более общая проблема, ср. пары *легкий / тяжелый ~ нелегкий / нетяжелый*; *близкий / неблизкий путь ~ далекий / *недалекий путь*; *быстрый / *небыстрый поезд ~ медленный / *немедленный поезд*; *зрячий / незрячий ~ слепой / *неслепой*. Поэтому мы здесь будем исходить из того, что нам заранее задан некоторый набор прилагательных и нужно лишь очертить «семантическое место» каждого из них в системе и сопоставить с рассмотренной выше системой квазиантонимов.

Начнем с тройки *высокий ~ невысокий ~ низкий*. Основные два употребления *высокий* характеризуют предметы фиксированной кон-

¹⁶ По-видимому, лексемы *недлинный* и *нетолстый* достаточно маргинальны; *немаленький*, судя по всему, имеет крайне ограниченную сочетаемость (для предметных имен бесспорны практически только *немаленькая сумма, немаленькие деньги*, но не **немаленький шкаф, *немаленький дом, *немаленькая река*) и ввиду этого не представляет для нас интереса. Прилагательное *немалый* также сочетается только с непредметной лексикой.

фигурации, имеющие большую высоту (*высокая башня*), и высоко находящиеся предметы, служащие опорами или содержащие функционально значимые опорные поверхности (*высокая табуретка*). В первом случае коррелятом к *высокий* выступает *невысокий*: *невысокая башня, дом, дерево, мужчина* — лексема *низкий* скорее избегает этих контекстов. Во втором случае, наоборот, мы говорим *низкий диван, табуретка, потолок*; сочетания с *невысокий* в этих контекстах, в принципе, возможны, но ср. неестественные **невысокий гамак*, *?невысокий купол*, *??невысокие карнизы* и под. Складывается впечатление, что русское *низкий* — это вообще не ‘не являющийся высоким’, а скорее ‘находящийся внизу по отношению к человеку; близкий к уровню земли’. Мы говорим *низкий* про все, что ниже нас: траву, кустарник, низкое место, грядку, даже *низкие деревья* (ср., однако, **низкая береза / липа / дуб*), но не про то, что выше (*дом, башня, стена, мачта, гора*) — эту лауну заполняет *невысокий*. По этой же причине *низкий* оказывается неприменимо к сосудам и емкостям, не удовлетворяющим такому семантическому описанию: можно сказать *низкий колодец* (= ‘с низким срубом’), но не **низкий стакан (бидон, бокал)*. Собственно, эта же семантическая доминанта определяет сочетаемостные возможности *низкий* и во втором классе употреблений: низкая табуретка оказывается близко к поверхности земли и «внизу» по отношению к человеку. Низкие потолки и помещения тоже максимально приближены к земле — это то, где человек плохо помещается, где ему низко. Таким образом, *низкий* не наследует от *высокий* идеи функциональной важности внешней поверхности, проявляющейся в противопоставлении *высокий ~ глубокий*. Поэтому *высокие сапоги* оказываются противопоставлены не **низким сапогам*, а *невысоким*, или *коротким*.

В тройке *глубокий ~ неглубокий ~ мелкий* прилагательное *мелкий* также семантически несимметрично *глубокий*; роль квазиантонима по-прежнему выполняет здесь приставочное прилагательное *неглубокий*, ср.: *глубокий / неглубокий / *мелкий снег, глубокий / неглубокий / *мелкий овраг, глубокий / неглубокий / *мелкий чемодан*. *Мелкий* же, этимологически связанное с *мель*, сочетается свободно исключительно с именами водоемов: *мелкая река (пруд, ручей)*, но не **мелкий ров (пропасть, пещера, берлога, колодец, межа)*¹⁷. Интересно, что в польский эквивалент русского *мелкий*, прилагательное *łytki*, имеет, как пока-

¹⁷ Что же касается сочетания *мелкая тарелка*, то оно ведет себя, скорее, как фразеологическое, обозначая, так сказать, вид тарелки, ср.: *не очень глубокая тарелка, не очень мелкая река*, но **очень мелкая тарелка*.

зано в Linde-Usiekniewicz 2000, гораздо более широкую сочетаемость: оно возможно, например, с существительными *zakręt* 'излучина', *wdech* 'вдох' и др.

Длинный же противопоставлено только прилагательному **короткий** и в обоих характерных для него классах употреблений — при плоских вытянутых объектах и при гибких «веревкообразных» — заменяется на **короткий**. При этом **короткий** сохраняет предъявляемые прилагательным **длинный** требования к форме объекта — именно это обстоятельство неожиданным образом приводит к новым, по сравнению с **длинный**, сочетаемостным запретам: *длинный* / **короткий* *горный хребет*, *длинный* / **короткий* *самолет*, *длинная* / **короткая* *лужа*, *длинное* / **короткое* *помещение* и мн. др. Однако с точки зрения здравого смысла ничего парадоксального в этих запретах нет: просто если объект вытянутой формы укоротить, он может перестать быть вытянутым — и в этом случае перестанет удовлетворять ограничениям на форму; таковы *помещение*, *забор*, *лужа* и др., но не таковы — *палец*, *хвост*, *клюв*, *дорога*, *коридор*, *хобот*, *нож*, *палка* и под., ср. допустимые *короткая палка*, *короткий хвост* и т. д. *Короткие уши* могут быть, например, у зайца, потому что заячьи уши сохраняют подходящую вытянутую форму, но, конечно, не у человека. Размеры объектов, «потерявших» форму в результате уменьшения, описываются прилагательными *небольшой* и *маленький*.

Толстый также противопоставлено прилагательному **тонкий** без «промежуточного» приставочного прилагательного; их взаимозамена возможна, но не всегда — за счет того, что **тонкий**, как упоминалось выше, делит поле употреблений, свойственных **толстый**, с прилагательным **тощий**: *толстая* / *тонкая* *палка* (*веревка*, *доска*, *стекло*, *ковер*), но *толстый* / *тощий* / **тонкий* *кошелек* (*ребенок*, *поросенок*, *живот*). Необходимо, однако, отметить, что несимметричность употреблений **толстый** и **тонкий** может возникать и по другим системным причинам; в частности, в языке отмечена прагматическая значимость тонких щиколоток и запястий, но скорее отсутствуют антонимы к ним.

Тройка **широкий** ~ **неширокий** ~ **узкий** имеет свою семантическую специфику: в ней есть три, так сказать, равноправных члена, потому что, в отличие от рассмотренных выше групп прилагательных размера, где обязательно одно из трех либо меняло семантику, либо просто выпадало из ряда, т. е. по тем или другим причинам не участвовало в противопоставлении, здесь представлена более или менее полная картина, так как и **широкий**, и **неширокий**, и **узкий** описывают один

и тот же параметр размера объекта. Сравнить это можно только с отношениями в тройке *большой ~ небольшой ~ маленький*. При этом естественно было бы ожидать в этих двух случаях какой-то общности в стратегии запретов на сочетаемость прилагательных.

С некоторой долей условности можно считать, что *широкий* имеет три класса употреблений: он может характеризовать вытянутые поверхности или предметы, имеющие такие поверхности в качестве функционально значимых (*широкая доска, стол*), бескрайние поверхности-пространства (*широкая степь*), размеры отверстий (*широкое горлышко*). Совершенно ясно, что бескрайние пространства, переставшие быть широкими, просто перестают существовать в этом качестве — поэтому запрет на сочетания типа **неширокая / *узкая степь* вполне объясним. Между тем, запреты на сочетаемость с *неширокий* и *узкий* встречаются и в других случаях, ср.: *широкий / *узкий подбородок, широкий / *узкий перекресток, широкий / узкий / *неширокий нож, широкие / узкие / *неширокие зрачки* и др. под. Ср.: *большой / небольшой / *маленький обрыв, большой / небольшой / *маленький парк, лес, большая / *небольшая / *маленькая равнина, большой / небольшой / *маленький аэродром, большой / небольшой / *маленький горный хребет* и т. п.

Рассмотрим подробнее последнюю группу примеров — с *большой* и *маленький*. Складывается впечатление, что в языковой картине мира есть как бы неизменно большие объекты (много больше человека), такие, как горный хребет, аэродром или лес; настоящие их размеры могут варьироваться, и большой хребет может становиться небольшим, но уменьшение размеров до того состояния, когда объект перестает называться маленьким, невозможно потому, что в этом случае он перестает быть самим собой — горным хребтом, лесом и проч. Всё, что больше человека, если и может называться маленьким, то только в очень нетривиальных прагматических контекстах. Отметим здесь, что одним из средств разрешения этого конфликта является использование диминутивов (*маленький домик*); при этом характерно, что от названий многих «прототипически больших» объектов не образуются и диминутивы: ср. отсутствие в русском языке диминутивных (не гипокористических) форм от *поле, пашина, пропасть* и под.

Интересно, что поведение прилагательного *большой* в этом отношении будет отличаться от *маленький*. Во-первых, у *большой* нет соответствующего семантического «дублера»: для *маленький* таким дублером является *небольшой*, которое и выражает значение ‘<объект>, меньший по размерам, чем большой’ даже для изначально больших объектов. У прилагательного *большой* нет

«замены» в виде *немаленький* (см. об этом сноску 16) и фактически нет ограничений на обозначаемые им размеры (кроме, разве что, малооправданных ^{??}*большая хлебная крошка*, ^{??}*большая бактерия* и им подобных, см. выше): *большой* действительно сравнивает размеры с нормой для данного объекта.

Если мы вернемся к прилагательным *широкий* ~ *неширокий* ~ *узкий* и запретам на сочетаемость в этой группе, то обратим внимание, что там в языковой картине мира тоже встречаются объекты, форма которых такова, что они как бы изначально ориентированы на большую, или, наоборот, маленькую ширину (в другой системе понятий их можно было бы охарактеризовать, соответственно, как «прототипически широкие» и «прототипически узкие»): широкий перекресток не может стать узким, точно так же, как не может стать узкой площадь, не перестав быть площадью. В таких случаях удобно «промежуточное» прилагательное *неширокий*, которое оценивает размеры объекта относительно максимальных и поэтому допустимо и применительно к перекрестку, и применительно к площади. Наоборот, изначально узкие объекты — нож, рука, половица, тропинка и под. — не могут бесконечно расширяться без ущерба для своих функциональных возможностей, в противном случае это будут уже другие объекты, например, тесак или дорога. Поэтому даже небольшое отклонение от обычной нормы делает их широкими. Но установление «промежуточных» размеров в этих случаях уже крайне нежелательно: **неширокий нож (половица, рука)*.

Рассматривая систему прилагательных размера, мы обратили внимание на то, что здесь, как правило, нет симметрии ни в семантике, ни в языковом поведении лексем. Но если каждый раз, переходя к новой лексеме, мы вынуждены менять ход наших рассуждений, то не означает ли это крушение идеи системности лексики (и языка в целом)? Представляется однако, что исследования в русле «объяснительной лингвистики» (и прежде всего работы А. Вежибицкой и Московской семантической школы), в особенности в области лексической сочетаемости, — свидетельствуют вовсе не об отсутствии системности. Они лишь показывают, что системность в семантике обеспечивается не действием придуманных людьми для описания внешнего мира логических правил и отношений, а антропоцентрической ориентированностью языкового механизма как совершенно самостоятельной, опирающейся на свои законы и правила системы. Это значит, что принцип простоты описания, понимавшийся как опи-

сание фактов языка с помощью небольшого набора любых стандартно действующих правил, должен, по крайней мере в области семантики, переформулироваться как принцип «естественности» описания: правила не могут быть произвольными, при их формулировании следует опираться на закономерности максимально более общего порядка, регулирующие человеческое поведение в целом. Заметим, что провозглашенный А. Вежбицкой и другими исследователями принцип антропоцентричности отвечает этому критерию в полной мере.

Экскурс. О переносных значениях прилагательных размера:
*высокий и глубокий**

1. Вводные замечания Данный раздел представляет собой некоторое отступление от нашей основной темы — предметных имен. Здесь мы позволим себе несколько углубиться в семантику прилагательных размера, чтобы осознать механизмы, которые дают возможность этим прилагательным употребляться и с абстрактными именами.

Действительно, как только что было показано, в своем прямом значении прилагательные размера соотносятся с линейными параметрами физического объекта совершенно определенной формы и ориентации в пространстве, ср. *длинный стол, высокий человек, широкое окно* и под. В то же время непредметные имена — такие, как, например, *занятость, чувство, интерес, аппетит* и им подобные, с физическим пространством прямо никак не связаны — так что, вообще говоря, непонятно, чем объясняется сама возможность сочетаний типа *высокая занятость, глубокие чувства, широкие интересы* и др. Существенно, что так же, как и зона сочетаемости с предметной лексикой (см. подробнее выше), зона сочетаемости с абстрактными существительными подчиняется определенным правилам — иначе почему мы говорим *глубокий ум*, но *высокий интеллект* (ср. неприемлемость в том же значении **высокий ум*, а также **глубокий интеллект*). Описанию этих правил на материале наиболее частотных в переносных употреблениях прилагательных, — а именно, *глубокий* и *высокий* (ср. значительно менее употребительные переносно *длинный, толстый, широкий*) — и посвящен данный раздел.

2. Неметафорические контексты: резюме Сначала еще раз кратко перечислим описанные выше случаи употребления *высокий* и *глубокий* в обычных контекстах — т. е. с предметными именами. *Высокий* встречается в двух типах контекстов:
— во-первых, оно «измеряет» вертикально вытянутые предметы жесткой конфигурации (типа *столб, дерево, фонарь, человек...*),

* Первоначальный вариант опубликован в: НТИ, сер. 2, 1999, № 10, 40–45.

— во-вторых, определяет расстояние до поднятых над поверхностью «опор» (таких, как *скамейка, ветка, полка, балкон* и под.).

Такого типа «пространственная» полисемия, к слову сказать, достаточно распространена, ср.: *дальняя дорога — дальняя деревня, далекое расстояние — далекие огни*, ср. также с предлогом *через*: *идти через лес — находиться через дорогу от дома*¹⁸; она отражает в статических контекстах известный эффект Goal-bias, о котором подробнее см. Глава IV, § 2.. Она релевантна и для *глубокий*, ср. семантическое соотношение между первым и вторым типом его употреблений:

1) *глубокий* измеряет в емкостях постоянной формы (контейнерах — ср. *таз, озеро, шкаф, ящик...*) расстояние от «входа» до «дна», а также

2) расстояние до объектов, постоянно находящихся на глубине (ср.: *глубокие корни, глубокое место, глубокое дно...*).

Кроме того, в качестве подкласса контекстов первого типа — или в качестве отдельного, третьего типа употреблений, — можно рассматривать сочетания *глубокий* с некоторыми именами веществ, ср.: *глубокий снег, вода, грязь, песок...* в значении толщины слоя вещества на поверхности земли.

Именно перечисленные употребления *высокий* и *глубокий* являются «базовыми» для переносных. В лингвистике принято считать, что имеется два типа переносных употреблений — метонимические и метафорические (вся остальная, даже и регулярная, многозначность пока никакому учету не поддается), и различаются они самим механизмом сдвига исходного значения. Формальная природа обоих этих механизмов на материале русских предикатных лексем предельно ясно описана в работах Падучева 1999, 2004: 330 и след. и Кустова 2004, которым мы полностью следуем.

3. Метонимия у *высокий* и *глубокий*

Метонимические сдвиги значения касаются синтаксической структуры лексемы, — а именно, изменений в наборе и порядке следования синтаксических аргументов. Дело в том, что содержательная сторона метонимии состоит в смене исходной расстановки акцентов на участниках данной ситуации. Ввиду этого в привычном для предиката наборе синтаксических актантов при метонимическом переносе может происходить рокировка (ср.: *Он выпил воду из стакана — Он выпил стакан воды*) и даже редукция (ср.: *Вся режет хлеб ножом — Нож <хорошо> режет; Она покрыла стол новой скатертью — Снег покрыл поля* и др.). Во всех таких случаях происходит смещение сферы действия предиката.

Выясняется, что то же возможно и с прилагательными — в том числе, размера.

Возьмем в качестве примера сочетание *глубокое бурение*. Отпредикатное имя *бурение* по крайней мере трехвалентно (ср.: *Нефтяники бурили новые*

¹⁸ В Brugman, Lakoff 1988 предпринимается попытка смоделировать ее когнитивную природу; подробнее см. также ниже, Глава III, § 3 в связи с анализом русского предлога *через*.

скважины в дне океана ⇒ *Бурение ими новой скважины в дне океана не получило поддержки со стороны финансового директора*). Семантически *глубокий* относится ко второму аргументу — *глубокой* при глубоком бурении в конечном счете окажется *скважина* (и это вполне «законно» с точки зрения первичной семантики *глубокий*, так как скважина является контейнером). Между тем синтаксическая сфера действия *глубокий* в сочетании *глубокое бурение* сдвинута: *глубокий* определяет не результат бурения, а само отглагольное имя — это и есть метонимический перенос. То же происходит и в сочетаниях *глубокий поклон* или (типграфское) *глубокая печать*: вместо того, чтобы описывать тот объект, который в каждом случае является результатом некоторого движения (при поклоне это, наверное, изгиб тела, а при печати — буквы на бумаге), как это происходит, например, в сочетаниях типа *глубокий след* или *глубокий вырез*, *глубокий* здесь переносит свою синтаксическую сферу действия на сам вершинный предикат.

Однако исходным при метонимическом переносе прилагательного *глубокий* может быть не только глубина контейнера, но и дистантное расположение объекта, ср. *глубокое дыхание*. Дыхание называют *глубоким*, когда вдох (но не выдох, ср.: *глубокий вдох*, но **глубокий выдох*) образуется «на глубине» — в самых нижних (= глубоких) отделах грудной клетки. Аналогично интерпретируются сочетания *глубокий кашель* и *глубокий голос*.

Ср. также «объектную» метонимию с тем же дистантным значением *глубокий* в качестве исходного, представленную в сочетаниях типа *глубокое погружение*, *спуск*, *ныряние* и под.: объект погружается или его погружают — в любом случае он перемещается из некоторой начальной точки в конечную, и эта конечная (не начальная, так как интерпретация типа ‘погружение с большой глубины’ в этих случаях невозможна, ср. ниже запрет на сочетания типа **высокий спуск*) находится на большом расстоянии от поверхности.

Всё это были примеры «чистой» метонимии; в остальных случаях для *глубокий* метонимический перенос выступает одновременно с метафорическим, ср., например, сочетания *глубокая старость* / *глубокая древность* — такие случаи мы подробнее рассмотрим ниже.

Между тем *высокий*, как оказывается, практически не имеет чисто метонимических употреблений. Действительно, по аналогии с *глубокий*, следовало бы ожидать, что метонимически *высокий* будет сочетаться с отпредикатным именем, обозначающим движение на большой высоте или движение, для которого большая высота служит начальной или конечной точкой. Оказывается, что, во-первых, к движению вниз (т. е. с большой высоты) *высокий* совершенно не применимо, ср. **высокий спуск*, *падение*, *приземление*... Тем самым, опять, как и в случае с *глубокий*, начальная точка оказывается нерелевантной: корреляция устанавливается только между движением и его **конечной** точкой (ср. также сноску 18). Однако что касается движения на большой высоте или подъема на высоту, то, хотя такие сочетания и существуют, ср.: *высокий полет* / *высокий взлет*, в современном русском языке они понимаются только метафорически, когда речь не идет о действительном движении в физическом пространстве, ср.: **высокий полет* / **высокий*

взлет самолета¹⁹ (при этом допустимо *птица высокого полета* или *неожиданно высокий взлет его таланта...*). Таким образом, пожалуй, единственным бесспорным случаем чистой метонимии для *высокий* остается сочетание *высокий прыжок* = ‘прыжок на большую высоту’²⁰.

4. Метафора *Метафора* — это такое изменение значения, при котором, в отличие от метонимии, набор синтаксических аргументов предиката не меняется, а меняются семантические ограничения на один или несколько аргументов. Тем самым, как принято считать, при метафоре происходит категориальный сдвиг значения: стандартные для данного предиката категории аргументов (например, такие, как ‘лед, мороженое ...’ — для *таять*, ‘живые существа’ — для *спать* или *бежать* и под.) замещаются новыми для него, «неподходящими», ср.: *деньги, сторонники* или *толпа тает; природа спит; река бежит, время бежит* и др. (Падучева 2004: 330 и след.).

Именно такого рода сдвиги представлены в сочетаниях с *глубокий* и *высокий* типа *глубокое раскаяние, высокая скорость, глубокая зима, высокое звание* и под. Они «нарушают» те топологические ограничения на тип имени в сфере действия прилагательных, о которых мы говорили выше: в буквальном смысле ни одно из этих имен не является ни контейнером, ни слоем, ни вертикальным или дистантно расположенным на большой высоте (resp. глубине) объектом. Между тем все исследователи метафоры сходятся в том, что и этот тип переноса значения не является произвольным. В частности, в работах Лакова и Тернера (см. Lakoff, Turner 1989; ср. также подробный обзор в Приложении) была сформулирована так называемая «инвариантная гипотеза» — о том, что метафорический образ устойчив и проявляется не в отдельно взятом контексте, а во многих, в идеале — во всех. Это объясняется тем, что языковая метафора отражает более общие — культурные, а иногда и еще более общие — свойственные в целом человеческому сознанию (иначе говоря, когнитивные) параллели.

К последним относится описанная Дж. Лаковым (см. Lakoff, Johnson 1980) корреляция «больше» ⇔ «выше»: простое увеличение числа объектов в данном месте ассоциируется у человека с видимым ростом (= увеличением высоты) их совокупного объема — т. е. того, что по-русски мы бы называли *грудой* или *кучей*. Отсюда и употребление слов, связанных с высотой, в значении большого количества, причем в разных языках — ср., в частности, для русского: *высокая скорость, темп, производительность; высококачественные (высокоурожайные) культуры; высокосортный, высокомолекулярный, высокопробный; высота давления* и мн. др.

¹⁹ Если судить по цитате из И. А. Крылова, которую приводит МАС, такие употребления были возможны по крайней мере в XIX веке: «Бумажный Змей, приметя свысока В долине мотылька, — Поверишь ли! — кричит, — чуть-чуть тебя мне видно; Принайся, что тебе завидно Смотреть на мой высокий столь полет» («Бумажный Змей»).

²⁰ Ср. еще термин фигурного катания *высокая поддержка* = ‘поддержка <партнерши> на большой высоте’.

Если искать такого же рода «инвариантный» коррелят для *глубокий*, то здесь наиболее естественной кажется идея полноты и исчерпанности: чем глубже объект, тем он больше, полнее и, следовательно, лучше. С другой стороны, чем глубже человек в него проникает, тем полнее, т. е. в большей мере (и, значит, опять-таки лучше) он его охватывает, использует, ср. *глубоко уважать, глубоко понимать, глубокие раздумья* и под.²¹

Инвариантная гипотеза хороша тем, что она утверждает мотивированность метафоры в целом и предлагает единую стратегию интерпретации различных метафорических значений. Однако конкретные примеры метафор требуют более детальных объяснений. Например, возникает вопрос, почему *мысль, оценка* или *голос* могут быть и *высокими*, и *глубокими*, *честь* — только *высокой* (**глубокая честь*), *терпение* — только *глубоким* (**высокое терпение*), а, например, *ожидание* или *веселье* — ни таким, ни таким (**высокое / глубокое ожидание, веселье*). В статье «О вещных коннотациях абстрактных существительных» В. А. Успенский предлагал считать, что абстрактным сущностям в языке приписывается конкретное, вещное значение. Например, *авторитет* носителю русского языка представляется в виде полого шара, подвешенного над землей, *страх* — «в виде враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парализующим веществом» и под. (Успенский 1979: 150). В сущности, это тоже можно было бы считать выражением инвариантной гипотезы — если бы по отношению к каждой данной абстрактной сущности подтвердилось, что ей в языке всегда присущ некоторый единый физический образ, причем когнитивно мотивированный, — а не множество образов, сосуществующих и реализующихся попеременно в разных контекстах в зависимости от ситуации.

Впрочем, высказывалась и совершенно противоположная точка зрения. Так, по мнению Н. Д. Арутюновой (1976: 93–111), подробно исследовавшей сочетаемость имен, связанных с психической сферой человека, эти имена в языке многолики — в частности, *совесть* оказывается одновременно и когнитивным зверем (ср. сочетаемость с *грызть, кусать, царапать* и под.) и человеком, что «позволяет ей говорить, возражать, спорить...» (Арутюнова 1976: 96). Ср. там же: «Столь же мозаично окружение слов со значением элементов эмоциональной жизни человека. Оно формируется путем объединения противоречащих друг другу образов. Многоликость чувства тем явственней, чем изменчивей те состояния психики, которые оно вызывает». Подробную аргументацию в поддержку этой точки зрения см в Анна Зализняк 2006: 60 и след.

²¹ Заметим, что и для *высокий*, и для *глубокий* метафорическое значение имеет положительную оценку — и это естественно для прилагательных со значением увеличенного, т. е. положительного размера; наоборот, прилагательные со значением уменьшенного, «отрицательного» по сравнению с нормой размера в метафорических употреблении получают отрицательную оценку, ср.: *низкий уровень, узкий кругозор, мелкие интриги...*

Так верна ли инвариантная гипотеза? Нам кажется, для ее подтверждения или опровержения всё же требуется возможно более широкий материал для систематизации. С этой точки зрения можно рассматривать и предлагаемый ниже анализ типов метафорических употреблений *высокий* и *глубокий*²².

5. Высокий Количественная метафора. Исходными для количественной метафоры (ср. *высокая оценка, скорость, темп, цена, процент, результат, степень, уровень, число, количество, цифры, показатели*....) принято считать те употребления *высокий*, в которых оно измеряет протяженность объекта снизу вверх (*высокая башня, дерево*) — см. выше. Между тем, в этом случае метафорическое *высокий* должно быть применимо к любому признаку, содержащему количественный параметр. Это, однако, не так: нельзя, например, сказать **высокий возраст* (в значении ‘большой возраст’) или **высокое время* (в значении ‘много времени’). Поэтому вернее кажется исходным считать *дистантное* значение *высокий*: ‘тот, который находится на большом расстоянии от земли’, ср. *высокий этаж*. Дело в том, что большинство признаков, имеющих количественную составляющую, могут быть представлены как бесконечно возрастающие *шкалы* — шкала скорости, температуры, давления, напряжения... (Простейшую шкалу представляет собой числовой ряд.) В таком случае *высокий* определяет данное значение параметра как значительно большее (т. е. удаленное от) нормы. Например, *высокая преступность* — ‘большое число преступлений по сравнению с нормой’, *высокая заболеваемость* — ‘большое число заболеваний <скажем, на душу населения>’ — то же для *высокие достижения, энергия, зарплата, крепость напитков* и др. под.

Хорошо шкалируются способности: *аппетит, интеллект, устойчивость, воспламеняемость, маркость, кредитоспособность* и под. Особую шкалу составляют звуки, ср. *высокий звук, голос, пение* и др. Не шкалируется интенсивность процессов (нельзя сказать: **высокое кипение, течение, ожидание*...), чувств (ср.: **высокий страх, злость, зависть*...) и поведенческих реакций (ср.: **высокая застенчивость, назойливость, хитрость, застенчивость, скупость* и под.). Заведомым препятствием к тому, чтобы признак шкалировался, служит его предельность (как у возраста) и цикличность (как у времени).

Еще одним обстоятельством, поддерживающим релевантность для *высокий* количественной шкалы, служит применимость его к другой, «качественной» шкале, — а именно, к иерархии чинов и званий, ср. *высокая должность, высокое начальство, высокий чин* и др.

В обоих этих случаях к метафорическому переносу может быть «добавлена» метонимия, ср., например, *высокая посещаемость*. Имя *посещаемость* (так же, как и глагол *посещать*) по крайней мере двухвалентно: ‘кто посещает что’. Синтаксически относясь к отпредикатному имени, *высокий* мо-

²² Сходные эффекты отмечены и для переносных значений польских прилагательных размера — см. Grzegorzczkova 1997.

жет семантически характеризовать как первый, так и второй его аргумент, ср.: *высокая посещаемость лекций этого профессора* = 'лекции этого профессора посещают много студентов' или *столь высокая посещаемость его студентов* = 'посещаемость его студентами большого числа лекций' и даже (сирконстант?) *высокая посещаемость сотрудниками его отдела своих рабочих мест* = 'сотрудники его отдела много (т. е. часто) посещают свои рабочие места'. Ср. также *высокая сохранность кадров / книг / имущества* = 'сохранено большое число объектов'; *высокая отдача* = 'много вложено, но еще больше получено', аналогично для *высокая видимость, освещенность, организованность, высокий конкурс* и др.

То же для качественной иерархии: *высокие переговоры* = 'переговоры высоких руководителей'; *высокий приказ* = 'от руководителя большого ранга', а также *высокое свидетельство, происхождение, состав участников* и др.

Метафора содержания. Для этого метафорического переноса исходным тоже является дистантное значение *высокий*: поднятое над обыденным, повседневным, т. е. по большей части материальным, *высокое* в этом смысле значит 'духовное', ср. также *возвышенное*. Центральная зона применения такой метафоры — содержание чувств, мыслей, речи, поступков, событий, поэтому характерные сочетания типа *высокая печаль, беседа, искусство, литература, принципы, тайны, долг* есть уже результат не только метафорического, но и одновременно метонимического переноса: высок на самом деле *предмет* печали, *тема* беседы, *содержание* принципов, литературы и проч. — т. е. то, *о чем* это.

6. Глубокий **Метафора содержимого контейнера.** Пожалуй, наиболее характерным контекстом для метафорического *глубокий* служат имена с валентностью, которую можно было бы называть валентностью содержимого (в Филипенко 1996 предлагался термин «валентность состава»), ср.: *суждение, проблема, вопрос, интерес*, а также *ошибка, заблуждение, изменение* и мн. др. — 'состоящий в том, что...'. Эту валентность следует отличать от того, что обычно называют валентностью содержания (см. Апресян 1974: 12), которая вводит *предмет* суждения, вопроса и под. — *суждение, вопрос о том, что* (эта валентность, как было только что сказано, может характеризоваться прилагательным *высокий*). Между тем, обычно наличие валентности содержания предполагает и валентность содержимого — так что данная группа легко выделяется.

Содержимое представляется как находящееся в «емкости»: *суждение, проблема* или даже *произведение* — это такие сосуды, в которых, если они *глубокие*, «налито» нечто такое, что нельзя быстро понять, пользуясь только поверхностным знакомством с ним — но что надо «вычерпать» до дна. Таковыми же «сосудами», «содержащими» сложные (= *глубокие*) чувства, переживания и т. п. являются *глубокая натура, глубокий человек, глубокая личность* и под., а *глубокий поэт / художник / мыслитель* и др. — следуя стан-

дартному метонимическому переносу — являются авторами глубоких произведений.

Еще более сложной оказывается семантическая структура сочетаний типа *глубокое изучение* или *исследование вопроса / анализ ситуации / знание предмета* и под., где данный метафорический перенос осложнен не только метонимическим, но и еще одной метафорой: во-первых, имя понимается как емкость, во-вторых, предикат осмысливается как погружение в эту емкость — и тогда всё сочетание интерпретируется по метонимической модели *глубокое погружение* (см. выше) — т. е. как движение, в результате которого движущийся объект начинает находиться на значительном расстоянии от поверхности, или, метафорически, «в глубине», т. е. в сути вопроса, проблемы и др.

Та же метафора контейнера лежит в основе семантической интерпретации и для сочетания *глубокий ум*. В русском языке имя *ум* имеет «активную» семантику и уподобляется органу человека, являющемуся *инструментом* интеллектуального исследования, ср. *понимать умом*, *острый ум* и др. (подробнее см. Урысон 1997, 2003). Поэтому *глубокий ум* метонимически интерпретируется как ‘инструмент для глубокого проникновения в содержание дела’. Интересно, что соответствующее такому инструменту «вещное» значение будет сочетаться не с *глубокий*, а, скорее, с *длинный*, ср.: *длинное сверло*, но не **глубокое сверло*, так как для физического объекта в антропоцентричной картине мира наиболее релевантна его видимая функциональная поверхность (об антропоцентричности размеров см. выше). Между тем *ум* в русской картине мира — это и есть такое воображаемое *сверло* или *бур*, только уже без конкретных внешних параметров.

Теперь мы можем объяснить разницу в употреблении близких по смыслу слов *ум* и *интеллект* — а именно, допустимость *глубокий ум*, но не **глубокий интеллект* и наоборот, *высокий интеллект*, но не (в том же значении ‘интенсивность мысли’) **высокий ум*. Если *ум* в русской картине мира — это орган мысли, и поэтому он не может шкалироваться (а это, как мы видели, главное условие для количественной метафоры *высокий*), то *интеллект* в русской языковой картине мира — это не орган, а способность к мысли, ср. Урысон 1997: «Слово интеллект обозначает *способность* человека познавать; представление об органе лишь слабо просвечивает в данном слове». Способности же как раз очень хорошо шкалируются — отсюда допустимость сочетания *высокий интеллект*.

Обратим внимание, что «метафорическая история» сочетания *высокий ум* в таких контекстах, как *Высокие умы решают судьбы мира* совершенно иная и опять-таки невозможна для слова *интеллект*. Здесь *ум* метонимически понимается как ‘носитель ума’ (‘тот, кто думает’) и имеет предмет (‘о чем думает’), к которому применена метафора содержания: *высокие умы* = ‘которые думают о возвышенном’.

Не вполне ясна ситуация со словом *мысль* — с одной стороны, всякая мысль имеет содержание (*мысль о чем-л.*), так что есть все основания интерпретировать сочетание *глубокая мысль* как обозначающее контейнер, а с другой стороны, мысль достаточно активна сама по себе (ср. *быстрые мысли, острые мысли, мысли скачут* и под.) — и в этом смысле похожа уже не на «пассивный» контейнер, а на «активный» инструмент. Тогда сочетание *глубокая* следует интерпретировать по аналогии с *глубокий ум*.

Метафора препятствия. Интересный случай представляют имена типа *расхождение, противоречие, непонимание, недоверие* и др. — с контрагентом, который выражается одновременно с субъектом, в частности, конструкцией с предлогом *между*: *расхождение / противоречие... между этими людьми* или *между ним и его отцом*. Одновременно такой способ оформления актантной структуры свойствен конкретным именам со значением границы — в первую очередь, между участками земли, ср.: *граница, межа, ограда, колючая проволока ... между полями, огородами, участками* (подробнее о семантике таких существительных см. § 1 Главы 5). Между тем самой простой границей является естественное или искусственное углубление в земной поверхности, ср. *овраг / лощина / яма / ров / пропасть* (и др.) *между полем и лугом*. Такие границы имеют измеряемую глубину, и чем больше эта глубина, тем более ощутимой преградой данная граница является. Естественно, что имена со значением виртуальной преграды в отношениях между людьми в качестве «вещного коррелята» получают сходные по своей синтаксической структуре углубления в земной поверхности, которые чем глубже, тем труднее преодолеть.

Как видим, базовым значением для этой метафоры по-прежнему служит контейнер, но уже другой, ср.: *глубокое понимание* ≈ ‘проникновение в суть дела’; *глубокое непонимание* ≈ ‘непреодолимое препятствие для понимания’. Действительно, препятствием для *понимания* является глубина, но *понимание* само есть погружение: очевидно, что соответствующие пространственные картинки (вещные коннотации), хотя и одноименны, но друг с другом никак не соотносятся.

Метафора дистантного расположения. Особый тип метафоры представляют в контексте *глубокий* имена чувств, ср.: *глубокое презрение / отчаянье / тоска / отвращение / нежность / интерес / любовь* и мн. др. Чувства могут быть как положительные, так и отрицательные — важно, чтобы они не имели специальных внешних проявлений, т. е. не переходили из чувств в поведение, ср. запрет на сочетания типа **глубокая робость* (при том, что возможно: *глубокий страх*) или **глубокая радость* (при допустимом *глубоком счастье*)²³. В наивной картине мира чувства находятся внутри человека, причем главным сосудом для человеческих чувств является душа

²³ А поскольку мы знаем, что поведенческие реакции и не шкалируются, то получается, что к ним не применимо ни метафорическое *высокий*, ни *глубокий*.

(подробнее о концепте слова *душа* см. Wierzbicka 1990a, Апресян 1995a, Урысон 1995); именно в душе находятся самые сокровенные чувства (см. Арутюнова 1976: 98), которые могут даже не проявляться поверхностно и не осознаваться, ср. вполне парадоксальное *Я Вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем...* Действительно, если сказано *Я любил*, значит, автор считает, что больше не любит. Тем не менее, оказывается, что любовь пусть не горит, но и *не угасла в <его> душе* — значит, *в душе* (а еще лучше — *в глубине души*, т. е. на дне ее) находится то потаенное, скрытое для самого носителя, неустрашимое чувство, которое невозможно подавить. О таких чувствах — расположенных как бы на большой глубине (ср. дистантную интерпретацию предметных имен в контексте *глубокий*) и говорят *глубокие*. Понятно, что чем *глубже* <находится> чувство, тем оно сильнее. Отсюда и то стандартное толкование, которое предлагают для данных контекстов словари, ср. МАС: «Очень сильный, достигший значительной степени (о чувствах)».

Как не раз отмечалось, значение 'интенсивность', которое в таких случаях предлагается в качестве толкования, не обладает никакой объяснительной силой: нельзя понять, ни почему в данном случае именно *глубокий* выбрано в качестве интенсификатора из многих возможных (ср.: *высокий, сильный, значительный, яркий* и мн. др.), ни почему сочетание с *глубокий* в этом контексте получает именно значение интенсивности, а не какое-то другое. Семантический подход к метафоре, которому мы здесь следуем, — ввиду того, что он не предполагает никаких «случайностей» и требует определенности в объяснении всех произошедших в семантике переносного употребления сдвигов — как раз и предполагает решение обеих этих задач.

В частности, обратим здесь внимание на то, что, согласно классической работе Lakoff, Johnson 1980, квантификативная (и, как ее частный случай, интенсифицирующая) метафора строится на движении вверх, а не вниз, подчиняясь принципу «выше → больше», — ср. хрестоматийные примеры типа *высокая температура* или *рост надоев*. Если же учесть метафорику русского *глубокий* (собственно, равно как и английского *deep*), придется признать, что в языках действует и другая, обратная, стратегия образования интенсификаторов: «ниже → больше». Это существенное уточнение, так как у Лакова–Джонсона «каноническая» формула выглядит как «ниже → меньше» — ср. «правильные» метафоры: *низкая рождаемость, низкие показатели* и др., где движение вниз связано с идеей уменьшения, а не увеличения количества.

Между тем, как следует из Ли Су Хен, Рахилина 2005 и Ли Су Хен 2005, такая «нестандартная» метафора имеет право на существование, потому что тот же эффект интенсификации на базе движения вниз возникает совсем в другой зоне — а именно, в зоне лексических квантификаторов (*гора <книг>, куча <дров>* и под.). Дело в том, что в русском языке одну из подгрупп такого рода квантификаторов составляют слова *бездна, пропасть и прорва*, связанные не с высотой, а с глубиной, и, как было показано в этих работах, не случайно. Действительно, обычное движение вниз в антропоцентричном

пространстве, в отличие от движения вверх, — всегда предельно: оно ограничено поверхностью земли, расстояние до которой (с точки зрения говорящего) невелико, тогда как пространство вверх, по сравнению с ним, бесконечно. Именно поэтому большое количество и в самом деле естественно связывается с измерением «вверх», чем «вниз», а названия обычных (т. е. неглубоких, конечных) углублений, таких как *яма* или *канавка*, не метафоризируются как показатели большого количества, ср. **яма / *канавка проблем, дел*. Но примеры, о которых мы говорим, представляют тот редкий случай, когда и пространство *вниз* бесконечно. В этом смысле «глубокие» квантификаторы оказываются сходны с «высокими» (а также «широкими» такими, как *море* или *россыпь* — подробнее см. там же) и подчиняются, видимо, более общему принципу «БЕСКОНЕЧНО > БОЛЬШЕ». Тогда становится объясним и источник метафоры интенсивности для прилагательного *глубокий*: в свете сказанного, можно принять, что он тот же, что и для *высокий*.

Метафора слоя. Этот — последний в нашем перечне — тип метафорического сдвига касается определенных физических состояний человека или состояний окружающей среды — ср.: *молчание, сон, покой, тишина* и некоторые другие. Подобные состояния уподобляются плотным жидкостям, в которые как бы опускается человек, ср.: *Он плавно погружался в сон; все утонуло в молчании*. В глубине эти «жидкости» становятся совершенно непроницаемы для внешних воздействий, поэтому там такие состояния достигают своей полноты и неизменны, ср.: *глубокое молчание / сон / покой / тишина*. Обратим внимание, что и сами состояния — воплощение статики: так, в том же смысле, что *глубокая тишина* или *покой* нельзя, например, понять сочетания *глубокий смех*, *глубокое движение*, *глубокое ожидание*, *глубокая работа* и др. под.

Возможно, что чувства — по крайней мере некоторые их разновидности — тоже способны отождествляться с тяжелыми жидкостями, ср.: *погрузился в свои переживания* (впрочем, замена *переживания* на *чувства* в этом контексте оказывается уже невозможна. Ср. также: *погрузился в тоску / уныние*, но **погрузился в нежность / любовь*). В связи с этим интересно, что В. А. Успенский (1979) предлагает считать «тяжелую жидкость» вещным коррелятом и для слова *горе*, в том числе опираясь на такие «окаменевшие» контексты, как *хлебнуть горя, испить горя*. Нам представляется, что интерпретация сочетания *глубокое горе*, как и положено чувствам, вполне укладывается в метафорическую модель дистантного расположения — как *глубокое чувство, глубокое счастье* и под. (см. выше). Другое дело, что, в принципе, в языке может параллельно существовать и модель ‘горе / тоска / уныние / переживания как жидкость’. Например, Н. Д. Арутюнова (1976: 98–102) считает «текучесть» одним из основных свойств эмоций. Понятно, что такая ситуация определенно ставит под удар идею «инвариантной гипотезы».

Следующая ступень развития метафоры слоя связана с довольно распространенным метонимическим переносом «ситуация — период времени, соответствующий данной ситуации» и приводит к употреблению в контексте *глубокий* слов *зима, осень, ночь, старость, древность*. Они соответствуют наиболее неподвижным, застывшим, «мертвым» «слоям» времени, которые (так же, как *тишина* или *покой*) способны «в глубине» достигать еще более высокой концентрации своих свойств, ср. невозможность в контексте *глубокий* названий «живых», изменчивых, «мобильных» периодов времени, связанных с движением и ростом: **глубокий день*, **глубокая весна*, **глубокая молодость*, **глубокая современность* и под.

§ 3. Некоторые замечания об отражении формы объекта в русском языке *

Следует сказать, что в русском языке (как и во многих других, ср. Dixon 1977) почти нет прилагательных, которые бы описывали собственно форму. Достойное исключение, пожалуй, составляет разве что *круглый* — что касается таких слов, как *овальный, квадратный* и под., то они и малоупотребительны, и малоинтересны с лингвистической точки зрения. Заметим, что в морфологическом отношении эти прилагательные являются отыменными производными — и это, как показал Р. Диксон, типологически закономерно. Впрочем, если быть точным, отыменным является и прилагательное *круглый*, но его семантическая связь с именем *круг* — в том числе, видимо, в силу непродуктивности словообразовательной модели и частотности самого прилагательного — все же осознается носителями языка как более слабая. Обычно же форма объекта в русском языке описывается совместно с другими семантическими характеристиками, ср. *ровный, острый, тупой* и др. под.; между прочим, типичным случаем «склеенного» выражения формы являются только что рассмотренные нами прилагательные размера. Ниже мы подробно обсудим сочетания предметных имен с тремя прилагательными — уже упомянутым *круглый*, а также двумя другими, описывающими если не саму форму предмета, то такие отклонения от нормы, которые, как мы увидим, позволяют эту форму реконструировать: *кривой* и *косой*.

* Первоначальный вариант опубликован в: Русистика сегодня, 1998, № 3/4, 45–58.

1. *Круглый*

Определение объекта как *круглого* предполагает наличие у него непрерывного, скорее замкнутого, контура или поверхности, со всех сторон равноудаленной от некоторой точки. Такую поверхность очень легко изобразить рисунком и очень непросто описать словами. На первый взгляд даже кажется, что в этом случае словарное толкование должно пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать наглядное изображение, а не словарное описание. К обсуждению этого вопроса мы вернемся позднее, а вначале обратим внимание на следующий удивительный факт.

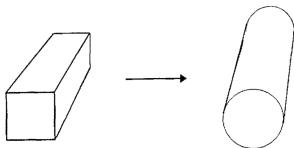
Круглый должно описывать определенную форму объекта; наверное, идеально круглым объектом следует считать шар. Между тем, объекты, называемые *круглыми*, имеют самую *разную* форму, в большинстве своем очень далекую от формы шара, ср., например, *круглый столб*, *круглое пятно*, *круглый хлеб*, *круглое отверстие* и под. По нашему мнению, *круглый*, как, впрочем, и другие прилагательные формы, в принципе не могут иметь единого постоянного значения в общепринятом смысле этого слова потому, что его значение состоит в *изменении* исходной формы данного объекта. При этом исходная форма объектов различается, поэтому о полном сходстве результатов такого изменения не может быть речи. Единство значения прилагательного *круглый* оказывается не в общности результата этой своеобразной семантической трансформации — т. е. не в том, чтобы все объекты, к которым оно применяется, стали шарами, а в общности самих изменений, которые претерпевают разные формы, оказываясь круглыми. Это утверждение, верное и по отношению к другим прилагательным формы, будет проиллюстрировано ниже.

Прежде всего перечислим все возможные типы изменений формы объекта, «спровоцированные» сочетанием имени с *круглый*. Исходным понятием для нас, как и в других случаях, будет топологический тип объекта (см. § 2, раздел 2), понимаемый нами, напомним, как совокупность функционально значимых характеристик его формы и размера, взятых в единстве, другими словами, пространственный образ объекта, подчиненный особенностям его функционирования. Примерами топологических типов, как мы видели, могут служить поверхности, стержни, контейнеры и др. под. типы объектов — но только в том случае, если данный тип обнаруживает особенное, непохожее на других, лингвистическое поведение в сочетании

с прилагательными, предлогами, глаголами и т. д. (о роли «лингвистического поведения» — linguistic behaviour см. подробнее Wierzbicka 1985; ср. также Введение, 1.5). В данном случае нас будут интересовать топологические типы, релевантные для описания смысла *круглый*²⁴.

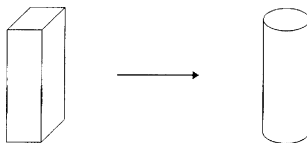
1.1. Трансформации формы «Стержни». Под «стержнями» понимаются вытянутые объекты жесткой формы. Канонический, если так можно сказать, стержень — это прямой, топологически независимый объект, никак не ориентированный в пространстве (тип 1a), но в данном случае эти характеристики «идеального» стержня оказываются несущественными, поскольку изменения, которые претерпевают все, в том числе «ущербные», стержни в контексте *круглый*, практически тождественны. Они сводятся к тому, что во всех случаях закругляется вытянутая боковая поверхность.

а) стержни, никак не ориентированные в пространстве («палки»)



ср.: *стержень, спичка, стебель, полено, балка, карандаш, тубик...*

б) вертикальные стержни («колонны»)



ср.: *башня, корпус, столб, мачта...*

²⁴ Особый интерес, конечно, представляет вопрос о том, есть ли в языке постоянный набор топологических типов, который «проявляется» как релевантный при интерпретации любого предложения, где топология играет какую-то роль.

с) не прямые стержни



ср.: *ручка (двери)*²⁵, *(триумфальная) арка, бивни, рог...*

д) стержни, прикрепленные к поверхности



ср.: *порог, косяк, плинтус...*

« Поверхности » и « пластины ». Пластинами считаются объемные объекты, имеющие (верхнюю) поверхность. В контексте *круглый* наличие объема (другими словами — толщины) никакой роли не играет: у объекта такого типа закругляются именно края поверхности. Не играет роли и то, имеет ли объект изначально известную, типичную форму — как, скажем, *колесо*, или его форма никак не фиксирована, ср. тип (f). Отверстия также оказываются в данном случае своего рода поверхностями, ограниченными краями отверстия. Естественно, что, будучи ограниченной какой-то другой поверхностью, поверхность или пластина закругляется только в своей выступающей части (тип h).

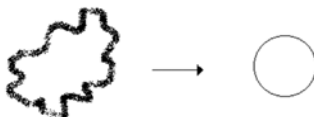
е) поверхности / пластины, имеющие определенную форму



ср.: *циферблат, лист, колесо, пуговица, кнопка, фара, буква, пластина, ломоть, доска...*

²⁵ Здесь возможна также объемная интерпретация, при которой круглая ручка становится шариком, но тогда у нее другие исходные характеристики, см. тип «Объемы».

f) «бесформенные» поверхности / пластины



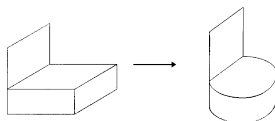
ср.: *пятно, (полу)остров, бухта...*

g) отверстия



ср.: *отверстие, горлышко, дыра...*

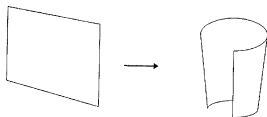
h) пластины, прикрепленные к поверхности



ср.: *ступень, подоконник, крыльцо...*

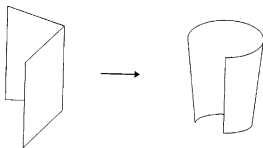
Вертикально ориентированные поверхности. В отличие от обычных поверхностей и пластин, вертикально ориентированные поверхности в сочетании с *круглый* меняют не форму края, а форму поверхности как таковой, становясь выпуклыми / вогнутыми, в идеале — с сомкнутыми концами. С точки зрения такого результата безразлично, была ли исходная поверхность объекта ровной или нет: и круглые листы (ровного) железа, и круглые листы (волнистого) шифера оказываются согнуты одинаково.

і) прямые вертикальные поверхности



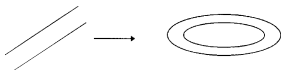
ср.: экран, забор, стена...

ј) не прямые вертикальные поверхности



ср.: угол (забора, стены)²⁶

« П о л о с ы ». Полосы, на первый взгляд похожие на поверхности, в данном случае ведут себя особенно: они закругляются не в круг, а в кольцо.

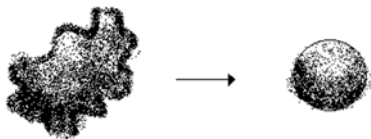


ср.: аллея, беговая дорожка, радуга...

« О б ъ е м ы ». И только одни объемные объекты в сочетании с *круглый* становятся шарообразными, т. е. «предельно» круглыми — целиком или в своей выпуклой части.

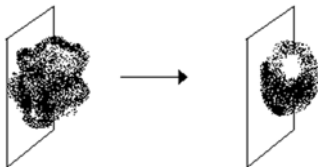
²⁶ Ср. также метонимию в названиях помещений: *круглая комната* — это комната, у которой круглые углы.

к) объемные объекты неопределенной формы



ср.: *комок, кулак, зерно, снежок, жемчужина, деталь, мыло, брюква, голова...*

л) выпуклости



ср.: *выступ, нарост, щеки, затылок, колени, живот...*

Это весь перечень топологических типов, релевантных для *круглый*. Ниже следуют некоторые комментарии к нему.

1.2. Комментарии О топологических типах и типах изменений. Мы специально расположили примеры достаточно дробно, чтобы проиллюстрировать все возможные нюансы изменений. Однако легко видеть, что изменений формы общего характера на самом деле всего три: у поверхностей и полос закругляются границы, у стержней и вертикальных плоскостей поверхность остается вытянутой, но как бы равномерно сворачивается, а из объемных бесформенных объектов получаются шары и полушария. Тем не менее, заметим, что и такое разнообразие типов изменений невозможно, например, для прилагательного *овальный*. По нашему мнению, для *овальный* исходной формой является не любая, а только круглая форма — плоскостная или шарообразная. Поэтому

возможно: *овальный циферблат, овальное стекло, овальный портрет, овальный мяч* и под., но не **овальный угол / нос / щека / палка...*

Ограничения на исходную форму объекта. Очевидно, что *круглый* требует постоянной исходной формы объекта. Форма может быть определенно не задана — как в словах типа *остров* или *пятно*, но она должна иметься. В противном случае сочетания с *круглый* (как, впрочем, и с другими прилагательными формы) невозможны. В частности, по этой причине не сочетаются с *круглый* имена веществ (**круглая вода*), пространств (**круглая пустыня*) и имена объектов без постоянной формы (**круглая веревка / *нитка / *мешок / ?провода*). С другой стороны, если форма объекта, подчиненная его функции, абсолютно жестко фиксирована, то топологические изменения, которых требует *круглый*, также оказываются невозможными, и соответствующие сочетания (такие, как *??круглая книга, ??круглые лыжи, ??круглая дорога / линия* и под.) запрещены.

Последние примеры говорят о том, что в русском языке и *дорога*, и *линия* воспринимаются как имеющие определенную форму — более или менее неизменную. Дорога может быть извилистой, линия — волнистой, но обе они направлены из точки (или пункта) А в *неожиданный* ему В, потому что их главная функциональная составляющая — это *соединение* (разных) точек, пунктов и проч. Другая особенность формы, видимо, общая и у *дороги*, и у *линии* — это то, что она «не видна» целиком, а описывается наблюдателем, как бы следующим по дороге или как бы проводящим линию. В известном примере Ю. Д. Апресяна (1980: 60–61) *Дорога кончилась около леса* роль наблюдателя для интерпретации этого предложения обсуждается в связи с видовой характеристикой предиката. Между тем, та же семантическая характеристика существенна и для имени — такое семантическое согласование обеспечивает примеру абсолютную безупречность.

Реконструкция исходной формы. Интерпретация сочетаний с *круглый* помогает нам реконструировать тот исходный топологический тип, который приписывается объекту в (русском) языке. В некоторых случаях эта процедура совершенно прозрачна. Например, из интерпретации сочетания *круглая картина* можно заключить, что картина — это ограниченная поверхность, не имеющая постоянной вертикальной ориентации — и это вполне соответствует нашему «бытовому» представлению о топологии картин. Есть более сложные случаи — когда одно и то же сочетание может описывать, в сущности, разные объекты — ср. *круглый фонарь*. Это может быть ручной фонарь на подвесной ручке — и тогда он шаро-

образный объемный объект, а может быть и уличный — тогда круглым может оказаться его столб (= «стержень»)²⁷. Отметим, однако, что любая мыслимая интерпретация по-прежнему вполне отвечает нашим «бытовым» представлениям об объекте.

Большой лингвистический интерес представляют, конечно, случаи, когда языковой образ объекта *расходится* с обыденным. Например, есть явно объемные объекты, которые воспринимаются как плоскостные. Ср. сочетание *круглый пирог / хлеб*, которое должно было бы интерпретироваться как ‘колобок’, если учитывать исходный объем объекта, но интерпретация здесь оказывается, скорее, сходна с той, которую демонстрирует необъемное *круглый блин*. Другие примеры — *круглое лицо*, *круглая луна*, где опять возникает «плоскостная» интерпретация. Или: *круглые глаза*. Конечно, с денотативной точки зрения глаза являются объемными объектами — тем не менее, *круглые глаза* не значит ‘выпученные’, а значит что-то вроде ‘удивленно раскрытые’ — так что границы видимой плоскости представляют круг’ (ср. здесь также *большие глаза*).

Если относительно пирога можно заметить, что пирог повторяет форму, в которой его выпекают, — поэтому именно она оказывается в конечном счете наиболее значимой, то в отношении лексем *лицо*, *луна*, *глаз* можно предложить следующее объяснение для расхождения языка и действительности. Форма — это прежде всего *видимая* характеристика объекта; эти объекты *видимы* как плоские, объем для них нерелевантен. Но в основном встречаются более простые с лингвистической точки зрения случаи. В качестве такого относительно простого примера рассмотрим сочетание *круглая рама*. Вообще *рама* обозначает (обычно деревянный) объект, обрамляющий картину или окно. Собирается она из более или менее толстых реек, по своему топологическому типу попадающих в класс «стержней». Тем не менее, *круглая рама* не значит ‘рама, собранная из круглых реек’, а значит ‘рама, сделанная в форме круга’ — потому что форма (как и раз-

²⁷ Тем самым, объекту приписывается форма, на самом деле характеризующая его часть. Такой метонимический перенос происходит очень часто (ср. *круглый стол*, *круглые очки* и мн. др.) и совсем не только при определении формы, но и цвета, материала изготовления, в некоторых случаях — температуры (ср. *горячий утюг*) и даже в какой-то степени размера (хотя здесь явно меньше очевидных примеров). В нашем исследовании мы неоднократно обращали внимание на это явление и на общность механизма, регулирующего правильность такого переноса: выбранная часть должна быть максимально задействована в стандартном способе функционирования данного объекта.

мер, и другие характеристики имени) оказывается подчиненной той функции, которую этот объект выполняет. С точки зрения языка, рама — это не просто набор палок; он называется *рамой*, потому что сделан для обрамления чего-либо — значит, круглая рама обрамляет круглое. Таким образом, «просто формы», формы объекта «самой по себе» в языке не существует — есть языковой образ, который напрямую определяется тем способом, которым объект используется человеком.

Проблема выбора интерпретации. Два объекта могут принадлежать к одному и тому же топологическому классу — т. е. иметь похожую исходную форму — но в сочетании с *круглый* могут вести себя по-разному, выбирая для деформации разные поверхности. Такова ситуация в паре *круглое дупло* — *круглая пещера*. Наиболее естественная интерпретация первого члена этой пары сводится к форме отверстия, входа в дупло: *круглое дупло* = ‘дупло с круглым входным отверстием’. Эта интерпретация, однако, мало приемлема для второго члена пары: в сочетании с *пещера* *круглый* описывает характеристики внутренности пещеры (ср. выше пример с *круглой комнатой*). Между тем, пещеру можно описать как такое «большое дупло» в земле или горе, и наоборот, дупло — как «небольшую пещеру» — например, в дереве. Если бы мы *рисовали* эти объекты, рисунки бы получились очень похожими. Но рисунки не отражают *языкового* существа дела (ср. начало данного параграфа), потому что в языке различается не объективная форма предметов, а отношение к ним человека: дупло человек видит только снаружи, а пещеру — преимущественно изнутри. Отсюда и различие в выборе поверхности, которая становится круглой. Ср. также *круглый ров* = ‘ров в форме кольца’ (но не, например ‘с круглым дном’); *круглый карман* = ‘накладной, внешняя, т. е. видная поверхность которого закруглена’ (но не ‘с круглым отверстием’); *круглый бокал* = ‘с круглой боковой поверхностью’ (потому что именно она является функционально наиболее значимой для бокала с точки зрения человека); *круглое блюдо* = ‘с круглой верхней поверхностью’, и под.

Метафора. У *круглый* есть свой небольшой набор метафор: *круглый дурак / невежда / отличник*; в этом метафорическом значении *круглый* близко к *законченный*²⁸: *законченный дурак / невежда*, ср., однако, с одной стороны допустимость сочетаний *законченный негодяй / пьяница*, при неприемлемости **круглый негодяй* или **круглый пья-*

ница, а с другой стороны, невозможность *законченный отличник. Дело в том, что развитие метафорических значений у этих прилагательных идет разными путями: законченный значит 'в своем развитии приближающийся к конечной (обычно, пиковой) точке'. Значит, законченный дурак / негодяй и т. п. — это что-то вроде 'предельный дурак / негодяй'²⁹.

Круглый значит 'равно лучший / худший во всех отношениях' и предполагает одновременное существование у объекта оценки нескольких различных параметров. Сочетание круглый отличник предполагает, что существует множество школьных предметов, занимающих одинаковую позицию (так сказать, равноудаленных от некоторого воображаемого центра) на оценочной шкале; аналогично, круглый невежда предполагает множество областей, в которых человек обнаруживает невежество в одинаковой (точнее, в одинаково сильной) степени; так же устроен и круглый дурак. Однако по причине отсутствия исходного множества совершенно невозможна такая интерпретация для *круглый пьяница или *круглый негодяй. А вот круглый неудачник, хотя и не является «каноническим» примером метафорического круглый, как кажется, может получить адекватную интерпретацию.

2. Косой и кривой

В свое время в книге А. Херсковиц [Herskovits 1986] было предложено понятие «отрицательной части»: такая часть не добавлена, а вынута из объекта. К ним относятся всевозможные пустоты, выемки, дырки и др., которые, конечно, с денотативной точки зрения не могут считаться частями, но с лингвистической (это и утверждала Херсковиц) ведут себя как настоящие части. По аналогии с этим косой и кривой можно назвать «прилагательными отрицательной фор-

²⁸ И оба они, по известной классификации лексических функций Мельчук 1974, могут быть отнесены к классу Magn'ов. В рамках канонической модели «Смысл ⇔ Текст» этот факт означает полную лексикализованность соответствующих сочетаний. В своем последующем развитии (прежде всего, в работах Ю. Д. Апресяна) Московская семантическая школа перешла на «объяснительные» позиции — постепенно пересматривая и аппарат лексических функций. Некоторые замечания на эту тему содержатся в Апресян, Цинман 1998; Апресян 1999, 2004в.

²⁹ Интересно, что русское предельный используется ровно в этом оценочном значении — но в разговорном языке (ср. предельная глупость); ср. нейтральное предельная загрузка агрегата.

мы». Действительно, собственно форму объекта они, так же, как и только что рассмотренное *круглый*, не описывают, но, в отличие от *круглый*, описывают не просто изменения, а различные *отклонения* от нее, которые позволяют вычислить исходную форму. В данном разделе мы установим те параметры формы объекта, которые описываются как нарушенные в сочетаниях с *косой* и *кривой*, и обозначим зоны расхождения и пересечения значений этих прилагательных.

Кривой описывает несоответствие объекта его исходной, канонической форме: *кривая линия*, *кривая поверхность*, *кривое дерево*, *кривой дом*, *кривые корни*, *кривое колесо* и т. д. *Кривая линия* — эта та, которая как-либо отклоняется на своем пути от прямой, соединяющей две точки. *Кривая поверхность* — это не ровная, т. е. наклоненная или имеющая выступы и впадины. *Кривое дерево* — с гнутым стволом; *кривой дом* — с перекошенными стенами; *кривые корни* — многократно изогнутые; *кривое колесо* — не круглое; *кривой глаз* — тоже потерявший свою форму (и, возможно, функцию) — от укуса, болезни, ср. *окриветь*, и т. д.

Таким образом, топологические типы объектов могут быть самые разные: необъемные (*линия*), вертикальные (*дерево*), поверхности, окружности (*колесо*) и даже шары (говорят и *кривой футбольный мяч*). Соответственно, разнообразны и отклонения от канонической формы, так что даже нет смысла их исчислять. Здесь важно только, чтобы для этих изменений имелась какая-то определенная «точка отсчета», т. е. чтобы «правильная форма» существовала (*кривой* — ср. аналогичное ограничение, действующее также для *косой* и для *круглый* — не сочетается с «бесформенными» веществами и пространствами) и чтобы она была заранее определенной, известной для данного объекта. В последнем отношении *кривой* ведет себя отлично от *круглый*: невозможны сочетания с *кривой* не только для названий гибких и не сохраняющих форму объектов (**кривая веревка / хвост / язык / усы / цветок / мешок*...), но и для имен объектов, всего лишь не имеющих постоянного «образца» формы, ср.: **кривое пятно / озеро / река / рана*...

Отсюда следует, что (прототипическая) форма многих объектов — как она представляется в языковой картине мира — в принципе может быть восстановлена из семантического анализа сочетаний с *кривой*. Например, ясно, что *поверхность* представляется ровной, *дерево* — прямо вытянутым вверх, *дом* или *забор* — тоже строго ориентированными вверх, а *корни деревьев* — вытянутыми вверх или вбок, но при этом тоже прямыми, *колесо*, конечно, круглым. Прототипиче-

ская *дорога* — прямая, вытянутая (ср. *линия*), а вот топологически похожая на нее *река* не имеет строго заданной формы.

Мы уже говорили, что *кривой* описывает самые разнообразные отклонения формы от нормы — но все-таки не абсолютно любые: как выясняется, среди множества деформаций формы у *кривой* есть «предпочтения». Например, сочетание *кривая спина*, скорее, описывает не горбатых, а имеющих смещение позвоночника в сторону — когда одно плечо оказывается выше другого. Легко восстанавливается и значение сочетания *кривые ноги* — вероятнее всего, это ноги, выгнутые колесом в стороны. Ср. также *кривой нос* — не с горбинкой, а как бы свернутый на сторону. Нам кажется, этим (впрочем, не всегда жестким) ограничениям можно предложить следующее объяснение. Прототип изменений формы для *кривой* связан с деформацией видимой проекции объекта. Для горизонтальной поверхности такой проекцией будет ее «профиль» — и именно профиль становится кривым у *кривой* поверхности. В качестве примера можно взять *стол* или *мост*: мы как бы смотрим на них сбоку, оценивая кривизну. Для вертикальных поверхностей (к ним относятся и *забор*, и *стена*, и *спина*) ракурс взгляда наблюдателя другой: он смотрит прямо и видит всю поверхность целиком. Поэтому для него наиболее заметны не выпуклости и вогнутости, а смещение плоскости в сторону. То же для других вертикальных объектов — ср. *кривые колонны / деревья / ноги* и под. На *нос*, *глаза* и вообще на *лицо* наблюдатель смотрит не в профиль, а анфас — поэтому отмеченными в языке становятся отклонения, видимые именно под этим углом зрения.

В качестве объяснения такая гипотеза кажется нам вполне правдоподобной, потому что роль наблюдателя в определении формы объекта очевидна. Таким образом, прототипическое *кривой* описывает несоответствие объекта не просто своей исходной форме, а форме своей исходной проекции.

Перейдем к семантике прилагательного *косой*. Для своего определения *косой* требует постоянной ориентации объекта — более точно, существования у него всегда одинаково направленной общей оси. Смещение всего объекта относительно этой оси и описывается словом *косой*. Такое смещение происходит в двух случаях:

- (1) за счет изменения формы объекта, когда смещаются — как бы наклоняясь относительно оси — его поверхности и
- (2) за счет сдвига объекта в сторону относительно оси.

Ясно, что в зоне (1) могут возникнуть случаи семантических пересечений с *кривой*, потому что и здесь, и там речь идет об отклонении от исходной формы. Ср. прежде всего вертикальные поверхности: *косой / кривой забор, дом, окно*, но также и горизонтальные — например, *косой пол / стол / подоконник* тоже можно назвать *кривым* (понятно, что обратное не всегда верно: возможности деформации у *кривой* значительно шире, чем просто смещение объекта относительно оси).

Если объект плоскостей не содержит и может быть отнесен к топологическому классу «линий», то в сочетании с *косой* он меняет свое положение в пространстве, сохраняя общее направление — т. е. форму, и поэтому замена на *кривой* без изменения интерпретации здесь недопустима: <*тетрадка в* *косую* (**кривую*) *линейку, косые* (**кривые*) *тени, косые* (**кривые*) *струи дождя / дождь* и под. Во всех таких случаях происходит смещение объекта *под углом* к оси; однако возможно и равномерное смещение *в сторону* относительно оси — как в *косой ворот* и *косой пробор*, представляющих зону (2). В современном языке такая модель интерпретации сочетаний с *косой* уже непродуктивна: собственно, остались ровно эти два сочетания, отражающие данное смещение, — нельзя сказать ни *косое окно*, если оно расположено не посередине фасада, ни ³⁰*косая дорога*, если она идет не посередине поля³⁰.

В целом сочетаемость у *косой* много уже, чем у *кривой*, ввиду того, что *косой* требует не просто определенности формы, но также наличия оси, — а это свойство очень немногих объектов. Не имеют оси не только бесформенные объекты типа *облако* или *пятно*, но и не жестко ориентированные в пространстве — *палка, веревка, гвоздь, ключ* (для *кривой* последнее не является препятствием, ср. допустимое *кривой ключ / палка / гвоздь*). В некоторых случаях отсутствие (с языковой

³⁰ Правда, может быть, именно так нужно интерпретировать *косоглазый*: такой, у которого нарушена наблюдаемая симметрия глаза (или глаз). Интересно, что сочетание *косой* с именем *глаза* может пониматься двояко. Во-первых, может иметься в виду, что зрачок глаза в силу врожденного дефекта смещен относительно своей канонической оси (и глаз как бы не туда смотрит). Эта интерпретация сопоставима с *косой пробор* или *косой ворот*. Второе понимание подразумевает, что глаза сужены и/или приподняты — имеется в виду особый разрез глаз, свойственный восточным народам. Но и в этом случае инвариант интерпретации *косой* сохраняется, потому что глаз всё равно (теперь уже целиком) оказывается смещен относительно своей (горизонтальной) оси. Однако подкласс топологических изменений здесь уже другой, сопоставимый, например, с сочетаниями типа *косая крыша*. Заметим, что из животных с языковой точки зрения прототипически косоглазым (очевидно, по второму типу) является заяц.

точки зрения) такой оси выглядит неожиданно: нельзя сказать **косое дерево* или **косые рога* — значит, эти объекты хотя и представляются как направленные вверх, но не обязательно жестко вертикально, под прямым углом (ср. приемлемое *косые столбы*). Нет и **косоногих* (только *кривоногие*) — зато есть *косолапые*: у них ступни (как лапы у прототипически косолапого медведя) не параллельны, а сходятся — см. выше, случай (2).

Здесь обращает на себя внимание слово *лапы*. Вообще говоря, естественно было бы считать, что его семантическая структура подобна русским *руки* и *ноги*, которые, в отличие, например, от английского, не различают своих опорных (ср. *hand, foot*) и двигательных (ср. *arm, leg*) частей. Правда, как мы показали в § 2 на примере сочетаемости с прилагательными размера, и в русском смыслы *'hand' / 'foot'* и *'arm' / 'leg'* все-таки различаются, ср. *большие руки / ноги* (только в значении опор) vs. *длинные руки / ноги* (только в значении двигательных частей). Нам кажется, что есть довольно много косвенных свидетельств тому, что прототипические *лапы* (и *лапки*) — это в большей степени опоры, «плоскости», ср. *на красных лапках гусь тяжелый, мягкие лапы, следы больших лап* и под. Прямым свидетельством служит здесь интерпретация прилагательного *косолапый*, которое, будучи применено к человеку, описывает ступни, а не ноги.

Отклонение от канонической формы и ориентации в пространстве, естественно, с языковой точки зрения, оценивается как нечто плохое. Поэтому переносные значения, в которых эта оценка проявляется, и у *кривой*, и у *косой* отрицательные. Например, *кривая улыбка*, во-первых, нарушает чисто визуальную форму рта при улыбке, но кроме того выражает не те (не положительные) эмоции: это может быть и растерянность, но скорее удовольствие от возможности причинить зло. В русском языке нет симметричной метафоры **косая улыбка*, но есть другая, и тоже пейоративная — *косые взгляды*. *Косые* (т. е. направленные не прямо, а под углом, ср. *косые струи дождя*) *взгляды* обычно *бросают* на людей или место события в знак осуждения. Исходной точкой для развития этой метафоры служит то, что человек сознательно не смотрит обычным образом (т. е. прямо) на людей или событие, как бы не желая видеть этого безобразия. Однако сам нетривиальный способ, которым он все-таки направляет туда свой взгляд, должен указать адресату, что это не простое зрительное внимание к происходящему, а нарочитая отрицательная его оценка.

Таким образом, в метафорических контекстах внешняя деформация влечет изменение содержания. Интересно, что есть метафори-

ческий контекст, в котором *косой* и *кривой* как бы сходятся и оказываются семантически тождественны: это *кривые/косые руки* — так говорят про человека, не приспособленного к работе руками, как если бы его руки были неправильной формы или ориентации. Способ деформации в данном случае оказывается не важен для результата, ср. в том же значении *руки не от того места растут/не к тому месту пришиты, руки-крюки* и под.³¹

3. Выводы

Мы рассмотрели русские прилагательные формы разных семантических типов и обнаружили, что, строго говоря, они описывают не форму объекта, а ее изменение. Поскольку они предъявляют разные (причем достаточно сложные) требования к параметрам исходной формы объекта, их сочетаемость с именами значительно различается. Тем не менее, у всех у них (как и вообще у прилагательных формы) есть одно общее нетривиальное ограничение — они неприменимы к названиям живых существ. Нельзя сказать ни **круглый зверь*, ни **косой жук*, ни **кривая рыба*. Заметим, что вместо **круглый человек* говорят *круглый человечек*, как бы переводя объект в разряд неодушевленных³². При этом метонимические употребления *косой* или *кривой*, в которых свойство части переносится на целое, конечно, нужно рассматривать отдельно от «обычных» сочетаний с прилагательными формы. Любопытно, что и в случае с *кривой*, и в случае с *косой* на человека переносится свойство его *глаза*: *кривой* (о человеке) = ‘с кривым глазом’; *косой* (о человеке, а также зайце, ср. сноску 27) = ‘с косыми глазами’.

Итак, если пренебречь случаями метонимии, в русском языке обнаруживается большая «бесформенная» зона (вполне сопоставимая с

³¹ Отметим специальное исследование Cienki 1998, в котором подробно рассматриваются метафоры «прямоты» (и в том числе отклонений от нее) в русском языке. На фоне *прямой* в этой работе рассматриваются и *кривой* с его производными (такими, как *кривляться, кривда, кривотолки* и под.). Отмечается типологическая частотность использования слов с корнем *крив-* и их синонимов для обозначения отклонений от этических норм, правдивости и т. п.

³² Среди разнообразных типов семантических переходов от имени к его диминутиву, как показано в [Спиридонова 1999], довольно распространенным является переход ‘объект (в частности, существо)’ ⇒ ‘игрушка, сделанная по его образу и подобию’, ср., например, *слон — слоник*. К этому типу относится и пара *человек — человечек*.

веществами и пространствами) — живые существа. Этим живые существа приобретают некоторый особый статус, сопоставимый со статусом специального согласовательного класса в языках типа австралийских или банту, где круглым объектам придается один классный показатель, вытянутым — другой и т. д., а одушевленным — совершенно отдельный. И, тем самым, форма оказывается в русском языке свойством неживой природы³³.

§ 4. О цветном и бесцветном*

1. Вводные замечания

В современной лингвистике существуют разные понимания того, как могут решаться задачи, связанные с описанием семантики «мира цвета». Достаточно сравнить, например, подходы, развиваемые в работах Berlin, Kay 1969, Фрумкина 1984 и Wierzbicka 1990. Если в работе Берлина и Кея сопоставляются системы основных цветообозначений в языках мира, исследуется гипотеза об эволюции системы цветообозначений и возможные универсалии в этой области языка, то подход Р. М. Фрумкиной и ее учеников (ср., например, Василевич 1983) можно рассматривать в рамках задачи построения *сильной семантики цвета* (следуя терминологии из Quine 1953), поскольку речь идет об отношениях между объектом-референтом, его экстралингвистическими свойствами (в данном случае, свойством иметь цвет) и соответствующими языковыми концептами: исследуется процедура приписывания или определения цвета объекта носителем языка. Что касается работы А. Вежбицкой, то она посвящена непосредственно описанию *языковых концептов цвета*: это попытка ответить на вопрос, какими мы видим красный, желтый и другие цвета. Решая этот вопрос, Вежбицкая предлагает считать, что каждый цвет ассоциируется у людей с одним конкретным и универсальным для всех языков объектом: желтый — с солнцем, красный — с огнем и т. д.

В принципе, в качестве дальней перспективы, нас тоже интересует семантическое определение цветовых прилагательных, но мы

³³ Любопытно, что ограничение на сочетаемость с названиями живых существ имеют и прилагательные температуры, см. подробнее § 6 настоящей главы.

* Первоначальный вариант опубликован в: Русистика сегодня, 1995, № 1, 50–69.

считаем, что сделать эту работу можно только отдельно для каждого языка. Для этого необходимо, во-первых, установление точных границ сочетаемости каждого прилагательного, а во-вторых, обсуждение семантических причин обнаруженных сочетаемостных ограничений. Поэтому нас будет интересовать прежде всего то, насколько свободно в русском языке употребляется адъективная конструкция вида *А-ый Х*, где *А* — имя цвета, *Х* — имя предмета (*синие глаза*, *белый снег*, *серая стена*) и каковы ограничения на ее построение.

Будем исходить из того, что всякий предмет, всякое материальное тело имеет какой-то цвет (или цвета) в физическом мире; в принципе, если специально задаться целью описать этот цвет или цвета языковыми средствами, это можно сделать, пусть громоздко и не вполне определенно, но зато, наверное, всегда (Ср. *Он был такой синекоричневый*, *в красных пятнах и бледных разводах*). Именно в этом смысле можно говорить о свободе в процедуре приписывания цвета и отсутствии существенных ограничений. Однако если иметь в виду **языковые** единицы — **названия** объектов и **названия** цветов, причем в атрибутивной конструкции (в соответствии с тем, что было сказано во Введении к наст. главе, раздел 2), то картина меняется: ведь атрибутивная конструкция, как известно, выявляет семантические характеристики предметной лексемы, «скрытые» в ее семантике. Цвет — одна из таких характеристик, поэтому конструкция *А-ый Х* возможна только тогда, когда она «поддержана» семантикой имени, т. е. согласуется с ней. Между тем, в семантике имени могут уже содержаться некоторые достаточно жесткие представления о цвете обозначаемого им объекта — и отсюда многочисленные (как мы увидим ниже) ограничения на употребление этой конструкции. Прежде всего, обратим внимание на следующие обстоятельства.

Во-первых, **не всякое существительное** вообще допустимо в конструкции *А-ый Х*, ср. такие, например, имена, как *новостройка*, *шлюз*, *скрипка*, *рубль*, *улитка* и мн. др. Еще раз подчеркнем, что соответствующие внеязыковые объекты всегда имеют какой-то цвет и этот цвет можно описать (*Нас поселили в новостройке. Это был высокий белый дом...*), но не всегда средствами атрибутивной конструкции, ср.:
[?] *Нас поселили в белой новостройке.*

Во-вторых, **далеко не всякое цветовое прилагательное** в принципе возможно при данном существительном. Например, сочетание *черная дыра* употребляется далеко не только в астрономическом значении, ср.: *В торцовой стене зияла черная дыра*. Конечно, трудно отве-

тить на вопрос, какого цвета дыра как физический объект — нам важно отметить здесь, что даже если сквозь нее будет виден белый день, синее небо или зеленая листва, носитель русского языка не сможет описать это как **белая / *синяя / *зеленая дыра*.

В-третьих, **семантическая интерпретация** конструкции *А-ый Х* с разными наборами допустимых *А* и *Х* может не совпадать. Так, *синий забор* покрашен в синий цвет, *синий карандаш* — тот, который пишет синим, но *синее море* и *синее небо*, безусловно, предполагают совершенно другую интерпретацию. Кроме того, необходимо учитывать и возможность таких смысловых сдвигов, в результате которых в определенном прагматическом контексте оказываются возможными и получают интерпретацию (очевидно, другой семантической природы) сочетания типа *черное солнце*, *синие горы*, *розовый конь* и под.

Каждое из отмеченных обстоятельств употребления конструкции *А-ый Х* по сути дела формулирует некоторую лингвистическую подзадачу, связанную с двумя другими.

2. Имена

Итак, прежде всего о том, какие имена допустимы в атрибутивной конструкции *А-ый Х* (где *А* — так называемое качественное прилагательное). Как мы уже знаем (см. § 1–2 настоящей главы), обычно ограничения на выбор имени во всех конструкциях такого типа оказываются связанными с тем, что свойство, выражаемое *А*, должно так или иначе проявляться в стандартном процессе функционирования объекта *Х*. Когда мы говорим *тяжелое ведро* или *тяжелый сверток*, мы имеем в виду, что в процессе использования этих вещей они как бы проверяются на тяжесть/легкость, так что эта характеристика коррелирует с семантикой объекта. Но в обычном контексте мы не можем сказать **тяжелый волк / дно / дом* и под., так как признак тяжести/легкости оказывается с функциональной точки зрения нерелевантен для этих имен. В силу того же запрета мы отказываемся признать удачными сочетания типа **крепкая тарелка* или **крепкие очки / часы* (см. § 1).

Нам остается понять, в каких обстоятельствах для объекта может оказаться релевантным признак цвета. В принципе, в атрибутивной конструкции цвет служит для того, чтобы отличать вводимый объект от других ему подобных. Эта «различительная» функция цвета про-

является в особенности в тех случаях, когда объекты сосуществуют в большом количестве экземпляров и цвет их противопоставляет, становясь с языковой точки зрения релевантным. Ср. правильные сочетания *зеленое платье, желтая стена, красное пятно* и под.

Понятно, что для имен, обозначающих объекты с **фиксированным цветом** (таких как *уголь, кровь, известь* и под.), признак цвета не является различительным и, в общем случае, не релевантен для атрибутивной конструкции с ними. Это значит, что для того, чтобы сочетания типа ¹*черный уголь* или ²*белая известь* были с языковой точки зрения признаны безупречными, необходим сильный прагматический контекст, специально устанавливающий релевантность такого фиксированного цвета. Таким контекстом, например, может быть его сопоставление с цветом какого-то другого объекта, ср.: *Черный кот, весь в белой извести — это, я вам скажу, зрелище!*

С лексикографической точки зрения, фиксированный цвет — это постоянное свойство, присущее прежде всего лексемам, описывающим природные объекты или вещества. Обратим внимание, однако, что и для артефактов цвет является различительным признаком далеко не всегда. Прежде всего, среди артефактов достаточно много имен, так сказать, «неокрашенных» объектов, ср.: *гвоздь, молоток, мина, рельс, вилка* и др. В каком-то смысле это тоже объекты фиксированного цвета (цвета металла), но для него в языке даже нет имени, настолько низка его коммуникативная значимость. Как видим, фиксированный цвет встречается гораздо чаще, чем можно было бы предположить, и это существенно сужает возможности употребления «цветовой» атрибутивной конструкции.

Важно, что выделение релевантного признака для прилагательных фиксированного цвета и для других качественных прилагательных происходит, в принципе, на одних и тех же основаниях. Действительно, объекты фиксированного цвета не меняют значения этого признака: говорящим на русском языке оказывается не важен их цвет, потому что он всегда неизменен. Но и с точки зрения признака ‘тяжелый’ (см. § 1) такие объекты, как волк, дом, дно тоже неизменны — ввиду того, что их тяжести никто никогда не измерял (в отличие от тяжести ведра, гири, свертка, чемодана и проч., которая может меняться). Тарелки тоже всегда одинаково крепки — в стандартной для себя ситуации обеда, и часы — в стандартной для себя ситуации измерения времени, в отличие от веревок и орехов: используя веревки, мы невольно сравниваем их с этой точки зрения, и значение признака для них варьирует. Когда мы говорим: *Надень чистую рубашку* или

Постели чистую скатерть, мы имеем в виду, что есть противопоставление между чистыми и грязными рубашками или скатертями и что одна и та же рубашка или скатерть может быть и чистой, и грязной. Гораздо хуже звучало бы: ^{??}*Надень чистую шубу/галстук* — с точки зрения языка для таких объектов, как *шуба* и *галстук* признак ‘чистый’ имеет некоторое постоянное, фиксированное значение и тем самым оказывается нерелевантным.

Нерелевантность признака цвета для рассмотренной выше группы лексем возникает в силу того, что у всех экземпляров этих объектов цвет признается одинаковым — и поэтому не может (например, при сравнении их друг с другом), служить для говорящих «различительным признаком». Есть, однако, и другие случаи: такие имена, как, например, *домна*, *ледокол*, *мост*, *патефон*, *конвейер*, *тормоз* также (в отсутствие сильной прагматической поддержки) не входят в нашу конструкцию. Между тем, все эти и подобные им имена обозначают объекты, которые могут, вообще говоря, различаться по цвету. Но почему же тогда мы не говорим, например, [?]*синий мост*, *небоскреб*, *конюшня*, *эlevator* и др.? На наш взгляд, причина, тем не менее, та же: мы всё равно не можем сравнить между собой соответствующие объекты по цвету. В данном случае это происходит потому, что обычно в данной точке пространства они представлены одним-единственным экземпляром: если в толпе много (разноцветных) шляп, пальто, зонтиков, на проезжей части много (разноцветных) машин, на улице много (и тоже разноцветных) домов или зданий, то такие, например, сооружения, как конюшня или плотина обычно не соседствуют с одноименными им. Что же касается других объектов, сосуществующих с ними в пространстве, с которыми их, вообще говоря, тоже можно было бы сравнивать по цвету, то от них они отличаются прежде всего своими функциональными свойствами, подчеркнутыми говорящим при выборе номинации (точнее, составляющими коммуникативный фокус или профиль лексемы; подробнее см. § 3 Главы I). Поэтому нам естественнее сказать не [?]*за желтым министерством*, а *за желтым зданием министерства*, и не [?]*впереди вырисовывались черные небоскребы*, а *впереди вырисовывались черные силуэты небоскребов*, и т. п.

И еще одну группу имен необходимо упомянуть в этой связи — это имена общих классов, такие, как *устройство*, *прибор*, *печатное издание*, *транспортное средство*, *приспособление*, *инструмент*, *изделие*,

вещь, объект и др. Здесь мы снова сталкиваемся с ограничениями на конструкцию *A-ый X*, и опять по причине несравнимости экземпляров соответствующих объектов. В этом случае разные экземпляры, например, приспособлений или транспортных средств могут сосуществовать в пространстве, но на этот раз видовые различия оказываются сильнее различий по цвету.

Даже если при видовом имени может быть выражена цветовая характеристика (ср. *синий троллейбус, зеленая брошюра* и т. п.), эта возможность исчезает, как только в номинации объекта мы переходим к более высокому уровню иерархии, ср. *синее транспортное средство, зеленое печатное издание, синий объект, зеленая вещь* и под.³⁴ Тем самым, даже если денотат остается прежним, общее имя класса полностью «теряет» характеристики конкретного объекта — ввиду того, что имя *печатное издание* перестает различать книги и газеты, оно не характеризуется ни по цвету, ни по размеру, т. е. не имеет стандартных атрибутов лексемы, обозначающей конкретный объект.

3. Прилагательные

3.1. Свободные и конвенциональные цвета

Наиболее свободно в отношении к цветовому спектру ведут себя артефакты: цвет одежды, мебели, домов, посуды и тому подобных вещей, окружающих нас, варьирует практически неограниченно и обычно соответствует цвету краски, которой окрашен объект. Ограничения же на употребление прилагательных цвета обычно связывают с теми случаями, когда прилагательное приобретает видообразующую функцию, и фактически мы имеем дело не со свободным сочетанием, а с фразеологизмом: так, *черный хлеб* и *белый хлеб* безусловно обозначают два разных вида продукта, а не представителей одного вида, противопоставленных по цвету; то же можно сказать и о сочетаниях *белая кожа, красное вино, белый флаг, красный крест* и т. п. Обратим внимание, что во многих подобных фразеологизованных сочетаниях цвет выбран достаточно условный: белое вино, на-

³⁴ Исключения составляют фразеологизованные сочетания типа *серый хищник*. Фразеологизованность здесь проявляется в том, что, например, сочетание *серый хищник* оказывается синонимично сочетанию *серый волк* и никакому другому, а это никак не выводится из семантики его составных частей. Так, «серым хищником» нельзя назвать барсука, крысу или какого-то другого хищного животного, сколь бы серым оно ни было.

пример, как известно, в действительности не белое, а скорее прозрачное³⁵.

Между тем, очевидно, что в языке есть большое число промежуточных случаев.

Рассмотрим русские названия животных в сочетании с прилагательными цвета. Среди них отчетливо выделяются две группы. Есть устойчивые, «фольклорные» сочетания типа *рыжая лиса*, *черный ворон*, *бурый медведь*, *серый / бурый волк*, *зеленая лягушка / крокодил*, *розовый поросенок*. Это фактически те же фразеологизмы — данные сочетания абсолютно устойчивы и не варьируют, при том что не вполне ясно, какого цвета, например, настоящая живая, а не привычная с детства сказочная лиса, — и ту, и другую мы называем рыжей. (Это, однако, не значит, что такие сочетания не являются семантически мотивированными — ср. ниже замечания о семантике слов *серый* и *зеленый*.)

С другой стороны, огромное число — собственно, подавляющее большинство известных нам названий животных — вообще не могут участвовать в атрибутивной конструкции с прилагательным цвета, т. е. как бы не имеют никакого цвета с точки зрения русского языка. Так, пользуясь атрибутивной конструкцией, мы не сможем указать цвет оленя, лося, кенгуру, страуса, барсука, соболя, соловья, бегемота и мн. др. Имена этих, в том числе и хорошо знакомых нам животных, природный цвет которых мы с легкостью можем представить и при необходимости описать (но не в атрибутивной конструкции!) ведут себя в полном соответствии со сформулированными выше ограничениями на имя: они обозначают объекты постоянного цвета, цвет таких объектов с языковой точки зрения нерелевантен, и наша конструкция не используется. Таким образом, названия животных существенно пополняют область имен «бесцветных» для русского языка объектов (заметим, что с этой точки зрения сочетания типа *черный ворон*, *зеленая лягушка* и др. представляют скорее исключения из правила — ведь, например, ворон тоже бывает только черным; объяс-

³⁵ Здесь возможно влияние французского сочетания *vin blanc*: во французском языке прилагательное *blanc* широко используется для описания не только белых, но и бесцветных объектов — и, шире, «пустых» объектов, лишенных каких-либо характерных особенностей; ср. в этом ряду *vers blancs* ‘белые стихи’ (еще одна возможная семантическая калька), *voix blanche* ‘глухой (= ‘бесцветный’) голос’, *nuit blanche* ‘бессонная (не ‘белая’!) ночь’, *papier blanc* ‘чистая бумага’; также *tirer à blanc* ‘стрелять холостыми патронами’. Для русского языка такое употребление прилагательного *белый* нетипично, ср. *белая*, *белое вино* как народное обозначение водки.

няться же такого рода исключения могут как раз семантикой цветов, о чем см. ниже).

Между тем для небольшой группы названий животных цвет варьирует и, следовательно, может быть выражен в нашей конструкции. Ср., например, *белый / черный / рыжий кот* или *пес*. Однако для кота в этот список можно было бы добавить еще и прилагательное *серый*, тогда как сочетания **серый пес / серая собака* кажутся нам гораздо более сомнительными, хотя в природе встречаются породы собак серого цвета (ср. *серенький козлик*, но **серая корова*). Таким образом, мы видим, что цвет здесь варьирует вовсе не так свободно, как можно было бы ожидать; помимо этого, он и выбирается довольно приблизительно. Например, мыши в русском языке бывают серые и белые. Но серые мыши не в точности серые — их цвет гораздо темнее: ср. специальное сочетание *мышинный цвет* для обозначения этого сложного оттенка (утверждения *на ней было серое пальто* и *на ней было пальто мышинного цвета* отличаются не только коннотациями). В принципе, проблема оттенков может быть разрешена языковыми средствами — хорошо известно, что, например, в русском языке есть специальные названия для цвета волос (не *серые*, а *пепельные*), масти лошади (не *черный конь*, а *вороной*) и т. п., однако не-серые мыши всё равно оказываются в языке серыми, а серые собаки — и вовсе «никакими». Языковая картина мира здесь выглядит так, что существуют прототипические цвета прототипических животных, но всё это как бы не имеет непосредственного отношения к действительности — наши представления об этих животных конвенциональны (следовательно, встроены в семантику лексемы) и не отражают реального положения дел³⁶.

Заметим, что область *конвенциональных цветов* в русском языке сильно сужена по сравнению с обычным цветовым спектром: в качестве конвенциональных легко выступают белый, черный, рыжий, красный и зеленый; реже — синий, и никогда — фиолетовый, оранжевый, коричневый и др. Это обстоятельство можно связывать как с более поздним «вступлением» этих и подобных им слов в русский словарь (по крайней мере первые два из этой группы историками

³⁶ Таким образом, лексикографический статус этих примеров должен определяться как полужразеологизованный, т. е. допускающий лишь определенную степень вариативности (ср. здесь *кусать / грызть* [но не **глотать!*] *локти* и др. подобные примеры) и подлежащий словарному описанию. Следовательно, с лексикографической точки зрения *зеленая лягушка* и *рыжий пес*, вообще говоря, окажутся приравненными друг к другу.

русского языка с определенностью датируются XVII веком), так и с внутренней структурой этих прилагательных.

Русский язык явным образом не уникален в этом отношении. В работе Михайлова 1994, посвященной семантике цветов (прежде всего красной части спектра) в ирландском языке, делается очень интересное предположение о различной детализации участков цветового спектра в разных культурах (в частности, для ирландской культуры отмечается детализация красной части спектра, для многих тюркских и финно-угорских народов — синей). Если это верно, то и универсалии Берлина-Кея, и система универсальных прототипов А. Вежицкой должны быть подвергнуты пересмотру и содержательному уточнению — с точки зрения культурных стереотипов, характерных для данного конкретного языка.

Остановимся несколько подробнее на *коричневом*.

Коричневый — это не естественный цвет, а цвет краски, в которую покрашены изготовленные человеком объекты. Поэтому в русском языке (но не в русской действительности!) не бывает коричневых ковров, котов, медведей, весьма сомнительно также ³⁷*коричневая земля / ствол дерева / палка* и др. под., при вполне приемлемом *коричневая краска / крыша / ботинки / шкурки / жидкость* и мн. др.³⁷ Про природные объекты говорят в таких случаях *бурый, темный, черный, рыжий* — в зависимости от оттенка: *бурая земля, бурый медведь, рыжий кот, темные стволы деревьев* и под. Обратим внимание, что прилагательное *бурый*, напротив, употребляется для обозначения естественных цветов и поэтому практически не описывает артефакты; к такому же употреблению тяготеет и русское *рыжий*, ср.: **мы купили бурое пианино, *сегодня я, пожалуй, надену бурые ботинки*, а также: **рыжий дом, *рыжая чашка, *дай мне рыжую книгу* и под. Аналогично ведет себя и *пегий* — об этом, в отличие от рассмотренных выше случаев, свидетельствует и МАС, который причисляет *пегий* к прилагательным, обозначающим исключительно масть животных (ср. *вороной, каурый* и проч.). Однако и близкое ему по семантике прилагательное *пятнистый*, не имеющее в МАС никаких специальных помет, также, повидимому, обозначает исключительно природные цвета — в крайнем случае имитацию под них, ср.: *пятнистая шкура, пятнистые стволы деревьев, солдаты одеты в пятнистую форму*, но не: **пятнистый сервиз, ?пятнистый диван / плащ* — во всех подобных случаях мы сказали

³⁷ А. Д. Шмелев обратил наше внимание на то, что «неосвоенной» для *коричневый* осталась и зона съедобного, ср. **коричневый шоколад / пирог / кофе* и др.

бы нечто вроде *в горошек, с разводами* и т. п. (при невозможности **де-рево / леопард в горошек*)³⁸.

Пример со словом *коричневый* и подобными ему прилагательными в очередной раз подтверждает, что формализация системы цветообозначений в естественном языке путем апелляции к длине волны спектра оказывается серьезной натяжкой с точки зрения внутриязыкового устройства и того, как этой системой пользуется носитель языка. Для него спектр не разбит на непересекающиеся фрагменты, которым поставлены в соответствие цветообозначения — иначе никакой разницы между цветом земли и цветом ботинок, цветом меха животных и цветом чашек (и, кстати, цветом волос и цветом, описывающим масть лошади) не было бы.

Обратим внимание, однако, что и классическая лингвистическая модель, предложенная в эпоху структурализма в Berlin, Kay 1969 тоже «не справляется» с такого рода материалом. Согласно их гипотезе, в каждый временной срез в языке присутствует фиксированный набор «базовых» цветов, составляющий основу для системы его цветообозначений. В исторической перспективе набор этот меняется, последовательно проходя семь стадий своего развития — от «бедной» системы из трех базовых цветов (черный, белый и красный) до средне-европейской из одиннадцати базовых цветов (черный, белый, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, а также фиолетовый, серый, розовый и оранжевый). По представлению широчайшего круга последователей Берлина и Кея, каждый базовый цвет в языке дискретен и соотносится с конкретным физическим объектом — но не «живым» объектом действительности, как трава, земля и т.п., а абстрактным цветовым образцом из множества так называемых Munsell chips. Подробная критика такого подхода представлена в статье Анны Вежицкой, о которой мы поговорим чуть ниже — здесь же заметим, что такой подход противоречит всему, сказанному нами только что в связи с русским *коричневый* и противопоставлением искусственных и природных цветов.

³⁸ Ср. также толкование слова *пятно* в МАС: «Часть *какой-либо* (курсив наш. — Е. Р.) поверхности, выделяющаяся по цвету, тону, освещению». Между тем, очевидно, что пятно — это естественный, образовавшийся сам собой объект (так сказать, неконтролируемой формы), и именно это обстоятельство обеспечивает различие пятен на шкуре зверя и горошин на чашке сервиза. В Толково-комбинаторном словаре (Мельчук, Жолковский 1984: 676) эта идея отражена следующим образом: *1а. пятно на Y-e* = часть поверхности Y-a <...> не воспринимаемая как отдельный предмет или изображение предмета'.

В самом деле, если такое противопоставление релевантно для естественного языка (а есть все основания это предполагать), то в языке легко могут сосуществовать «одинаковые» цвета, равно претендующие на статус базовых (более старый, а значит более «природный» и более новый и, следовательно, более «искусственный»).

Но и сама идея природности, а следовательно, связи с конкретными внеязыковыми объектами характерных цветов, как мы только что говорили, естественно «подталкивает» язык к признанию множественности оттенков одного цвета как базовых — ведь одного синего может «не хватить» и на море, и на небо (ср. известную проблему статуса русского *голубой*, нарушающего канон средневропейской картины; в украинском языке вдобавок к синему и голубому имеется еще *блакитный* — подробнее см. Ramei 2007, Яворска 1999).

Раз такие различия есть, раз они, как мы видели, распространены достаточно широко и «встроены» в семантику языковых единиц — значит, мы пользуемся этой системой иначе. Мы можем делать это, например, опираясь на представление о каких-то эталонных для данного цвета (прототипических) объектах или их характерных свойствах, — ср. уже упоминавшуюся в этой связи пионерскую статью Wierzbicka 1990, а также Tokarski 1997 и в особенности серию работ, выполненных под эгидой Варшавского университета в рамках международного проекта по типологии цвета и размера под руководством проф. Р. Гжегорчиковой и проф. К. Вашаковой, ср. Waszakowa 1997 и 1999, Яворска 1999 и др.

В качестве пояснений к сказанному остановимся чуть подробнее на сочетаемостных особенностях прилагательных *серый*, *зеленый* и *желтый*, которые, как нам кажется, проливают некоторый свет на наивную семантику этих цветов в русском языке. Но прежде — еще несколько слов о *коричневом*.

Понятно, что «искусственные» цвета типа *коричневого* фактически не имеют базы для семантического описания соответствующего цвета — и наоборот, «естественные» цвета типа *бурый* или *рыжий* должны легко поддаваться такому описанию. Однако с другой стороны, в современном русском языке *бурый* и *рыжий* очень малоупотребительны. В Corbett 1989 (см. также Corbett, Davies 1995) описан психолингвистический эксперимент, в результате которого русские названия цветов ранжированы в зависимости от того, насколько естественно и быстро они приходят в голову говорящим. На этой шкале *бурый*, например, занял только 108 место (для сравнения, *темно-*

коричневый оказался на 31 месте в списке, *светло-коричневый* — на 70-м, *бледно-коричневый* — на 85-м). В числе прочего это означает, что, хотя *бурый* и соотносится с естественным цветом, круг его сочетаемости уже так узок, что здесь трудно получить достоверные семантические результаты. По-видимому, такое своеобразное соотношение лексем в русской коричневой зоне свидетельствует о том, что в данный момент мы наблюдаем изменение системы в этой части спектра: *бурый* и *рыжий* постепенно выходят из употребления, и *коричневый* через какое-то время все-таки, видимо, займет их место. Косвенным свидетельством экспансии коричневого является и высокая частотность его производных — у *бурый* и *рыжий* такие производные если и возможны, то совсем редки (ср. допустимость *темно-бурый* / *рыжий*, но: **бледно-бурый* / *рыжий*; **светло-бурый* / **светло-рыжий*). В Corbett, Morgan 1988, а также в Corbett 1989, вслед за Dixon 1982, наличие морфологических производных предлагается считать дополнительным критерием для определения базового цвета. В соответствии с этим, русское *коричневый* — в отличие от *бурый* — признается базовым (в смысле Berlin, Kay 1969) цветом. Нам, однако же, кажется, что такое решение на данный момент преждевременно: если принять во внимание семантическую сторону дела, то на сегодняшний день клетка цветовой таблицы, соответствующая англ. *brown*, все-таки занята словом *коричневый* не полностью.

3.2. Серый МАС предлагает для *серый* следующее толкование: «Цвет пепла, получаемый при смешении черного с белым». С нашей точки зрения, это толкование слишком далеко от действительной семантики слова *серый*. Авторы его пытались решить языковую проблему через апелляцию к денотату и отождествить *серый* — не имеющий ясного прототипа — с близким по цветовому значению отыменным прилагательным *пепельный*, для которого связь с прототипом прозрачна. Однако сочетаемость *пепельный* в русском языке во-первых очень узкая, а во-вторых, совершенно другая, чем у *серый*, ср. с одной стороны, недопустимость замены на *серый* в контексте, ключевом для *пепельный*: *пепельные* / **серые волосы*, а с другой невозможность *пепельный* в контекстах, наиболее характерных для *серый*: *серая* / **пепельная бумага, тень, пыль, кирпич...* — в зоне пересечения здесь оказываются только «неинтересные» с семантической точки зрения цвета артефактов. Надо сказать, что и сочетаемость *серый* в русском языке достаточно избирательна: помимо перечислен-

ных уже контекстов, *серый* сочетается еще с некоторыми именами животных (см. выше), показательными (о чем мы тоже говорили) можно считать также описания с помощью *серый* предметов одежды. В древнерусском языке, как свидетельствуют историки (см. Бахилина 1975), *серый* также имело ограниченную сочетаемость — оно употреблялось и в ранних памятниках, но только как цвет шерсти и одежды для монахов.

Наша гипотеза состоит в том, что русское *серый* связано с идеей ‘плохо видный’. Отсюда, во-первых, его явно выраженная отрицательная оценка (серый цвет — безусловно «плохой»), а кроме того коннотации безликости, стертости (*ночью все кошки серы*, ср. также *серый кардинал*). Серые звери, кстати, тоже «незаметные», прячущиеся — мышь, волк, заяц, ср. также *серые тени*. Отсюда невозможность в русском языке *серый* применительно к «знакам», ср. ^{??}*серый знак / флаг / стрелка* и под. — знаки как раз предназначены для того, чтобы быть видным; по той же причине странно сказать, например, ^{??}*серые чернила*. Плохо сочетается идея безликости и невзрачности и с многими другими именами, ср. **серые цветы / напитки* и др.

В Бородина, Гак 1979, где дается подробная история французских цветообозначений и, в частности, причин заимствования некоторых из них (со значением ‘белый’, ‘коричневый’, ‘серый’) из германских языков, изложены очень интересные соображения по поводу семантики германского ‘серый’ (англ. *grey*, нем. *grau*) как цвета старости (ср. ниже русское *желтый*).

3.3. Зеленый Русское прилагательное *зеленый* описывает цвет живой растительности: *зеленая трава / листва*, метонимически переноса при этом цвет листьев на цвет растения в целом и занимаемые ими пространства: *зеленые деревья / лес / поля* и под. Такая растительность называется производным от *зеленый* существительным *зелень*³⁹. При этом, так же, как и в украинском (см. Яворска 1999), *зеленый* подразумевает именно живые, а не скошенные или высушенные растения. Поэтому, по наблюдению Г. Яворской, даже только что сорванная или скошенная трава — т. е. такая, которая заведомо никак не отличается по цвету от растущей, никогда не называется *зеленой* (например, применительно к ней нельзя сказать *прошел по зеле-*

³⁹ Кроме того, *зеленью* в русском языке называют еще и более узкий подкласс зелени в этом понимании, а именно, те травы и листья, которые принято употреблять в пищу. Ср. здесь *зеленная лавка* (= ‘где продают зелень’), *зеленищик* ‘продавец зелени’ и под.

ной траве и под.). Ср. характерное *еще зеленый* (о растениях) в значении ‘<уже сорванный/срубленный, но> пока все-таки живой’:

Дорога была разрыта, а по обочине лежали столетние дубы, вытянув еще зеленые ветви.

Процесс активного роста зелени называется отаждъективным глаголом *зеленеть*, ср. *Травка зеленеет, солнышко блестит, Ласточка с весною в сени к нам летит* (А. Майков), где *зеленеет* = ‘растет, становясь зеленой’. Принято считать, что семантика отаждъективных глаголов цвета бывает не только процессной, но и стативной, ср. *Белеет парус одинокий*, и в этой интерпретации глагол предполагает наблюдателя, который «видит» цвет объекта: так, *белеет* в только что приведенном примере должно значить не ‘становится белее или белым’, а ‘виден кому-то как белый’ (Апресян 1974: 86; более подробное обоснование позиции наблюдателя в подобных стативных контекстах см. Булыгина 1982: 52; ср. также Апресян 1974: 98). Впрочем, по нашим данным, *зеленеть*, в отличие от *белеть*, *чернеть*, *синеть* и даже *голубеть*, практически не допускает стативного понимания (‘виден как зеленый’), предпочитая во всех случаях процессное (‘становится зеленым’). Ср. запреты на контексты типа: **На дереве зеленела его рубашка*, где возможно было бы только стативное (‘рубашка видна как зеленая’), но не процессное (‘рубашка становилась зеленой’) понимание; ср. также невозможность: **вдалеке на солнышке зеленел крокодил*, **в кустах зеленели глаза волчицы* или: **на песке зеленели лягушата*. Единственным исключением здесь (на которое нам указала Т. В. Булыгина) является *зеленеть*, употребленное применительно к именам, которые обозначает живую растительность, но неизменного цвета, так что для них полностью исключено процессное понимание, ср. *елка, сосна, огурцы, яблоки* и под.: *Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет* (= ‘видится как зеленая’, ср. в том же контексте семантически симметричное *чернеет*). Однако *зеленеть* не применимо не только к артефактам с постоянным цветом, требующим стативной интерпретации, но и к процессу окраски — про забор, который постепенно под руками маляров приобретает зеленый цвет, нельзя сказать: **забор зеленеет*⁴⁰. Указанные запреты на сочетаемость

⁴⁰ Это ограничение свойственно в русском языке не только слову *зеленый*: про тот же забор нельзя сказать ни *белеет*, ни *краснеет*, ни *чернеет* и т. д. Ср. допустимые *лицо его постепенно белело, земля начинала чернеть* и под.; в том же ряду возможно и описание естественного изменения артефактов (*изделия из меди со временем зеленеют*).

зеленеть фактически означают, что этот глагол вообще применим только к описанию живых растений, причем преимущественно *зеленеющих* (т. е. набирающих жизненные соки) в процессе своего роста. И хотя собственно прилагательное *зеленый* употребляется шире, чем его производное *зеленеть*, — но анализ производного глагола показывает, что именно данная область значений в русском языке является прототипической и для самого прилагательного.

Между тем в живой природе есть еще одна зона, крайне существенная для семантики *зеленый* — это *плоды* растений. Разумеется, в реальной жизни зрелые плоды могут быть самого разного цвета, ср. хотя бы цвет спелых яблок или винограда. Однако в русской языковой картине мира *зеленый* ассоциируется не с конечной, а с начальной стадией созревания, так что «*зелен виноград*» (из басни И. А. Крылова) означает, что виноград не поспел, а *эти яблоки совсем зеленые* — не то, что яблоки не имеют вкраплений других цветов в своей окраске, а то, что они еще пока непригодны для еды⁴¹. Существенно, что *зеленый* как ‘неспелый’ применимо не только к тем плодам, которые в процессе созревания действительно находятся в стадии зеленого цвета, но к любым, только не спелым, ср. *зеленые апельсины / смородина / рябина* и под. — в этих случаях происходит метонимический перенос данного употребления *зеленый* по функции (хотя, например, неспелая смородина вполне может уже быть темного цвета). Следующим шагом этой семантической цепочки является метафорический перенос: ‘зеленый как незрелый’ ⇒ ‘зеленый как слишком молодой, еще необученный’ (ср. *желторотый*, о котором см. ниже), который дает возможность применить *зеленый* к человеку: *зеленый новобранец*, *зеленый студент*, *зеленая молодежь*, а также *молодо-зелено* и под. Как и в канонических сочетаниях типа *зеленый виноград*, здесь присутствует отрицательная оценка, связанная с идеей незавершенности некоего процесса (созревания, взросления, обучения), представляющего как конечный, т. е. имеющий определенный результат, и в котором положительно оценивается только последняя стадия — достижение результата. «В цвете» последняя (положительная) стадия процесса созревания плодов в целом представляется в русском языке как *краснеть* (*яблоки, ягоды краснеют*), однако с *красный* аналогичного *зеленый* метафорического переноса не происходит, ср. **красный*

⁴¹ Заметим, что если сочетание *зеленые яблоки* в русском языке и существует для обозначения таксономической единицы (зеленые яблоки как противопоставленные красным), то **зеленый виноград* таким образом, скорее, не употребляется.

студент в значении ‘уже обученный, как бы зрелый’. *Чернеть* же подразумевает процесс замерзания или гниения, а не созревания, ср.: *после вчерашних морозов ягоды на кустах почернели* = ‘замерзли и испортились’, а *желтеть* вообще неприменимо к плодам, ср. *“пшеница пожелтела* (в значении ‘созрела’), а также термин *восковая спелость*, использующий *восковой* как квазисиноним к *желтый* (о *восковой* подробнее см. в следующем разделе).

Следовательно *зеленый* описывает прежде всего цвет, который имеют живые растения в начале своего роста.

3.4. Желтый Если согласиться с предложенным описанием семантики русского *зеленый*, то в таком случае *желтый* можно считать своеобразным антонимом к нему — потому что он описывает прежде всего цвет увядания растений: *желтые листья, трава*. При этом цвет осенних листьев, как известно, может быть в действительности самым разным (ср. например, *красные листья клена*), но в русском языке процесс увядания зелени в целом описывается именно как *желтеть*, а не *краснеть*. Метафора здесь не работает, а область метонимии очень ограничена. Так, цвет листы переносится на растения целиком (*желтые листья* ⇒ *желтые кусты, деревья*), но скорее не на пространства, которые они занимают, ср.: *“желтые поля, “желтый лес (овраг, долина)*, и др. Метонимическим переносом можно считать употребление *желтый* применительно к цвету старой бумаги (ср. *лист бумаги*): *желтые листы, желтая бумага, желтые обои* (бумага которых изменила от старости цвет) и под., а также — в определенных контекстах — для обозначения стареющей кожи, ср.: *желтые морщинистые руки*.

Французские кальки *желтая пресса, желтая газета* не входят в семантическое поле употреблений *желтый* со значением ‘увядающий’, да и в целом единственным «объединяющим» эти кальки с русским *желтый* компонентом является, с нашей точки зрения, только отрицательная оценка. Ср. здесь же устаревшие *желтый дом* (‘сумасшедший дом’) и *желтый билет* (‘документ, выдававшийся в дореволюционное время проституткам’, ср. *пойти по желтому билету*). Калькой с французского является, по-видимому, и сочетание *желтая раса*, ср. также субстантивированное *желтый, желтые* (но не: **желтокожий*) для обозначения монголоидной расы. Заметим, что одновременно в русском используется и калька с английского *краснокожий* (уст. англ. *redskin*) в применении к индейцам (но не **красный, красные, красная раса*), хотя с научной точки зрения они тоже считаются представителями монголоидов.

Упомянем здесь же значительно более поздние (и поэтому с английско-го) кальки для *зеленый*: *зеленое движение* в смысле *green peace*, а также в том же значении субстантивированное *зеленые* ('представители зеленого движения'). Другое значение этого субстантивата — 'доллары' характерно для имен фиксированного цвета, (ср. еще *грини* — от *greens*). Поэтому невозможно **зеленые доллары*; ср. также *красненькая* о десятке старого образца и одновременно запрет на **красная десятка*.

Естественно, что во всех употреблениях *желтый* со значением увядания и старения имеет отрицательную оценку. Между тем круг нейтральных, безоценочных употреблений *желтый* связан практически только с артефактами: *желтый флигель, забор, свитер* и др. под., тогда как в зоне природных объектов, по нашим представлениям, безоценочным являются лишь сочетания *желтый цыпленок* (ср. также *желток*), и *желтый песок* — ср. также *песочный* в качестве квазисинонима к *желтый*.

Кроме того, в этот ряд можно было бы поместить и ?*желтая солома*, всё же приемлемое с точки зрения некоторых информантов, несмотря на то, что, как кажется, цвет соломы не варьирует⁴². Вместе с тем, отыменное прилагательное *соломенный* имеет зону цветовых употреблений, и в этих случаях выступает как (квази)синоним именно к *желтому*, ср. *соломенные волосы*. Совершенно аналогично прилагательному *соломенный* ведет себя *канареечный*, обозначающее очень яркий, искусственный оттенок желтого цвета, ср. *канареечный галстук* при сомнительной возможности сочетания ??*желтая канарейка*.

Квазисинонимом к *желтый* может выступать и *восковой* (по МАС, 'бледно-желтый', а также 'мертвенно-бледный, о коже'). О самом воске можно тоже сказать *желтый*, хотя более точно *белый* и устаревшее *ярый* со значением 'светлый' (этимологически связано с *яркий*): *за тепло свечу воску ярого* (А. Ахматова). В. И. Даль считает *желтый воск* особым видом воска («желтый воск — суровый, небеленый»).

Специально обратим внимание, что русское *желтый* не применимо к (положительным!) *золото* и *солнце*, ср.: **желтое золото*, а также **желтый песок* в значении 'золотой песок', и **желтое солнце*. Практически та же ситуация наблюдается и с *зеленый*, причем оценочные контексты этих цветовых прилагательных, как ни странно, очень похожи. Центральным среди них является цвет человеческого лица — по-русски говорят и *зеленое лицо*, и *желтое лицо*, и в обоих случаях

⁴² Но ср. также: *Жить — так на воле, Помирать — так дома. Волково поле. Желтая солома* (А. Ахматова).

это болезненный, нездоровый (и поэтому оцениваемый отрицательно) цвет. Метонимический перенос позволяет относить *желтый* или *зеленый* к человеку в целом, ср.: *он весь желтый/зеленый*. Тем не менее, между *желтый* и *зеленый* в этих употреблениях есть и некоторые различия: болезненная *желтизна* является проявлением какой-то хронической болезни (ср. *желтуха*; ср. также среднерусские примеры из памятников XVII в. с тем же значением в Бахилина 1975: 82: *ходил желт и умер; желтость нападает*), а болезненный *зеленый* цвет лица означает, что человек мало бывает на свежем воздухе и утомлен. В словаре Даля приводится также (уже не употребляющееся в современном русском) *желтыня* — по поверью, мать лихорадок, семи дочерей Ирода: *желтой, зеленой, нутряной, дутой, студеной, рыкающей, огненной*. Заметим, что среди (разумеется, отрицательных) названий лихорадок только два — цветообозначения, и это именно *желтый* и *зеленый*.

Именно *зеленый* (а не *желтый*) цвет лица (и человека) является проявлением определенного рода эмоций — прежде всего, злости (*он весь позеленел / *пожелтел от злости*) и зависти (*позеленел / *пожелтел от зависти*).

Никакие части лица (уши, нос и под.) не описываются в русском языке с помощью этих цветообозначений — исключение составляют глаза, для которых *желтый* — очень редкий и неприятный цвет (более естественно, когда под *желтыми глазами* понимается не цвет радужной оболочки, а болезненный цвет белков — ср. в Бахилина 1975: 82 пример из памятника XVII в. *тело недоугет, а очи желтеют*). *Желтый* (как и *зеленый*) скорее подходит для описания глаз зверей — волков, тигров, кошек и под. (заметим, что *желтые глаза* зверей с точки зрения носителя выглядят агрессивнее, чем более нейтральные *зеленые*). Зеленый цвет человеческих глаз является более естественным, особенно для женщин, но ассоциируется с колдуньями и ведьмами, которые в русской картине мира так же обязательно зеленоглазы, как черт хром (см. Яворска 1999).

Любопытно, что в русском языке прилагательное *желтый* не применимо к волосам, хотя денотативно цвет волос может быть близок к желтому. Более того, как следует из работы Бахилина 1975, в древнерусском языке XI–XII вв. основным контекстом употреблений *желтый* была именно характеристика цвета волос. Такие контексты *желтый* сохранялись еще в XVII в; в современном же русском языке «желтые» волосы, в зависимости от оттенка, описываются как *светлые*,

светло-русые, соломенные (см. выше) и даже *золотые* (ср. распространенное в фольклоре *золотые / златые кудри*; ср. также зафиксированное в Бахилина 1975 *желтые кудри*, характерное для фольклора XVII в.). Конечно, зеленый цвет для волос неестествен — и тем не менее, именно зелеными в русских сказках являются волосы русалок.

На фоне всего сказанного довольно неожиданным является прилагательное *желторотый* с метафорическим значением ‘слишком молодой, неопытный’ — так сказать, неоперившийся, так как донорской зоной этой метафоры (см. Приложение, 2.7) является птенец (сочетание *желторотый птенец* и целиком употребляется в метафорическом смысле, ср.: *Этот желторотый птенец еще будет меня учить*). Вообще говоря, рот неоперившегося птенца, наверное, действительно по цвету близок к желтому. Однако в данном случае речь идет об очевидном фразеологизме, с «потерянной» донорской зоной, потому что в буквальном смысле, т. е. для описания птенцов, слово *желторотый* в русском языке не используется. Кроме того, это сложное слово нельзя «разбить» на составляющие: по-русски нельзя сказать просто *желтый рот* в метафорическом смысле.

Если упомянутый уже цыпленок является единственным живым существом желтого цвета в русском языке (остальные звери, близкие по своей окраске к желтому, такие, как, например, лев, имеют постоянный цвет и поэтому с языковой точки зрения оказываются «бесцветными», ср. ⁷³*желтый лев*), то *зеленый* в русском языке, так же, как и в украинском (см. Яворская 1999), характеризует пресмыкающихся, ср.: *зеленый крокодил, зеленая лягушка*, а также фольклорное *зеленый змий*, употребляющееся также в переносном значении ‘вино’, ‘пьянство’ (ср. *бороться с зеленым змием*, а также *допить до зеленых чертиков*). По сравнению с украинским — если судить по данным Г. Яворской — русское *зеленый* не так широко сочетается с названиями насекомых, и в целом эта зона в русском кажется нам менее разработанной, чем в украинском, но «центральные» сочетания типа *зеленая гусеница* или *зеленые жуки* в русском тоже вполне приемлемы. Все эти животные (в народной таксономии причисляемые к *гадам*, ср. Невская 1986: 89, Толстой 1995: 491–492) метафорически используются исключительно как отрицательные персонажи, ср.: *жук* в значении ‘плут, пройдоха’ (пример из МАС: *А ты тоже, жук хороший. От меня свои шуры-муры скрываешь*); *крокодил* в значении ‘безжалостный хищник’ (*Твои банкиры — настоящие крокодилы, последнюю*

рубашку снимут!); *лягушонок* в значении ‘некрасивый ребенок’ (*В детстве она казалась жалким лягушонком*). Таким образом, сам факт, что *зеленый* обслуживает именно эту область фауны, показателен и еще раз свидетельствует о том, что это прилагательное (как и обсуждавшееся выше *желтый*) тяготеет к отрицательной оценке.

Дополнительными аргументами здесь могут быть следующие. Ни *желтый*, ни *зеленый* в современном русском языке никогда не описывают (добротную) пищу. Причем *желтый* вообще не применим к названиям блюд, ср. **желтый хлеб, пиво, пирог* (ср. *пирог с золотистой / *желтой корочкой*) и др., а *зеленый* является в языке цветом плесени (*зеленая плесень*) и описывает только испорченные продукты (говоря о продуктах, мы здесь не имеем в виду уже описанные зелень, салаты и др.), ср. в особенности о мясе: *зеленая колбаса, сосиски* (правда, о лежалом цыпленке скажут скорее не *зеленый*, а *синий*, т. е. как о безжизненном существе, потерявшем естественный цвет, а не об испорченном мясе). Интересно, что Н. Б. Бахилина (1975: 82) среди употреблений XVII в. упоминает и *каша зеленая с маслом*, и *патока зеленая* — такого рода контексты *зеленый* в современном русском абсолютно исключены. Наоборот, любые возможные выделения живого организма, в особенности вследствие болезни (гнойные и т. д.), легко принимают *зеленый*, *желтый* или *желто-зеленый* цвет (ср. также *желчь*). Даже вода, в случае, если она называется *зеленой*, является не чистой, не проточной и не пригодной для питья. *Зеленая вода* описывает зацветшую, с запахом, воду болота или старого пруда. (Прилагательное *желтый* со словом *вода* вообще практически не сочетается — ср., однако, у О. Мандельштама *контора Домби в старом Сити и Темзы желтая вода* — где *желтый* также, впрочем, употреблено со скрытой отрицательной оценкой.)

3.5. Желтый vs. зеленый Интересно, что в целом сочетаемость картина *желтый* и *зеленый* с именами природных объектов оказывается во многом сходной: в обоих случаях имеется «сильная», т. е. семантически гомогенная и наиболее частотная зона, связанная с живой растительностью, — для *зеленый* это цвет молодой и растущей, а для *желтый* — цвет увядающей травы и листьев. Эту зону естественно признать прототипической для этих прилагательных по крайней мере в русском языке. Такая точка зрения вполне согласуется с Wierzbicka 1990 в том, что касается *зеленого* (некоторые уточнения см. ниже), но не *желтого*, для которого А. Веж-

бицкая (а вслед за ней и Р. Токарский, см., например, Tokarski 1997) предлагает в качестве надязыкового прототипа идею ‘солнца’.

Кажется, что применительно по крайней мере к русскому и украинскому языкам признание солнца прототипом для *желтого* означало бы как раз подмену языковой картины мира внеязыковой — т. е. то, против чего сама Анна Вежицкая не раз убедительно выступала. Ю. С. Степанов (1998: 251–252) подробно цитирует Михаила Чехова и Василия Кандинского, которые оба, говоря о желтом, почти в одних выражениях называли его «излучающим во все стороны», «сияющим во все стороны», «не знающим границ», «почти видимо приближающимся к человеку» — другими словами, ясным, действительно солнечным. Но это мнение художников — они имели дело с цветом как таковым. Совершенно иначе цвета представляют поэты, для которых это прежде всего — слова. Специальное исследование, посвященное *желтому* у И. Анненского (Тростников 1991), обнаруживает полностью противоположный образ *желтого*, ср. также об этом в Красильникова 1997: «Есть явная прикрепленность *желтого* к темному полюсу. <...> У *желтого* есть устойчивая ассоциация с мертвым. <...> Сочетания и контрасты цветов подтверждают тяжелую окраску *желтого*. *Желтый* омертвляет и иные цвета», ср.: *В желтый сумрак мертвого апреля; К полудню от солнечных ран / Стал даже желтее туман; Позади лишь вымершая дача / Желтая и скользкая...* и мн. др. Аналогичным, как кажется, является семантический ореол *желтого* у других поэтов начала века — Блока (*А в желтых окнах засмеются / Что этих нищих провели*), Ахматовой (*Только в спальне горели свечи / Равнодушно-желтым огнем*) и т. п.

Другая проблема состоит в том, что если для *желтый* отрицательный компонент можно усматривать уже в самих «растительных» контекстах, которые было бы естественно счесть прототипическими, то бесспорно прототипические «растительные» контексты *зеленый* абсолютно нейтральны. Отрицательная оценка свойственна *зеленый* только применительно к растущим плодам.

Между тем, характерными и для *желтый*, и для *зеленый* являются обозначения болезненного вида кожи лица, неприятных выделений, для *желтый* — болезненного вида или агрессивных (в особенности у зверей) глаз, для *зеленый* — испорченной пищи и цвета прагматически отрицательно оцениваемых в русском языке пресмыкающихся, насекомых и некоторые другие «отрицательные» контексты. Наоборот, имена природных объектов с положительными коннотациями — такие, как *солнце*, *золото*, *волосы*, *хлеб*, *каша* и под. — как будто избегают этих цветов (уже одно это не позволяет говорить о возможности признания ‘солнца’ прототипом русского *желтый*).

Интересная гипотеза, объясняющая очень похожее поведение *зеленый* в украинском и применимая к русскому материалу, содержится в Яворска 1999. Она опирается на историю *зеленый*, которая, кстати, является у него общей с *желтый*: оба эти прилагательные происходят от одного и того же индоевропейского корня. Г. Яворская предлагает считать, что необычное языковое поведение *зеленый* связано с еще индоевропейским противопоставлением «живое» — «неживое», оба полюса которого кодируются этим цветом. С исторической точки зрения такое объяснение вполне вероятно. Более того, ввиду общности происхождения *желтый* и *зеленый* оно одновременно должно относиться и к *желтый*, который тоже описывает цвет живой (хотя и увядающей) растительности.

Заметим, что общность происхождения и обсуждавшаяся нами общность сочетаемостного поведения *желтый* и *зеленый* по крайней мере в русском (ср. также украинский, а также, по-видимому, и другие славянские, а возможно и индоевропейские языки; в частности, по поводу польского ср. Tokarski 1997 и Waszakowa 1997) указывает на то, что помимо введенного А. Вежицкой «макро-цвета» «*grew*», объединяющего синий и зеленый, можно было бы говорить и о «макро-цвете» «*grelow*», представляющем одновременно зеленый и желтый. Однако здесь реальная языковая ситуация входит в противоречие с предложенной А. Вежицкой конструкцией. Дело в том, что, по ее схеме, желтый и зеленый цвета попадают в противоположные группы — желтый в группу «светлых» цветов, а зеленый — «темных», и поэтому эти цвета в принципе не должны объединяться, в отличие от тех, которые попадают в одну и ту же группу (например, желтого и красного, зеленого и синего).

С другой стороны, при поисках прототипа необходимо принять во внимание и синхронные факторы. Действительно, *зеленый* и особенно *желтый* являются цветами, достаточно близкими к тем, которые описывают естественный цвет человеческой кожи, ср. такие «основные» цвета спектра, как *красный*, *белый*, а также *розовый* и даже — исходно однокоренное *желтому* и *зеленому* — *золотой*. Именно эта денотативная близость сделала *желтый* и *зеленый* **противопоставленными** «человеческим» цветам, и, в силу антропоцентричности картины мира в целом, в какой-то степени «отрицательными». Эта отрицательная оценка, с нашей точки зрения, не должна непосредственно входить в их толкования: в самой представительной части своих употреблений — в сочетаниях с именами артефактов типа *зеленый / жел-*

тый свитер, дом, забор, абажур и под. — данные прилагательные совершенно нейтральны. Вместе с тем, в толкование (т. е., в терминах Wierzbicka 1990, в представление о прототипе) должна входить идея противопоставления цвету здорового человеческого тела, которая и обуславливает в дальнейшем те нюансы сочетаемости русских *желтый* и *зеленый* с природными объектами, на которые мы хотели обратить внимание.

4. О семантической интерпретации конструкции

Итак — действительно ли конструкция *А-ый Х* описывает объекты, имеющие цвет *А*? В духе предыдущего изложения ответ, конечно, должен быть отрицательный. Рассмотрим еще некоторые примеры. Во фразе *Вот это синяя тетрадь с моими детскими стихами*, *А* — *синий*, *Х* — *тетрадь*, но синей является, собственно, не тетрадь, а ее обложка. Аналогично, когда говорится *жужжит пчела на белой хризантеме*, подразумевается, что белым был цветок, но не стебель. Примеры такого рода можно умножать бесконечно, и конкретные интерпретации будут весьма разнообразны, ср.: *черные сапоги* (цвет наружной поверхности), *серые глаза* (цвет радужной оболочки), *белая катушка* <ниток> (цвет ниток, но не самой катушки), *полосатый диван* (цвет обивки), *красный перстень* (цвет камня). Тем не менее, во всех этих случаях действует одно правило: выбирается только та часть объекта, которая имеет *меняющийся*, т. е. нефиксированный цвет. Как видим, общая стратегия говорящего при порождении и интерпретации нашей конструкции здесь сохраняется (ср. выше, раздел 2): фиксированный цвет игнорируется, нефиксированный оказывается релевантным с точки зрения задачи различения объектов.

Разумеется, есть случаи, когда может меняться не один цвет, а сразу несколько, ср. ситуацию, возникающую со словом *очки*: в конструкции *А-ый Х* с этим именем можно бы, например, ожидать, что прилагательное будет обозначать цвет оправы, однако сочетания *черные / розовые / зеленые очки* описывают только цвет стекол. Это, конечно, не случайно: определяющим в выборе той части, которая сообщает свой цвет всему объекту в целом, стала в данном случае ее большая функциональная значимость — стекла важнее оправы. Другой такой же пример — слова *карандаш* и *ручка*: *синяя ручка* интерпретируется как ручка с синим стержнем / синими чернилами, а *синий ка-*

рандаш — как карандаш с синим грифелем, при этом «конкурирующий» цвет — цвет наружной поверхности ручки или карандаша — обычно игнорируется как менее значимый с функциональной точки зрения. По той же причине цвет любого осветительного прибора определяется светом, который он дает, а следовательно, цветом лампочки или абажура: *красный фонарь* — это горящий фонарь (т. е. фонарь в рабочем состоянии), который светит красным светом, а не, например, выкрашен красным⁴³; аналогично, *зеленая лампа* — не лампа с зеленым шнуром или подставкой, а лампа, которая дает зеленый свет, обычно благодаря зеленому абажуру.

Таким образом, если реальный цвет объекта — комбинированный, то в конструкции *А-ый Х* в качестве значения *А* фигурирует цвет одной из его частей; при этом выбирается та, цвет которой меняется и различает разные экземпляры объекта; в случае нескольких возможностей выбирается та часть, которая играет более существенную роль в процессе функционирования объекта.

Ну а если цвет комбинированный, но объект представляет собой единое целое и не имеет частей? Многие объекты такого рода с точки зрения нашей конструкции оказываются «бесцветными». Фактически это значит, как мы знаем, что для них признак цвета не является по тем или иным причинам различительным, ср. невозможность или по крайней мере затрудненность употребления в контексте *А-й Х* таких имен как *картина, портрет, изображение* и под. Если все же пытаться интерпретировать сочетания типа **голубая картина* (что отнюдь не невозможно), главную роль, скорее всего, будет играть общий фон изображения. Общий фон оказывается наиболее важным и при определении цвета материи и обоев — к тому же, здесь он и функционально гораздо более значим, чем фон узора; таким образом, в атрибутивной конструкции с соответствующими именами называется цвет фона, а узор игнорируется: ср. *синие обои* [*в <желтый> цветочек*]. Ср. также *синее небо* (даже если на нем облака)⁴⁴, *зеленый луг* (даже если

⁴³ Ср., однако, *черные фонари*: при интерпретации этого сочетания не возникает альтернативы, т. е. выбора между цветом света и цветом опоры (фонарного столба); свет не может быть *черным*, следовательно, возможна только «нефункциональная» интерпретация этого сочетания.

⁴⁴ Интересно, что по-русски нельзя сказать и **белое небо* — если оно совсем закрыто облаками. Небо в русском языке бывает *голубое / синее, черное* (ночное), *серое* — но не белое. Ср. выше раздел 3.1 об избирательности конвенциональных цветов. Однако на вопрос, почему такое сочетание недопустимо, всё же, с нашей точки зрения, ответ мог бы быть получен только из анализа семантики *белый*.

на нем цветы — так, например, вполне приемлемо: *на цветущем зеленом лугу...*). Рисунок простым карандашом или углем тоже не назовут «черным»: невозможны ни **черная карикатура / рисунок*, ни *изображение* или *фотография* (при допустимом *черно-белое <изображение>*). Следовательно, даже самый простой набросок не сводится в языковом представлении к контуру — он составляет одно целое со своим фоном. Наоборот, имя *узор* допустимо в конструкции *А-ый Х (красный / желтый узор)* — тем самым, узор оказывается (цветной) фигурой, воспринимаемой отдельно от фона, ср.: *причудливые золотые узоры на синем фоне*, но вряд ли **причудливые черные рисунки / изображения на синем фоне*.

Аналогично «узорам» ведут себя буквы, знаки препинания и вообще надписи: в сочетаниях *А-ый Х А* понимается как цвет красящего вещества, которым была сделана надпись, ср. *черное заглавное «Б»*, *красная надпись «Берегись автомобиля»* и под. Однако такие лексемы, как *фраза*, *предложение*, *абзац* и др., даже будучи соотнесены денотативно с *письменным* текстом, не допускают цветовой характеристики: **синее / черное сочинение / повесть / текст* и пр. Очевидно, что в языке соответствующие концепты не сводятся к материальным объектам — своему плану выражения, в отличие от буквы или знака препинания. Интересно, что имя *рукопись* допускает цветовую характеристику — но она соотносится не с цветом букв или значков, а опять-таки с цветом фона, т. е. бумаги, ср.: *пожелтевшая рукопись*. Таким образом, лексема *рукопись* в русском языке, в отличие от лексем типа *текст*, интерпретируется как материальный объект, представляющий собой листы бумаги с написанным или напечатанным на них текстом⁴⁵.

В примерах, которые мы до сих пор рассматривали, приписываемый объекту цвет все-таки имел некоторое <референциальное> отношение к этому объекту: он описывал цвет какой-то его части. Между тем есть случаи, когда эти отношения более чем призрачны. Действительно, какого цвета, например, воздух или вода? спирт? хрусталь? сосулька? Тем не менее, эти имена естественны в нашей

⁴⁵ Ср., однако, толкования МАС, в которых это противопоставление не отражено: *текст* — «слова, предложения в определенной связи и последовательности, образующие какое-л. высказывание, сочинение, документ и т. д., напечатанные, написанные или запечатленные в памяти»; *рукопись* — «текст какого-л. произведения, написанный от руки, а также отпечатанный на пишущей машинке».

конструкции, ср.: *синий воздух, черная вода, голубоватый хрусталь* и др. под. Такого рода сочетания мы интерпретируем как отражающие не реальный цвет объекта, а наше представление о его цвете. По нашему мнению, толкования цветов в этих примерах должны строиться по образцу дейктической формы, принятой для глаголов типа *белеет*, — ‘виден говорящему белым’ (см. подробнее выше). Следовательно, «референциальная бесцветность» при таких именах должна быть задана в словаре.

Важно отметить, однако, что и в других случаях этот способ интерпретации не исключен (ср. известное *Фиолетовые руки на эмалевой стене*). Он широко распространен в поэтических текстах и опирается на (а одновременно и отталкивается от) знание говорящим и слушающим реального цвета объекта — в случае, если цвет объекта как-то задан заранее, или — в случае конвенциональных цветов природных объектов — на знание набора наиболее естественных в данной конструкции цветообозначений. «Нейтральное» море в русском языке синее, земля — бурая или черная, небо — голубое, серое или синее, облако — белое, и т. п. Мы уже говорили выше о полуфразеологизованности таких сочетаний; информация о стандартных цветообозначениях в словаре при них, по-видимому, неизбежна: только используя ее, мы сможем правильно истолковать и сочетания типа *красная земля, желтое море, зеленеющие облака*.

5. Некоторые размышления — в заключение

Большинство лингвистических исследований цвета строятся на основе экспериментов, сопоставляющих соответствующие слова или мыслительные образы табличкам, покрашенным в разные цвета (уже упоминавшиеся Munsell chips). В ходе такого эксперимента информант — носитель данного языка — определяет, может ли данное слово соотноситься с той или иной эталонной цветовой табличкой, и исходя из свидетельства многих информантов, выясняется фокусный для данного цветообозначения оттенок и границы применения цветообозначения. Эта методика, как мы здесь говорили, в тех или иных своих вариантах применялась для исследования всех языков, в том числе и русского (ср. Фрумкина 1984, Василевич 1987, Corbett 1989) и считается универсальной для определения значений цветов.

Нами же такая методика была отвергнута и, в духе всей этой книги, был применен совсем другой подход. Почему?

Потому что изучая значение, скажем, глагола вращения, лингвисты обычно не демонстрируют информанту картинки, иллюстрирующие эту ситуацию как абстрактный эталон, а действуют совсем другим способом: фиксируют разные типы употреблений этого слова в реальных предложениях данного языка, классифицируют их — и так, на основе анализа **текста**, устанавливают границы значения слова. И если бы они решили изучить семантику прилагательного *чистый* в разных языках, вряд ли бы они стали с этой целью предъявлять информантам дощечки разной степени чистоты.

Если же говорить о сопоставительных и, шире, типологических работах, то общий подход (который лучше всего иллюстрируется не лексическими, а грамматическими исследованиями, ср., например, Dahl 1985) состоит в том, чтобы на базе специально составленных анкет выявить *сочетаемостные ограничения*, типы употреблений и, в конечном счете, семантические компоненты, которые различают значения сопоставляемых языковых единиц. Здесь мы можем сослаться и на собственный опыт работы такого рода — прежде всего, исследование глаголов плавания в более чем 40 языках мира (Майсак, Рахилина 2007). Для этой семантической зоны (как и для многих других) существенно прежде всего, какого типа субъект находится в воде: человек, рыба, птица, судно или, например, палый лист. Кроме того, важно, как он взаимодействует со средой: подчиняется движению течения, колеблется вместе с почти неподвижной поверхностью или движется благодаря собственным усилиям. Именно такие и другие подобные параметры, возникшие из анализа контекстов употребления плавательных глаголов, позволили сравнивать данные разных языков, опираясь на структуру значения.

Если же говорить о семантическом представлении цветообозначений, которое реконструируется в результате опроса информантов, то оно не имеет структуры: цвета сами оказываются значениями параметров, выраженных или не выраженных в языке лексически, ведь мы сравниваем системы цветообозначений по тому, есть ли там *зеленый*, *голубой*, *коричневый* или какой-то другой цвет. Почти для всей остальной лексики такая постановка задачи также оказалась бы очень необычной: нам естественно спросить, есть ли в системе, скажем, аварского языка особый глагол плавания, применимый только к человеку, но не: есть ли в этой системе глагол *nare* (лат.). Дело как раз в том, что в «обычных» семантических полях отдельные параметры не имеют прямых лексических соответствий, они явля-

ются частью толкования, сложным образом встраиваются в семантику лексем и переплетаются с другими компонентами их значения, а также становятся базой для переносных значений. Иначе могут быть устроены разве что искусственные лексические подсистемы — скажем, системы терминов или собственных имен. Такую лексику как раз можно изучать, апеллируя непосредственно к внеязыковому объекту, и соответствующие значения действительно могут сами оказаться отдельными параметрами. Но цветообозначения на них не похожи.

Прежде всего, они живут жизнью «обычных» слов: например, претерпевают сдвиги значения, подвергаются метафоризации и под. Это значит, что структура их значения может меняться, а значит, она есть. Вопрос в том, можно ли ее восстановить традиционным для лексикологов способом анализа сочетаемости. Трудность здесь та, что в современной культуре подавляющее большинство разноцветных предметов — артефакты, искусственно покрашенные в некоторый цвет и легко его меняющие от одной ситуации к другой. Собственно, потому и возникла идея эталонных цветовых табличек, что в случае с артефактами признак цвета как бы отделен от несущего его субъекта, и кажется, что его можно изучать отдельно.

И все же есть довольно большая группа имен, которые свои цветовые параметры меняют лишь в определенных пределах — это имена природных объектов. Их цвет плохо соотносится с эталонным, он не всегда равномерен и одинаков у разных экземпляров — но он хорошо известен каждому носителю языка, который не задумываясь скажет *зеленая* про лягушку, *серая* про мышь, *синее* или *голубое* про небо, *белое* про облако и под. Потому что у природных объектов цвет не случаен, они отличаются цветом. Не случайно именно идея соотношения цвета с его эталонным носителем лежит в основе когнитивной теории Анны Вежбицкой, согласно которой цвета в языке не абстрактны, а связаны с какими-то значимыми для человека объектами во внешнем мире, ассоциирующимися с тем или иным цветом.

Исходя из проанализированного нами материала, неясно, можно ли буквально применить теорию цветовых прототипов А. Вежбицкой к типологическому анализу цветов. Но ясно, что противопоставление природных и неприродных объектов само по себе заслуживает самого пристального внимания.

В связи с этим два замечания: теоретическое и практическое.

Первое. Хорошо известно, что по крайней мере в некоторых языках Новой Гвинеи цвета связаны с материалом, из которого состоит объект. Это кажется нам удивительным фактом, экзотикой экзотических языков — так сказать, ожидаемых нарушителей лингвистических теорий, в данном случае, теории Берлина-Кея. Но ведь в сущности, противопоставление природных и неприродных объектов, совмещенное с обозначением цвета — явление того же порядка, при том, что оно представлено в языках средневропейского стандарта.

Второе. Интересно сравнить сочетаемость в разных языках имен природных объектов с прилагательными цвета в атрибутивных конструкциях типа *А-й Х (серая мышь)* или сравнительных оборотах типа *А-й, как Х (красный, как рак)*, составив соответствующие подробные анкеты. Даже отдельные примеры показывают, что языки в этом отношении существенно различаются. Скажем, в агульском (одном из дагестанских языков) говорят не ‘серые’, а ‘черные мыши’ (вспомним и здесь и английское *red fox*).

Сопоставительный анализ такого рода (с привлечением, где возможно, корпусных данных) может стать лингвистической методикой типологического исследования цветообозначений, альтернативной опросу носителей языков о цвете образцов. Конечно, осуществление такой программы — задача непростая, учитывающая множество разных нюансов (см. подробнее Рахилина 2007), однако опыт уже есть: так, для древних индоевропейских языков на определенном уровне подробности сопоставительное описание цветообозначений было сделано в книге Норманская 2005.

§ 5. О старом: аспектуальные характеристики предметных имен *

Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны...

М. Цветаева

1. Вид как внутреннее время

Известно, что в языке не только глаголы, но и имена могут быть охарактеризованы по времени. Действительно, если грамматическое время глагола соотносит момент совершения действия с моментом речи (раньше, позже, одновременно), то совершенно так же могут быть охарактеризованы и некоторые имена, в том числе предметные, и среди них в первую очередь имена лиц. Этот эффект подробно описан в целом ряде исследований (ср., например, Dahl 1975; на русском материале — Кронгауз 1989; Яковлева 1994; Булыгина, Шмелев 1997), где имена (по большей части — имена лиц) рассматриваются в контексте прилагательных *бывший*, *будущий* и под. Во всех этих работах речь идет о том, что сочетания типа *бывший чемпион* интерпретируются совершенно аналогично формам глаголов прошедшего времени: «время жизни» признака, который лежит в основе номинации соответствующего объекта, соотносится с моментом речи.

Между тем события и описывающие их глаголы имеют еще и так называемые «внутренние» временные характеристики, встроенные в значение лексемы. Их вполне можно называть видовыми, так как именно благодаря виду ситуация оказывается как бы распределена во времени: она может быть сжата, растянута, повторена и т. д. Известной задачей в области семантики в связи с этим является построение классификации предикатов, которая бы отражала специфические различия между ситуациями, а именно: какого рода ситуацию описывает данный глагол — «склонную», подлежащую сжатию (или, например, повторению) или наоборот, не допускающую этой и подобной ей операций; ср. в этой связи прежде всего пионерскую работу Vendler 1967, а на материале русского языка — Булыгина 1982;

* Первоначальный вариант опубликован в: Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко (ред.). Логический анализ языка: Язык и время. М.: Индрик, 1997, 201–217; см. также Rakhilina 1999.

из последних работ ср. Talmy 1988, Rijkhof 1991, Падучева 1994 и 1996, а также (в типологическом контексте) Плунгян 1997 и Татевосов 2005.

То, что аспектуальные характеристики присущи производным от глагола именам, можно, ссылаясь на пары типа *спаситель* — *спасатель*, считать общепризнанным (некоторые тонкие наблюдения на этот счет содержатся в работах Е. Я. Шмелевой, см. прежде всего Шмелева 1984). Однако остается открытым вопрос, можно ли обнаружить корреляты глагольного вида (или — «внутреннего времени») в собственно предметной лексике и, опираясь на эти аспектуальные характеристики, построить ее классификацию. В связи с этой задачей анализируются употребления имен в сочетании с прилагательным *старый*. (Сразу отметим, что прилагательное *новый* не является антонимом к *старый* в настоящем смысле этого слова; оно оказывается, в некотором смысле, семантически более простым и подробно рассматриваться не будет; семантике *новый* — в том числе в сопоставлении с *первый* — посвящена специальная работа Арутюнова 1997.)

2. Старые вещи

Для удобства изложения мы начнем с того материала, который касается неодушевленных объектов, и будем говорить преимущественно о «старых вещах», а не о «старых людях».

Среди контекстов употребления прилагательного *старый* с неодушевленными предметными именами можно выделить четыре интерпретации, которые, впрочем, часто сосуществуют, т. е. оказываются верны для одного и того же словосочетания.

Первая интерпретация: тип *старый лес*; ‘давно возникший и существующий объект’.

Другие характерные примеры: *старый дуб, слон, гриб, мозоль* и т. п. Частым антонимом является в этих случаях *молодой*.

Вторая интерпретация: тип *старая тряпка*; ‘давно используемый и пришедший вследствие этого в ветхость и/или негодность объект’.

Заметим, что эта интерпретация практически всегда сосуществует с какими-то другими, так что соответствующие примеры обычно оказываются многозначными.

Другие примеры: *старая одежда, лестница, дом, мебель* и т. п. Частым антонимом является в этих случаях *новый*.

Третья интерпретация: тип *старое русло*; ‘не используемый в настоящее время объект’ (эта формулировка требует уточнений, см. ниже).

Другие примеры: *старое место, квартира, лыжня, пломба, повязка* и т. п. Частым антонимом является прилагательное *теперешний*; близким синонимом — прилагательное *прежний* (см. подробнее ниже).

Четвертая интерпретация: тип *старые монеты*; ‘объект, созданный в прошлом и относящийся к прошлому’.

Другие примеры: *старые иконы, серебро, открытки*, ср. также *старая Москва* и *старый город*. Частым антонимом является прилагательное *современный*; близким синонимом — прилагательное *старинный*.

Этим четырем интерпретациям, на наш взгляд, соответствуют следующие классы имен со своими особыми «внутривременными» характеристиками.

Имена первого класса (*старый лес*) можно сопоставить с глаголами типа градативов (термин из работы Падучева 1994: 25–27) *увеличиваться, уменьшаться, усиливаться* и под. Действительно, к этому классу относятся имена, которые обозначают **природные объекты**, изменяющиеся во времени (вообще, как мы увидим ниже, идея изменения во времени составляет существенный компонент инвариантного значения прилагательного *старый*, и, таким образом, присутствует в семантике лексем всех типов, способных сочетаться с этим прилагательным). При этом оказывается, что, согласно языковой картине мира, далеко не все природные объекты изменяются, и, тем самым, не всякое имя природного объекта может сочетаться со словом *старый*: неизменными остаются солнце и огонь, небо и звезды (ср. **старое солнце*), со временем меняются деревья (но не цветы), горы и утесы (но не холмы и ухабы), леса (за счет деревьев) — но не степь и тундра; одушевляемые звери, как бы сопоставимые с человеком (в том числе и по отпущенному им жизненному сроку), но не червяки и стрекозы (ср. **старая стрекоза / соловей*). «Стареют» бес и ведьма (соответствующие имена с полным правом можно отнести к классу имен лиц), но не привидение, демон или чудовище.

«Глагольным» аналогом для имен второго класса (*старая тряпка*) могут служить делимитативы, описывающие ситуацию, строго ограниченную во времени: *прошел 5 километров, пропел песню* и под., потому что в этот класс попадают **артефакты** — имена, описывающие объекты, жизненный срок которых жестко фиксирован. *Старый*

описывает в данном случае состояние объекта, в котором он находится, будучи в непосредственной близости от конца этого срока, причем все изменения, которые при этом возникают, однозначным образом воспринимаются как ухудшающие артефакт. Такой определенности не знают объекты первого класса: в отличие от *старой тряпки*, *старое дерево* не значит обязательно ‘плохое’ — оно изменилось по сравнению с прежним своим состоянием, но оно всего лишь обязательно *другое*, чем раньше. (В этом смысле имя *вино*, скорее, попадает в первый, а не во второй класс, т. е. осмысляется не как артефакт, а как природный, живой объект с нежестким жизненным сроком: интерпретация сочетания *старое вино* ближе к интерпретации сочетания *старый дуб*, чем сочетания *старая шляпа*.)

Что касается имен третьего класса (*старое русло*), то в таксономии глаголов к ним, с нашей точки зрения, наиболее близки мультипликативы, называющие ситуации с повторением фаз: *прыгать*, *моргать*, *махать*, *кашлять*, *капать* и под. Обратим внимание, что во всех этих случаях следующая фаза вовсе не обязательно в точности повторяет предыдущую, более того, в нормальном случае эти фазы всегда нетождественны: если бы мы взяли аккуратно описывать множественную ситуацию, обозначенную глаголом *прыгать*, мы немедленно бы обнаружили, что следующая фаза (т. е. следующий прыжок) оказывается длиннее или, наоборот, короче предыдущего, резче или слабее, выше или ниже, и т. п. Но с точки зрения *семантики* глагола (а не описания его денотативной ситуации) это *точно такая же* фаза, как и предыдущая. Соответственно, в этот класс объединены имена, обозначающие, если так можно сказать, «сменные» объекты, которые обладают следующим свойством: на протяжении ситуации, в рамках которой эти объекты представлены в картине мира, возможна их смена; как только у одного кончается срок жизни, его место занимает такой же. Русло у реки есть всегда, но может настать момент, когда одно русло истощило себя, и тогда возникает новое; ср. также *старый картофель* (‘прошлогоднего урожая’). Многочисленны в этом классе названия сменных *частей* объекта (ср. *старая шина*, *старый кран* и т. п.; разумеется, эти имена могут осмысляться и по второму классу — о проблеме множественной интерпретации см. ниже).

Во многом похожая картина обрисована в исследованиях Кронгауз 1989, Яковлева 1994: 184–189 и Булыгина, Шмелев 1997 применительно к контекстам с *прежний*: там речь также идет об одной и

той же роли, которую могут брать на себя разные референты. Представляется, однако, что даже в этой узкой группе контекстов значение *старый* отличается от значения *прежний*: в первом четко прослеживается идея 'исчерпания ресурса', поскольку появление нового референта происходит *по причине* исчерпания ресурса предыдущего референта; играет роль и непрерывность этой смены. Конечно, это достаточно тонкие различия, в большинстве случаев они нейтрализуются и не видны, но в некоторых контекстах эта разница ощущается. Ср.: *В старой тюрьме было, пожалуй, получше* — так может сказать заключенный, если старое здание тюрьмы поставили на ремонт ('исчерпание ресурса'), но если человек сидел, потом был выпущен на свободу, и через несколько лет опять попал в заключение, он скажет, скорее, *в прежней тюрьме*: смена объекта произошла после перерыва и по совсем другой причине.

В связи с этим свойством слова *старый* обратим внимание также на следующее обстоятельство. Есть объекты, которые, ввиду особенностей их функционирования, можно было бы назвать даже не сменными, а «постоянно сменными» — к ним относятся, например, посуда для сервирования стола или скатерть. Между тем, предложение:

Положи мне второе в старую тарелку

оказывается в обычном случае (не имеющим в виду требование подать другой, старый сервиз) неприемлемым (следует сказать: *в ту же тарелку*).

Другой пример. Дама выбирает в магазине платье и примеряет по очереди два, после чего продавец вежливо рекомендует ей обновиться все же на первом, но он почему-то не может при этом посоветовать:

— *Мадам, наденьте / купите / оставьте старое!*,

хотя в этой ситуации очевидным образом происходила смена объектов.

В обоих случаях дело, на наш взгляд, в том, что при этой смене предыдущий объект не изменился (или недостаточно изменился), и, главное, не успел выработать свой ресурс, так что смена референта произошла по другой причине, чем завершение «жизненного цикла» объекта, а это нарушает условия употребления *старый*⁴⁶.

⁴⁶ О значении цикличности времени для *новый* см. в Арутюнова 1997: 179; ср. там же анализ запретов на употребления типа: **Я купил новый батон хлеба*, **Я сделал новый шаг* (с.173) и под.

Наконец, к четвертому классу (*старые монеты*) относятся так называемые **креативные** имена, т. е. имена объектов, для которых маркирован момент возникновения, а часто и их автор, создатель⁴⁷. Такого рода объекты (к ним прежде всего относятся произведения искусства, архитектуры, литературы и т. п.) не стареют и не ветшают — они принадлежат к минувшей эпохе, связаны с ней и в каком-то смысле отражают ее. При этом легче всего креативная интерпретация возникает в случае генерического употребления (ср. также раздел, посвященный четвертому аспектуальному классу у имен лиц); так, в приводимых ниже парах к креативной интерпретации в большей степени тяготеет второй пример:

- (i) *Не знаю, что делать с этими старыми книгами.*
- (i') *Открылся клуб любителей старой книги.*
- (ii) *В нашем старом доме не было лифта.*
- (ii') *Старые дома строились иначе.*

Видимо, дело в том, что класс или множество объектов определенного типа связаны со своей эпохой прочнее, чем отдельный их представитель. Именно как отражение предыдущей эпохи они и существуют в настоящем. Это важнейшее свойство креативных имен; некоторым аналогом им в классификации глаголов можно было бы считать перфектные глаголы типа *вспомнить*: в ситуации, описываемой перфектным глаголом, собственно событие происходит давно и однократно (например, момент воспоминания), но затем это событие как бы сохраняет силу, так как неограниченно длящееся последующее состояние является его прямым результатом.

Вообще говоря, это очень небольшой, практически закрытый класс имен, однако можно считать, что в современном языке и современной действительности открылся мощный источник его пополнения за счет «морально устаревших» приборов, ср. в этом значении *старый телевизор / холодильник / компьютер* и т. д. Тем не менее, некоторое тонкое различие между, так сказать, «основными» представителями этого класса и его новейшим лексическим пополнением все же есть, и оно достаточно хорошо проявляется именно в сочетаниях с прилагательным *старый*: *старые картины / иконы / города* имеют в языке скорее

⁴⁷ Интересно, что очень близкая группа имен выделяется при исследовании possessивности, в частности, контекстов с вопросительным *чей*. В отличие от обычных артефактов, предполагающих в ответе на такие вопросы владельца или пользователя вещи, вопросы с креативными именами предпочитают в качестве ответа имя создателя объекта (подробнее см. § 2 Главы VII).

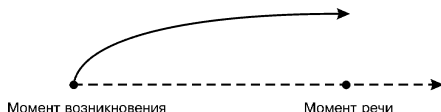
положительную оценку, а *старый компьютер* или *холодильник* отрицательную (интерпретация этого эффекта будет предложена в следующем разделе данной главы).

3. Использование результатов аспектуальной классификации

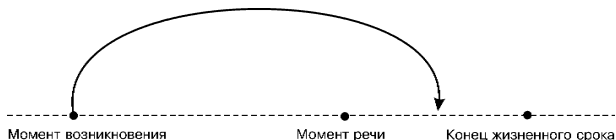
Таким образом, мы выделили четыре «аспектуальных» типа имен: природные объекты, артефакты с ограниченным сроком жизни, «сменные» и креативные объекты. Каждый из этих типов имеет свои встроенные временные параметры, причем, так же, как и в случае семантической классификации глаголов, нацеленной на описание видовых противопоставлений, эти параметры не навязываются лексеме синтаксическим или грамматическим описанием. Они естественным образом выделяются в ходе детального семантического анализа лексемы, причем такого семантического анализа, который предназначен отнюдь не только для установления ограничений на сочетаемость с временными операторами. Так, если мы описываем, например, лексему *дерево*, в этом описании должно быть обязательно сказано, что дерево — это природный (не созданный человеком) объект, что оно живое и растет, т. е. меняется с течением времени; если же мы описываем лексему *картина*, нам важно, что этот объект — произведение искусства, и, как произведение искусства, оно всегда является творением некоторого определенного человека, так что картина имеет не только имя и/или содержание, но и автора (авторов), и, так сказать, дату рождения. Как видно из этих примеров, все нужные нам аспектуальные характеристики имени легко выделить уже и в этих, очень приблизительных с точки зрения лексикографа набросках. Другой вопрос — зачем нужно выделять эти аспектуальные характеристики из толкования и строить на этом основании именную классификацию.

Преимущество такого подхода к семантике имени может проявиться, на наш взгляд, в частности, и при рассмотрении контекстов с прилагательным *старый* — ведь в таком случае *старый* представляется как временной оператор только с *одним* значением, которое допустимо было бы описывать как ‘возникший / начавший свое существование / созданный давно относительно момента речи’. Что же касается различий в интерпретации конкретных употреблений, то они появляются в результате того, что в сочетаниях с именами разного типа это значение естественным образом уточняется.

Для имен **первого класса** (*старый лес*) — ‘возникший давно относительно момента речи и изменившийся за это время’:

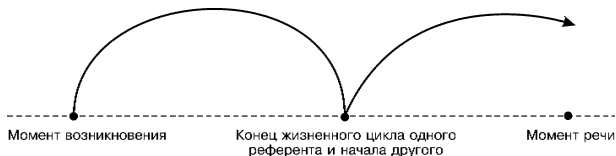


Для имен **второго класса** (*старая тряпка*) — ‘давно созданный’, причем это «давно» можно измерить: естественной мерой здесь служит фиксированный жизненный срок объекта (‘вещь, созданная так давно, что ее жизненный срок близок к концу’):



Именно это обстоятельство естественным образом объясняет возникающую в сочетаниях данных имен с прилагательным *старый* отрицательную оценку. Тем самым, оценка не является частью семантики *старый* (в русском языке *старый* ни в этом конкретном употреблении, ни вообще не значит ‘плохой’, ср., в особенности, ниже, где мы будем говорить о значении *старый* в контексте «креативных» имен), а возникает благодаря специфике имен этого аспектуального класса.

Для имен **третьего класса** (*старое русло*) мерой времени служит жизненный цикл одного референта; следовательно, в данном случае *старый* понимается как ‘возникший так давно, что жизненный цикл этого референта полностью завершился (и начался жизненный цикл следующего)’:



Для имен **четвертого класса** (*старые монеты*) — ‘так давно, что прошла эпоха, с которой связаны эти вещи, и наступила другая’. Благоговейное отношение человечества к своему прошлому закреплено в языковой картине мира — не случайно ближайший синоним четвертого употребления *старый*, прилагательное *старинный*, имеет ярко выраженную положительную оценку. Точно так же, положительная оценка, как мы уже говорили, свойственна и сочетаниям с «основными» представителями этого класса (*старые картины* и др.). Что же касается группы имен — названий морально устаревших приборов, то в их оценочном поведении отражен тот факт, что они совмещают свойства имен четвертого и второго класса (артефактов с ограниченным сроком жизни). Действительно, все это вещи, которые человек специально сделал, чтобы их использовать в течение какого-то срока. Между тем, если с этой точки зрения рассматривать «основные» имена четвертого класса, то их использование — если вообще можно применительно к этим объектам говорить о чем-то подобном — в принципе другого рода и по крайней мере не предполагает срока истощения ресурса. Отсюда отрицательная оценка в одном случае и ее отсутствие — в другом.

4. Об альтернативных решениях

В известных нам исследованиях задача описания семантики прилагательных не связывается прямо с построением семантической классификации существительных.

Остановимся подробнее на работе Partee 1995, в которой излагается классификация прилагательных (на материале английского языка) по семантическим типам. В частности, среди качественных прилагательных различаются тип *skillful* (‘умелый’), тип *former* (‘бывший’) и тип *tall* (‘высокий’) — по способу интерпретации соответствующих сочетаний с существительными. Например, всякое множество *skillful N* оказывается подмножеством *N* (так, *skillful surgeon* ‘опытный хирург’ является элементом множества хирургов вообще); однако прилагательные из класса *former* уже не удовлетворяют этому условию: *former senator* ‘бывший сенатор’ никак не может входить в множество сенаторов. С другой стороны, прилагательные типа *tall* характеризуются прежде всего тем, что они описывают контекстно зависимые признаки, интерпретация которых меняется в зависимости от объекта (ср. *высокий мальчик* и *высокий баскетболист*: значения раз-

мера, приписываемые в этих случаях, заведомо не совпадут). Поэтому возможны сочетания вида *tall for an East coast mountain* 'высокая для горы Восточного побережья', которые не встречаются у прилагательных других групп.

При таком подходе к семантике сочетаний прилагательных с именами средоточием всех различий оказывается не предметное имя, а прилагательное. Однако если бы мы при анализе нашего материала следовали такому подходу, то разные употребления *старый* должны были бы распределиться по разным семантическим типам прилагательных (ср. тип *former* — наша третья интерпретация сочетаний со словом *старый*, или тип *tall* — наша первая интерпретация). В свою очередь, это привело бы к неоправданному, на наш взгляд, нарушению целостности значения прилагательного — при том, что использование результатов аспектуальной классификации имен как раз позволяет избежать этого, ведь, несмотря на довольно обширные сочетаемостные возможности этого прилагательного, нам удастся во всех случаях обойтись *одним значением старого* ⁴⁸.

В подтверждение этого тезиса мы позволим себе расширить зону рассматриваемых примеров и выйти за пределы неодушевленных объектов.

5. О старых людях

Действительно, оказывается, что если обратиться к именам лиц, которые мы вначале исключили из рассмотрения, то и в этой зоне картина будет очень близкой — в частности, имена лиц тоже делятся на четыре аспектуальных класса, во многом аналогичных рассмотренным ранее.

В *первый* класс попадают лица, с языковой точки зрения подверженные возрастным изменениям (ср. класс «природных объектов»

⁴⁸ Вообще говоря, нам известно несколько попыток предложить единое семантическое описание для английского эквивалента русского 'старый', однако авторы этих описаний не используют аппарат аспектуальных характеристик имен. В статье Beard 1991: 209 и сл. возможность единого описания для ряда значений *old* обсуждается в связи с техническими проблемами так называемого «парадокса скобочной интерпретации» (синтаксическая проблема, одно время весьма популярная в генеративной теории; см. подробнее о ней в Spencer 1991: 397–420); в статье Taylor 1992 единое семантическое описание призвано продемонстрировать преимущества «теории валентностей» Р. Лангакера (вместе с тем, следует отметить, что во многих частностях подход Тейлора близок к принимаемому в настоящей работе; см. подробнее раздел 5).

типа *старый лес*): человек, бабушка, родители, негр, крестьянин, профессор, художник, мудрец и т. п. Это прежде всего имена национальностей, имена родства и имена некоторых профессий и занятий. Что касается имен национальностей, то в данный класс они попадают все (за исключением, по-видимому, слова *русский* — возможно, по морфологическим причинам⁴⁹). Между тем, далеко не все из имен родства могут быть охарактеризованы по возрасту, а только родственники старшего поколения: *тетя / дядя, отец / мать, бабушка / дедушка*. Любопытно, что ни братья и сестры, ни племянники, ни дети и внуки с языковой точки зрения как бы не имеют возраста, ср. невозможность не только **мой старый брат / племянник / внук*, но и **мой пожилой / *молодой внук / брат* и т. п.

Имена профессий и занятий в основном, как мы увидим, относятся к следующему классу, а в первый класс попадают только те, для которых менее всего значима профессиональная опытность. Это свойство, с одной стороны, творческих профессий, а с другой — занятий, не требующих специальных навыков. Так, например, мастерство писателя не связано с тем, как долго человек занимается литературным трудом; то же верно для лексем *музыкант, художник, ученый, няня, сиделка, волшебник, барин, бродяга, шут, палач, сторож, швейцар*, а также названий многих «должностей»: *инспектор, вождь, профессор, академик, адмирал, комендант* и др. Во всех этих случаях изменения, происходящие с течением времени (а это, как мы помним, важнейший компонент инвариантного значения *старый*), касаются не профессиональной характеристики лица, а лишь его возраста, отсюда «возрастная» интерпретация такого рода сочетаний с именами лиц.

Второй класс составляют имена лиц, выделяемые по некоторому признаку, такому, что этот признак сам способен попадать в сферу действия временного оператора, вытесняя из нее сему возраста человека: *старый друг* давно является другом (так сказать, «давно дружит»), и не важно, молодой он человек при этом или старый. Ср. также: *товарищ* («*Старый товарищ бежать пособил...*»), *воин* («*Но отец твой — старый воин, закален в бою...*»), *лгун, игрок, юрист, дипломат, разведчик* и мн. др. Легко видеть, что в этот список попадают в основном «настоящие» профессии, требующие обучения и навыка, а также свойства, набирающие силу со временем.

⁴⁹ Обратим внимание, что встречающийся время от времени иронический неологизм *старые русские*, построенный как антоним к (кальке) *новые русские*, имеет другую интерпретацию и по нашей классификации, скорее, попадает в четвертый класс.

Вообще говоря, второй класс имен лиц похож на выделенный выше второй класс неодушевленных объектов, куда попали артефакты с ограниченным сроком жизни (*старая тряпка*), но сходство здесь только в акценте на функциональной составляющей. Никакой отрицательной оценки в классе имен лиц, в отличие от имен артефактов, не возникает — даже наоборот: старый солдат, конечно, отличается от молодого, но как раз за счет того, что он опытнее и, следовательно, «ценнее» его, так что в этом отношении данные контексты следует сближать уже не с артефактами, а скорее с классом «природных объектов».

Рассмотренные два класса имен лиц представляют с семантической точки зрения довольно сложную картину из правил и исключений. В особенности неясной представляется эта картина для первого, «возрастного», класса имен. Действительно, ведь всякое имя лица имеет, так сказать, право на возраст — и вдруг в языковой картине мира некоторым группам лексем в этом праве отказано. Можно еще понять, когда какое-то другое изменяющееся во времени свойство оказывается сильнее возрастной характеристики — именно так семантически может быть проинтерпретирован второй класс имен лиц, — но почему целые группы имен вовсе не сочетаются с прилагательным *старый* и не принимают хотя бы «возрастной» интерпретации? Таковы прежде всего имена постоянных свойств, ср. *личность, гений, лжец, двойник* и др. Аналогичным образом ведут себя и многие оценочные имена, ср.: **старый хам / подлец / умница / лапочка / касатик* и др. (последнее обстоятельство может быть связано с сильной рематичностью оценочного компонента, о чем подробнее см. Вольф 1985: 153). Отметим здесь, что невозможны и сочетания этих имен с прилагательным *пожилой*, способным измерять исключительно возраст человека, ср.: **пожилой гений / лжец / хам / двойник / подлец* и т. п.

На наш взгляд, здесь можно усмотреть некоторую общую для естественного языка стратегию, и это единственное, что могло бы в данном случае облегчить участь лексикографа, обреченного в противном случае лишь механически фиксировать поведение каждой лексемы в контексте прилагательного *старый*, — а именно, известный эффект семантического согласования в атрибутивных сочетаниях (ср., например, Гак 1972; Апресян 1974: 13–15; Арутюнова 1974 и др.), который в нашем случае можно было бы сформулировать так: если значение возрастной характеристики лица так или иначе встроено в семантику имени, то оно провоцирует «возрастную» интерпретацию сочетания в целом.

Что значит, что в семантику лексемы встроена возрастная характеристика? Во-первых, концепт лексемы может быть более или менее устойчиво связан с лицами определенного возраста, ср. *академик, адмирал, профессор*, в отличие от значительно более неопределенных с точки зрения возраста должностей, таких, как *чиновник, инструктор, руководитель, председатель* и

т. д. Среди имен родства наиболее определены в отношении возраста как раз лица старшего поколения.

Во-вторых, признак, по которому осуществляется номинация, может так или иначе коррелировать с возрастом (усиливаться или ослабляться) — такого рода информация тоже составляет часть концепта имени, и сочетание интерпретируется как ‘N вопреки или благодаря преклонным годам’, ср. *старый весельчак / ворчун / говорун* и т. д.

Наконец, общие имена лиц типа *человек, мужик, женщина* (сходную с общими именами семантическую структуру имеют, по-видимому, и имена национальностей) содержат переменную по возрастной характеристике — носитель языка понимает, что имя *человек* обозначает живое существо, которое не охарактеризовано, но *может быть* охарактеризовано по возрасту.

Во всех остальных случаях (в частности, когда имя названо по некоторому постоянному свойству) семантического согласования внутри атрибутивного сочетания не возникает, так как номинация имени не связана с возрастной характеристикой (ср. обсуждение сходных примеров в § 1 Главы IV).

Третий класс имен лиц может быть очерчен достаточно ясно, и при этом он оказывается абсолютно аналогичен третьему классу неодушевленных объектов (типа *старое русло*) — это «сменные» должности и свойства: *директор, министр, декан, правитель* и под.

Четвертый класс оказывается самым малочисленным. Он тоже аналогичен четвертому классу собственно предметных имен, выступающих свидетелями своей эпохи (*старые монеты*); наиболее бесспорным представителем здесь является, на наш взгляд, слово *мастер*, ср. *картины старых мастеров* — не ‘пожилых’, не ‘опытных’, не ‘предыдущих’, а ‘тех, которые работали в старину’ (≈ *старинных*); ср. также *старая интеллигенция, эмиграция, старые учителя* (‘учителя старой школы’), *старые специалисты*. Так же, как для креативных имен важен момент их создания, для имен лиц, попадающих в четвертый класс, важно, чтобы характеризующее их свойство имело начало, точку отсчета — мастером или интеллигентом (в отличие, скажем, от гения) можно в некоторый момент *стать* (чтобы потом им навсегда остаться), и это значит начать работать как другие мастера (этой эпохи) или жить как живет интеллигенция (этой эпохи). Отсюда, во-первых, невозможность в этом классе имен лиц, описывающих индивидуальные характеристики, — таких, как, например, лексема *герой*: героем можно стать, но при этом не происходит отождествления нового героя с его предшественниками-современниками; таким образом, именно благодаря сугубой индивидуальности *герой* по-

падает не в четвертый класс, а, скорее, в класс лиц, описываемых постоянными свойствами и не допускающих при себе временного оператора *старый*. Во-вторых, из этого следует и «склонность» к генерическим употреблениям, свойственная также креативным именам, ср. допустимость интерпретации в смысле ‘старинный, старых времен’ таких сочетаний, как *старые офицеры / моряки / генералы / руководители* и мн. др., в единственном числе осмысляемых, как мы видели, по модели первого, второго или третьего аспектуального класса⁵⁰. Как и в случае с неодушевленными креативными именами, этот класс употреблений допускает ярко выраженную положительную оценку.

В заключение данного раздела мы хотели бы несколько подробнее рассмотреть описание, предложенное в Taylor 1992 для английского *old*. Дело в том, что и задача, поставленная в этой работе (единое описание *old* во всех его употреблениях), и способ ее решения — с опорой на семантику имен (в частности, Дж. Тейлор использует термины *lifetime* и даже *cycle of existence*, совсем близко подойдя к идее аспектуальных классов) — очень созвучны нашей трактовке *старый*. Между тем, главный акцент в статье Тейлора делается на том, чтобы уложить описание *old* в валентные схемы Когнитивной грамматики Р. Лангакера. Возможно, именно преимущественным интересом к апробации теоретического конструкта на данном материале объясняется то, что в работе Тейлора, как кажется, все-таки не выстроена последовательная классификация предметной лексики, необходимая для полного описания этого прилагательного. Так, фактически противопоставлено только три типа употреблений *old*: *old box* (‘старая коробка’), *old friend* (‘старый друг’) и *old girlfriend* (‘старая — в значении ‘прежняя’ — подружка’). При этом не делается никаких различий между контекстами одушевленных и неодушевленных имен (с. 15). Однако в таком случае, с нашей точки зрения, первый и второй классы Тейлора семантически вообще не должны были бы различаться (ср. здесь аспектуальный класс, который в нашей классификации условно назывался «старая тряпка»). Нашей же задачей здесь, как, впрочем, и в других разделах данной книги, было, наоборот, как можно более исчерпывающим образом представить материал предметной лексики и соответствующий способ ее классификации.

⁵⁰ В случае очевидных противопоставлений такого рода — практически минимальных пар, когда единственное число сочетания интерпретируется, скажем, по первому типу, а множественное по четвертому, становятся особенно заметны акцентные различия, сопровождающие разные типы употреблений наших сочетаний. Так, «возрастная» интерпретация предполагает, скорее, безударное *старый*, тогда как при интерпретации по четвертому типу, *старый*, по-видимому, ударное. К сожалению, мы не имеем возможности остановиться на акцентно-интонационной проблеме подробнее — это тема для отдельного и более специального исследования.

6. О множественности именной классификации

Итак, каждый аспектуальный тип характеризует свою группу лексем и навязывает, в частности, сочетанию с прилагательным *старый* определенную интерпретацию, причем можно взять пару или даже группу близких по значению лексем и обнаружить, что за счет каких-то семантических различий они, тем не менее, попадают в разные аспектуальные классы. Например, в отличие от *старый букварь*, сочетание *старый учебник* понимается не столько как ‘истрепанная книжка’, — но и как ‘учебник предыдущего поколения’, т. е. по типу *старое русло* (заметим, что допустима, в особенности во множественном числе, и четвертая интерпретация — ‘старинные учебники’). Дело в том, что содержание букваря гораздо более неизменно, чем содержание учебника, и в учебнике, в отличие от букваря, меняется и устаревает не только форма — обложка, переплет и проч., но и способ изложения фактов (а может быть, и сами факты), поэтому *учебник* — имя *третьего* аспектуального класса, а *букварь* — *второго* (принципиальная возможность множественной интерпретации лексем обсуждается в настоящем разделе ниже).

Имена лиц также предоставляют материал такого рода. Например, имя *грешник*, бесспорно, яркий представитель *второго* класса: с течением времени грехов становится больше, так что *старый грешник* — это много грешивший человек. Между тем *старый развратник* имеет только «возрастную» интерпретацию, — следовательно, количественные параметры (в отличие от случая с грешником) ничего не добавляют здесь к характеристике данного лица — т. е. с языковой точки зрения, нельзя быть большим или меньшим развратником. Что же касается способа семантического согласования в этом случае, то, на наш взгляд, здесь остается только одна из возможностей: ‘N вопреки преклонным годам’. Любопытно, что сочетание **старый праведник* оказывается вовсе неприемлемым: имя *праведник* описывает постоянное свойство, не зависящее от возраста лица. Таким образом, *грешник* — это градуируемое, прогрессирующее со временем свойство (*второй* аспектуальный класс), *развратник* — постоянное свойство человека, но связанное с возрастом (*первый* аспектуальный класс), *праведник* — вне возраста и времени (подобные случаи фактически образуют отдельный, *пятый* аспектуальный класс).

Рассмотренные примеры призваны были продемонстрировать, что даже небольшие семантические различия могут, вообще говоря,

привести к тому, что похожие лексемы попадут в разные классы нашей классификации. Вместе с тем, чем больше общего в семантике двух лексем, тем, следовательно, больше вероятность их возможного объединения в один аспектуальный класс. Ну а если это одна и та же лексема? Может ли она относиться к разным классам или это значит, что у нее необходимо различать более одного значения? Речь идет о примерах типа: *«Надень мои старые ботинки, они еще совсем новые»* (пример Д.Н. Шмелева), когда один и тот же объект (в данном случае — ботинки) осмысливается то как сменный, то как «стареющий» артефакт и соответствующее имя должно, следовательно, попадать в разные аспектуальные классы. Примеров подобного рода очень много; в частности, как мы говорили, практически всякий раз интерпретации второго типа с неодушевленными артефактами сопутствует еще какая-то другая; ср. также только что разобранные примеры со словами *букварь* и *учебник*, где возникала возможность не только двоякой, но даже и троякой интерпретации сочетания.

На наш взгляд, множественная интерпретация имен естественна, потому что так устроена — по крайней мере в предметной зоне — и сама языковая классификация (ср. Предисловие, а также — применительно к таксономической классификации — § 6 Главы I). Один и тот же предмет, вещь, лицо в языке отражается большой совокупностью разных свойств; эта совокупность имеет некоторую структуру, но вовсе не иерархическую: очень часто при описании предметной лексемы трудно выделить безусловно доминирующую семантическую составляющую. Поэтому, даже будучи уже назван, объект может быть тем не менее воспринят по-разному, в зависимости от ситуации и контекста употребления имени — т. е. в разных случаях могут выделяться разные свойства, и тогда имя может быть отнесено к разным семантическим типам одновременно. С точки зрения теории классификации это значит, что хорошую древовидную (таксономическую) классификацию на материале именной лексики построить нельзя: практически каждое имя будет «стремиться» в несколько классов одновременно, нарушая стройность картины, так что, видимо, лингвистически содержательная классификация имен должна быть фасетной.

Но сложность семантической структуры имени касается не только его таксономических характеристик — точно так же дело обстоит и с другими, в том числе, аспектуальными характеристиками. Что такое *игрушка*? Игрушка — это артефакт, игрушки могут ломаться,

портиться и т. д., — в конце концов, у них есть свой срок жизни, поэтому когда мы говорим:

— *Давай починим старые игрушки!*,

мы имеем в виду вещи, почти отслужившие свое время (второй класс). Но, с другой стороны, игрушки делаются в расчете на определенный возраст: погремушки, куклы, конструкторы — все это игрушки, предназначенные, чтобы *сменять* друг друга, поэтому в контексте:

Его старая любимая игрушка — бегающий мышонок — давно уступила место компьютеру

имя *игрушка* обозначает сменный объект и должно быть отнесено к третьему классу.

Наконец, те же игрушки придумывают, изобретают и изготавливают особые мастера, и используемые при этом способы и приемы, как это бывает при всякой творческой деятельности, оказываются характерными для своего времени; следовательно, во фразе типа:

В Париже прошла выставка старой игрушки

оправдано ожидать интерпретации, при которой *игрушка* окажется в четвертом аспектуальном классе.

§ 6. Семантика температуры*

1. Вводные замечания

Настоящий раздел посвящен описанию семантики прилагательных со значением температуры. Как мы уже говорили, эти прилагательные не входят в «канонический» список Диксона, однако в русском языке эта семантическая зона очень развита. С лингвистической точки зрения температура интересна в двух отношениях. Во-первых, она, как и цвет, в жизни определяется довольно сложным образом, с помощью особой шкалы и специального прибора — градусника, которые, как и длина волны для цвета, конечно, не могут иметь никакого отношения к тому, что о данной предметной области думает носитель естественного языка. Следовательно, первая проблема здесь — это поиск каких-то абсолютных, но уже лингвисти-

* Первоначальный вариант опубликован в: НТИ, сер. 2, 1999, № 9.

ческих (т. е. семантических) коррелятов для разных значений температурной шкалы. С другой стороны, бытовое представление о температурных значениях очень размыто; например, имеется довольно большое число прилагательных, которые по своему значению очень близки к *теплый* (*прохладный*, *тепловатый*, *холодноватый*, *чуть теплый*) и очевидным образом в физическом мире имеют одни и те же «температурные корреляты» — то, что одному покажется *прохладным*, для другого будет *теплым* или *холодноватым*, и под. Ясно, что в этой зоне температурная семантика в гораздо большей степени определяется субъективной оценкой говорящего — но является ли эта оценка совершенно произвольной?

В работе решаются обе задачи. Во втором разделе, следующем после введения, будет представлен анализ атрибутивных употреблений русских температурных прилагательных теплой зоны спектра и определены параметры, структурирующие температурные значения в русской картине мира; «холодные» и «промежуточные» значения температурной шкалы рассматриваются в третьем разделе параграфа.

Четвертый раздел будет посвящен семантике метафорических употреблений температурных прилагательных. Мы покажем, что система переносных значений тоже образует своеобразную шкалу температур. В заключении будут высказаны некоторые замечания о классификации имен — в связи с описанием температурных характеристик внеязыковых объектов.

2. Температурные прилагательные из теплой зоны спектра

2.1. Горячий Русское *горячий* может быть истолковано как «имеющий высокую температуру, которая воспринимается человеком тактильно, прежде всего, на ощупь». С *горячий* легко сочетаются имена объектов, для которых естественно быть сильно нагретыми — на солнце, на огне или за счет собственного внутреннего тепла. От солнца нагреваются воздух, ветер, а также камни, песок, скалы и другие поверхности, в особенности металлические — броня, крыша, карниз и т. д. Огнем нагреваются расплавленные металлы и некоторые другие вещества (например, смола, воск), и среди них наиболее существенные для человека — вода, еда, посуда. Наконец, нагревание может происходить, так сказать, изнутри, за счет внутреннего тепла — *горячий источник*, *пепел*, *лава*, *костер*, *зола*, *пламя*.

Особенно естественно внутренне горячее состояние для нагревательных приборов — ср. *горячая печка, батарея, утюг, щипцы* и т. д. Своеобразными нагревательными приборами служат специальные (согревающие) приспособления, содержащие горячую воду: *горячая грелка, губка, компресс, примочка* и т. д.

Для всех перечисленных объектов горячее состояние естественно, но не обязательно — каждый из этих объектов может оказаться не нагретым (и песок, и утюг, и печка, и ветер, и источник и др. под.). Между тем существуют «всегда горячие» объекты — такие, как кипяток или огонь. Для них горячее состояние тривиально и обычно не маркируется поверхностно (ср. ниже, раздел 5). Наряду с всегда горячими, существуют и «всегда холодные» объекты, такие, как лед или снег; для них горячее состояние неестественно. Похожим образом ведут себя названия специально холодной еды и питья: *горячий сок, салат, пиво* и т. д. Никогда не нагревается до «горячей» температуры и вода в естественных условиях, ср.: **горячий дождь, река, пруд, лужа* и под.

Своеобразным барьером, который отделяет русское *горячий* от более низких значений температуры, прежде всего от *теплый*, является температура человеческого тела: *горячий* — это то, что *выше* температуры человеческого тела. Заметим, что температура человеческого тела релевантна не только для семантики *горячий* — именно она оканчивается тем «абсолютным нулем», от которого в русском отсчитываются основные языковые температурные значения: если *горячий* выше этого нуля, то *теплый* — приблизительно равен ему, а *холодный* — ниже его.

С лингвистической точки зрения это ожидаемый барьер: во-первых, нормальная температура человеческого тела всегда постоянна и является в этом смысле удобным ориентиром в температурной зоне. Во-вторых, *горячий* — тактильно, а это значит, что сама процедура проверки на то, является ли данный объект горячим, предполагает, что объект трогают и тем самым сопоставляют его температуру с (обычной) температурой человеческого тела. Поэтому понятно, почему в русском языке разрешено *горячая земля, горячий лоб, горячие руки, ноги, губы* и запрещено, скажем, **горячее море*: температура морской воды всегда ниже температуры человеческого тела, а температура тела разгоряченного или больного человека или поверхности земли может казаться (быть) выше.

Интересно, что такой естественный антропоцентричный параметр, как температура тела человека, с типологической точки зрения всё же не универсален. Так, в шведском (и, скорее всего, в других германских языках) тактильность для температурной системы нерелевантна, потому что, в отличие от русского, в шведском всего одно прилагательное высокой температуры — как для объектов, входящих с человеком в непосредственный контакт (вода, песок, чай, уют и проч.), так и для всех остальных. Существенным оказывается тот порог, после которого температура становится неприятна для человека — т. е. или слишком горячей (швед. *het*, нем. *heiß*), или слишком холодной (швед. *kall*, нем. *kalt*); кроме того, маркируется промежуточная, т. е. приятная для человека температура (швед. *varm*, нем. *warm*). Понятно, что в этом случае и «высокая», и «средняя» германская температура по своим абсолютным значениям оказываются выше, чем русское *горячий* или *теплый*; в частности, применительно к тому, что по-русски называется *горячая пища*, в шведском употребляется *varm*, а не *het* — последнее же в сочетании с едой или питьем указывает на слишком горячую, обжигающую температуру (подробнее см. Копчевская-Тамм, Рахилина 1999, Koptjevskaja-Tamm, Rakhilina 2006).

Вероятно, в других системах возможны и другие точки отсчета: так, французскому языку (и другим романским?), по-видимому, свойственна — в качестве абсолютного нуля — идея индифферентной, т. е. нечувствительной для человека (ни холодной, ни горячей, ни теплой) температуры (*tiède*), от которой затем вверх (*chaud*) и вниз (*froid*) по температурной шкале «отсчитываются» другие значения. Впрочем, индифферентная температура маркируется и в шведском — в зоне промежуточных значений температур (*ljust*), см. ниже.

Естественно, что тактильное *горячий* ощущается прежде всего на ощупь, руками (*горячий уют*), но, кроме того, и подошвами ног (*горячий песок*), ртом (*горячее молоко*) и всей кожей (*горячий ветер*).

Другой аспект тактильности *горячий* в том, что горячим может быть лишь объект, непосредственно и только в ситуации своего естественного функционирования соприкасающийся с человеческим телом. Если для объекта такое несвойственно, он не может определяться как горячий, ср. легко интерпретируемое *горячий пол* (степень нагретости пола естественно «измеряется» подошвами ног) и сомнительное *горячий потолок*, для интерпретации которого нужна, наоборот, прагматически нестандартная (тактильная) ситуация. Разумеется, невозможны сочетания *горячий* и с именами объектов, для которых параметр температуры поверхности нерелевантен сам по себе, ср.: *горячий/холодный уют*, *горячее/холодное питье*, но не **горячий плед*, *сумка*, *покрывало*, *шуба* и др.

Требование тактильности в семантике *горячий* запрещает сочетания *горячий* с названиями пространств, помещений, а также перио-

дов времени, ср.: *горячая равнина, пустыня, комната, дом, июнь (в прямом значении прилагательного) и мн. др.

Горячий противопоставлен двум другим прилагательным высокой температуры — *жаркий* и *знойный*, и прежде всего именно по параметру тактильности.

2.2. Жаркий и знойный Русское прилагательное *жаркий* подразумевает специальный источник тепла, излучающий его в сильной степени (= *жар*); тепло воспринимается через воздух, так что человек ощущает его как лишнее, говоря: *мне жарко*.

Источники жара здесь могут быть достаточно разнообразны — ср. *жаркое солнце, печка, камин, батарея, костер, огонь, пламя* и под. — при условии, что их жар достаточно сильный, чтобы он мог восприниматься опосредованно, через окружающую среду; следовательно, *жаркий* описывает нетактильные ощущения. При этом пространство, через которое человеку передается жар, должно разогреваться, так сказать, целенаправленно. Поэтому невозможны сочетания типа: **жаркий уют / грелка / чайник* или **жаркий кипяток / песок / лава / пепел* — тепло, исходящее от этих объектов, слишком локально и обычно воспринимается только тактильно, но даже и в том случае, когда окружающее пространство всё же разогревается, это является лишь побочным результатом: такие объекты не воспринимаются как «настоящие» источники тепла. Далее, помимо источников тепла, *жаркий* может описывать и проводники тепла (*жаркий воздух / ветер*), а также пространства (*жаркая степь / пустыня*), помещения, в которых колебания температуры значительны или заметны для человека (*жаркая баня / изба / комната / купе*) и периоды времени (*жаркий день / июль / год / часы*).

Одежда, которая одновременно является и согревающим приспособлением, и своего рода вместилищем тепла, тоже может обозначаться прилагательным *жаркий*: *жаркий свитер / кофта / майка / плащ*; понятно, что сочетания *жаркий* с несогревающей одеждой вряд ли возможны, ср.: ??*жаркий фартук / галстук*.

Русское прилагательное *знойный* может быть истолковано как ‘распространяющий зной (т. е. сильный жар солнца), и вследствие этого утомляющий и расслабляющий человека’.

Как и *жаркий*, *знойный* сочетается, в первую очередь, с двумя основными группами имен — названиями источника жара, каковым здесь может быть только солнце (ср. *знойное солнце* при невозможно-

сти **знойная печка*), и проводников жара: *знойный воздух / ветер*. Благодаря метонимическому переносу *знойный* применимо также к названиям пространств, *где* «знойно» — *знойная степь / пустыня / равнина...*, — и периодам времени, *когда* «знойно», — *знойное лето, вечер, пора, часы...* Семантика *знойный* не предполагает других расширений: ни помещения, ни части тела, ни одежда, ни имена других групп, вообще говоря, не должны сочетаться с *знойный* (о переносных значениях *знойный* см. ниже, раздел 4.1).

Мы рассмотрели ряд основных русских прилагательных со значением высокой температуры; дополнить его можно было бы переносными употреблением прилагательного *раскаленный* — в значении ‘нагретый в такой сильной степени, что изменилось состояние объекта’. В прямом значении *раскаленный* описывает прежде всего металлы (*раскаленный чугун / железо*) и угли (*раскаленные угли*), ср. также *раскаленный огонь*. В переносном значении (‘очень горячий — как если бы раскаленный’) это прилагательное применяется к сильно нагретым металлическим поверхностям (ср. *раскаленный утюг / провод / сковорода / батареи* и др. под.) и к другим нагретым твердым предметам (*раскаленные камни / песок / решетка / печка / лампочка* и мн. др.).

Обычно раскаленные предметы нагреты солнцем или огнем, но рабочие части механизмов нагреваются до высокой температуры и за счет собственного движения, и в результате могут описываться говорящим как раскаленные: *раскаленный мотор / двигатель / турбина / поршень* (интересно, что *горячий* по отношению к этой группе лексем практически не применим, ср. ⁵¹*горячий двигатель нашей машины*). Замечательно, что «целые» механизмы или устройства крайне редко описываются с помощью *раскаленный* в аналогичной «рабочей» ситуации, ср.: **В гору медленно, с натугой двигался раскаленный грузовик*; ср. также: **раскаленный компьютер, ?раскаленный полотер* и др. По-видимому, дело здесь в специфике необходимого для *раскаленный* движения. Например, общеизвестное исключение здесь составляет *телефон*, который в языковой картине мира представляется как чрезмерно нагревающийся (*раскаленный*, но не **горячий!*), причем не от работы вообще, а от одних лишь *поступающих* звонков (но не от того, например, что абонент сам целый день разговаривает по телефону), — в результате которых, видимо, прототипический телефон дребезжит и мелко трясется — ср. здесь также вполне приемлемое: *раскаленный будильник / звонок*.

Это единственная группа метафорических употреблений *раскаленный*. Жидкости и «мягкие» объекты плохо сочетаются с этим прилагательным: **раскаленная вода / свеча / одежда / еда, *раскаленный спирт / чай / воск, *раскаленные щеки* и т. п. В переносном употреблении возможно *раскаленный воз-*

⁵¹ Впрочем, у автомобилистов сочетание *горячий двигатель* существует как специальный термин со значением ‘разогретый, в рабочем состоянии’ (замечание Е. А. Гришиной).

дух / ветер (ср. однако: *горячий* / **раскаленный кислород*), но в сочетании с пространствами, постройками и помещениями *раскаленный* «выбирает» в качестве семантической сферы действия их поверхности, ср. *раскаленное купе* ≈ «имеющее раскаленные стены и пол».

2.3. Теплый Русское *теплый* «холоднее», чем *горячий*, и по своему значению близко к «абсолютному нулю»: оно может быть истолковано как «соответствующий температуре человеческого тела или поддерживающий его температуру и поэтому создающий человеку приятное ощущение комфорта и уюта (описываемое им как *мне тепло*)».

Толкование отражает две близкие группы употреблений *теплый*. Первую группу составляют тактильные употребления, когда речь идет о температуре самого объекта — ср. контексты, аналогичные тем, которые мы рассматривали применительно к *горячий*: *теплый воздух / вода / дождь / чай / руки / поверхность* и под. Вторую группу формируют, так сказать, «согревающие» контексты, когда объект (сам по себе вовсе не обязательно тактильно теплый) поддерживает температуру человеческого тела, не давая ему замерзнуть: *теплая одежда / квартира / дом / климат / погода* (и, с метонимическим переносом, о периодах времени: *теплая зима / сезон / день* и др.); эти контексты аналогичны контекстам для *жаркий*.

Понятно, что эти две группы тесно связаны семантически: именно потому, что человек воспринимает некоторый объект на ощупь как теплый (первая группа), он во время самой этой процедуры сохраняет температуру своего тела (вторая группа) — проще говоря, не замерзает (даже частично) ни от ветра, ни от воды, ни от еды, ни от пожатия руки и т. д., и это обстоятельство, как правило, дает ему приятные ощущения.

Интересно, что поведение помещений и пространств в отношении *теплый* расходится: для помещений (и содержащих их построек), *предназначенных* для того, чтобы согревать человека, сочетания с *теплый* — чрезвычайно естественны, а с не приспособленными для человека и в каком-то смысле даже изначально чужими ему пространствами такие сочетания запрещены, ср.: **теплая равнина* / **пустыня* / **степь* / **лес* / **горы*, а также: ??*теплый город / улицы*... Исключение здесь составляют почти лексикализованные сочетания *теплые страны / края*, ср. невозможность тех же сочетаний в единственном числе: **теплая страна / край*.

Таким образом, пространства оказываются практически единственной лакуной в сочетаемости *теплый*, если не считать имен всегда горячих (таких, как *кипяток*) или всегда холодных (как *лед*, *мороженое*) объектов. Последние могут в некоторых случаях сочетаться с *теплый*, но при этом, вопреки толкованию (и в полном соответствии с семантическим противоречием, заложенным в такого рода сочетаниях), будут иметь отрицательные коннотации, ср. *теплое пиво / водка / мороженое* и под. Во всех же остальных случаях, в том числе в метафорических употреблении, *теплый* всегда оценивается положительно, в соответствии со второй частью данного выше толкования.

В этом отношении хорошим фоном для *теплый* является уже упоминавшееся шведское *varm* (Копчевская-Тамм, Рахилина 1999; Koptjevskaja-Tamm, Rakhilina 2006). Напомним, что оно обозначает довольно высокую температуру, значительно выше той, которая обозначается русским *теплый*, ср.: *varm soppa* ‘горячий суп’, *varm potatis* ‘горячая картошка’ и другие сочетания с едой и напитками. Вода из крана или душа «согревающей температуры» тоже описывается как *varm*. *Varm*, а не *het* — это температура компрессов, примочек и грелок (такого типа приспособления температуры «*het*» было бы просто невозможно использовать), ср. здесь также сложные слова *varmvatten* ‘горячая вода’, *varmvattenkran* ‘горячий кран’. Подчеркнем, что шведский язык тоже различает два вида кранов, но не ‘холодный’ и ‘горячий’, как русский, а ‘холодный’ (*kall*) и *varm*. Замечательно, что в шведском языке есть и сложное слово *helvatten*, но оно имеет чрезвычайно специфическое, техническое значение: ‘вода при очень высокой температуре и очень высоком давлении, используемая в системах отопления’.

Varm дает приятное согревающее ощущение и, благодаря этому обстоятельству, применяется чрезвычайно широко. *Varm* характеризует одежду и постель, в которых человеку тепло: *varm truja* ‘теплый свитер’, *varma stuvlar* ‘теплые сапоги’ и т. п. Морская вода, река, озеро, дождь и т. д. — тоже может описываться как *varm*: *varmt vatten* ‘теплая вода’, *en varm sjö* ‘теплое озеро’, *varmt regn* ‘теплый дождь’, и это выражает субъективное ощущение человека. Понятно, что температура такой воды значительно ниже температуры человеческого тела: вода в ванной «природной» температуры уже будет называться не *varmt*, а *ljunt*.

Температура воздуха, ветер, погода, климат, а также, метонимически, температура, свойственная некоторому периоду времени (*den varma luften* ‘теплый воздух’, *den varma vinden* ‘теплый ветер’ и др.), — всё это обозначается как *varm* и приблизительно соответствует по своему значению русскому *теплый*. То же относится к температуре помещений, если в них поддерживается приятная согревающая температура. Заметим, что, в отличие от русского *теплый*, *varm* может описывать температуру и некоторых пространств: *den varma u?* ‘остров, характеризующийся теплой погодой’, *den varma dalen* ‘долина, в которой тепло’.

То, что по-русски называется *горячий воздух* и идет от вентилятора или фена, по-шведски будет *varm* (не **het!*). Более того, само излучение источников тепла — называемое по-русски *жаром* — тоже в обычном случае может характеризоваться как *varm*, ср. *den varma solen* ‘жаркое солнце’, *den varma elden* ‘жаркий костер’, *den varma kaminen* ‘жаркая печка’, *den varma brasan* ‘жаркий огонь’ (ср. русск. **теплый костер, огонь*).

Тем самым, по своей абсолютной температуре *varm* довольно часто сблизается с *het*, так что никакой жесткой границы между их референциальными значениями в шведском языке нет. В частности, для некоторых объектов одна и та же температура может описываться и как (очень/*mycket*) *varm*, и как *het*: это верно для подогретой воды (*en [mycket] varmt / hett vatten*), жидкой еды (*[mycket] varm/het soppa* ‘горячий суп’), поверхностей (*en [mycket] varm / het stekpanna* ‘горячая сковорода’). Правда, есть и объекты, для которых выбор однозначно определен в пользу *varm* (например, твердая пища, помещения, см. выше): семантическая сфера действия *het* гораздо более ограничена. Лабильность *varm* и *het* проявляется и в отношении человеческого тела. В принципе, *varm* обозначает нормальную температуру тела: *varma händer* ‘теплые руки’, *varma lappar* ‘теплые губы’ и проч. Но повышенная температура тоже может обозначаться как *varm*, и здесь *varm* успешно конкурирует с *het*: *Jag kunde pe hans varma / heta panna* ‘Я потрогала его горячий лоб’.

В шведском языке *het* — это неестественная для человека, и поэтому неприятная, высокая температура (в очень небольшой степени оценочный компонент такого рода присутствует в русских *жаркий* и *знойный*: в них тоже есть «лишнее» тепло). Весь диапазон согревающего тепла приходится, следовательно, на *varm*, которое, таким образом, захватывает очень большой фрагмент температурной шкалы — от воды в естественных природных условиях до горячего чая. Поэтому, с одной стороны, именно *varm* противопоставляется *kall* ‘холодный’ — потому что *varm* оказывается единственным претендентом на эту роль, а с другой стороны, температура *varm* может легко повышаться, и ‘очень *varm*’ приближается к *het*.

Русское же *теплый* описывает практически постоянную температуру из ограниченного температурного спектра, и здесь присоединение интенсификаторов типа *очень* не дает значительных референциальных сдвигов: *очень теплая комната* не сильно отличается по своей реальной температуре от просто *теплой комнаты*, а *очень теплые руки* никогда не подразумевают, что у человека повышена температура. В физическом смысле это то же самое, что и *теплые руки*, а разница здесь только прагматическая.

3. Холодная зона

3.1. Холодный Мы переходим теперь к более низким температурным значениям; интересно, что прилагательных этой семантики количественно значительно меньше, чем их квазиантонимов. Мы начнем с центрального и рассмотрим семантику *холодный*,

потому что именно *холодный* является наиболее близким антонимом к только что разобранным нами *теплый*, хотя при этом он же — антоним к *горячий*.

Холодный = ‘имеющий низкую (ниже нормы) температуру и не поддерживающий температуру человеческого тела, а охлаждающий его’.

Легкие семантические сдвиги, возникающие при употреблении *холодный*, хорошо объяснимы: если речь идет об источнике тепла, то *холодный* — это не согревающий (*холодное солнце*) или недостаточно нагретый / уже остывший (о нагревательных приборах, ср.: *холодная печка / батарея*; то же о еде: *холодная баранина*); холодная одежда — не защищает от холода, холодные поверхности холодят кожу, специально охлажденная еда или напитки — приятно охлаждают (*холодное пиво*).

Прилагательное *холодный* имеет, пожалуй, самую широкую сочетаемость в температурной зоне: только всегда горячие объекты, такие, как *дым, пар, кипяток* обычно не сочетаются с *холодный*. Тем самым, *холодный* обозначает и тактильно, и нетактильно, т. е. опосредованно воспринимаемую температуру, ср.: *холодная поверхность / воздух / свет / дождь / чай / солнце / уют / комната / пустыня*.

3.2. «Промежуточные» температурные значения Рассмотрим теперь «промежуточные» температурные значения, т. е. ситуации, когда не холодно, но и не тепло. В этой зоне мы хотели бы выделить три прилагательных, имеющих, с нашей точки зрения, не совсем тривиальную семантику: *прохладный, тепловатый* и *чуть теплый*.

Семантика *прохладный* довольно любопытна. Дело в том, что в своем прямом значении оно может быть истолковано как ‘охлаждающий до приятного состояния’ и имеет явно выраженную положительную оценку, ср.: *Вода прохладна и свежа, ее меняют сторожа* (С. Маршак), где *прохладный* семантически сближается с «положительным» *свежий* (правда, вне контекста *свежий* синонимичен *прохладный* только в сочетании *свежий ветер*). *Прохладный* наиболее естественно в сочетании с водой и воздухом (*прохладный воздух / ветер / душ / дождь*), а также всегда холодными напитками — *прохладительными* (*сок, пиво...*). Особенностью его сочетаемости можно считать слова *лес* и *тень* (*отдохнуть в прохладной тени*), не допускающие других темпе-

ратурных определений: **жаркий / теплый / холодный лес*; **жаркая / теплая / холодная тень*.

Прохладный безразлично к тактильности: и поверхности, и помещения, и время (метонимически) могут быть охарактеризованы этим прилагательным: *прохладный песок / лоб / кожа / гостиная / ночь...* Довольно трудно подобрать пример сочетаемости *прохладный* с названиями одежды: ведь это должна быть не согревающая (что наиболее естественно для одежды), а, наоборот, приятно охлаждающая одежда, ср. характерное *прохладный шелк*. Конечно, *прохладный* не сочетается и с всегда горячими или специально горячими объектами или источниками тепла (^{??}*прохладное солнце / чай / грелка...*; ср., однако, правильное: *гладить прохладным утюгом*). Это естественно, потому что семантическая доминанта значения *прохладный* — положительная оценка, которая возникает от *отсутствия* (избыточного) тепла, тогда как указанные имена обозначают объекты, предназначенные для *согревания*.

Наиболее нетривиальным свойством *прохладный* является, как мы покажем ниже, ненаследуемость оценки, смена ее на противоположную в переносных употреблениях.

Тепловатый образовано от *теплый* с помощью суффикса *-оват-*, указывающего на небольшую степень присутствия некоторого свойства и бесспорно содержащего определенный оценочный компонент. Так, этот суффикс легко сочетается с отрицательными, но не с положительными свойствами, ср. *глуповатый*, но **умноватый*, *тяжеловатый*, но **легковатый*, *сложноватый*, но **простоватый* — о задаче (интересно, что при этом возможно *простоватый*, но не **сложноватый* о человеке: получается, что простая задача — это хорошо, а простой человек — не очень). Ср. также в сочетании с нейтральными свойствами: *сладковатый чай* (когда он имеет неожиданный и избыточный вкус сахара), *солонватая вода*, *кисловатый творог* (немного несвежий). Таким образом, от *теповатый* естественно ожидать отрицательных коннотаций. Они действительно проявляются — ввиду того, что это прилагательное сочетается прежде всего с названиями специально холодных напитков (ср. *теповатое шампанское / пиво / водка* и под.; в таких случаях возникает идея избытка тепла и отчетливая отрицательная оценка).

Чуть теплый, имея примерно то же референциальное значение, что и *теповатый*, наоборот, обозначает недостаток тепла, ср. *чуть*

теплые / **тепловатые* руки, *чуть теплая* / **тепловатая* печка, *чуть теплый* / **тепловатый* чайник и под. Именно поэтому странно звучат сочетания типа *чуть теплая водка* — в отличие от приемлемого (хотя и невкусного) *тепловатая водка*.

Дело в том, что русское *чуть* обозначает очень небольшую (практически приближенную к нулю) степень проявления не вообще любого признака, а только *уже ослабленного* (см. Баранов и др. 1994). Поэтому по-русски не говорят **чуть высокий*, **чуть серый*, **чуть толстый*, **чуть грубый* и др., а только *чуть высоковатый*, *чуть сероватый*, *чуть толстоватый*, *чуть грубоватый*. Тот факт, что *теплый* легко сочетается с *чуть*, как раз свидетельствует в пользу нашей гипотезы о промежуточности температурного значения *теплый* для русского языка (ср. неприемлемость **чуть горячий* / *жаркий* / *холодный*, при возможном *чуть холодноватый*).

Интересно, что обычно при сочетании *чуть* с прилагательным возникает эффект избыточного, хотя и минимального, значения признака: *чуть грубоватая манера держаться* значит, что она грубая в самой небольшой степени — но все же больше, чем нужно. Этот эффект возникает, безусловно, благодаря отрицательному вкладу суффикса *-оват-* (см. выше). *Теплый* представляет собой тот редкий случай, когда промежуточное значение признака достигается «без помощи» этого суффикса. При этом, как мы уже говорили, квинт-эссенцию *теплый* составляет положительное значение. Поэтому здесь эффект сочетания с *чуть* совершенно противоположный обычному, а именно: *чуть теплый* воспринимается как *недостаточно*, а не избыточно теплый (ср. с *чуть тепловатый*, который воспринимается как избыточно, хотя и минимально теплый).

Ближайшим коррелятом русского *прохладный* в шведском языке является *sval*, в первую очередь потому, что именно *sval* имеет сильный положительный компонент в своем значении: *sval* — это, безусловно, *приятная* для человека температура. Лучше всего *sval* описывает проводники тепла: *en sval vind* ‘прохладный ветер’, *en sval luft* ‘прохладный воздух’ и периоды времени: *en sval kväll* ‘прохладный вечер’. Важным компонентом в значении *sval* является противопоставление недопустимо или неприятно высокой температуре; так, приведенные выше сочетания обычно произносятся, скажем, в контексте жаркого дня. По контрасту с жарой на улице или с более теплым помещением / пространством вполне приемлемы сочетания: *en sval skugga* ‘прохладная тень’ или *ett svalt rum* ‘прохладная комната’. Таким образом, *sval* выражает не абсолютную, а относительную температуру: не прохладную, а, как можно было бы сказать по-русски, «охлаждающую», в то время как аб-

солютное значение русского *прохладный* гораздо более определено: это скорее холодная, чем теплая температура, так что прохладным может быть воздух, вода в реке или, например, сок — но не суп или чай. Любопытна этимология слова *sval*: его первоначальное значение — ‘палящий, жгущий’, из которого развились значения ‘то, что догорело’ или ‘жгуче холодный’. Подобные развития значений неоднократно засвидетельствованы: например, английские слова *frost* ‘мороз’ и *freeze* ‘мерзнуть’ родственны, как считается, латинскому слову *pryna* ‘горящий уголь, жар’.

Одновременно в шведском существует и выражение для «неприятно-слегка-охлаждающей» температуры. Она обозначается как *kylig* и характеризует воду (*kyligt vatten*), воздух (*kylig luft*), погоду (*kyligt vøder*), климат (*kyligt klimat*), поверхности (*en kylig klippa* ‘прохладная скала’, *den kyliga marken* ‘прохладная земля’), помещения (*ett kyligt rum* ‘прохладная комната’), но не еду и не части тела (**kyligt ul* ‘прохладное пиво’, **kyliga hønder* ‘прохладные руки’).

Наконец, шведское *ljum*, в отличие от *sval*, наоборот, имеет достаточно определенный, и при этом узкий, температурный диапазон. Этот диапазон, вообще говоря, ближе всего соответствует русскому *теплый* по своему референциальному значению: *ljum* тоже может обозначать температуру объекта, верхний порог которой приблизительно равен температуре человеческого тела. Это может быть, например, температура недостаточно горячего кофе и недостаточно холодного сока: в подобных случаях появляются отрицательные коннотации, ср. аналогичный эффект для русских: *теплый кофе*, *теплый сок*. Именно *ljumt vatten* ‘теплая вода’ используется (уже безоценочно) в кулинарных рецептах вместо русского *теплый* (ср.: *разведите дрожжи в теплой воде*). Такая нейтральная температура бывает даже приятна, если это температура окружающей среды: *den ljumma vinden* ‘теплый ветер’, *den ljumma luften* ‘теплый воздух’, *den ljumma natten* ‘теплая ночь’ или воды в естественном водоеме (но не помещения, ср. запрет на: **det ljumma rummet* ‘теплая комната’: нормальная температура в помещении должна быть выше).

Важно отметить, что никакой жесткой границы между *ljum* и другим шведским коррелятом русского *теплый* — *varm*, вообще говоря, нет: так, приведенное выше сочетание *ljumt vatten* в кулинарных рецептах часто конкурирует с сочетанием *fingervarmt vatten* букв. ‘вода теплая как палец’.

И все-таки семантическое устройство шведского *ljum* нельзя описывать аналогично русскому *теплый*. Действительно, хотя температура, описываемая как *ljum*, часто совпадает с температурой человеческого тела, было бы неправильно определять значение *ljum* в общем случае через эту температуру: в частности, в шведском языке более или менее отсутствуют стандартные сочетания *ljum* с названиями частей тела. Ассоциация с человеческим телом, как правило, приводит к положительным коннотациям в переносных употреблении слов, а их у *ljum* нет, в отличие, скажем, от *теплый* (ср. также следующий раздел).

Тем самым, ни близость денотативного значения у шведского *ljum* и русского *теплый*, ни возможность перевода одного с помощью другого не гово-

рят о *семантическом тождестве* этих прилагательных: если *теплый* называется *приятную* человеку температуру объекта, то *жиз* обозначает *нейтральную* для человека температуру, т.е. такую, которую он не ощущает, при которой ему не тепло и не холодно. (Подробнее см. Копчевская-Тамм, Рахилина 1999 и Koptjevskaja-Tamm, Rakhilina 2006.)

4. Метафорические употребления

4.1. Метафоры высоких температур

Основная линия метафорического развития русского *горячий* идет в сторону «**быстрый**» и «**интенсивный**». Типологически совмещение значений «горячий» и «быстрый» естественно: есть языки, в которых эти значения выражаются одним словом, например, *питс* в догон (Западная Африка, Мали; см. Kervan 1993: 371). В чистом виде значение «быстрый» реализуется в русском *горячие лошади*.

«**Быстро**» ⇒ «**недавно**». Очень интересный композиционный эффект проявляется в русском сочетании *горячие следы*, где значение «быстро», приложенное к имени результата, трансформируется в «недавно»: *горячие следы* — это следы (в прямом и в переносном смысле), оставленные недавно, ср. *поиски исчезнувших документов велись по горячим следам*; *Я хотел бы написать эту работу по горячим следам, сразу после конференции*. Случаен ли этот семантический сдвиг в метафоре? Помимо естественной ассоциации с горячей пищей (*горячие пирожки* — это те, которые еще не успели остыть, «с пылу, с жару»), обратим внимание на частую несовместимость идеи «быстро» с идеей результативного состояния: ср., с одной стороны, невозможное **быстро пьян*, а с другой стороны, возможность интерпретации «быстро» в сочетаниях типа *быстро пришел*, *быстро понял* как «скоро, через небольшое время» (это один из самых распространенных типов полисемии у слов со значением «быстро», см. подробнее Богуславский, Иомдин 1999; Плунгян 2000). Переход «быстро» ⇒ «недавно», вообще говоря, семантически ожидаем, и особенно в контекстах результативных имен. Однако в русском *горячие следы* — единственный собственно русский пример такого рода: так же можно интерпретировать только сочетание *горячая линия*, но оно является очевидной калькой.

В других же языках подобных примеров довольно много, ср. например, швед. *heta nyheter* ‘свежие новости’ (англ. *hot news*); дальнейшая модификация метафорического значения здесь происходит в направлении: ‘(произве-

денный) недавно' ⇒ 'актуальный, злободневный, модный, широко обсуждаемый'. В частности, самые модные, скажем, в этом году шлягер, прическа и т. п. описываются как «самые горячие», ср. швед. *årets hetaste låt / restaurang / stovlar / bank / frisyр*, букв. 'самая горячая песня / ресторан / сапоги / банк / прическа года'). В последнее время в русском языке наблюдается наплыв калек такого рода.

Актуальная, свежая информация, ведущая, как можно надеяться, к достижению важной цели — скажем, к раскрытию преступления, — в шведском тоже обозначается как *het: ett hett tips*. Любопытно, что именно в этом значении употребляется и (почти что) буквальный эквивалент русских «горячих следов» — *ett hett spår* (здесь «след» в единственном числе, в отличие от русского выражения), но по-шведски след горячий не потому, что он изначально не успел остыть, а потому что он, так сказать, накалился от тех страстей, которые бушуют вокруг него (Копчевская-Тамм; Рахилина 1999: 476; Koptjevskaja-Tamm, Rakhilina 2006).

Другой эффект, возникающий в метафорических сочетаниях типа «горячий как быстрый», виден в русских фразах *горячий парень* — и, метонимически по отношению к людям, *горячая голова*, а также *под горячую руку*. *Горячий* по отношению к людям означает очень быструю, т. е. скорую реакцию на какую-то ситуацию. Эта реакция настолько быстрая, что она слишком эмоциональна: человек не успевает продумать свои поступки. *Горячий* в этих употреблении можно было бы интерпретировать как 'так быстро, что за счет неуместной спешки эмоции оказываются сильнее разума'. Эта же идея встроена в сочетание *под горячую руку*, которое относится к ситуации, когда человек вовлечен в некоторую интенсивную деятельность (как бы что-то быстро делает руками) и, не подумав, может сделать что-то необдуманное (*я выкинула нужные бумаги под горячую руку*) либо агрессивно отреагировать на какого-то человека, который в таком случае *попался ему под горячую руку*.

«Интенсивность». «Военная» метафора. В русском языке метафора «горячий ⇒ быстрый» легко развивается в сторону «интенсивный», причем значение «интенсивный» проявляется в двух областях: в «военной» и в области человеческих отношений и реакций. Так, естественны сочетания *горячий бой* = 'интенсивный бой', *горячая схватка*, *горячее сражение* и — в том же ключе «военной» метафоры — *горячий спор*, *дискуссия*. Интересно, что практически синонимичны этим сочетаниям оказываются аналогичные с прилагательным *жаркий*: *жаркий бой / схватка / сражение / спор / дискуссия*. Кажется, что «метафорическая история» у них, тем не менее, разная: *жаркий* в

метафорическом смысле — это такой, который можно было бы представить как бы «источником тепла», «разогревающим» окружающее пространство⁵².

Из метафорических употреблений 'горячий \Rightarrow интенсивный' в русском путем метонимического переноса возникают сочетания *горячая пора / месяц / год / дни*, обозначающие периоды времени, в которые происходит интенсивная деятельность (которая, кстати, по-русски может быть определена как *горячка* — ср. фразеологизм 'пороть горячку' в значении 'торопиться'). Русское *жаркий* в таких контекстах очень ограничено, ср.: *жаркая пора / жаркие дни*, но: ?*жаркий месяц / год* и др.

«Интенсивность». Человеческие реакции. Вторая линия проявления «интенсивности» в употреблении *горячий* — это, как мы уже говорили, положительные человеческие реакции и отношения: *горячее участие, воодушевление, энтузиазм, интерес, приветы, слова, поздравления, аплодисменты, отклик, прием, вера, стремление*. Все эти сочетания интерпретируются как типы **активных реакций** — спонтанно возникающие человеческие чувства не характеризуются как горячие (**горячая радость, надежда*; ср. также пару *Он вызвал у меня горячие чувства* — **У меня возникли горячие чувства*, в которой чувство-реакция сочетается с температурной метафорой, а «само собой» возникшее чувство — нет). Дружба и любовь — в самом широком смысле (ср.: *горячая любовь к родине*) — в русском языке тоже интерпретируются как реакции и могут быть горячими (ср. запрет на: **горячие отношения* или: **горячее сотрудничество*).

Интересно, что в шведском часть этих метафорических контекстов соответствует употреблению *het*, а часть — *varm* (тем самым как бы повторяя распределение, свойственное прямым значениям этих прилагательных, ср. выше замечание в разделе 2): швед. *ett hett intresse* 'горячий интерес', *en het övertygelse* 'горячая / страстная убежденность' (с некоторым элементом фа-

⁵² Не вполне ясна метафорическая история русского сочетания (по-видимому, кальки) *горячая точка* в значении 'территория (или, скорее, географическая точка), в которой сосредоточена и из которой распространяется политическая (и обычно военная) напряженность' — легко видеть, что она «выпадает» из общей картины метафорического *горячий*. Кажется, что стандартное развитие должно было бы дать, скорее, сочетание *жаркая точка* в этом значении: источник тепла (= напряжения, причем существенно, что военного), распространяющий его. В этой связи интересно было бы проанализировать другие близкие метафорические «ходы» в стиле Лакова-Джонсона, ср., например шведское соответствие горячей точке *oroshård* — букв. «очаг волнения».

натизма), *en het önskan* ‘горячее желание’, *en het längtan* ‘горячее стремление / страстная мечта’, *varma applåder* — ‘горячие аплодисменты’, *varm kärlek* ‘горячая любовь’, подробнее см. Копчевская-Тамм, Рахилина, 1999.

Жаркий, знойный. Метафорические употребления *жаркий* связаны с интерпретацией некоторого объекта как «разогревающего», распространяющего жар источника тепла. Им могут стать, например, некоторые части тела: губы, руки (ср. также *жаркие объятия*), бок, грудь (ср., однако: **жаркий нос* / **нога* / **шея* ...). При этом сам жар получает метафорическую интерпретацию, связанную с любовной страстью, отсюда *жаркие слова* / *голос* (уже как источник страсти, распространяющий и как бы насыщающий ею пространство), а также *жаркая женщина* / *любовница*, но не: **мужчина* / ?*любовник*; ср. здесь же: *жаркая страсть* / *жаркая любовь* (только определенного рода, ср. ??*жаркая страсть к картам* или ??*жаркая любовь к обездоленным детям*). Заметим, что слабые отрицательные коннотации, иногда проявляющиеся в употреблениях *жаркий* типа *жаркая одежда*, *жаркий климат* (ср. также: *жарко пришлось, задать жару*), в метафорических контекстах полностью исчезают — наоборот, появляется положительная оценка.

С любовной страстью связаны и метафорические употребления *знойный*, которое тоже сочетается с именами (кстати, прежде всего с отглагольными, а не предметными) чувственной сферы, ср.: *знойная страсть* / *ласки* (= ‘утомляющие и расслабляющие’) и немногими другими — в частности, не именами лиц. Ср., однако, вошедший в обиход неологизм Ильфа и Петрова *знойная женщина* / *мужчина* = ‘как бы источник зноя, воздействующий аналогичным ему образом на чувства человека’.

4.2. Холодный и «промежуточные» прилагательные

Метафорические употребления *холодный* описывают прежде всего человека и его действия и связаны с отсутствием источников человеческого тепла — души и сердца, поэтому *холодный* (о человеке) — это лишенный эмоций (за которые как раз ‘отвечают’ в наивной картине мира именно эти два органа, см. подробнее Урысон 1995), ср.: *холодная красавица*. Поэтому *холодный* может значить ‘бездушный, бессердечный’ и иметь отрицательную оценку: *холодный взгляд, слова, голос*; в то же время отсутствие эмоциональной стороны может быть компенсировано разумом и рассудком: дополнительность разума и эмоций в

наивной картине мира мы уже отмечали, когда говорили о прилагательном *горячий*. Поэтому сочетания типа *решишь все на холодную голову*, т. е. 'взвешенно, без <лишних> эмоций' имеют положительную оценку, ср. то же значение в *хладнокровный*⁵³.

Теплый в метафорических употреблении значит, прежде всего, 'приятный человеку' — по разным причинам. Это могут быть искренние реакции по какому-то хорошему поводу, которые доставляют самому человеку приятные ощущения: *теплые чувства, взгляд, письмо, слова, воспоминания, прием, встреча*, но не: **теплые соболезнования* — потому что это недостаточно хороший повод, **теплая просьба* — потому что это вообще не реакция, **теплая благодарность* — потому что она недостаточно обращена на самого (благодарящего) человека, чтобы доставлять ему удовольствие. В этом же ряду можно рассматривать сочетания *теплые отношения* и *теплую дружбу* — как искренние и приятные отношения, они «греют душу», ср. невозможность *теплый* в эмоционально более напряженных ситуациях: **теплая любовь, страсть*.

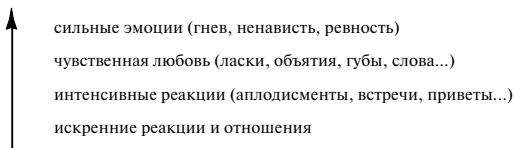
Помимо этого, среди метафорических употреблений *теплый* остаются еще два так называемых фразеологизма — *теплая компания* и *теплое местечко*. Смысл сочетания *теплая компания* порождается просто — это та компания, в которой приятно; семантика второго сочетания более идиоматична, потому что *местечко* в данном случае значит не просто место, а место службы, т. е. должность. Если это местечко называется теплым, значит должность (не работа, а именно должность) человеку почему-то удобна — прибыльна, не доставляет хлопот — т. е. по-прежнему в каком-то смысле приятна.

Особого замечания заслуживает температурная метафора в отношении цвета: в применении к цвету русский, как и многие другие языки, использует подразделение на теплые и холодные цвета. Эта метафора распространена достаточно широко и, судя по всему, является заимствованием. Для того, чтобы оценить ее семантику и степень соотнесенности с теми или иными объектами внешнего мира (и в частности, проверить гипотезу о мотивированности семантики цветов в этом случае, см. Wierzbicka 1990), нужно было бы, как кажется, опираться на подробное ее исследование в типологическом и диахроническом аспектах.

⁵³ Обратим внимание на отсутствие антонимии в настоящем смысле между *горячей кровью* и *хладнокровием*: хладнокровный человек лишен эмоций, но не медлителен: его «темп» контролирует рассудок.

Из «промежуточных» температурных прилагательных метафорически употребляется только *прохладный*. Его метафорические употребления включают только сферу человеческих отношений и реакций, ср. *прохладные отношения / чувства / слова / воспоминания*, и характеризуются известной долей равнодушия, безразличия. Примечательно, что здесь «положительное» *прохладный* полностью теряет положительную оценку (интересно, что то же происходит и со шведскими прилагательными «промежуточных» температур *sval* и *ljum*, см. Копчевская-Тамм, Рахилина 1999: 482): видимо, «норма» для этой семантической зоны значительно выше, т. е. температура хороших отношений и реакций, скорее, должна быть больше (или, по крайней мере, не меньше) температуры человеческого тела.

4.3. Шкала температурных метафор Итак, мы убедились, что и «температурные» метафоры как таковые, и различия в метафорическом «пути» температурных коррелятов в целом выводимы из их исходного семантического представления. В заключение раздела о метафорах нам хотелось бы обратить особое внимание на значительную общность метафорической зоны температурных значений в целом: как если бы существовала не только физическая, но и метафорическая температурная шкала, по которой были бы распределены (в соответствии с определенной системой, своей для каждого языка) уже не предметы, а ситуации:



Получается, что в русском языке параллельно обычной температурной шкале имеется своеобразная метафорическая шкала человеческих состояний и ощущений, ср.:

холодный — ‘лишенный эмоций (но при этом, возможно, руководимый рассудком)’;

теплый — ‘создающий приятное ощущение’;

горячий — ‘интенсивный в эмоциональном отношении (в том числе в ущерб разуму)’;

жаркий — ‘распространяющий сильные (чувственные) эмоции, по аналогии с источником тепла’.

Легко видеть, что семантика метафорического переноса *теплый* как бы выбивается из общего ряда, так что правильнее было бы *теплый* из него исключить. И наоборот, добавить к этой метафорической шкале следовало бы прилагательное *прохладный*. Действительно, когда речь идет о метафорических контекстах (ср. *прохладное письмо / слова / воспоминания / отношения / чувства...*), то сочетаемость *прохладный* практически полностью совпадает с сочетаемостью *теплый* (но сравни невозможность **прохладное сочувствие / дружба*). МАС толкует эти употребления как имеющие значение ‘равнодушный, безразличный’, т. е. говорит об *отсутствии* эмоций. Тем самым, в приведенной выше шкале *прохладный* как раз в точности занимает место исключенного *теплый*: ‘лишенный эмоций, как положительных, так и отрицательных, причем место их не занято разумом’. (Интересно, что оценка здесь все равно остается отрицательная — несмотря на «нейтральное» положение в шкале и собственную положительную оценку у *прохладный*.)

5. Температурные прилагательные в связи с классификацией имен

Специфика температурных прилагательных состоит в том, что они, в отличие, скажем, от прилагательных размера или формы, которые задают относительно стабильную классификацию на множестве предметных имен (Talmy 1983, см. также § 2 настоящей главы), описывают прежде всего не постоянные, а временные и даже сиюминутные свойства объекта: температура может меняться с одного значения на другое в зависимости от ситуации и даже в зависимости от ее оценки говорящим — т. е., вообще говоря, в зависимости от прагматики и без строгого соответствия какой-то абсолютной физической шкале. Нам интересно было установить, есть ли, тем не менее, какие-то семантические, причем специфичные для конкретного языка, границы у этой неустойчивой картины.

Представленный выше языковой материал свидетельствует, что, действительно, употребление температурных прилагательных ориентируется скорее не на абсолютную шкалу, а на значимые для человека выделенные температурные значения (типа «обжигающая температура» или «температура человеческого тела и поддерживающая ее»

или «нейтральная температура, при которой человек не чувствует ни тепла, ни холода»), имеющие довольно приблизительные физические соответствия. В целом это коррелирует с выводами У. Сутропа (Sutrop 1998 и 1999), который использует понятие «физиологического нуля», заимствованное из физиологии. Антропоцентричность таких температурных «вех» не противопоставляет, а наоборот, сближает эту подсистему с тем же размером: аналогом «научному» представлению температуры в виде, например, шкалы Цельсия, является применительно к размеру, как известно, Евклидова геометрия. Оказывается, и в том, и в другом случае научное представление не моделирует естественноречевое, поэтому лингвистическая модель должна строиться на принципиально других, но, что существенно, принципиально общих — с одной стороны, для разных областей, скажем, для температуры и размера, а с другой, для разных языков — основаниях.

В типологии одним из таких оснований могла бы быть классификация имен с точки зрения их возможных температурных значений — другими словами, типологическая анкета по этой тематике. Ниже мы хотели бы высказать некоторые соображения по поводу такой классификации — на примере анализа русского языкового материала.

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении предметных имен в контексте температурных прилагательных, — это существование *все-гда горячих* и *всегда холодных* объектов в языковой картине мира, таких, как огонь, кипяток и пар или, с другой стороны, снег и лед. Это, конечно, самые простые, прозрачные классы имен с точки зрения температурных значений. Тем не менее, даже с ними дело обстоит далеко не всегда просто.

По идее, представители этих классов не должны сочетаться вообще ни с какими температурными прилагательными — потому что их температура строго задана и строго совпадает с единственным значением, поверхностное указание на которое было бы тавтологией. Однако тавтологические «запреты» оказываются не очень жесткими, ср. действительно не вполне естественное (требующее прагматического контекста) [?]*холодный снег / лед*, а также: [?]*горячий кипяток*, но при этом вполне допустимое: *обжечь себе руки горячим паром*.

Интересен в этом отношении языковой образ объекта, который по-русски называется *пламя* и обозначает *видимую* субстанцию огня. Его метафорическая «температура» чрезвычайно близка к тому «уровню», который выражается словом *горячий* (хотя сочетаемость возможно-

сти значительно более ограничены), ср.: *пламенный привет / стремление / любовь* (но не к конкретным людям, а только в смысле «приверженность», например, *его пламенная любовь к рабочему классу / идеалам демократического мира*). Однако в прямом значении это имя сочетается не только с прилагательным *жаркий* (много хуже — с *горячий*, ср.: *горячее пламя*), но и с прилагательным *холодный*. Это происходит потому, что *пламя* обозначает не только собственно огонь, но и *свет* огня.

Между тем, *свет* — это еще один представитель класса с языковой точки зрения всегда холодных объектов, ср. русское: *холодный / холодноватый / ?теплый / *горячий свет*. (Возможно, это как-то связано с цветом света — бело-голубым, принадлежащим к так называемой холодной части цветового спектра.) Отсюда «холодность» небесных светил в языковой картине мира — луны, звезд (но не солнца, которое воспринимается в первую очередь как источник *тепла*, а не света). Рассвет, закат, зарево — всё это свет, и эти имена тоже допускают только прилагательное *холодный*. Любопытно, что слово *луч* ведет себя в сочетаниях с температурными прилагательными значительно свободнее — так, в русском языке естественно звучит *теплый луч света*. Данное обстоятельство, конечно, требует своего объяснения (см. также ниже).

К классу всегда горячих и всегда холодных объектов примыкают имена артефактов, обозначающих специально горячие / холодные объекты: это, конечно, еда и напитки. В большинстве своем еда имеет специально высокую температуру (выше человеческого тела) — ср. *чай, картошка, суп* и под. Узкий круг блюд и напитков, наоборот, естся и пьется холодными — *шампанское, сок, салат* и под. При этих именах неправильно выбранное температурное прилагательное не невозможно, ср.: *теплое шампанское* (правда, *горячее шампанское* уже звучит странно), но создает эффект «неправильного артефакта», следствием которого оказывается отрицательная оценка в случаях типа *холодные макароны, теплый кофе* и под.

Нетривиальным образом ведут себя названия *металлов*: *сталь, чугуны* и проч., а также *стекло*. Оказывается, что их нормальное с языковой точки зрения состояние — тоже быть всегда холодными (даже метафорическое *стальной блеск* как бы подразумевает *холодный блеск*); *горячий* в применении к этим словам обозначает с языковой точки зрения другое вещество — не нагретый, скажем, на солнце металл, а его раскаленное, даже расплавленное состояние, ср. в этом смысле:

горячий чугун; косвенным подтверждением служит и то, что сочетание *теплый чугун* малоестественно.

Названия пространств (*пустыня, степь, равнина, саванна — жаркая, знойная, холодная*, но, конечно, не **горячая*; *горы — только холодные*, в единственном числе не являются именем пространства и не характеризуются температурными прилагательными) сочетаются с температурными словами довольно избирательно и не допускают «промежуточных» температурных определений — ср. допустимость *жаркая и холодная пустыня / степь / равнина* при невозможности **теплая / тепловатая / прохладная пустыня*. Поразительным исключением в данном случае является слово *лес*: единственное несомненное сочетание, которое это имя допускает в русском, как раз промежуточно по своей семантике — это *прохладный (лес)*; ср.: *холодный лес, *жаркий лес, *теплый лес*.

Обратим внимание, что, кроме того, сам список названий пространств, вообще разрешающих при себе температурные определения, по крайней мере в русском языке очень ограничен — например, невозможны **жаркая деревня / поле / луг* при допустимости *жаркий гор-род*. Страны ведут себя несколько иначе — температурные характеристики описывают их климат как постоянное свойство, ср. *жаркие / теплые / холодные страны* = 'страны с жарким / теплым / холодным климатом'.

Уже эти примеры показывают, что «температурный» взгляд на именную классификацию должен быть особый и ни в коем случае не дублирующий обычные таксономические классы. В этом смысле принцип составления типологической температурной анкеты должен быть, скорее, противоположным тому, который был реализован в работах У. Сутропа в связи с его особой задачей. Действительно, температурная классификация (в отличие от таксономической) представляет собой шкалу, у которой есть два очевидных полюса: *лед и огонь* (но не *пламя!*) — всегда холодное и всегда горячее. К первому примыкают свет, металлы, стекло, пространства, холодное питье и закуски. Ко второму — горячая еда и питье, а также нагревательные приборы. Между ними, в «теплой» зоне температурного спектра, располагаются помещения, одежда, согревающе-охлаждающие устройства типа грелок и компрессов и вода в природе и доме. (Кстати, именно последняя, промежуточная зона как раз и отражает в наибольшей степени лабильность температурных значений; «полюса» же в этом отношении, наоборот, ведут себя довольно жестко.)

В связи с «полярными» классами имен возникает естественный вопрос: есть ли такие имена, которые можно было бы назвать «всегда теплыми»? Единственный претендент на заполнение этой лакуны, который нашелся в русском, — это слово *дым*, для которого, как кажется, данное «температурное состояние» действительно наиболее характерно.

Наконец, отметим огромную «пустую» зону в сочетаемости температурных прилагательных — это живые существа: люди и животные. Температурные прилагательные применяются к ним только в метафорических контекстах (точно так же, как мы помним, ведут себя и прилагательные формы, но не размера и цвета).

Итак, температурная классификация не совпадает с таксономической. Важным следствием из этого оказывается разная сочетаемость с температурными прилагательными имен, обычно попадающих в один класс или подкласс в стандартных таксономических классификациях. В качестве простого примера рассмотрим слова: *одеяло* — *подушка* — *простыня*. Таксономически они попадают в один и тот же класс постельных принадлежностей, так что можно было бы ожидать от них общности языкового поведения — но его нет:

	<i>жаркий</i>	<i>горячий</i>	<i>теплый</i>	<i>прохладный</i>	<i>холодный</i>
<i>одеяло</i>	+	—	+	—	+
<i>простыня</i>	—	+	—	+	+
<i>подушка</i>	+	+	?	+	?

Важно, что такое поведение имен мотивировано: одеяло ведет себя как одежда: *теплое одеяло* описывает не то, что оно нагрето, а то, что под ним тепло, *жаркое* — что жарко, а *холодное* — что холодно; соответствующая строка таблицы будет абсолютно идентична, например, той, которая описывает сочетаемость слова *шуба* или *сапоги*. *Подушка* же с точки зрения температурной классификации — это прежде всего поверхность, сохраняющая тепло. *Простыня* не воспринимается как одежда, но и не сохраняет тепло, как поверхность (сама по себе простыня, наоборот, охлаждает — ср. *прохладные простыни*), однако при особых обстоятельствах *мокрая* простыня (а это в некотором смысле уже другой объект, с другими функциями) может использоваться как «водное» приспособление, согревающее-охлаждающее, подобное компрессу или грелке, ср.: *завернуть в горячую / холодную простыню*.

«Температурные» классы (как, впрочем, и «размерные», и «цветовые») не просто нарушают таксономические границы — они нарушают и родо-видовые отношения — основу процедуры наследования семантических свойств и поверхностного поведения лексем. Ведь верно, что мрамор — это вид камня, сталь и чугун — виды металлов, а луч — «квант» света. Однако в языковой картине мира существенно, что камни находятся вокруг нас, под ногами, они нагреваются под солнцем, раскаляются в огне, охлаждаются в воде и т. д. Мы естественным образом, постоянно прикасаясь к ним, «измеряем» их температуру и знаем, что она может быть любой. Мрамор же — это вещество, специально добываемое для изготовления и украшения особых объектов — памятников, произведений искусства, роскошных полов и лестниц. Он необычен, и его температурные характеристики как бы не входят в бытовую жизнь человека: трогать его можно только специально, и в языковой картине мира он остается *холодным*, как холодны мраморные полы, недоступные солнцу.

То же происходит с металлами и металлическими поверхностями: поверхности могут нагреваться и охлаждаться, как, например, снятая с огня чугунная сковородка. Можно сказать: *Сковородка тяжелая, потому что чугун вообще тяжелый* или: *Сковородка черная, потому что чугун черный*, но плохо: *теплый чугун/сталь*, потому что в этих случаях прилагательное описывает не температуру поверхности, а температуру бесформенного вещества как такового, из которого еще ничего не изготовили. Вещество сохраняет цвет и плотность; в большинстве случаев оно лишено размера и формы и имеет собственные температурные характеристики, связанные с его состоянием.

Наконец, *луч* — тоже обозначение не света, а другого объекта, подвижного, почти живого (ср. *солнечный зайчик*), для которого смена температурных характеристик по сравнению с абстрактным, бесформенным и всегда холодным *светом* вполне естественна.

Еще раз обратим внимание, что если предметные имена и сочетаются с температурными прилагательными избирательно, эта избирательность вытекает из того, в какой степени температурные характеристики предмета в процессе его естественного функционирования оказываются существенными для человека. Все разобранные примеры свидетельствуют именно об этом.

Заключение

На этом мы закончим рассмотрение атрибутивных конструкций с предметными именами. В этой главе были рассмотрены системы ограничений на употребление прилагательных размера, формы, цвета, температуры, а также прилагательного *старый*. Всё это зона так называемой *свободной сочетаемости* в русском языке. Тем не менее, как мы показали, ограничения здесь, безусловно, есть, есть и информация, которая однозначно должна квалифицироваться как словарная. И все-таки интуитивно мы, носители русского языка, ощущаем эту зону как «свободную», нам легко и соблюдать эти правила, и нарушать их, балансируя на грани языковой правильности. Неискушенный носитель языка скажет, что он во всех этих случаях опирается... «на здравый смысл».

Но каково место «здравого смысла» в теоретических представлениях лингвиста о языке и, в частности, о лексикографическом описании? Очевидно, что всякие попытки включить в лингвистические модели этот пласт сугубо антропоцентричной информации должны привести к их существенной «идеологической перестройке».

Из современных направлений готовность к такой перестройке более всего обнаруживает (или декларирует) когнитивная семантика, с ее ориентацией на психологию человека и стремлением согласовать лингвистическую модель с более общей моделью человеческого поведения.

Глава III

В ЗЕРКАЛЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Одним из важнейших свойств объектов внешнего мира (которые являются денотатами предметных имен) можно было бы назвать взаимодействие с окружающим пространством. Действительно, всегда имея некоторое местоположение, предметы так или иначе вписываются в свое пространственное окружение, и, чтобы указать положение предмета в пространстве, говорящий *ориентирует* его относительно пространственного контекста. С другой стороны, предмет может и сам *служить ориентиром* — для других предметов. Но для этого он прежде всего должен быть *отграничен* от пространственного континуума, чтобы не слиться с ним.

В этой главе мы рассмотрим некоторые языковые средства, служащие для выражения *границ* объекта (§ 1) и *ориентации* его в пространстве (§ 2). Это вовсе не свободные сочетания, а особые конструкции (в смысле Филлмора), и, как мы покажем, предъявляющие довольно сложные требования к своим составляющим. В системе современного русского языка они представляют как бы промежуточный этап в движении от синтаксически связанных однозначных лексем, через предложно-падежные сочетания к полностью грамматикализованным формам.

В § 3 мы рассмотрим примеры более традиционных предложно-падежных конструкций — с предлогами *через* и *сквозь*. В них, как и в конструкциях с другими предлогами, предметное имя само выступает ориентиром, причем в самых разных — с точки зрения взаиморасположения ориентира и ориентируемого — пространственных ситуациях. В связи с этим нас будет интересовать возможность такого описания двух данных конструкций, которое объединяло бы ситуации ориентирования, представляющиеся сходными носителю русского языка (и поэтому кодирующиеся одной и той же предложной конструкцией), и различало бы то, что представляется ему разным (и кодируется разными предложными конструкциями).

§ 1. «Без конца и без края» *

1. Вводные замечания

Известно, что человек воспринимает окружающее его пространство неадекватно: на разных этапах восприятия реальная картина мира искажается. Всем известны искажения, связанные с особенностью строения человеческого глаза (например, то, что удаленный предмет кажется меньше, чем приближенный).

Элементарной пространственной моделью является обычный рисунок — картинка, отображающая, что, как и каким мы видим вокруг себя. Кстати говоря, именно картинка дает нам простейший пример «неприспособленности» естественного языка для точного воспроизведения окружающей человека среды: вспомним знакомые всякому трудности, связанные с объяснением маршрута к месту встречи. Если этот маршрут оказывается хоть сколько-нибудь длинным и предполагает хоть какое-то ориентирование, то всегда оказывается во много раз легче его нарисовать, чем объяснить человеку словами. Слова почему-то, наоборот, запутывают слушателя, и требуется их слишком много — так что письменное описание, соответствующее маленькой картинке на крошечном клочке бумаги, заняло бы не одну страницу.

Итак, картинка проще слов. Неудивительно, что близкое к такому простому «картиночному» способу видение мира положено в основу научной модели восприятия пространства, предложенной Д. Марром (Marr 1982, см. Jackendoff 1992). Объемные объекты в этой модели состоят из отдельных цилиндрических фрагментов — так дети собирают разные конструкции из одинаковых кубиков.

Как видим, здесь тоже предполагается значительное искажение реальной формы в сторону ее упрощения. И невольно возникает вопрос, до какой степени эти искажения отражаются при языковом выражении человеческого восприятия внешнего мира. Нас будут интересовать способы и условия выражения в русском языке *границ* объекта — на примере (генитивных) конструкций со словами *кромка*, *конец* и *край*.

* Первоначальный вариант опубликован в: Д. Пайар, О. Н. Селиверстова (ред.). Исследования по семантике предлогов. М.: Русские словари, 2000.

2. Кромка

Кромка — это то, что можно было бы определить как маркированную границу протяженной поверхности, ср.: *кромка стола / листа / двери / рукава / тарелки / неба* и др. Сказать **кромка лампы*, **кромка дерева* или **кромка дома* нельзя как раз потому, что эти слова не описывают поверхности. Напротив, если взять слова типа *стол* или *дверь*, то во многих употреблениях их интерпретация сведется, в сущности, к идее поверхности: так, *на столе* значит ‘на поверхности стола’, *на двери* — ‘на поверхности двери’; легко видеть, что ни *дом*, ни *дерево*, ни *лампа* в русском языке так себя не ведут.

Проблема определения того, что такое поверхность, совсем не так проста, как могло бы показаться: очевидно, что здесь языковая картина расходится с реальной. Действительно, лист (бумаги или растения), в отличие, скажем, от дерева, представляется скорее плоским, а не объемным, и поэтому признается поверхностью. Но стол, безусловно, имеет объем, и в языке это обстоятельство тоже выражается, ср. сочетания типа: *под столом* или *в столе*.

Данный эффект требует пояснений. Дело в том, что, как мы уже знаем, в естественном языке существует возможность совмещения в одном и том же слове нескольких топологических типов объектов (см. Главу II, особенно § 2 и 3; ср. также § 6 Главы I). В принципе, каждому объекту в языковой картине мира соответствует определенный топологический тип: ковер — это поверхность, стакан — это емкость, и т. д. Однако возможны случаи, когда один и тот же объект концептуализуется одновременно несколькими способами. Рассмотрим в качестве примера слово *озеро*. Озеро — это, конечно емкость; оно имеет глубину и дно. Сочетание *в озере* отражает этот топологический тип. Вместе с тем, сочетание *по озеру* <плыла яхта> устроено — с точки зрения топологической интерпретации — совершенно аналогично сочетаниям *по дороге* или *по земле*: здесь имеется в виду озеро как верхняя поверхность (= поверхность заполняющей его воды). Важно, что совмещение разных топологических характеристик в одной лексеме (с возможностью их реализации в разных ее употреблениях) — это свойство (в принципе, семантически мотивированное) конкретной лексемы, а не, например, всех предстателей данного топологического типа. В частности, если мы возьмем слово *стакан*, которое, как уже говорилось, тоже представляет пример емкости, мы обнаружим, что интерпретация сочетания *по стакану* отличается от интерпретации сочетания *по озеру*, ср.: **по стакану плыла муха*, при возмож-

¹ Еще раз обратим внимание на *мотивированность* различий в поведении слов *озеро* и *стакан*: конечно, функционально значимой поверхностью для озера является поверхность воды — во-первых, она видна глазу, а во-вторых, именно по ней дви-

ном: *по стакану ползла муха*, из чего следует, что стакан тоже концептуализуется как поверхность, но не верхняя, а боковая¹.

Что же касается таких имен, как *яма*, *дыра*, *ров* и некоторых других, то они вовсе не могут быть поверхностями (ср., например: **по яме / рову шел мостик*; **по дырке шли нитки* и под.) и, как кажется, во всех употреблении реализуют только один топологический тип — «вместилищ».

Граница поверхности, обозначаемая как *кромка*, должна быть **маркирована**: кромкой естественно называть выступающий и вообще как-то выделенный край (например, у одежды). В этом смысле показательным является наиболее характерное сочетание с этим словом: *кромка льда*. Оно обозначает ту узкую пограничную полоску, где лед подступает к воде и подтаивает, меняя свою структуру: это тот (маркированный) край, где опасно стоять, где лед хрупкий и ломкий. Аналогично, сочетание *кромка обрыва* тоже обозначает «опасную» границу. Конечно, маркированность может быть и чисто прагматической, т. е. существовать только в представлении говорящего, ср. *кромка стола / листа* в значении ‘самый край’, и все же наиболее естественны употребления этого слова в тех случаях, когда данная поверхность объекта не граничит ни с какой другой, ср. **кромка пола / дна (стакана, реки)* и др. (Заметим, однако, что объект может **представляться** говорящим как отдельный, как бы не граничащий ни с какими другими — и тогда сочетания с *кромка* вполне допустимы, ср. *кромка леса / поля*, где *поле* и *лес* представляются как **выделенные, отделенные** от окружающих поверхностей объекты.)

3. Конец

В этом разделе мы последовательно рассмотрим условия употребления другого «пограничного» слова в русском языке — *конец*. *Конец*, как и *кромка*, обозначает определенного рода объект, являющийся частью другого объекта. Теоретически можно было бы ожидать, что наряду со словом *конец* в русском языке в той же роли будет выступать и слово *начало*. Это, однако, не так: *начало* в действительности жетса (= плывет) лодка, корабль, человек и т. д. Для стакана гораздо важнее боковая поверхность: это та поверхность, которая хорошо видна и которая соприкасается с рукой. Интересно, что слово *тарелка* ведет себя как *озеро*, а не как *стакан*, ср.: *водил ложкой по тарелке с супом* = ‘по поверхности тарелки’; но *водил ложкой по стакану* = ? (скорее, по боковой поверхности). Последнее наблюдение о функциональной подоплеке топологических различий вполне согласуется с тем материалом, который мы рассматривали в § 2 Главы II (в частности, на примере *глубокий* — как раз для слов *стакан* и *тарелка*).

обозначает лишь часть периода времени или происходящего в этот период события (ср. *начало дня, начало пути, начало фильма* [= ‘начало действия или просмотра фильма’], и т. п., но не **начало палки, *начало нитки* и т. п.). С другой стороны, *конец* вполне может употребляться в этом абстрактном временном значении (см. ниже, 3.4).

3.1. Топология

Известно, что *конец* сочетается только с названиями *протяженных, вытянутых* объектов: бывает *конец дороги, пещеры, трубы, веревки, стола* (если у стола есть конец, это значит, что он длинный), но не *яблока, молотка, машины* (при возможном: *поезда*), *табуретки, стула...* *Конец* описывает точку или фрагмент пространства, где этот объект, так сказать, перестает продолжаться, и в этом смысле имя *конец* не имеет конкурентов: ни *край*, ни *кромка* не могут обозначать такого рода границу (поскольку оба они связаны с обозначением поверхности). Интересно, что соответствующий вытянутый объект не может быть вертикальным: ср. **конец фонаря / башни / колонны* и т. п.; тем самым, верхняя граница вертикальных объектов оказывается в русском языке «необслуженной» общими языковыми средствами (ни *край*, ни *кромка* опять-таки здесь не годятся) — и как бы «невидимой». Конечно, для некоторых вертикальных объектов существует специфическое обозначение верхней границы: для горы — *вершина*; для дерева — *верхушка*; для человека — *макушка* (заметим, что при этом *вершина* по-прежнему не является *концом* горы, *верхушка* — *концом* дерева, и т. п.). *Конец* не употребляется не только при описании человека, но и при описании животных (ср. **конец медведя* и даже **конец змеи*); более того, удлинённые части тела человека и животного тоже не имеют конца, ср.: **конец руки / ноги / пальца / лапы / когтя* и под.²

3.2. Дейксис Несмотря на то, что вытянутый объект чаще всего имеет два конца, в тех случаях, когда слово *конец* выступает в единственном числе, говорящий обычно никак не уточняет, о каком именно конце идет речь, а у слушающего это не вызывает никаких затруднений. Дело в том, что интерпретация таких высказываний опирается на понятие «точки отсчета», в качестве кото-

² Единственное исключение — слово *конец*, (метонимически?) используемое в качестве эвфемизма для обозначения пениса; интересно, что такое употребление в русском языке, по-видимому, является новым. Но ср., впрочем, похожий метонимический переход в диалектном *конец* ‘улица’ или ‘часть города’ (как, например, в древнем Новгороде).

рой используется положение говорящего (или наблюдателя): взгляд говорящего как бы проходит от этой исходной точки до конца — того самого, куда он смотрит. Таким образом, *конец* соотносится скорее с конечной точкой движения взгляда говорящего вдоль длинного объекта, т. е. с концом «маршрута», а не с геометрической границей объекта как такового. Неожиданным следствием такой «динамической» интерпретации *конца* оказывается то, что у объекта в большинстве конкретных речевых ситуаций имеется только один конец — тот, к которому направлен взгляд говорящего. Второго конца у объекта в этих случаях не существует — точнее, он просто совпадает с той точкой, в которой находится говорящий (ведь если точка конца — это окончание зрительного маршрута, то и точкой начала также является начало зрительного маршрута, т. е. сам говорящий).

Различие между геометрической *границей* объекта и его «динамическим» (или «прагматическим») *концом* можно проиллюстрировать простым примером: *В конце дороги показался всадник. У дороги, естественно, имеются два «геометрических» конца, но в данном предложении концом называется конечный пункт движения взгляда говорящего, стоящего — или мыслящего себя — допустим, в середине дороги. Тогда исходным пунктом движения взгляда является середина дороги, и именно она оказывается ее вторым, «прагматическим» концом. Если бы говорящий обернулся в другую сторону и сказал: На другом конце дороги у обочины виднеется старая яблоня, то опять-таки точкой отсчета (или — прагматически — вторым концом дороги) был бы он сам (а вовсе не тот всадник, о котором шла речь выше)³.*

Сказанное означает, что слово *конец* в русском языке сближается с такими дейктическими словами, как *там*, *туда* и т. п., в значении которых содержится обязательная отсылка к местоположению говорящего. Дейктический характер этого слова подтверждает и способ интерпретации полуфразеологизованного сочетания *сделать два конца* (ср.: *он в один день делает два конца*). Контрольные опросы информантов показывают, что это может значить как (1) 'добраться из пункта А до места назначения В и вернуться обратно в А', так и (2) 'успеть дважды проделать маршрут А — В'. При первой интерпретации одним концом маршрута является В, а другим — исходная точка А, а при

³ В этом отношении дорога отличается, например, от палки: у палки есть «материальный» конец (ср. *конец палки отломан*), а у дороги — только «дейктический» (ср. **конец дороги перерыв*). На это противопоставление наше внимание обратил Г. И. Кустова.

второй интерпретации концами маршрута оба раза мыслится конечная точка В. Существенно, что при второй интерпретации у того вытянутого объекта, в качестве которого в данном случае выступает дорога (маршрут), реально оказывается только один конец — пункт назначения; исходный пункт движения оказывается дейктически закреплён и поэтому игнорируется говорящим. Ещё более существенно то, что сочетание *два конца* ни при какой интерпретации не может относиться к двум реальным, геометрическим концам дороги. А это и означает, что объекты, как уже было сказано, могут мыслиться либо как имеющие ровно *один*, маркированный, конец (тот, куда направлен взгляд говорящего), либо как имеющие *два* конца, но тогда вторым концом считается «точка отсчета», т. е. исходный пункт движения взгляда говорящего-наблюдателя. Заметим, что этот второй конец («точка отсчета») в каких-то случаях вполне может и совпасть со вторым геометрическим концом, ср.: *На конце удочки сидела птица* или: *Концом палки он пытался достать из воды свою шляпу* (второй конец удочки или палки — в руке у того, кто их держит; и ясно, что не он имеется в виду под словом *конец* в этих предложениях).

3.3. Зрительный образ Граница объекта, которая является его концом, может представляться двояко: либо как *точка*, либо как объёмный *фрагмент пространства* с нечёткой начальной границей. Точечным представляется конец объектов типа «стержней» и «верёвок», ср.: *конец палки / каната / ветки / лыжи / шеста* и под.; протяжённым — конец объёмных объектов, ср.: *конец коридора / поезда / арки / сада* и др. В первом случае местонахождение объекта описывается конструкцией с предлогом *на* (*на конце веревки почему-то болтался бабшмак*), а во втором — с предлогом *в* (*в конце гостиничного коридора располагались номера «люкс»*), причём взаимозамена предлогов невозможна (ср.: **в конце веревки* или: **на конце коридора*). «Вытянутые поверхности» (= «полосы») ведут себя, скорее, как объёмные объекты, ср.: *в конце дороги / грядки / строки / полосы* (например: *в конце взлётной полосы*). С точки зрения обычной логики — это непоследовательно и неудобно: граница между «стержнями» и «веревками», с одной стороны, и «полосами», с другой, очень зыбкая и слишком зависит от способа, которым язык себе этот предмет представляет. Например, *лента* — это не «полоса» (как можно было бы подумывать, опираясь только на форму денотата), а «веревка» (здесь, видимо,

играет роль функциональное сходство), ср.: *На конце* (а не: **в конце*) *ленточки от старой бескозырки можно было разобрать выцветшие буквы названия линкора: «Императрица Мария».*

Другой пример того же рода: поезд. Понятно, что если говорящий мыслит себя находящимся **внутри** поезда, речь идет о пространстве, границу которого трудно обратить в точку. Однако по-русски *в конце поезда* говорят не только в контекстах типа: *Бригадир проводников находился в самом конце поезда, так что Девяткину пришлось пройти весь состав насквозь*, но и: *В конце (*на конце) поезда был зачехлен еще один паровоз, но уже без машиниста.* В случаях, аналогичных последнему, поезд вроде бы не является пространством и рассматривается **снаружи**; снаружи поезд как объект действительности по своему топологическому типу, как кажется, скорее напоминает сильно увеличенный стержень — но естественно-языковая логика опять оказывается совсем другой, и здесь тоже используется предлог *в*, а не *на*.

Обратим внимание на то, что в некоторых случаях все-таки возможна двоякая зрительная интерпретация объекта и его конца, и, ввиду этого, оба предлога при одном и том же имени. Так, можно сказать: *в (*на) конце трубы виднелось голубое небо* (взгляд изнутри), но также: *в (на) конце трубы были отверстия небольшого диаметра через равные промежутки* (в данном случае возможен и взгляд снаружи на пограничный **отрезок** трубы). Одновременно совершенно правильным является и: *на (*в) конце* (т. е. в точке, а не на отрезке) *трубы был закреплен мощный трос.*

3.4. Время В переносном значении — в русле продуктивной метафоры «пространство \Rightarrow время» — слово *конец* сочетается с названиями периодов времени, ср.: *конец лета / дня / срока / обеда* (т. е. периода времени, в течение которого происходит обед) / *урока / фильма* и др. Ср. также сочетание *конец книги*, которое интерпретируется только как временное — ‘конец повествования, сюжетной линии книги’. «Пространственная» интерпретация — ‘граница вытянутого объекта типа *полоса*’ — не допускается⁴ (ср. также: *В конце книги*

⁴ Заметим, что *книга* и в других контекстах (например, с прилагательными размера) в русском языке не воспринимается как вытянутый объект (ср. *длинная книга*); более того, она вообще воспринимается скорее как объект плоский, необъемный (ср. **широкая книга*; о сочетаемости прилагательных размера подробнее см. § 2 главы II).

героиня ушла в монастырь, а герой с горя подался в пираты, но не: *На конце книги была большая чернильная клякса). Понятно, что временная интерпретация, семантически связанная со свойственной пространствам «объемной», а не точечной семантикой, предполагает предлог *в*, а не *на*.

Двойкую — как временную, так и пространственную — интерпретацию может иметь сочетание *конец слова*. Его пространственная интерпретация соответствует слову **написанному**: *в/на конце этого слова ставится специальный значок* (как видим, пространственная интерпретация и сама двойственна: она допускает представление конца слова и как точки, и как отрезка). С другой стороны, временная интерпретация соответствует слову **произнесенному**: *в (*на) конце каждого слова он повышал голос*.

Интерпретация имени процесса в контексте слова *конец* как периода времени, в течение которого процесс имеет место (ср. *конец обеда*), а также интерпретация предметных имен, функционально связанных с определенным процессом (ср. *конец книги*), открывает возможность для объяснительной гипотезы, обратной стандартному метафорическому переносу «пространство \Rightarrow время».

Действительно, *книга* связана с процессом чтения, т. е. постепенным выяснением сюжета разворачивающегося в ней действия — поэтому *конец книги* описывает ‘последний отрезок времени, в который происходит действие в книге’ и, вследствие этого, ‘последние страницы книги, на которых этот отрезок действия описан’. Но представление о пространстве — будь то сад, коридор, улица и под. — напрямую связано с процессом его преодоления человеком, т. е. с тем **путем**, который человек проходит, двигаясь к границе (= к концу) этого объекта. Так почему бы не считать, что *конец поезда, арки, коридора, сада* и под. обозначает последний отрезок **пути**, который человеку требуется пройти, чтобы преодолеть пространство, занимаемое этим объектом (ср. выше, 3.2 о «динамической» интерпретации слова *конец*)? Если принять эту гипотезу, то окажется, что граница между зрительными образами конца как «точки» и как «отрезка» выглядит более понятной: у **небольших необъемных** объектов типа «стержней» или «веревков» концом является «точка» (и в этом случае используется предлог *на*), а у **больших и объемных** — таких, по которым движется человек, — «отрезок» (используется предлог *в*). Отметим, что удачным образом лента попадает в первый класс, а поезд — во второй, что позволяет объяснить их нестандартное на первый взгляд языковое поведение (см. 3.3).

Данная гипотеза еще теснее связывает пространственную и временную интерпретации: речь идет не просто о метафорическом переносе «пространство \Rightarrow «время», но и о семантической «поддержке» пространственной интерпретации со стороны временной.

В отличие от сочетания *конец строки*, которое, как было показано, имеет два, а то и три способа понимания, сочетание **конец звука* по-русски звучит очень неестественно. Это можно было бы отнести за счет непротяженности звука (ср. некоторую сомнительность сочетания *долгий звук* в нетерминологическом понимании), однако обратим внимание, что слово *конец* не сочетается не просто со словом *звук*, но и с названиями самых разных типов звуков, многие из которых вполне могут быть протяженными, ср., например, *долгое мычание / ржание / сопение* ..., но: **конец мычания / сопения*... Поэтому, видимо, здесь должно быть другое объяснение. Возможно, в частности, что данный эффект связан с *нечленимостью* звуков данного типа и, следовательно, с невозможностью выделить из них конечный фрагмент. Заметим, что все речевые звуки (а у них есть ярко выраженная структура) свободно сочетаются со словом *конец*: *конец слова / фразы / разговора* и т. п. (Ср. сходное противопоставление «гомогенных» и «негомогенных» ситуаций, обсуждаемое в работе Зализняк, Шмелев 1997: 89–91 в связи с инхоативным значением русской приставки *за-*.)

Но самое поразительное — это то, что слово *конец*, имея специальное временное значение, не сочетается с самим словом *время*, ср.: **в конце времени для развлечений; *в конце времени занятий*, и под.⁵ В качестве объяснения этого факта можно предложить гипотезу, что слово *время* в русском языке обозначает скорее статический момент, чем период времени. Это подтверждается прежде всего особенностями формы творительного падежа *временами*: она имеет значение ‘в различные моменты времени, разделенные интервалами’, а не ‘на протяжении нескольких периодов времени подряд’, т. е. ведет себя так же, как другие названия недлительных моментов времени (ср. *мгновениями, минутами*), а не как названия длительных периодов (ср. *часами, годами* ‘в течение многих лет подряд’, и т. п.; см. подробнее § 5 Главы I). Таким образом, оказывается, что названия моментов времени (к которым примыкает и само слово *время*) в русском языке не могут «складываться» (хотя, заметим в скобках, могут «растягиваться», ср. допустимые *долгий миг разлуки* или *долгое время*).

⁵ Допустимое сочетание *в конце времен* в данном случае не показательно, так как форма *времена* не является с семантической точки зрения «простым» множественным от *время*, а имеет свою довольно сложную семантику. Эта пара служит очередным аргументом в пользу словообразовательного подхода к описанию категории русского числа (см. Глава I, § 4). Подробнее о противопоставлении *время — времена* см. в Плунгян 1997, а также Ляшевская 2004.

Тем самым, можно констатировать, что в переносных (временных) употреблении слова *конец* топологические ограничения сохраняются. Сохраняется в них и дейктический аспект значения. В самом деле, у всякого периода времени, теоретически, два конца — например, у лета: начало июня и конец августа. Но время движется в одну сторону: из прошлого в будущее, и мысленный взгляд говорящего направлен туда же — так что «правильным» временным концом лета будет только конец августа, а точкой отсчета — место на временной оси, где находится говорящий или наблюдатель⁶.

3.5. *Конец* vs. *кончик* Помимо слова *конец*, в русском языке для обозначения границ имеется уменьшительное от него — *кончик*. Надо сказать, что принятый для данного типа имен лингвистический термин «уменьшительность» с семантической точки зрения, как известно, является достаточно условным. Можно отметить здесь исследование семантики уменьшительности Спиридонова 1999, в котором показано, что в русском языке существует несколько типов семантических отношений между исходным именем и его «уменьшительным» дериватом — и в подавляющем большинстве случаев они выходят за рамки уменьшительности. Так, *козлик* оказывается детенышем, а не просто животным маленького размера, *слоник* — игрушкой (ср. также *кубик*); даже *домик*, и тот не обозначает простого уменьшения размеров (большого) *дома*, а обозначает строение совершенно определенной конфигурации и функции (небольшой, одноэтажный, с треугольной крышей, но никогда, например — уменьшенных размеров пятиэтажку). В целом можно сказать, что уменьшительный суффикс в русском языке предполагает качественное изменение объекта — т. е. объект остается каким-то образом денотативно связанным с исходным, но при этом становится *другим* объектом.

Именно это можно наблюдать, сопоставляя слова *конец* и *кончик*. Если бы в самом деле соотношение между ними было таким, как между стандартным исходным и производным диминутивом (ср. МАС: «*кончик* — небольшая часть, прилегающая к краям, оконечности чего-л.»), то можно было бы ожидать, например, что самая крайняя точка всякого вытянутого объекта (т. е. максимально уменьшен-

⁶ Ср. здесь сознательную игру слов в песне Б. Окуджавы: «Из конца в конец апреля путь держу я», построенную как раз на том, что временной отрезок отождествляется с отрезком пути, и в таком случае получает право иметь два конца.

ный его пограничный отрезок) обозначался бы словом *кончик*. Между тем, ничего подобного не происходит, поскольку в русском языке *кончик* и *конец* почти всегда сочетаются с именами *разных* объектов. Так, именно *кончик* бывает у частей тела: *кончик(и)* (**конец*) *носа / губ / языка / усов / ушей*⁷ / *волос / ресниц / хвоста / пальцев / ногтей / когтей / груди / клюва / морды*. Наоборот, *конец* (а не *кончик*!) бывает у *доски, дороги, трубы, поезда, ряда, последовательности*, всех видов пространственных (ср. *сад, здание, поле*) и временных объектов (*конец года, сенокоса* и др., ср. также *конец света*).

В некоторых контекстах употребление имени *кончик* всё же имеет дополнительное прагматическое значение ‘самой крайней границы’ — ср., например, *кончиком* (**концом*) *ножа / вилок; на кончике* (**конце*) *ложки / пера*. Однако обратим внимание еще раз, что неуменишительное *конец* ни в какой интерпретации в сочетании с данными именами невозможно. Зона вариативности, в принципе, существует — но она очень мала: можно сказать *кончик / конец веревки / карандаша*; ср. также в творительном падеже *кончиком / концом туфли / ботинка* и др. В таких парах присутствует и компонент «уменьшенности».

4. Край

Перейдем теперь к описанию последнего из интересующих нас в данном разделе слов — слову *край*. В современном русском языке имеется два омонима: *край*₁ в значении ‘граница’ и *край*₂ в значении ‘страна, земля, административная единица деления страны’. Исторически, по-видимому, можно говорить об их общем происхождении; исходным значением для обоих слов могло быть ‘отрезок’ (ср. этимологически родственное *кроить*), но впоследствии семантически связанные употребления разошлись и в настоящее время воспринимаются как совершенно разные слова. Кстати, языковое поведение этих слов тоже разное: *край*₂ является пространством и сочетается с предлогом *в* (ср.: *там, в / *на краю далеко; собираться в / *на дальние края*); *край*₁ является поверхностью и сочетается только с предлогом *на* (ср.: *стоял на / *в краю обрыва*). Данное семантическое различие проявляется, в частности, в следующем. В русском языке названия поверхностей (но не пространств) могут указывать маршрут движе-

⁷ Здесь имеются в виду только длинные уши животных (таких, как заяц или осел): они имеют нужную топологию; про человеческое ухо говорят *край*, см. подробнее ниже.

ния, если соответствующее имя стоит в форме творительного падежа (подробнее см. § 5 Главы I), поэтому говорят *прошел краем поля* (*край₁*), но не: **проехал Красноярским краем* (*край₂*). Обратим внимание здесь и на морфологические различия между *край₁* и *край₂*: для второго допускается вариативность типа *в краю / крае*, тогда как для первого — нет, ср.: *на краю / *на крае* (кроме сочетания *на переднем крае*)⁸.

Ниже будут обсуждаться свойства и ограничения на употребление только для лексемы *край₁* = ‘протяженная поверхность на границе плоского объекта’.

4.1. Топология Прежде всего, еще раз обратим внимание на то, что в рассматриваемом значении *край* обозначает плоскую, необъемную границу — в отличие и от *кромки*, и от *конца*, ср. невозможность **в краю берега селились ласточки* (только *на краю* или *по краю*), при допустимых *в кромке льда что-то треснуло* или *свет в конце тоннеля*.

Однако в случае с *край* плоским должна быть не только граница объекта, но и сам объект — это и есть главное топологическое ограничение. Поэтому можно сказать: *край дороги / поля / листа / газеты / стола / лампы / лестницы / ступеньки*, но нельзя: **край струны* (у струны нет поверхности) / *комнаты / дома / дерева* (так как все это объемные, а не плоские объекты)⁹. Заметим, что поверхность, которую представляет объект, должна быть обозримой; так, сочетание *края океана* воспринимается лучше, если речь идет об изображении на географической карте. Кроме того, сам объект должен иметь какую-то фиксированную форму: например, жидкости (*вода, бензин* и под.) края не имеют (как не имеют и других пространственных границ, ср. **кромка / *конец / *край воды*), хотя в принципе та же *вода* может быть поверхностью, ср.: *на воде качалась лодочка*.

Конечно, под топологическими характеристиками имеются в виду не денотативные, т. е. свойства самого объекта, а семантические —

⁸ Поэтому не вполне точно утверждение в Шведова 1980: 488–489, где формы *в краю* и *в крае* описываются как противопоставленные только стилистически (подобно, например, формам *в дыму* и *в дыме*).

⁹ В сочетаниях типа *края озера / пустыни* (ср.: *Края озера поросли камышом; Они шли по самому краю безжизненной пустыни*) объект интерпретируется как поверхность, при том, что это только один из двух топологических типов, свойственных данному имени: *озеро* может также обозначать водоем, а *пустыня* — пространство. О множественных топологических характеристиках см. подробнее выше, замечание в разделе 1.2.

свойства языкового образа этого объекта, называемого данным словом. Поэтому в русском языке существуют и *край неба*, и *край земли*, и *край света*: с языковой точки зрения все эти объекты являются поверхностями (про образ неба в русской языковой картине мира подробнее см. Главу I, § 6.2). Любопытно, что *глаза* и *губы* — денотативно объемные объекты — в языке тоже могут быть поверхностями и иметь края (*края губ*, *края глаз*), ср. также *взглянул краем глаза* в значении ‘слегка проглядел, под- или просмотрел’. Существует, хотя и малоупотребительно, сочетание *край уха* (значит, *ухо* тоже обозначает поверхность); косвенным свидетельством здесь является *услышал краем уха* в значении ‘услышал случайно’ (более естественным, правда, является *краешек уха*, см. заключительную часть раздела 4.2).

Ввиду того, что материя является в языковой картине мира поверхностью, изделия из материи тоже воспринимаются как поверхности, а не объемы, и поэтому имеют края: *края рукава / рубахи / брюк / платья / пальто*... Впрочем, одежда и обувь могут представляться и как вместилища, а вместилища тоже имеют края (и видятся как бы свернутыми в трубочку боковыми поверхностями): *края трубы / стакана / ложки / бутылки*, ср. также в контексте «перевернутых» вместилищ: *край абажура, каски* (ср.: *пуля попала ему под край каски*). Очень важно, что во всех случаях речь идет только об «открытой» границе объекта — т. е. той, где одна плоскость не переходит в другую, а, так сказать, прерывается или представляется прерванной (вспомним этимологическую связь слова *край* с глаголом *кроить*). Так, *края стакана* подразумевают только верхнюю границу боковой поверхности, но не (симметричную ей) нижнюю границу, где боковая поверхность переходит в дно стакана. Ср. *край забора* — только верхний, а также запрет на **край пола / потолка* и под. Последнее ограничение касается и других, рассмотренных выше, названий границ. В частности, нельзя сказать ни **кромка пола* (см. выше, раздел 2), ни **конец ветки*, имея в виду место прикрепления (растущей) ветки к дереву.

4.2. Число Числовое поведение оказывается нестандартным у всех названных имен границ. *Кромка* является *singulare tantum* ввиду отсутствия формы множественного (ср. **кромки стола*). Форма *концы* обычно подразумевает два конца (*концы веревок*), но, что интересно, иногда и четыре, если речь идет о (плоских) четырехугольных объектах: *концы простыни / скатерти / стола*. Это типичное «парное множественное» (как *глаза, сапоги*) или мно-

жественное «набора» (как *струны*); об этих типах см. подробнее § 4 Главы I.

Самой нетривиальной, однако, является числовая семантика у слова *край*. Действительно, определить семантическое отношение в паре *край* — *края* непросто; здесь очевидно лишь, что *края* не означает 'более одного края'. Сопоставим два примера:

*Он бежал по краю (*краям) поля.*

и:

По краям поля были расставлены флажки.

В первом случае имеется в виду пограничная поверхность, «прослеживаемая» в одном направлении, т. е. как бы единый край всего поля, не существующий по этой причине во множественном числе. Во втором случае берутся отдельные фрагменты этой пограничной поверхности, «прослеживаемые» к тому же в разных направлениях — это естественно, если смотреть, например, из середины поля. Такие *края* представляются множеством отдельных фрагментов, и *краем* в единственном числе (о котором можно было бы сказать, что это особый тип употреблений — своего рода *край'*), оказывается каждый такой фрагмент. В данном примере речь шла о краях поля, но это могут быть и края стакана, стола, скатерти, листа бумаги и т. д. Важно, что во втором примере возможна замена множественного числа на единственное, ср.: *По краю поля были расставлены флажки*. В этом случае денотативно ситуация никак не меняется — меняется только позиция наблюдателя, который перемещается на границу поля, причем взгляд его не переходит беспорядочно с одного места на краю поля на другое (множественное число, таким образом, выражает здесь как раз это множество мест, на которые падает взгляд наблюдателя!), а движется непрерывно (ср. интерпретацию первого примера). Таким образом, здесь реализуется исходное значение *край* — '(вся) поверхность на границе протяженного объекта', и в данном значении у слова *край*, строго говоря, множественного числа нет — в точности, как и у слова *кромка*.

Между тем, в некоторых случаях такая интерпретация для *край* оказывается запрещенной, ср.:

(а) *Края стакана были отбиты* — (б) *Край стакана был отбит*.

В (а) предполагается, что было *несколько* отбитых кусочков с разных сторон по верху стакана, а в (б) предполагается, что имелось только *одно место*, где стекло было отбито (*край'*); возможность «целост-

ной» интерпретации, предполагающей, что вся верхняя часть стакана была дефектной, чрезвычайно сомнительна.

Несколько слов об уменьшительном *краешек*. Оно менее продуктивно и более стандартно, чем *кончик*, и в основном выступает в паре к *край* как оценочное: *край* — *краешек стакана / стола / кровати / листа бумаги...* «Собственная» его сочетаемость, т. е. такая, где оно с трудом может быть заменено на *край*, незначительна: *краешек (*край) ножа / пирога / носового платка / стула*. С другой стороны, естественнее сказать: *стоял на краю* (а не **на краешке*) *обрыва / пропасти*. При этом числовое поведение слова *краешек*, бесспорно, дефектно: множественного числа у него нет, ср. невозможное: **краешки стола / стакана* и т. п.

4.3. Еще о наблюдателе Описывая интерпретацию формы множественного числа слова *край*, мы пришли к выводу, что если речь идет об ограниченной со всех сторон поверхности, то наиболее естественным положением наблюдателя будет положение *внутри* этой плоскости. Теперь вернемся к интерпретации формы единственного числа, которая предполагает, как мы говорили, что говорящий обводит взглядом весь периметр поверхности объекта. Вопрос, который мы при этом вправе себе задать, такой: видит ли говорящий (или наблюдатель) эту границу снаружи или изнутри? Другими словами, если вернуться к разобранным выше примерам, верно ли, что человек, который *бежал по краю поля*, бежал *по полю* — или же он бежал *снаружи поля*, оглябая его? Замечательным образом, оба ответа, видимо, будут возможны, хотя предпочтение отдается «внутренней» интерпретации. Точно так же, по свидетельству Дж. Тейлора (Taylor 1995: 275–276), ведет себя английское *around*, которое значит и ‘вокруг внутри’, и ‘вокруг снаружи объекта’. (Русское *вокруг* все-таки только ‘внешнее», ср.: *Мы посадили цветы вокруг клумбы*, которое не может быть понято как ‘внутри клумбы’. Ср., однако, двоякую интерпретацию для: *А еще мы посадили цветы по краю клумбы.*)

Не во всяком сочетании *край* имеет двоякую интерпретацию, однако обе они реализуются независимо в разных контекстах. Так, высказывание *На краю / с краю стола стояла тяжелая ваза* предполагает «внутреннюю» интерпретацию. Естественно, что именно она реализуется во всех сочетаниях с *на*. Сочетания с предлогом *с* менее стабильны, ср. «внутреннюю» интерпретацию в случае *четвертый с краю*

[= 'от края, если считать изнутри ряда'], но «внешнюю» интерпретацию в случае *человек, сидевший у стола с краю*. В предложении *Путешественники приближались к краю леса* реализуются обе возможности, как и в примерах с сочетанием *по краю*; ср. однако *по краю обрыва / ковра*, для которых возможна только «внутренняя» интерпретация.

4.4. Почему не говорят? Предложные сочетания с *край* заслуживают отдельного обсуждения. Казалось бы, всякое предметное имя, которое сочетается со словом *край* как таковое, должно иметь возможность выступать с ним и в предложных контекстах. Другими словами, если у данного объекта в языковой картине мира есть край, то можно ожидать, что этот край — уже в качестве самостоятельного объекта — будет вступать в пространственные отношения с другими объектами, задавая их ориентацию. Нечто может быть помещено *на* краю, *у* края, *с* краю, и эти отношения должны выражаться языковыми средствами — в нашем случае, предложной конструкцией.

Тем не менее, эти (вообще говоря, оправданные) ожидания оказываются обмануты, ср., например: *края книги (края книги потрепаны)* — *“на краю книги (”на краю книги чернильное пятно)*; *края ложки (края ложки позеленели от времени)* — *“на краю ложки (”на краю ложки сидела муха)*; *край стола — на краю стола*, но: *“на краю носового платка / рукава / плаща...*

Кажется, что несколько свободнее ведут себя сочетания *по краю* и *к краю*, но не *с краю*: *“с краю пальто / улицы / двери...*

Таким образом, обнаруживается, что в значительном числе случаев края «выключены» из процесса ориентирования, потому что «так не говорят». Между тем, денотативно, во внеязыковой действительности, такие ситуации, конечно, существуют и каким-то образом должны в языке выражаться — но каким?

Выход, который выбрал язык — это превращение предложных сочетаний в наречные. По-русски говорят: *с краю / по краю он был темный*. В конструкциях такого рода, заменяющих генитивные, предложное сочетание типа *с краю / по краю* и под. синтаксически никак не связано с именем и поэтому может пренебрегать теми ограничениями на сочетаемость, которые накладывает имя. Со своей стороны, постепенно смягчаются и те требования, которые накладывает имя *край*: они тоже становятся не нужны, потому что в конечном счете эти сочетания, выступающие как единое целое, перестанут чле-

ниться (хотя в настоящем состоянии языка допускается «разрыв» этих сочетаний прилагательными, по типу *с правого края*). Подтверждением этому, в частности, служит то, что данные предложные сочетания уже сегодня употребляются при предложном сочетании имени, ср.: *С края на столе стояла банка с огурцами; Человек, сидевший с края у столика; По краю на скатерти были вышиты аляповатые цветы*, и под.

Наблюдаемый нами в современном русском языке процесс перехода этих сочетаний в наречные есть не что иное, как процесс **грамматикализации**, многократно описанный в работах Кр. Лемана, Б. Хайне, Дж. Байби и др. (см. подробнее Приложение). Более продвинутые результаты этого процесса в русском языке видны на примере слов *сверху — снизу* и *наверху — внизу* (наше внимание на эту группу слов обратила Р. Гжегорчикова, изучавшая ее в польском, ср. Гжегорчикова 2000; для русского языка подробный анализ предлагается в работе Мазурова 2000). В русском языке до сих пор существуют слова *верх* и *низ* — со своими ограничениями на употребление. В частности, оба они описывают только пространства (в верхней и нижней части объекта), но не горизонтальные поверхности. Так, можно сказать *верх/низ шкафа*, потому что это его объемный срез, но не: ²²*верх/низ веревки/полки/скатерти...* Однако если используются не генитивные сочетания, а наречия (а может быть, точнее, предлоги?) *сверху, снизу, наверху, внизу*, то буквально все ограничения оказываются несущественны, ср.: *снизу на веревке висела ветчина; внизу у веревки был зачем-то завязан узел; сверху на полке лежала скатерть; снизу под скатертью хранились все наши сбережения*, и под. Как видим, эти наречия тоже употребляются с предложными сочетаниями, но представляют собой уже практически единую словоформу¹⁰.

5. Выводы

Открывшаяся нам языковая картина пространства демонстрирует, с одной стороны, избирательность релевантных для нее границ: язык, как мы видели, интересуют прежде всего плоскости и концы вытянутых объектов. Заметим, что границы круглых объемных объек-

¹⁰ «Разрыв» возможен только словом *самый*: *с самого верха/низа; на самом вер-ху/в самом низу*. В прочих случаях он не допускается, ср.: *пыльный низ стола* — ²²*на-шел в пыльном низу стола*. Ср. также различия в падежном оформлении: *с низа* в не-зависимом употреблении, но *снизу* — в составе наречия, и т. п.

тов, «видимые» на рисунке как контуры, но не существующие в действительности как линии, в языке тоже отсутствуют. Но во многих случаях в языке отсутствуют и существующие во внешнем мире границы объектов — ввиду их нерелевантности. Например, «нет» (языковых) границ не только у круглых, но и вообще ни у каких объемных объектов (не считая вытянутых, у которых есть концы), а также у воды, волны и под.; у вместилищ — например, ведра — «есть» только верхняя граница, и т. д. Одновременно, собственно языковое поведение имеющихся названий границ — например, сочетаемость или семантика числа — как мы видели, тоже нетривиально.

С другой стороны, язык стремится эту избирательность снять и сделать из названия границы (хотя бы какого-то одного ее вида) служебное слово, которое ведет себя более автономно и поэтому приобретает большие возможности для продуктивного употребления.

Таким образом, принципиальное несоответствие между языковым представлением пространства и внеязыковой действительностью неизбежно — в том числе и в зоне пространственных границ. Но сама языковая модель пространства не задана раз и навсегда: даже внутри одного языка она может меняться.

§ 2. «Лицом к лицу» *

1. Вводные замечания

В настоящем разделе речь пойдет об ориентации в пространстве объемных объектов и об особой конструкции с творительным падежом, которая обслуживает эту ситуацию ориентации в русском языке. Прежде чем переходить непосредственно к обсуждению языковых фактов, обратим внимание на следующие обстоятельства.

Первое — роль топологических характеристик предметов для конструкции ориентирования. Как и при описании формы и размера, при описании ориентации объекта оказывается существенным его топология, и прежде всего то, является ли объект вертикальным или горизонтальным.

Второе — антропоцентричность этого фрагмента картины мира. Она выражается, во-первых, просто в обязательном присутствии в

* Первоначальный вариант опубликован в: Н. Д. Арутюнова (ред.). Логический анализ языка: Язык пространства. М.: ЯРК, 2000 (в соавторстве с В. И. Подлесской).

ситуации ориентирования говорящего/наблюдателя, а, во-вторых, в том, что ориентируемый объект, как правило, отождествляется по своему положению в пространстве и форме с человеческим телом, а его части, служащие наблюдателю для ориентации, отождествляются с частями человеческого тела (лицом, боком, носом и под.), и затем его ориентирование строится по аналогии с ориентированием человека. В типологии такая модель называется «*human-body part model*» (т. е. модель, опирающаяся на топологию человеческого тела) и считается наиболее распространенной, причем в разных языках выбираются разные части тела — одни чаще ('спина', 'нос', 'лицо', 'голова' и нек. др.), другие реже (в частности, 'шея', 'бедро', 'сердце' или 'желудок'). Типологическое исследование этой проблематики предпринято, в частности, в работе Svorou 1994.

В то же время, наш материал показывает, что в русском языке в некоторых редких контекстах представлена не только антропоцентричная, но и более маргинальная, так называемая «пастушеская», или зооморфная модель, при которой, наоборот, человек уподобляется животному (обычно эта модель оказывается господствующей в языках скотоводческих народов, ср. Heine et al. 1991; более подробно о реликтах пастушеской модели в балканском ареале см. также в Цивьян 1999: 209 и сл.).

Третье — из сказанного следует, что данную конструкцию можно рассматривать как материал для изучения процессов грамматикализации в естественном языке, когда морфемы, исходно имевшие значение частей тела, затем получают наречное употребление и впоследствии приобретают статус аффикса. Конечно, в русском языке первоначальное лексическое значение показателей ориентации еще не утеряно: когда мы говорим *лицом* или *носом* <в угол>, мы отождествляем эти слова с частями тела человека. Тем не менее, определенные признаки грамматикализации есть и в русском — и они, как будет показано, проявляются в жесткой лексикализованности употреблений названий частей тела в контекстах этого рода. Ни выбор лексемы-ориентира, ни выбор синтаксического способа выражения смысла в этом случае не свободны, а значит, можно говорить именно об особой конструкции, или даже конструкциях ориентирования — в смысле филлморовской Грамматики конструкций (см. Приложение, 2.10).

И наконец четвертое — почему в данной конструкции используется именно творительный падеж? Ведь, казалось бы, русский

творительный, хотя и является одним из самых многозначных падежей, всё же по своей семантике слишком далек от значения ориентира (ср., в частности, Janda 1993). Возможный ответ на этот вопрос тоже обсуждается ниже.

Данный раздел состоит из двух частей. В первой подробно излагаются языковые факты; во второй строятся лингвистические гипотезы.

2. Факты

Итак, нас будет интересовать конструкция с редким творительным падежом (вида *лицом к стене*)¹¹, замечательная, в частности, тем, что в ней имеется сразу два объекта-ориентира. Действительно, мы говорим *Он стоял лицом к стене*, реализуя конструкцию:

$X \text{ V } Y\text{-ом} <к> Z\text{-у,}$

где X — трехмерный объект, V — ситуация ориентирования, а Y и Z — ориентиры, причем Z — внешний ориентир ситуации, а Y — та часть объекта X , которая задает положение X -а относительно Z . Ниже мы последовательно рассмотрим ограничения на замещение переменных в данной конструкции.

2.1. Ограничения общего характера

Ситуация V описывается прежде всего предикатами *локативного состояния* (типа *стоять* или *лежать*) либо предикатами *каузации* такого состояния (ср. *он повернулся к нам спиной* и под.). Собственно предикаты движения используются редко, и это легко объяснить: если объект перемещается, то сама траектория уже задает ему единственно правильный ориентир — по ходу движения, ср. *головной* (т. е. ‘первый по ходу движения’) vs. *хвостовой* (‘последний по ходу движения’) *вагон поезда*, и др. Поэтому для ситуации движения необходимость дополнительных указаний на ориентацию объекта возникает только в случаях отклонения от нормы, т. е. маркированного положения объекта при движении, главное из которых описывается в русском языке как *задом наперед* (ср. из К. Чуковского: *Ехали медведи на*

¹¹ Такой творительный не только ограничен в употреблении рамками данной конструкции, но и, как будет показано ниже, сильно лексикализован, поэтому обычно при классификации значений он не принимается во внимание. В частности, контексты рассматриваемого нами типа отсутствуют и в Wierzbicka 1980, и в Janda 1993.

велосипеде, а за ними кот задом наперед). Заметим, что русское *задом наперед* описывает не только «неправильное» движение, но и «неправильный» его результат, т. е. употребляется и с предикатами каузации локативного состояния: *сел задом наперед, повесил задом наперед* или, например, *надел задом наперед*.

Тем не менее, строго говоря, это уже не совсем конструкция ориентирования нашего типа, так как здесь нет внешнего ориентира. Ср.: **кот ехал задом наперед ко мне / ?кот ехал ко мне задом* (при естественном *сидел*). Дело в том, что внешним ориентиром здесь (т. е. и в случае «перевернутого движения») по-прежнему служит траектория движения, и она выражается наречием *наперед / вперед* (ср. *нести вперед ногами*). Впрочем, можно считать, что в тех редких случаях, когда описывается ориентация объекта в движении, наша конструкция редуцируется, причем, как мы увидим ниже, по достаточно стандартным правилам.

Внешний ориентир *Z* должен быть **прагматически значимым наблюдаемым** объектом, сопоставимым по размеру с *X*. Часто этим ориентиром оказывается сам наблюдатель / говорящий (ср. *повернулся боком ко мне*), причем он может быть и не выражен в предложении (ср. *он повернулся боком* с тем же значением 'боком к наблюдателю'). Семантическая роль наблюдателя обязательна в конструкции ориентирования, и даже в том случае, если наблюдатель не совпадает с ориентиром *Z* (ср. *повернулся боком к стене*), он все равно незримо присутствует в конструкции: без наблюдателя конструкция ориентирования интерпретирована быть не может (подробнее о роли наблюдателя в таких контекстах см. Fillmore 1983, Апресян 1986, Падучева 1996: 266–270 и мн. др.; ср. также материал, приведенный в § 2.5 Главы II).

Наибольший интерес представляет **второй ориентир** (*Y*), соответствующий той части *X*-а, которая задает положение *X*-а в пространстве. Здесь можно перечислить сразу целый ряд очевидных ограничений:

- а) *Y* должен быть **наружной, видимой частью** *X*-а; так, если говорить о частях тела человека, то в качестве *Y* подходят нос, голова, ноги и т. п., но заведомо не внутренние органы (печень, сердце и т. п.);
- б) эта часть должна **отличаться от других**: можно сказать *оба здания стоят фасадом к проезжей части*, но не **оба здания стоят стеной к проезжей части* (фасад у зданий один, а стен много);

в) *У* должен быть **неотторжимой и статичной частью** *X*-а, имеющей постоянную ориентацию;

г) такая часть может быть элементом пары или множества; если эти парные (множественные) части однонаправленны, употребляется множественное число (*дом окнами на север*), а если они разнонаправленны, то единственное (*к нему боком*).

Однако очевидно, что такого рода ограничений явно недостаточно для описания *У*-а. Этот ориентир является в русском языке чрезвычайно лексикализированным, т. е. жестко заданным культурно и исторически, что и закреплено в языке. Более того, для правильного выбора ориентира *У* существенным оказывается и его отношение к другому ориентиру (*Z*), и общая ориентация объекта. Соотношение между *У* и *Z* может быть дистантным и контактным, ориентация объекта в целом — вертикальной и горизонтальной.

Мы рассмотрим последовательно возможные комбинации этих признаков: дистантного/контактного положения *У* по отношению к *Z* и вертикального/горизонтального положения объекта — одушевленного или неодушевленного.

2.2. Дистантно расположенный *X*

А. **Ориентация вокруг вертикальной оси** ('передом' — 'задом' — 'боком')

а) В е р т и к а л ь н ы й *X*

Прототипическим объектом этой группы является (стоящий) человек (здесь, как и в большинстве случаев, как раз реализуется *human-body part model*), и у него в русской картине мира имеется три вертикальные плоскости: передняя, боковая и задняя.

Каждой из них соответствует свой ориентир *У*, т. е. своя часть тела: передней — *лицо*, или, в более разговорном варианте, *нос*, задней — *спина* (более грубый вариант — *зад*), боковой — только нейтральное *бок*. Существенно, что никакие другие части тела в этой ситуации в качестве ориентиров не приемлемы, ср. *Он стоял лицом/спиной/задом/боком (*животом/*грудью/*коленками/*глазами) к президенту*. Отметим, что если *спиной* и *задом*, в общем, взаимозаменяемы во всех случаях (с точностью до стилистических различий), то *носом* вместо *лицом* — замена скорее редкая в этом варианте конструкции (*стоял носом к двери*) и абсолютно недопустимая при одушевленном внешнем ориентире *Z*: ср. **носом ко мне/к матери* и под.

Ближе всего к человеку — по структуре своего тела — зверь, при ориентировании которого *У*-лицо меняется на *морда*, а *У*-спина на *хвост*, ср. *Собака равнодушно встала хвостом / мордой к двери и завyla*. Ориентиры *носом*, *задом* и *боком* остаются возможными, и в целом мы видим те же жесткие ограничения, что и в случае с человеком¹². Для экзотических зверей могут быть допущены исключения и круг ориентиров расширен за счет хобота, бивней, рогов и проч. (ср.: *Огромное животное медленно повернулось к противнику своим устрашающим рогом и опустило голову*), но это уже периферия конструкции, ее, так сказать, «свободная зона».

б) Горизонтальный *Х*

Говоря о животных, мы не различаем вертикальной и горизонтальной ориентации, так как в данном случае это несущественно: и у лежащей, и у стоящей собаки сохраняется один и тот же набор возможных ориентиров *У*. Иная ситуация с человеком. Лежащий человек ориентирован совершенно иначе, чем стоящий; более того, лежащий он может на спине, на животе или на боку, и в каждом из этих случаев на место *У* имеются разные претенденты.

Лежащий на спине человек ориентирован с помощью ног (возможно, пяток), головы и бока; ср. *лежать ногами / головой / боком к двери*. Лежащий боком ориентирован с помощью ног и головы, а также затылка, спины, лица (или носа), ср. *лежать лицом / носом / затылком / спиной к стене*. Ср. ситуацию с животным: *собака легла хвостом к двери* значит, скорее всего, что она лежит «в вертикальном положении» (т. е. так, как если бы стояла — спиной вверх, и хвостом к двери) — трудно представить себе такую интерпретацию, при которой в этом случае собака лежала бы на боку.

в) Неодушевленные *Х*, допускающие особое ориентирование

Помимо людей и зверей есть еще несколько типов объектов, которые в русском языке допускают особое ориентирование: это, в частности, дома, корабли и огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие (пушки, пистолеты, пулеметы и т. п.) ориентировано *дулом*, корабли — *бортом*, *носом* и *кормой*, дома — *окнами*, *воротами*, *крыльцом*

¹² Любопытно, что при легко допустимом в качестве ориентира *задом* (*повернулся задом*), запрещено *передом* (**повернулся передом*), возможное только в сказочном *Встань ко мне передом*, причем исключительно по отношению к избушке.

(интересно, что никогда не *дверью* / *дверьми*¹³), колоннами, фасадом и уже совсем «безлично» — *углом* или *торцом*. Угол и торец применимы для ориентации любых других объектов, имеющих такого рода части, например, шкафа, кровати, стола, забора и др., ср.: *шпала лежала торцом к рельсу*. Отметим, что и здесь может происходить расширение зоны допустимых ориентиров *У* для произвольных *Х*, ср.: *Всю мебель составили в одну комнату, буфет оказался дверцами к холодильнику и достать из него уже ничего было нельзя; Поставь кровать спинкой к платяному шкафу, а этажерку — книжками к стене*. Это, однако, происходит за пределами обозначенного нами жесткого центра конструкции.

Б. Ориентирование дистантно расположенного *Х* в вертикальной плоскости ('верх' — 'низ')

а) Вертикальные объекты (прототип — человек)

Особенностью этого случая является то, что здесь, как и при движении *Х*, нет внешнего ориентира *Z*.

Точно так же, как и при глаголах движения, *Z* замещается наречиями (в данном случае, это *вверх* и *вниз*), выступающими прежде всего во фразеологические связанных сочетаниях *вверх ногами* и *вниз головой*¹⁴. В них закреплён порядок слов, ср. явную маргинальность сочетаний ²*головой вниз* и ²*ногами вверх* в отличие от немногих возможных сочетаний с альтернативными *У* типа *острием / штыком / подошвами вниз / вверх* или *вверх / вниз острием* и т. п. При этом именно *вверх ногами* служит родовым описанием для подавляющего большинства таких ситуаций, добавляя также специальное указание на неправильное («перевернутое») положение вертикально ориентированного объекта (ср. *поставил шкаф / надел очки / держит ручку / повесил картину вверх ногами*). Пожалуй, единственным исключением в этом отношении является посуда. Ожидаемое для этой группы лексем *вверх дном* в современном русском языке не описывает перевернутого положения чашек и тарелок. Это фразеологизм, который употребляется только в переносном значении и означает беспорядок в помещении,

¹³ Различие между окном и дверью здесь не случайно, ср. Топоров 1984 и Толстой 1995: 25, где обсуждается культурная противопоставленность двери окну в славянском мире.

¹⁴ В связи с данным случаем обращает на себя внимание несимметричность ситуации движения. Для ее описания используется только наречие *вперед*, но не *назад* (**Его несли головой назад*).

поэтому в буквальном смысле предложение *посуда стояла вверх дном* не интерпретируется. Замечательно, однако, что и *вверх ногами* к этой группе лексики тоже неприменимо, ср. **поставь чашки вверх ногами*. Таким образом, здесь для конструкции ориентации возникает своеобразная «мертвая зона»¹⁵.

Заметим, что с точки зрения описываемой внеязыковой ситуации, *вверх ногами* безусловно тождественно *вниз головой*. Но при этом, как оказывается, они совершенно друг другу не синонимичны: *вниз головой* употребляется значительно реже, чем *вверх ногами*, и только по отношению к человеку (или животному), находящемуся в, так сказать, подвешенном состоянии, т. е. в контекстах предикатов типа *висеть, повесить, держать* и под. Возможно: *Рыба висела вниз головой*, но не: **Диван стоял вниз головой, *картина висела вниз головой* (только: *вверх ногами*).

б) Горизонтальные объекты (прототип — животное)

Перейдем теперь к горизонтальным объектам, которые тоже могут быть ориентированы по оси «верх — низ». Прототипом здесь оказывается уже не человек, а зверь, который в своем обычном положении ориентирован спиной вверх, а лапами и брюхом — вниз. Это положение настолько стандартно, что оно не выражается нашей конструкцией ориентирования, зато маркированное, перевернутое положение животного фиксируется в языке, ср. *рыба лежала на воде брюхом вверх; щенок валялся в траве лапами кверху* и т. п.

Люди в горизонтальном положении уподобляются животным (и тем самым в этой зоне реализуется не антропоцентричная, а «пастушеская» модель!): совершенно так же, как и у животных, обычным с языковой точки зрения, немаркированным для них оказывается положение «лежа на животе»; поэтому обычно не говорят **лежать спиной / затылком / задом вверх*. Перевернутым, маркированным положением оказывается положение человека на спине (ср. *кверху брюхом*).

Существенно, что такое положение ни для человека, ни для животного не описывается как *вверх ногами*: для того, чтобы это случилось, нужно было бы, например, сначала поставить щенка на задние лапы и затем перевернуть. Это значит, что всякий предмет может иметь наиболее характерную, естественную ориентацию в простран-

¹⁵ Несколько лучше, может быть, звучат предложения вида *посуда стояла кверху дном*, однако и они многими носителями языка отвергаются.

стве — вертикальную или горизонтальную. Ее можно изменить на другую, но «переворачиваться» в русском языке в таком случае он будет иначе, чем обычно; в частности, *вверх ногами* описывает переворот только для вертикально стоящих объектов.

в) Неодушевленные горизонтальные объекты, допускающие особое ориентирование

Итак, ориентация горизонтальных объектов описывается иначе, чем ориентация вертикальных. Из неодушевленных к горизонтальным объектам относятся прежде всего материалы и изготовленная из них одежда, причем у них есть своя пространственная специфика. Дело в том, что верх для них — это наружная, внешняя сторона, а низ — сторона не наблюдаемая, внутренняя. Поэтому наряду с *мехом / ворсом / подкладкой вверх / вниз* и в тех же случаях используются сочетания *мехом / ворсом наружу / внутрь* соответственно. Ср. также *постелил скатерть / простыню меткой вверх / наружу* (но не **вверх ногами*). В той же группе «двуслойных» горизонтальных объектов можно рассматривать пироги и бутерброды, ср. *упал начинкой / маслом вниз*.

2.3. Контактное расположение X и Y Дистанция между X и Z выражается в русском языке предлогом *к* с дательным падежом. $K +$ дат. падеж отчетливо указывает на то, что между X и Z имеется некоторое расстояние, ср. *стоял лицом к следователю*. Альтернативой для $k +$ дат. падеж является модификация конструкции, где Z вводится предлогом *в* + винит. падеж. Эта конструкция обычно описывает контактное расположение X и Z (ср. *лицом в подушку*). Другая, уже сугубо контактная, модификация конструкции — XY -ом на Z -е (ср. *стоял обеими ногами на заборе*). При этом из контактных наиболее естественно, конечно, горизонтальное положение X -а, когда две поверхности соприкасаются под действием силы тяжести. Поэтому, если в случае *стоял носом в угол* контакт все-таки не обязателен, то для *лежал носом в угол* — скорее, неизбежен.

На первый взгляд, само контактное расположение уже выходит за рамки ситуации ориентирования и той конструкции, которой посвящена эта работа. Ориентир здесь заменен контактной поверхностью. Однако нам хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Как и во всех рассмотренных выше случаях, в случае контактного расположения X и Z , X обязательно представляется единым, цельным объектом. Когда говорят *Он упал лицом в землю*, имеется в виду, что все его тело было повернуто так же, как и лицо, т. е. что

грудь, живот, колени и т. п. соприкасались с землей. То же верно для сочетаний типа *лежал спиной на влажных досках* (т. е. ‘навзничь’), *щекой на мягкой подушке* (т. е. ‘боком’); тем самым, все эти ситуации задают не только контакт отдельной части тела с поверхностью, но и ориентацию объекта в целом. Важно, что точно такая же картина возникает и при дистантном расположении *X* и *Y*; например, *Он повернулся ко мне лицом* подразумевает, что человек повернулся *весь*, а не только повернул голову. Поэтому, как кажется, случаи контактного расположения не следует исключать из рассмотрения.

Замечательно, что для контактного горизонтального положения тоже имеется свой список допустимых *Y*-ов — пожалуй, самый большой. Так, *лежать* (например, *на подушке*) можно *лицом, щекой, виском, животом, затылком, коленями, носом, ногами, пятками, грудью, спиной*. И все-таки этот список тоже ограничен: не говорят, например, ни **лежал задом на полу* ни **лежал боком на полу* — в последнем случае может использоваться либо просто наречие *боком*, либо другая (локативная) конструкция: *на боку*. Ниже мы кратко охарактеризуем такую локативную конструкцию на фоне конструкции с творительным ориентирования.

Локативная конструкция *X V на Y-е* описывает положение *X*-а с опорой на его часть *Y*. Если говорить о человеке, то он, согласно правилам русского языка, может *сидеть (лежать, стоять) на боку (спине, животе, голове, ногах, руках, пальцах, коленях, цыпочках, корточках, пятках, носках)*, а также *на внешней и внутренней стороне ступней* (ср., однако, запрещенное **стоял на ступнях*). Как видим, выбор здесь довольно большой, но и ограничения достаточно жесткие. Так, предложение *Она лежала на груди* интерпретируется в русском языке (в отличие от *лежала на животе* или *на спине*) только как конструкция с опущенным творительным, т. е., например, *лежала щекой (всем телом) на [чьей-то] груди*. Кроме того, данная конструкция практически не допускает распространения. По-русски можно сказать *стоял на задних лапах* (или *на полусогнутых ногах*), но не **стоял на грязных / мускулистых ногах*, **лежала на красивом подтянутом животе*. В лучшем случае, последние примеры интерпретируются как конструкции с опущенным творительным, т. е. имеется в виду чужой живот или чужие ноги.

Представляется, что по отношению к такого рода распространению конструкция с творительным ориентирования ведет себя в

принципе более открыто; ср. *лежала теплой щекой на подушке, разлегся толстым животом на прилавке*, и т. п.¹⁶ Впрочем, в контексте глагола *стоять* обнаруживаются любопытные ограничения: можно *стоять босыми / грязными ногами на полу*, но не **стоять усталыми / стройными / кривыми / полусогнутыми ногами на полу*. Отсюда следует, что при *стоять* в данном случае лексема *ноги* интерпретируется как опорные поверхности ступни, а не как ‘конечности’; о других контекстах противопоставления в русском языке смыслов ‘ступня’ и ‘конечность’ (аналогичных, например, англ. *foot* — *leg*) см. § 2.4 и § 3.2 Главы II.

3. Гипотезы

В данном разделе мы хотели бы перейти от языковых фактов к их возможной интерпретации и затронуть следующие теоретические вопросы: каков семантический статус переменной *У* в данной конструкции и почему в русской конструкции ориентирования используется именно творительный падеж?

В поисках ответа на первый вопрос возможны два принципиально разных пути. С одной стороны, можно считать, что у глаголов местонахождения и каузации местонахождения (типа *стоять, лежать, положить, держать* и под.) есть актанты ‘чем’ и ‘где/куда’ (ср. *стоять ногами на ковре*) — синтаксически необязательные, но в некоторых контекстах способные поверхностно выражаться. Для этого нужно, во-первых, соответствующим образом модифицировать толкование подобных глаголов (это было бы нетрудно, потому что в семантическое представление каждого из них входит предикат типа ‘располагаться’, безусловно содержащий такого рода переменные) и, во-вторых, смириться с их многовалентностью (обсуждение такого решения в более широком теоретическом контексте см. также в Плунгян, Рахилина 1998).

Другой путь — считать *У* сирконстантом, механически добавляющимся к модели управления соответствующих предикатов. Такое решение, как нам кажется, неудобно и теоретически неоправданно — хотя бы ввиду того сложного комплекса ограничений, который, как мы видели, связан с *У*-ом. Весь материал этого параграфа свидетельствует против такого решения. Однако есть и третий — как все-

¹⁶ Несколько хуже дело обстоит с дистантными употреблениями, ср.: ²⁷*повернулась ко мне милым лицом / толстым боком / мускулистой спиной*.

гда, промежуточный — путь. Речь идет о процедуре *расщепления валентности* (Апресян 1974: 153–155, Мельчук 1974: 135) объекта, в которой обычно фигурирует его часть (ср. хрестоматийные примеры типа *погладил ее по волосам*). В качестве менее тривиальной иллюстрации того же явления можно привести глагол *чувствовать*, исходно двухместный (*кто чувствует что*), но иногда «проявляющий» третью переменную со значением ‘орган чувства’: ср. *чувствовать кожей / затылком / спиной / шестым чувством / всеми фибрами души*. Механизм образования этой валентности, здесь, как нам кажется, тот же: расщепление субъекта, в результате которого выделяется особая переменная — его «чувствующая» часть, так сказать, инструмент чувства (ср. также *видел собственными глазами, слышал собственными ушами*).

Вернемся теперь к нашим примерам с конструкцией ориентирования. Здесь тоже можно усмотреть расщепление субъектной (в случае типа *стоять*) или объектной (в случае типа *поставить*) валентности; при этом выделяется участник, который семантически можно было бы квалифицировать как своеобразный *инструмент ориентирования* и который, как и следовало ожидать, в русском языке кодируется творительным падежом.

§ 3. Значение предлогов и понятие семантической сети*

Мы переходим к анализу предложных конструкций с предметными именами — на примере конструкций с *через* и *сквозь*. Семантика предлогов важна в первую очередь для «инвентаризации» топологических свойств объектов, релевантных в языке. При этом разные предлоги высвечивают разные пространственные свойства одних и тех же имен, ср. *прыгать через забор* (вертикальная плоскость), *сидеть на заборе* (горизонтальная плоскость), *дыра в заборе* (трехмерный объект) и, следовательно, для полной картины именной топологии нужно было бы последовательное описание **всех** предложных конструкций.

* Первоначальный вариант опубликован в: Русистика сегодня, 1996, № 3, 1–17 (в соавторстве с В. А. Плунгяном).

Между тем, с методологической точки зрения большинство предложных конструкций очень трудно описывать: как правило, они многозначны, и эта (иногда чрезвычайно разветвленная) многозначность мешает различать релевантную и незначимую, «вторичную» топологию. Возьмем простой пример: известно, что английский предлог *in*, так же, как и его русский коррелят *в*, соотносятся с объектами, обозначающими вместилища, ср. *in the room* / *в комнате* и под. В то же время и в английском, и в русском возможны сочетания типа *in the field* / *в поле*. Значит ли это, что топология контейнера не обязательна или даже не релевантна для конструкций с *in* / *в*, или нет? Как в таких случаях отделить (или, наоборот, объединить?) значение предложной конструкции и имени? Понятно, что без решения такого рода проблем невозможно продвинуться и в описании предметной топологии, поэтому в этом разделе фактически им будет отдано первенство.

1. Вводные замечания

История семантики пережила две крайности: от абсолютизации идеи моносемии каждой языковой единицы до полного отрицания связи между разными употреблениями одной и той же единицы; и если первый подход вынуждал оперировать с абстрактными и лишенными объяснительной силы «инвариантами», то второй (представленный, например, большинством практических двуязычных словарей) порождал десятки «лексем», принадлежащих одной «вокабуле» и представляющих собой, как правило, неупорядоченный хаос контекстных употреблений. Обе эти модели вряд ли могут претендовать на психологическую адекватность; для обоих характерно представление о полисемии как о досадной помехе, как о чем-то, что противоречит идеалу «хорошо организованного» языкового материала — и, соответственно, явное или неявное желание избавиться от полисемии в языковом описании, «борьба с полисемией».

Как представляется, в семантической теории последних лет в этом отношении произошло по крайней мере одно бесспорное позитивное изменение — полисемия стала восприниматься не как отклонение от нормы, а как одно из наиболее существенных свойств всех значимых единиц языка, как неизбежное следствие основных особенностей устройства и функционирования естественного языка. Этот подход особенно характерен для когнитивной семантики, но

в той или иной степени он проявляется и в других теориях (о работах когнитивного направления см. подробнее Приложение; обсуждение и сравнение разных подходов не входит сейчас в нашу задачу). Этому способствовало и то обстоятельство, что предметом внимания лексикографов все больше становилась не только «полнозначная», но и «служебная» (т. е. в широком смысле грамматическая) лексика: действительно, если при описании «среднего» глагола или существительного можно было еще как-то позволить себе не замечать проблем, связанных с существованием нескольких значений (слова типа *идти*, *давать* или *рука* при этом выглядели явными отклонениями), то для любого предлога, частицы или грамматического модификатора наличие десятка значений является нормой, полисемии таких единиц просто нельзя обойти молчанием. С другой стороны, недостатки «инвариантного» описания, равно как и механических списков «лексем» именно на материале такого рода становятся особенно наглядными.

Не претендуя, разумеется, на исчерпывающее решение проблем полисемии, мы хотели бы предложить описание, которое с самого начала исходит из закономерности и, так сказать, неизбежности этого явления. В качестве анализа нами был выбран материал в некотором смысле промежуточный между служебной и полнозначной лексикой: единицы *через* и *сквозь* являются характерными представителями класса пространственных предлогов — и хотя им, безусловно, свойствен целый ряд непространственных употреблений, образуемая ими семантическая сеть (об этом понятии см. ниже) в целом представляется достаточно компактной и сравнительно легко обозримой. При анализе более «абстрактных» единиц (типа, например, предлога *по* или частицы *же*), как известно, возникают гораздо большие трудности. Первопроходцами в описании предлогов этого семантического класса являются К. Бругман и Дж. Лаков — ср. их известные теоретические работы, посвященные английскому предлогу *over*: Brugman 1988 и Lakoff, Brugman 1988. Мы в целом следуем подходу Бругман и Лакова, но с некоторыми существенными модификациями, на которых мы специально остановимся в разделе 3.4.

Ниже мы кратко охарактеризуем некоторые теоретические проблемы, связанные с многозначными единицами, а затем представим описание семантики обоих предлогов; завершит данный раздел сопоставительный анализ их значений.

2. Основные проблемы полисемии. Семантическая сеть

С нашей точки зрения, описание явлений, связанных с полисемией, окажется тем успешней, чем ближе исследователь сможет подойти к решению следующих проблем:

Насколько велик объем того языкового материала, который человек должен запомнить в готовом виде, если он хочет правильно понимать и быть понятым, говоря на данном языке? Насколько, с другой стороны, велик объем того языкового материала, который говорящий не запоминает в готовом виде, а конструирует непосредственно в процессе порождения/понимания текста?

Ответ на эти вопросы очень важен для построения адекватной модели языка, поскольку предполагает двойной контроль над создаваемыми лингвистическими конструктами: реальный говорящий не может ни слишком много помнить, ни слишком много конструировать «на ходу». В первом случае он будет похож на человека, который говорит с помощью одних только готовых клише и не может составить из имеющихся в его распоряжении текстовых блоков никакого нового текста: для того, чтобы такой говорящий мог вести себя хотя бы приблизительно так же, как реальный, он должен помнить непомерно большое число таких блоков. Именно поэтому тридцать, сорок и более значений у произвольной грамматической единицы в словаре непременно вызывают подозрение в том, что каждый новый текст на данном языке добавит к уже имеющимся значениям новую порцию, и в конечном счете нам придется признать, что значений у данной единицы ровно столько же, сколько у нее разных контекстов.

В случае же второй крайности говорящий, напротив, будет похож на человека, который каждый раз возвращается к себе домой с работы, пользуясь картой, компасом и схемой маршрута: путь, проделанный многократно, не может не храниться в памяти целиком, и нормальный человек обращается именно к этому целостному образу, а не к правилам его построения (пусть даже такие правила и существуют на самом деле).

Таким образом, мы приходим к выводу, что говорящий не может помнить всей информации относительно употребления данного слова, так как ее просто невозможно предвидеть: число контекстов бесконечно, и говорящие должны иметь в своем распоряжении механизм, позволяющий встраивать слово в (произвольный) контекст.

С другой стороны, абсолютно все контексты не могут конструироваться говорящим заново: он хранит в памяти некоторое количество готовых блоков, в том числе и все те блоки, связи между элементами которых идиоматичны, т. е. возникают только при данной единице и не описываются общими правилами.

Полисемия у слов естественного языка — это и есть основной механизм, обеспечивающий возможность употреблять конечное число единиц в бесконечных контекстах. Адекватное описание языка непременно должно содержать такой механизм. Вероятно, сведения такого рода не обязательно помещать при словарном описании каждого слова (хотя их необходимо учитывать для описания и объяснения наблюдаемых семантических эффектов): это скорее будущее слова, чем его прошлое. Необходимыми же в словарной статье окажутся сведения, отражающие скорее именно прошлое слова: те результаты работы механизма полисемии, которые привели к образованию индивидуальных семантических блоков. Путь, который говорящий уже не пролагает заново, а помнит в готовом виде, и составляет главное содержание индивидуальной словарной статьи.

Полное описание многозначного слова может быть представлено в виде *семантической сети*, понимаемой как синтез «конструируемого» и «запоминаемого» материала; семантическая сеть описывает прошлое слова и по возможности предсказывает его будущее. Данный термин — с разными коннотациями — широко используется в современной теоретической семантике практически всех направлений; наше понимание наиболее близко к тому, которое предлагается в ряде работ Р. Лангакера и Дж. Лакова, см., например, Langacker 1987, Lakoff, Brugman 1988 и др.; см. также раздел 3.4 и Приложение, 2.8.

Одно из главных отличий семантической сети от традиционного толкования состоит в том, что образующие ее элементы иерархически неравноправны: они имеют разный статус. Это неравноправие отражает, в частности, факт большей или меньшей зависимости от контекста разных значений многозначного слова, а также разную продуктивность этих значений: если одни служат постоянным источником новых модификаций, то другие представляют собой «тупиковый путь» или находятся на пути к исчезновению (мы увидим ниже подобные явления на примере «причинного» значения предлога *через*).

Выделенными элементами семантической сети являются, с другой стороны, те, к которым в первую очередь обращается говорящий при интерпретации текста; если интерпретация почему-либо оказы-

вается невозможна, происходит дальнейший поиск, с обращением к другим механизмам. Таким образом, можно представлять себе семантическую сеть как состоящую в общем случае из крупных «семантических блоков» (часто с нечетко обозначенными границами). Произвольное употребление слова может точно отражать смысл, содержащийся в том или ином семантическом блоке, но может и попадать в пространство между блоками; однако даже и в этом случае должны существовать механизмы для интерпретации таких промежуточных употреблений (в удачной формулировке Ю. Д. Апресяна, «законные, хотя и не предусмотренные словарным описанием возможности слов» [Апресян 1991: 9]).

Между самими семантическими блоками также могут существовать иерархические отношения; в частности, можно, как это и делается во многих лексикографических традициях, говорить об исходных и производных значениях и о модификации значения под влиянием так называемых «сильных контекстов» (подробнее см. Баранов и др. 1993; ср. также Селиверстова 1968).

Уровень семантических блоков представляется нам наиболее важным для понимания динамики лексического значения; семантические блоки являются связующим звеном между наиболее общим представлением о слове (приблизительно соответствующим семантическому инварианту, который аккумулирует самые устойчивые семантические параметры данной единицы) и всем многообразием его контекстных модификаций (которые определяются подвижными параметрами значения; см. подробнее ниже). Именно работа на этом «среднем уровне» и является, с нашей точки зрения, тем компромиссом, который должен примирить инвариантный и контекстный подходы к описанию значения (подробнее см. также раздел 3.4).

3. Семантическая сеть для предлогов *через и сквозь*

Ниже будет представлено описание предлогов *через* и *сквозь* в виде семантической сети. Будут выделены семантические блоки и показаны механизмы перехода от одного блока к другому. Как представляется, возможности такого перехода («деформации» смысла) связаны с противопоставлением «устойчивых» и «подвижных» параметров в значении слова. Устойчивые параметры, как подсказывает их название, сохраняются во всех модификациях значения; именно на них

основано семантическое противопоставление двух предлогов в контекстах одинаковой структуры. Подвижные параметры (в случае наших предлогов — это, например, наличие/отсутствие контакта, физический/перцептивный характер движения, и т. п.) могут менять свое значение в зависимости от изменения топологических и др. свойств участников ситуации и тем самым способствовать появлению новых модификаций.

3.1. *Через: концептуализация «промежуточного этапа»*

Мы будем оперировать следующими основными параметрами ситуаций, обозначаемых предлогом *через*. Будем считать, что каждая такая ситуация концептуализуется в языке как «движение» [M], будь то физическое движение или динамический процесс, состоящий из последовательно сменяющих друг друга качественно различных фаз (ср. термин «абстрактное движение», используемый Р. Лангакером). Далее, выделяется главный участник ситуации движения — *движущийся объект* [Tr], а также *промежуточный этап* движения [Lm], т. е. объект, пространство или ситуация, принадлежащие траектории движения/составляющие одну из фаз процесса, но не являющиеся его конечным пунктом/фазой¹⁷. О многообразии возможных интерпретаций дают представление следующие примеры с *через*:

Вода [Tr] *незаметно уходила* [M] *через трещину* [Lm].

Он что-то [Tr] *кричал* [M] *мне через забор* [Lm], *но слов не было слышно*.

Вам [Tr] *ничего не стоит переступить* [M] *через чужую судьбу* [Lm].

Помимо этого, существен также следующий набор дополнительных параметров (релевантных не для всех типов ситуаций с *через*): конечный пункт движения [G] (объект или ситуация); исходный пункт движения [S] («точка отсчета»); траектория движения [P]. Ср.:

Он [Tr] *медленно побрел* [M] *от сарая* [S] *через двор* [Lm] *к парадному крыльцу* [G].

Он заглянул [M] *в комнату* [G] *через окно* [Lm].

Он живет [G] *через два дома* [Lm] *от нас* [S].

¹⁷ Термины Tr[ajector] и L[and]m[ark], используемые для обозначения соответственно движущегося объекта и ориентира, заимствованы из аппарата «пространственной (впоследствии «когнитивной») грамматики» Р. Лангакера, ср. Langacker 1987; подробнее см. Приложение.

Для всех употреблений предлога *через* можно считать постоянным компонентом указание на некоторый промежуточный этап, характеризующий «движение»; конкретная природа этого этапа (как и ситуации в целом), разумеется, может сильно различаться.

Приведем вначале общую схему организации значений предлога *через* («синопсис», в терминологии Ю. Д. Апресяна, ср. Апресян 1986), а затем остановимся подробнее на узловых точках этой семантической сети.

I. Движение неметафорической (перемещение) или слабо метафорической природы (восприятие)

I.1. Промежуточный этап не принадлежит траектории движения:

A) физическое движение: *прыгнул через забор*

(NB! мультипликатив: *прыгал через две ступеньки*)

(NB! партитивность: *нагнулся через борт*;

особый случай: *перебросил плащ через руку*;

рефлексивность: *перевернулся через голову*)

B) перцептивное движение: *заглянул через забор*

I.2. Промежуточный этап принадлежит траектории движения

I.2.1: промежуточный этап — пространство: *ехал через площадь*

I.2.1a: промежуточный этап — пространство, занятое совокупностью объектов: *полз через кусты*

I.2.1b: промежуточный этап — точка: *ехал в Берлин через Киев*

I.2.1c: промежуточный этап — поперечная линия: *перешел через реку / границу*

I.2.2: промежуточный этап — «проход», соединяющий два участка пространства: *прошел через мост / колоннаду / галерею*

I.2.2a: промежуточный этап — отверстие или объект, содержащий отверстия

A) физическое движение: *выпал через дыру / высыпал через сито*

B) перцептивное движение: *наблюдал через решетку / дышал через трубку*

I.2.3: промежуточный этап — сплошной объект

A) физическое движение: *вода просочилась через ткань*

B) перцептивное движение: *смотрел через стекло*

II. Движение метафорической природы (изменение состояния)

II.1: Промежуточный этап — ситуация

II.1a: движение типа I.1 («подавление»): *переступил через боль / чужую судьбу*

II.1b: движение типа I.2.3 («испытание»): *прошел через страх / унижения*

II.1c: причина конечного состояния: *пострадал / заболел через это*

II.2: промежуточный этап — лицо-«передатчик» (движение типа I.2.1b)

А) физический объект: *передал письмо через знакомого*

В) информация: *узнал через знакомых*

III. Движение модальной природы (задает «точку отсчета» для восприятия ситуации, которая выступает в роли конечного пункта, ср. I.1 и II.1c)

III.1: промежуточный этап — отрезок пространства

а) одиночный отрезок: *он живет через два дома от нас*

б) цепь отрезков: *через каждые два квартала стояли часовые*

III.2: промежуточный этап — отрезок времени

а) однократная ситуация: *газеты вышли через двое суток после переворота*

б) итеративная ситуация: *газета выходит через день*

Начнем с анализа подвижных параметров. Прежде всего, глубокое различие между разными употреблениями *через* возникает в связи с изменением природы основной ситуации. Ранее мы уже говорили о различии между физическим и метафорическим движением (последнее является качественно неоднородным процессом); к этому следует добавить, что внутри блока значений, описывающих неметафорическое движение, дополнительно противопоставляется физическое и перцептивное движение. Перцептивное движение описывает процесс зрительного или слухового (реже иного чувственного) восприятия; интересно, что помимо материала наших предлогов, в языке есть и много других свидетельств в пользу того, что зрительное и слуховое восприятие уподобляются движению (от стимула к воспринимающему субъекту либо наоборот, ср. *бросить взгляд*). В отношении сочетаемости с предлогом *через* перцептивные и физические контексты представляются практически идентичными.

С другой стороны, контексты типа *он живет через два дома от нас* как будто бы не дают основания считать, что мы имеем здесь дело с каким-либо движением: ситуация *жить* не является неоднородным процессом, тем более она не связана с физическим движением. Однако, как представляется, и в этом случае можно (и желательно)

сохранить единство значения, если принять, что употребление предлога *через* основано на, так сказать, модальной метафоре: говорящий как бы мысленно проходит расстояние от точки отсчета до конечного пункта, причем предлог *через* вводит и дистанцию (пространственную или — чаще — временную) между первым и вторым, и сам конечный пункт. Такое решение — со ссылкой на Р. Лангакера — подробно обосновывается в уже упомянутых работах К. Бругман и Дж. Лакова. Этот семантический переход не является уникальным — в когнитивной семантике он описывается как стандартная *семантическая трансформация* (см. Приложение, 2.9)¹⁸.

Другие источники вариативности связаны с типом промежуточного этапа и характером его преодоления. Наибольшее разнообразие наблюдается, как и следовало ожидать, в контекстах, описывающих неметафорическое движение. Прежде всего, различаются контексты, в которых промежуточный этап не принадлежит траектории движения (говоря чисто техническим языком, траектории движения принадлежит лишь проекция той точки, которая рассматривается как промежуточный этап) и контексты, в которых промежуточный этап является непосредственной частью траектории (т. е. движение осуществляется в контакте с ним).

Выбор контактной или бесконтактной интерпретации зависит как от характера движения (ср. *перепрыгнуть через забор* ~ *перелезть через забор*), так и от характера самого объекта (ср. *шагать через двор* ~ *шагать через две ступеньки*); таким образом, этот параметр может показаться не очень существенным для значения *через* и контекстно-обусловленным. Однако этот параметр приобретает неожиданную значимость при рассмотрении контекстов, связанных с метафорическим движением, когда оказывается, что «бесконтактная» интерпретация порождает совсем иные типы метафор, чем «контактная». Так, семантический эффект «подавления» в примерах типа *переступить через боль / чужую судьбу* связан с эксплуатацией «бесконтактной» метафоры (субъект как бы уходит от непосредственного соприкосновения с объектом), в то время как «контактная» метафора порождает семантический эффект «испытания» (*пройти через страдания*). Как представляется, движение модальной природы (класс III) также связано

¹⁸ Еще одним примером действия такой трансформации на нашем материале является описанная во второй главе полисемия прилагательных *высокий* и *глубокий* (см. Глава II, § 2, раздел 2 и Экскурсы): ср. *высокое дерево* → *высокая ветка*, *глубокая река* → *глубокое место*.

с бесконтактной метафорой; тем самым, именно движение типа *перепрыгнуть* может претендовать на статус прототипического для предлога *через*: как представляется, именно этот семантический блок является для носителей языка основным, и он может быть представлен как исходное звено всех последующих семантических модификаций.

Дальнейшее различие контекстных употреблений уже всецело связано с топологическим типом самого препятствия (в частности, как было показано, существенно различие между участком пространства, отверстием и сплошным объектом; внутри участков пространства релевантны дополнительные различия между линейными¹⁹ и нелинейными, заполненными и «пустыми» участками, и т. п.). Вариативность топологических типов характерна прежде всего для «контактного» блока значений; примечательно, что в прототипических «бесконтактных» контекстах она практически не засвидетельствована, что представляется вполне логичным.

Особенностью контекстов «бесконтактной» группы является, в свою очередь, возможность дополнительного противопоставления простого, партитивного и рефлексивного движения. Само это противопоставление (применительно к анализу пространственных лексем) было предложено в работах С. Линднер (ср. Lindner 1983; ср. также Brugman, Lakoff 1988; подробнее об этом см. Приложение, 2.9). При партитивном движении объекта движущейся в собственном смысле слова является только одна его часть, а другая часть неподвижна (ср. *перегнуться через перила*); что касается рефлексивного движения, то это такая разновидность партитивного движения, при котором неподвижная часть объекта выступает еще и в роли ориентира (в нашем случае — в роли промежуточного этапа, ср. *перебросить шарф через плечо, перевернуться через голову*). Здесь следует отметить интересный феномен, связанный с появлением приставки *пере-* (удовлетворительного объяснения которому мы пока предложить не можем): глаголы бесконтактного перемещения (или каузации такого перемещения) приобретают дополнительную партитивную интерпретацию именно в контексте этой приставки, ср. *бросить [шарик] через плечо* (≈ ‘шарик пролетает над плечом и падает на землю’) и *перебросить*

¹⁹ Обратим внимание на любопытное противопоставление двух типов линейных участков: пересекаемых поперек (ср. *переползти через бревно, переплыть через реку, переправить через границу*, и т. п.) и пересекаемых вдоль (ср. *перейти через мост, пройти через колоннаду* и т. п.); к последнему типу относятся участки-проходы, связывающие две аморфные области пространства.

[*шарф / косу*] *через плечо* (\approx 'один конец объекта закреплен, а другой конец свешивается с плеча'). Иначе говоря, именно приставка *пере-* оказывается парадоксальным образом носителем смысла '...так что один конец объекта остается неподвижным'.

Очень важным свойством контекстов с предлогом *через* (особенно метафорических контекстов) является разная концептуализация самого промежуточного этапа с точки зрения его отношения к действию: в одних случаях промежуточный этап отчетливо осмысливается как препятствие, в других случаях — напротив, как необходимое звено всей цепи; наконец, возможны нейтральные в этом отношении контексты. Отметим, что для прототипического блока характерно осмысление промежуточного объекта как препятствия. Противоположное осмысление впервые возникает в блоке контактных употреблений: большинство этих употреблений являются, строго говоря, нейтральными (ср. *идти через поле / через лес*), но в классе «проходов» (*идти через мост*) знак отчетливо меняется с минуса на плюс. Показательна в этом смысле возможность двоякой интерпретации сочетаний типа *ползти через трубу*: если труба осмысливается как линейный объект типа «границы», то она преодолевается как препятствие (сверху поперек); если же труба осмысливается как проход, то движение осуществляется внутри и вдоль (\approx *ползти по трубе*), и в этом случае труба уже не препятствие, а напротив, единственно возможный путь. Именно такая положительная интерпретация промежуточного этапа дает начало всевозможным инструментальным употреблением (*дышать через трубочку, процеживать через сито, наблюдать через бинокль* и т. п.), а также контекстам «трансфера» (*ехать через Киев → передать через знакомых*). С другой стороны, причинное употребление *через* (в современном языке в целом исчезающее — подробнее об этом процессе см., например, Roudet 1998: 56–57), наоборот, возможно, как кажется, преимущественно в контекстах «отрицательной причины»: *пострадал через это, ср. сомнительность сочетаний вида ?через это он выиграл сто рублей* (разумеется, если имеется презумпция, что выигрыш пошел на пользу).

3.2. Сквозь: концептуализация «среды»

При анализе предлога *сквозь* используются всего три параметра: движение [M] и движущийся объект [Tr] — как в предыдущем случае, и *фон*, или *среда движения* [En], т. е. объект, пространство или ситуация, пассивно участвующие в движении (ниже

это понятие, очень важное для понимания природы *сквозь*-ситуаций, будет конкретизировано). Ср. несколько возможных примеров контекстной реализации данных параметров:

Вода [Tr] просачивалась [M] сквозь трещину [En].

Сквозь сон [En] до меня доносилось [M] бормотание ветра [Tr] и лай собак [Tr].

Приведем теперь синопсис для семантической сети предлога *сквозь*.

- I. Фон (физического или перцептивного) движения — (материальная) «среда»
 - I.1. Фон движения — (проницаемое) вещество или объект сплошной структуры
 - A) физическое движение: *летел сквозь туман*
 - B) перцептивное движение: *был виден сквозь мутное стекло*
 - I.2. Фон движения — пространство, занятое совокупностью объектов: *протискивался сквозь толпу*
 - I.3. Фон движения — отверстие или объект, содержащий отверстия
 - A) физическое движение: *вытекает сквозь щели*
 - B) перцептивное движение: *просвечивал сквозь решетку окна*
- II. Фон перцептивного движения — ситуация (одна ситуация воспринимается на фоне другой, играющей роль «помех»): *сквозь шум прибора доносились обрывки слов*

Как можно видеть, основным источником вариативности в контекстах употребления предлога *сквозь* является тип фона/среды движения, а также тип самого движения. Так же, как и в случае с предлогом *через*, различается физическое и перцептивное движение (при этом *сквозь* в количественном отношении явно тяготеет к перцептивным контекстам — причину этого явления мы обсудим несколько позже); так же, как и в случае с *через*, различается сплошной объект, заполненное пространство и объект, содержащий отверстия. Нетрудно заметить, что типы среды [En] для *сквозь* образуют как бы подмножество типов промежуточного этапа [Lm] для *через*; в контексты для *сквозь* попадают прежде всего те объекты, которые могут участвовать в ситуациях более или менее интенсивного контакта (т. е. плотные, сплошные, заполненные и т. п. объекты). В остальном картина, представленная сочетаемостью *сквозь*, значительно беднее и связана, глав-

ным образом, с расширенным применением перцептивной метафоры.

Замечание. Морфологические свойства предлога *сквозь*

У слова *сквозь* имеется одна интересная словообразовательная аномалия, связанная, по-видимому, с его субстантивной этимологией; мы кратко рассмотрим ее здесь, хотя она и не имеет непосредственного отношения к основному изложению.

Сквозь, по-видимому, единственный предлог русского языка, который имеет довольно большое гнездо производных — наречий, прилагательных и глаголов. Ср.:

(7) а. *пройти X насквозь* (= 'войти в X, пройти сквозь него и выйти с противоположной стороны')

б. *сквозное отверстие в X-е* (= 'такое, через которое можно пройти X насквозь')

с. *сквозняк* (= 'поток воздуха, проходящий помещение насквозь').

Глагол *сквозить* является, фактически, синтаксическим дериватом предлога *сквозь*, ср.:

(8) а. *В тумане сквозили очертания домов* = *очертания домов проступали сквозь туман* (класс I.1.B: перцептивное движение на фоне проницаемого вещества)

б. *В его словах сквозила* *какая-то неясная ирония* = *ирония проступала сквозь его слова* (класс II: восприятие одной ситуации на фоне другой).

Предлоги в русском языке, если они вообще участвуют в словообразовательных отношениях, обычно сами являются производными, образуясь от существительных (ср. *верх* → *наверх*); тем самым, оказывается, что *сквозь* ведет себя в словообразовательном отношении как существительное (каковым оно исторически, скорее всего, и является).

Другая интересная аномалия в поведении предлога *сквозь*, также объяснимая его субстантивным происхождением, связана с его морфонологическими свойствами. Обычно русские (непроизводные) предлоги являются полноценными клитиками, т. е. составляют с опорным словом единый фонетический комплекс. Элементы этого комплекса объединены не только общим ударением, но и отсутствием морфонологических явлений, типичных для межсловных границ. Так, в сочетаниях типа *под лесом* или *через лес* не происходит оглушения конечной согласной предлога (зато происходит редукция безударных гласных в составе предлога). Напротив, в сочетаниях типа *сквозь лес* происходит оглушение конечной согласной предлога, а редукция гласной не происходит, что, опять-таки, гораздо ближе к сочетаниям двух существительных (типа *мороз-воевода*), чем к сочетанию предлога и существительного. На подобные явления обращено внимание, в частности, в работе Булыгина 1977: 219–220.

3.3. Сопоставительный анализ предлогов: устойчивые параметры

Мы рассмотрели источники вариативности, порождающие контекстные модификации употреблений предлогов *через* и *сквозь*. Теперь следует обратить внимание на некоторые нетривиальные различия в значениях этих предлогов. Нетрудно заметить, что у них совпадает довольно большая часть контекстов; собственно, точнее даже будет сказать, что контексты предлога *сквозь* как бы «вкладываются» в контексты предлога *через* (за исключением того специального случая, когда *сквозь* вводит фоновую ситуацию, т. е. контекстов типа *сквозь сон*). Именно в таких совпадающих контекстах бывает возможна замена одного предлога на другой — замена, которая, однако, сопровождается более или менее заметными изменениями в семантической интерпретации соответствующей ситуации. Ответственными за эти семантические эффекты являются *устойчивые параметры* в значениях обоих предлогов, к описанию которых мы и переходим.

Для *сквозь* несущественно наличие *конечного пункта движения* (при том, что в некоторых контекстах он вполне может быть выражен); *через*, напротив, всегда описывает движение, у которого, помимо промежуточного этапа (вводимого этим предлогом), имеется и какой-то иной конечный пункт (даже если он непосредственно не выражен в тексте). Следствием этого обстоятельства является также то, что *сквозь* чаще описывает нецеленаправленное движение, применительно к которому вообще затруднительно говорить о существовании изначального заданной траектории. Таким образом, для *сквозь* прагматически выделенным оказывается само движение, а для *через* — результат движения. Ср. противопоставление предлогов в следующих примерах:

(2) а. *стержень настолько узкий, что свободно проходит сквозь / через отверстие* [важно, проходит или не проходит, не важно, что с ним происходит потом]

б. *пройдя через / сквозь отверстие, стержень непременно застрянет в деревянном основании* [важно, где стержень окажется в конце пути, но, с другой стороны, само движение — нецеленаправленное]

с. *он легко вынул стержень через /²сквозь отверстие* [движение целенаправленное, конечный пункт определен]

(3) *жизнь прошла, как песок сквозь /²через пальцы* [указание на конечный пункт несущественно: ср. невозможность задать здесь вопрос «куда?»].

Далее, *сквозь* обычно описывает ситуацию движения, при котором движущийся субъект либо находится в более тесном *контакте со средой* (прототипический контекст для *через*, напомним, вообще предполагает отсутствие контакта), либо даже вынужден преодолевать сопротивление этой среды (которая концептуализуется как «помехи»); часто это связано с тем, что среда оказывается нетипичной для данного вида движения (и, в силу этого, более «агрессивной»). Ср. следующие примеры, в которых абсолютно недопустимо употребление *через*:

- (4) а *человек, который умеет проходить сквозь стены*
 б. *нож прошел сквозь масло / прошел, как нож сквозь масло*

По отношению к этим примерам верно и то, что было сказано выше по поводу примеров (2)–(3); так, в частности, ни к одному из них также не может быть задан вопрос «куда?».

Две рассмотренные особенности объясняют и некоторые важные аспекты сочетаемости предлогов с приставочными глаголами. Действительно, известно, что глаголы с приставкой *про-* равным образом сочетаются и с *через*, и со *сквозь* (*пролететь через / сквозь пелену тумана, пройти через / сквозь обшивку*, и т. п.), тогда как глаголы с приставкой *пере-* в нормальном случае сочетаются только с предлогом *через* (*перейти через / *сквозь улицу, перебраться через / *сквозь пустыню*, и т. п.). Это связано, без сомнения, с тем обстоятельством, что, хотя оба глагола и содержат указание на конечный пункт движения (и поэтому могут сочетаться с *через*), только глаголы с *про-* содержат дополнительный семантический компонент ‘преодолевая сопротивление окружающей среды’, который и делает возможным употребление *сквозь*.

Наконец, третья пара устойчивых параметров связана с возможностью / невозможностью *свободного выбора траектории движения*. А именно, предлог *через* описывает движение, при котором траектория так или иначе может быть изменена движущимся субъектом: появление в составе этой траектории данного (а не другого) промежуточного этапа связан с выбором именно данного (а не другого) направления движения, конечного пункта и т. п. В контекстах с предлогом *сквозь* это условие может не выполняться: среда движения представляется как бы навязанной субъекту извне, ее появление не зависит от того или иного выбора направления. Соответственно, глаголы, описывающие неконтролируемые действия (особенно перцептивного характера), тяготеют к контекстам со *сквозь*. Так, нормаль-

ным является следующее распределение предлогов: *смотреть / слушать / дышать через*, но *видеть / слышать / ощущать сквозь*.

Тем не менее, встречаются примеры и иного распределения (главным образом представленные экспансией предлога *сквозь* в агентивные контексты); в этом случае действие, само по себе контролируемое, представляется как вынужденное, лишенное возможности выбора в отношении препятствия. Ср.: употребления типа *смотреть сквозь прищуренные веки / сквозь пелену*, где препятствия нельзя миновать независимо от направления взгляда, говорящий его не выбирает и, что существенно, смотрит *не на него*: оно просто «навязано» ситуацией. С другой стороны, можно *смотреть сквозь X на Y* в том случае, если говорящего интересует не возможность увидеть Y, а возможность рассмотреть X «в свете» Y-а, т. е., опять-таки, Y не является настоящим конечным пунктом. Ср. несколько примеров такого рода из литературных текстов (М. Булгаков):

(5) *Вон бежит, задыхаясь, человек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человека, выстрел, он, охнув, падает навзничь, как будто острым ножом его спереди ударили в сердце* [дым — помеха для наблюдения; ср. примеры типа *наблюдать через щель / подзорную трубу*, где *через* вводит инструмент наблюдения]

(6) а. *Поднимались сотни рук, зрители **сквозь** бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки* [зрителей интересует не сцена, а водяные знаки]

б. *Достали из-под подушки карту, проверили. Ни одно очко кроме того, что было прострелено Азazelло, не было затронуто. — Этого не может быть, — утверждал кот, глядя **сквозь** карту на свет канделябра* [кота интересует не свет, а число дырок в карте]

с. *Вино нюхали, налили в стаканы, глядели **сквозь** него на исчезающий перед грозю свет в окне. Видели, как все окрашивается в цвет крови* [глядевших интересует световой эффект и качество вина, а не то, что можно увидеть в окне].

Теперь, построив семантическую сеть для двух русских предлогов —

3.4. Понятие концепта и семантическая сеть предлога *через* и предлога *сквозь* — мы можем наблюдать не только семантическую диффузность этих предложных конструкций, но и связи между отдельными их употреблениями. При этом связывать, сопоставлять можно как употребления одного предлога, т. е. узлы одной сети, так и употребления разных предлогов — фрагменты разных сетей.

Более того, сеть дает возможность сравнивать сходные конструкции в разных языках, причем видеть не только сходство узлов (= отдельных употреблений), но и, что особенно интересно, переходов от одного узла к другому. В самом деле, и для английского *over* (Brugman 1988, Lakoff, Brugman 1988), и для русского *через* характерна комбинация контактного и дистантного движения, как в парах: *the plane is flying over the hill* 'самолет перелетает через горы' — *Sam is walking over the hill* 'Сэм перебирается через горы' и: <все видели, как> мяч летел через дорогу — <длинной вереницей> ежи шли через дорогу. И для английского *over*, и для русского *через* релевантно такое отношение между узлами сети, как «дистанция — конечная точка», ср. *Sam is walking over the hill* — *Sam lives over the hill* (Lakoff, Brugman 1988: 481) и русск. *идет через дорогу* — *живет через дорогу*. И той, и другой сети свойствен рефлексивный переход — в русском результатом семантической рефлексивизации являются примеры типа *перевернуться через голову* (см. 3.1), а в английском — типа *the fence fell over* (Lakoff, Brugman 1988: 483–495).

Вопрос, который естественно возникает при анализе такого рода параллельных употреблений, — почему же, несмотря на то, что отдельные фрагменты сетей очень похожи, в целом эти сети (например, *через* и *over*) оказываются нетождественны? Другими словами, почему русское *через* и английское *over* не являются в общем случае простыми переводными эквивалентами друг друга?

Действительно, *через* в целом никак не сводится к *over*. В частности, у *через* нет употреблений, хоть сколько-нибудь похожих на: *the fence fell over* 'забор развалился', *she spread the tablecloth over the table* 'она расстелила скатерть на столе', *the guards were spread over the hill* 'часовые были расставлены по всему холму' и др., и более того, даже в тех случаях, когда налицо сходство употреблений, это сходство не полное. Так, по-русски нельзя сказать ни **он шел через горы* (нужно или *через горы* или, лучше, *по горе*), ни: ?*самолет летел через горы* (ср. выше английские примеры).

К сожалению, на этот вопрос каноническая теория семантических сетей, как она представлена в работах по когнитивной семантике, ответа не дает. Сосредотачиваясь на отдельных переходах от одного узла к другому или от одной группы узлов (образующих так называемую топологическую схему, подробнее см. Приложение, 2.9) к другой, эта теория может предсказать частные значения, но не объяснить общее направление семантического развития данной лек-

семь. В этом отношении наше описание *через* и *сквозь* от канона отклоняется: мы считаем, что помимо связанной в сеть картины употреблений необходимо еще представление об общем концепте значения, который и определяет в конечном счете устройство данной семантической сети: *через* выражает идею 'промежуточного этапа', а *сквозь* — идею 'среды'. Мы видели, что именно эти концепты определяют возможность того или иного конкретного употребления предлогов и в целом «регулируют» объем сети.

В принципе, можно считать, что концепт и есть инвариант значения лексемы, а инвариант предусмотрен в когнитивной теории (см. Приложение, 2.3 и 2.8), но в нашем понимании такой инвариант должен еще и подразумевать способы, которыми он взаимодействует с контекстом. Ближе всего по своей идее к такой «эффективной» модели инварианта понятие *схемы толкования*, которое использовалось нами в Баранов, Плунгян, Рахилина 1994 при толковании дискурсивных слов. Примерно в том же значении в Киселева, Пайар 1998 употребляется термин *сценарий-схема*²⁰. Наконец, в очень близком смысле (хотя и несколько менее строго), употребляется термин «концепт» в традиции школы «логического анализа языка» Н. Д. Арутюновой.

Кажется, что и английскому предлогу *over* тоже можно приписать некоторый концепт — это будет концепт «охвата», или, в английском варианте, «covering». Именно идея охвата, завершения порождает у *over* несвойственную русскому *через* метафорику типа *the play is over* 'игра окончена', *do it over* 'переделай это', *look over my corrections* 'проверь мои исправления', *you made over a hundred errors* 'ты сделал больше ста ошибок', и др. Что касается сочетаний с предметными именами, то 'охват' предполагает такие объекты, у которых есть как минимум одна обширная плоскость (ср. *spread the tablecloth over the table* 'расстели скатерть по <всему> столу'), но лучше, если это объемный объект, так что в ситуации могут быть задействованы сразу несколько плоскостей (ср. *all over the hill* 'по всему холму'). 'Охват' поверхности может быть и, так сказать, дистантным, когда объект доминирует над ней, как самолет, парящий над озером (*the plane over the lake*). Здесь интересен пример Р. Дьюэла (Dewell 1994), который заметил, что, в отличие от самолета, высунувшуюся над водой голову человека нельзя описать как находящуюся *over the*

²⁰ Это, однако, тоже не каноническое употребление термина «сценарий». Так, в Кронгауз 1998: 248, со ссылкой на Shank, Abelson 1977, сценарий определяется как «набор фреймов, переходящих друг в друга», т. е. фактически сводится к понятию «семантическая сеть».

lake (работа Дьюэла подробнее разбирается в обзоре Филипенко 2000). В этом смысле центральными для *over*, с нашей точки зрения, должны были бы оказаться не употребления типа *the plane flew over*, как считают Бругман и Лаков, а употребления типа *all over the hill* (согласно их описанию, это топологическая схема 3).

Очевидно, что концепты ‘охвата’ и ‘промежуточного этапа’ друг от друга достаточно далеки и могут демонстрировать лишь локальные совпадения. В частности, топология допустимых в соответствующих конструкциях объектов тоже будет разная. Так, с точки зрения ситуации ‘охвата’ гора — это всего лишь объемный объект, который человек обходит с разных сторон, тем самым «охватывая» разные ее поверхности, а с точки зрения ситуации ‘промежуточного этапа’ гора должна быть препятствием на пути — но препятствие представляется прежде всего как вытянутый объект, расположенный *поперек* движения (наподобие реки, дороги, оврага и т. п.), поэтому более естественным препятствием, конечно, будет не одна гора, а цепь гор, которую нельзя обойти.

Подведем итоги. В настоящем разделе был предложен способ представления предложных конструкций, «нейтрализующий» их многозначность. Этот способ предусматривает, с одной стороны, тщательное описание всех групп употреблений предлогов как связанных между собой, в том числе и типовым образом (так называемыми семантическими трансформациями) — иными словами, построение семантической сети. С другой стороны, предполагается поиск общего концепта, определяющего возможности развития данной сети. Такая модель описания предложных конструкций позволяет, как кажется, «подняться» над полисемией предлога и оптимальным образом установить механизм взаимодействия предлога и имени и те именные топологические характеристики, которые релевантны для данной конструкции.

Глава IV

В ЗЕРКАЛЕ ГЛАГОЛОВ: ПОКОЙ И ДВИЖЕНИЕ

§ 1. *Стоять, сидеть, лежать и висеть* — позиционные глаголы? *

1. Вводные замечания: языки классифицирующие и универсальные

В отношении местонахождения объекта языки ведут себя по-разному, в зависимости от того, какую из двух основных тенденций — *универсальную* или *классифицирующую* — данный язык предпочитает. Универсальная тенденция предполагает, что в языке есть один главный локативный предикат, который описывает любое локативное состояние независимо от типа объекта ¹. Подобным образом устроен, в частности, французский язык, использующий в качестве такого предиката глагол *être*.

Наоборот, если в языке господствует классифицирующая тенденция, то в нем одно и то же локативное состояние может описываться разными предикатами, в зависимости от того, об объекте какого типа идет речь: разные объекты требуют для своего описания разных предикатов. Иными словами, чтобы в таком языке выбрать лексему для описания ситуации ‘некто находится в горизонтальном положении’, нам нужно знать, о каком объекте идет речь: человек ли это, животное, дерево и т. п. Так устроены грузинский, некоторые дагестанские языки, многие языки американских индейцев (в том числе навахо). В них глаголы местонахождения как бы классифицируют предметную лексику, различая объекты внешнего мира по одушевленности,

* Первоначальный вариант опубликован в: Вопросы языкознания, 1998, № 6, 69–80.

¹ Более того, как полагают сторонники так называемой локалистской гипотезы, ср. обзор в Sienki 1996, с течением времени в языке другие типы состояний (прежде всего, эмоциональные) «заимствуют» средства выражения у локативных состояний (ср. здесь русск. *Он в комнате* — *Он в гневе*); в таких случаях область действия универсального предиката может оказаться еще шире.

форме и проч. — поэтому такие глаголы и называют классифицирующими².

2. Локативные состояния и топологические типы

К какому же типу ближе русский язык — к классифицирующему или универсальному? Специалисты в области иностранных языков, прежде всего, французского, отмечали в русском классифицирующие тенденции (см., в частности, Гак 1988, Guiraud-Weber 1992 и Гак 1998: 291; ср. также Апресян 1980: 17–18). В настоящей работе эта проблема обсуждается на примере трех основных так называемых «позиционных» (ср. англ. термин *«stance verbs»*, подробнее см. Newman 2002, Майсак 2005) локативных предикатов русского языка: *стоять, сидеть, лежать*. В русском языке эти глаголы описывают прежде всего три разных положения человека в пространстве: вертикальное — *стоять*, горизонтальное — *лежать* и в некотором смысле промежуточные положения человека, которые условно можно назвать «сложенными» — *сидеть* (ср. разные положения человека, описываемые этим последним глаголом: *сидеть на стуле, сидеть верхом, сидеть на полу, сидеть на корточках, сидеть по-турецки*). Эти же глаголы в русском языке применимы к описанию животных; как и следовало ожидать, положения животных при этом уподобляются положениям человека. Так, по-русски говорят *собака лежит на коврике, конь стоит в стойле, лягушка сидит на дорожке* и под.

Конечно, совсем не все животные могут, как человек, менять свое положение в пространстве, поэтому если к существительному *собака* могут быть применены все три предиката — *собака стоит / лежит / сидит*, то, например, живая лягушка описывается только одним способом, ср.: *лягушка сидит / *стоит / *лежит*. В подобных случаях можно было бы считать, что таким образом устанавливается некая классификация животных — по их форме и обычным положениям в пространстве, — иначе говоря, по их *топологии* (ср. выше, § 2 Главы II), и что эта классификация в дальнейшем будет переноситься и на

² Интересно, что в некоторых языках американских индейцев так устроена не одна семантическая группа, а значительная часть глагольной лексики. При этом поведение глаголов (в том числе и в отношении классов имен, которые они выделяют) оказывается близко к поведению так называемых *классификаторов* — обязательных «спутников» имени в счетных и некоторых других конструкциях, задающих (семантический) класс объекта (подробнее см. обзор в Плунгян, Романова 1990).

неодушевленные объекты. А именно: выделяются, с одной стороны, вытянутые вверх, вертикально ориентированные объекты — к ним применим предикат *стоять* (ср. *шкаф, дерево, стена, фонарь* и под.) и, с другой стороны, плоские, горизонтально ориентированные объекты — их описывает предикат *лежать* (ср. *коврик, поваленное дерево, доска, снег под ногами* и др.). Отсюда естественно было бы сделать следующий вывод: если центральными, «прототипическими» употреблениями для *стоять, лежать* и *сидеть* являются те, что описывают человека, то расширение центра происходит за счет сходной с человеком топологии других объектов (ср. описание похожих механизмов в Hawkins 1988).

Надо сказать, что такая точка зрения представлена в лингвистической литературе, причем самого недавнего времени: см. Serra Borgheto 1996 (правда, в этой статье идет речь не о русских, а о немецких глаголах *stehen* 'стоять' и *liegen* 'лежать'; аналогичная «пространственная» интерпретация русского материала предлагается в Н. Кравченко 1996; ср. также Гак 1998: 363). Стержнем, основной теоретической идеей в этом случае оказывается «сплошная» метафоризация противопоставления вертикальности и горизонтальности, которая должна охватывать абсолютно все случаи употребления позиционных предикатов, несмотря на то, что многие из них отстоят от прототипа достаточно далеко. Ср., например, *деньги лежат* (а в немецком языке — *стоят*) *на счету в банке* — этой ситуации тоже навязывается метафора горизонтальности (или вертикальности) счета. Кроме того, в стороне оказывается предикат *сидеть*, сразу нарушающий дихотомию вертикальность / горизонтальность; в статье Серра Борнето предикат с таким значением не рассматривается.

В настоящей работе мы предлагаем принципиально другой подход к описанию позиционных предикатов, прямо не связанный с их зрительным прототипом, но при этом, с нашей точки зрения, вернее предсказывающий сочетаемое поведение различных представителей этой семантической группы глаголов.

Вообще говоря, противопоставление «пространственного» и «непространственного» описания позиционных глаголов является частью более сложной теоретической проблемы, которую можно сформулировать как противопоставление «локалистской» и «нелокалистской» точек зрения на семантическое описание. Согласно локалистской точке зрения, имеющей давнюю историю (см. обзор в Cienki 1996) и много сторонников, особенно среди когнитивистов (в их числе, например, Джордж Лаков), пространственные значения являются диахронически исходными и семантически базовыми по от-

ношению к непространственным (так, что описание непространственных употреблений предлогов или наречий опирается на их пространственные употребления). Этой точке зрения противостоит другая, согласно которой непространственные значения не менее существенны для описания многозначных единиц и подчеркивают роль так называемого «функционального» компонента в семантике — см., например, Vandeloise 1991 и 1994 для пространственных предлогов, Cadiot 1994 для предметных имен; ср. также материал в Главах II и III. Еще более радикальный вариант «антилокалистского» подхода отрицает даже семантическую элементарность пространственных значений. Так, в работах представителей школы А. Кюльоли во Франции пространственные употребления предлагается считать одной из частных реализаций более абстрактного и бедного общего значения — наравне, например, с временными и прочими контекстными употреблениями (см., например, Franckel, Paillard 1997; Пайар 2000).

3. За пределами топологии

Прежде всего, обратим внимание на то, что есть достаточно много примеров, не укладывающихся в рамки топологического объяснения, ср.:

В конце предложения стоит точка

На столе лежат помидоры

Пробка крепко сидит в бутылке

Пыль стоит столбом

Пирог сидит в печке

Передо мной лежит пропасть, и др.

(Аналогичные примеры — с несколько иной интерпретацией — приводятся в А. Кравченко 1996: 37–40; см. также обширный фольклорный материал в Топоров 1996.)

Очевидно, что топологические свойства данных объектов таковы, что сами эти объекты нарушают классификацию, о которой мы только что говорили: точка не является вертикальным объектом, пропасть — горизонтальным, пирог — «сложенным», и т. п. Очевидно и то, что если, говоря о человеке, мы имеем в виду три его *разных*, противопоставленных друг другу положения, то в этих примерах речь идет, в сущности, об *одном и том же* (а именно, *неподвижном*) положении в пространстве, и тем не менее, в одних примерах используется глагол *стоять*, в других — *лежать*, в третьих *сидеть*, причем без возможности заменить одно на другое.

Как представляется, эти примеры свидетельствуют о том, что расширение значения глаголов происходит не только за счет (топологических) типов *объектов*, но и за счет типов *ситуаций*, т. е. семантики самих глаголов. Если наша гипотеза верна, значит в семантике *стоять*, *сидеть*, *лежать* есть некоторые нелокативные компоненты (не замеченные нами раньше), дополнительно характеризующие положение в пространстве, в том числе и человека. Эти компоненты значимы для глаголов во всех их употреблениях, хотя в «центральных», прототипических контекстах они не имеют большого семантического веса. Между тем, большинство локативных ситуаций с неодушевленными объектами различается в русском языке именно благодаря этим дополнительным нелокативным компонентам в семантике локативных глаголов.

4. *Стоять и лежать*: основное правило семантического распределения

Рассмотрим подробнее пару *стоять* и *лежать*. Отметим прежде всего, что среди употреблений *стоять* есть зона, не связанная с «конкурентными» употреблениями глаголов местонахождения: *стоять* используется для описания окказиональных неподвижных состояний постоянно движущихся объектов, ср.: *поезд стоит две минуты*, *часы стоят*, *завод / мельница стоит* (в значении ‘не работает’), *в городе стоит* (‘остановился, не перемещается’) *кавалерийский полк* и под. Ни глагол *лежать*, ни глагол *сидеть* не описывают подобных ситуаций, поэтому постоянно движущиеся объекты представляют для нас в данном случае меньший интерес и в дальнейшем игнорируются.

Предметом нашего внимания в первую очередь будут те неподвижные объекты, которые можно было бы назвать «невертикальными», в силу чего они не могут быть уподоблены стоящему человеку. Мы говорим: *посуда стоит на столе*, имея в виду не только стаканы и кастрюли, но и тарелки и сковородки — объекты абсолютно плоские. Мы говорим: *обувь стоит под вешалкой*, имея в виду не только сапоги и ботинки, но и туфли и тапочки, т. е. тоже более или менее «горизонтальные» объекты. Можно было бы предположить, что здесь важна ориентация ‘верх/низ’ и что она в каком-то смысле заменяет вертикальность (эта гипотеза обсуждается и в Serra Borneto 1996). В таком случае, интерес представляют объекты с невыраженной пространственной ориентацией (такие, как, например, *ящик*, *коробка* и

под.): они имеют нефиксированные размеры и форму, т. е. могут быть и высокими, и плоскими; нет у них и раз и навсегда определенного верха и низа. Оказывается (это подтверждают, в том числе, и опросы информантов), что предметы такого рода, находящиеся в одном и том же положении, могут описываться как глаголом *стоять*, так и глаголом *лежать*. То же относится к «бесформенному» и «безразмерному» имени *вещь*: в одной и той же ситуации можно в подавляющем большинстве случаев сказать и *вещи стоят*, и *вещи лежат*³. С другой стороны, о более или менее круглых предметах, таких, как *мяч* или *камень*, *помидор*, *яйцо* и под. в русском языке говорят только *лежит*. Но даже если считать, что у них нет выраженной вертикальной оси (см. Serra Borneto 1996), нельзя признать у них и существования горизонтальной оси. Тогда почему в русском языке (как и в немецком) в таких случаях употребляется предикат *лежать*? Что заставляет говорящего выбирать то или иное решение?

Нам представляется, что когда говорящий использует глагол *стоять*, он обращает внимание на *функциональность* объекта, и наоборот, в тех случаях, когда используется глагол *лежать*, объект как бы отделен от своей функции. *Стоят: мебель, лес, корабль в бухте; лежат: зонтик в шкафу, булавки в коробке, лекарства в ящике, лопаты в сарае* и под. Следовательно, для *стоять* важна такая ориентация объекта в пространстве, которая *соответствует* его *функции*, а для *лежать* — не просто и не обязательно горизонтальное расположение объекта, а такое положение, которое бы *не соответствовало* его *функции*. В этом отношении идея «правильной» и «неправильной» ориентации в пространстве типа «верх—низ» является очевидным следствием нашего функционального правила: «правильная» ориентация объекта обычно связана с тем его положением в пространстве, в котором он функционирует, в данном случае, используется человеком. Наоборот, «неправильная», неестественная его ориентация в пространстве обычно возникает тогда, когда он находится в «нерабочем» состоянии. С другой стороны, все-таки та или иная ориентация объекта обязательно оправдана функционально, и тогда в качестве условия выбора между *стоять* и *лежать* функциональность оказывается сильнее топологии.

³ Более абстрактное имя *предмет* употребляется в позиционных конструкциях реже, ср.: *в углу стояли вещи / *предметы; на столе лежало много интересных вещей / *предметов*; обычно в таких случаях требуется по крайней мере неопределенное местоимение: *в углу стоял какой-то предмет, на столе лежали какие-то <непонятные> предметы*, и т. п. Еще более абстрактное имя *объект* в позиционных конструкциях вообще не встречается.

В самом деле, про всё, что в шкафу, в сарае, на полке, на свалке — отложено, сложено до лучших времен или выброшено за ненадобностью, — про все это мы говорим *ЛЕЖИТ*. Однако в действительности это не значит, что описываемые объекты непременно сохраняют горизонтальное положение или что ориентация «верх—низ» у них обязательно нарушена. Когда говорят: *Зимой все велосипеды всегда лежат у нас в сарае*, это значит, что они находятся в сарае, но при этом могут стоять, например, прислоненные к стене. Когда говорят: *Наш старый холодильник давно лежит на свалке* это значит, что он находится на свалке, но не обязательно валяется на боку — он может сохранять свое обычное положение, просто он уже не нужен, больше не используется. Более того, про некоторые предметы мы точно знаем, что они именно *СТОЯТ* (т. е. расположены с соблюдением ориентации верх—низ) — например, посуда в шкафу, и тем не менее, по-русски можно сказать также: *Вся новая посуда лежит в буфете* или: *Где у вас лежат тарелки?* Ср. также: *В правом шкафу у нас лежат книги, а в левом — пластинки* (пластинки и книги, скорее всего, конечно, *СТОЯТ* в шкафу, но у говорящего есть возможность употребить и глагол *лежать*.) Наоборот, если взять такой достаточно «горизонтальный» предмет, как мыльница, то окажется, что предложение с глаголом *стоит* (*моя мыльница стоит на полочке*) вполне допустимо, так как оно описывает функционально значимое положение объекта — ср. *мыльница лежит* / **стоит в чемодане*.

Бесспорно, данный нелокативный — функциональный — компонент значения возникает именно потому, что в языковой картине мира (по крайней мере для русского языка) существует представление, что стоя человек работает, движется, живет, а лежа — отдыхает, спит, болеет, умирает, и, таким образом, топология всё равно оказывается исходной, а картина употреблений *стоять* и *лежать* — целиком антропоцентричной, т. е. ориентированной на человека. Однако синхронно, на наш взгляд, семантической доминантой для *стоять* и *лежать* является скорее не локативная, а функциональная составляющая. Именно она объединяет существующие употребления *стоять* и *лежать* и втягивает в их орбиту новые контексты.

Позволим себе привести достаточно обширную цитату из статьи Топоров 1996: 42—43, где также обращается внимание на указанное противопоставление:

«*Стоять* — *лежать* противопоставлены друг другу как *вертикальное*, образующее соответствующую доминанту-ось мира и изоморфируемого ему

человека в полноте своей динамической творческой силы — физической и духовной, — и *горизонтальное*, соотносимое с таковой же структурой мира и изоморфируемого ему человека в его наиболее стабильно-прочном положении, пределом чего является мертвое тело, покойник, труп (в этом последнем случае “стабильно-прочность” уже ничему не служит — ни сохранению “устойчивости” [скорее — “улёжчивости”] как средства защиты от внешних возмущений, ни осуществлению внутренних функций, локус которых — горизонтальная структура мира, ни реализации связей между разными частями этой структуры). В пределах контекста, определяемого мотивом стояния как основным, именно стояние трактуется как знак готовности к инспирациям (извне ли или изнутри) и к отзыву на них, предполагающему высокую активность, инициативность. Лежачее положение, напротив, знак демобилизованности, пассивности, отключенности от внешних импульсов, как, впрочем, в значительной степени и от внутренних».

5. Некоторые примеры

В подтверждение высказанной гипотезы рассмотрим следующие примеры.

< И лодка, и в особенности плот представляют собой горизонтально ориентированные предметы; однако, если по-русски говорят *плоты* или *лодки лежат*, это значит, что они сложены *на берегу*. Про находящиеся в воде лодку или плот скажут *стоит*, ср.:

Лодки / плоты стоят у причала;

Брошенные спасателями лодки стояли посредине реки у остова потонувшего судна.

Это довольно существенный довод против чисто топологической интерпретации *стоять* и *лежать*. Дело в том, что ни размеры, ни ориентация объекта здесь не меняется; про *один и тот же* объект в процессе его функционирования скажут *стоит*, а вне его — *лежит*, причем здесь, в отличие от ситуации с ящиками или коробками, никакого произвола говорящего нет, так как эти употребления жестко закреплены в языке, ср.:

?? Лодка стояла на берегу;

** Брошенные спасателями лодки лежали посредине реки.*

< Совершенно так же ведет себя существительное *крышка*: про крышку, которой закрыта кастрюля, никогда не скажут *лежит*: сочетание *крышка лежит* описывает только нефункциональное положение крышки (например, на столе, отдельно от кастрюли, в перевернутом положении).

< Рельсы железнодорожного полотна тоже расположены горизонтально, тем не менее предложение *прямо перед паровозом лежали <новенькие> рельсы* мы интерпретируем не так, что оно соответствует ситуации, когда на этих рельсах стоит поезд и собирается по ним ехать (функциональная интерпретация: рельсы в рабочем состоянии), а, скорее, как то, что рельсы по какой-то причине были свалены перед паровозом, преграждая ему путь (нефункциональная интерпретация).

< Следующая группа примеров касается глагола *лежать* в применении к живым существам. Большинство животных, как мы уже говорили, в языке уподоблено человеку, и их положения в пространстве как бы приравняются к положению человека. Но насекомые, птицы и некоторые мелкие животные оказываются не похожи на человека: наиболее характерное их положение в покое описывается глаголом *сидеть*, а не *стоять* (см. об этом подробнее ниже), ср. *ласточка сидит на ветке; пчела / жук / бабочка сидит на подоконнике*. Ср. также предложение *на листе сидела гусеница*, возможное несмотря на то, что гусеница вытянута на листе горизонтально. Как видим, глагол *лежать* не применим к описанию *живых* насекомых, птиц и проч., независимо от того, к какому топологическому типу они относятся⁴. Сочетания же *жук / гусеница / червяк лежит* описывают умершие существа (и, тем самым, вкладываются в зону употреблений *лежать*).

< Любопытный случай — сочетаемостные свойства слова *пластырь*. Вообще говоря, пластырь представляет собой яркий пример плоского горизонтального объекта, идеально подходящего по своим топологическим свойствам для глагола *лежать*, и тем не менее, ситуация, в которой пластырь «работает», т. е. приклеен, закрывает рану на коже, именно в силу своей функциональности, никогда не может быть описана как: *<у него на руке> лежит пластырь*.

Обратим внимание, что последние примеры образуют весьма своеобразную группу языковых объектов: в русском языке для них не существует способа описать их положение в пространстве, когда они находятся в «рабочем» состоянии. Действительно, все эти объекты слишком горизонтальны, чтобы к ним можно было применить предикат *стоять*, и слишком «активны», чтобы к ним был применим предикат *лежать*.

⁴ Некоторые информанты указывают на возможность употребления *лежать* для описания неподвижных змеи, черепахи или крокодила. Интересно, что в тех же случаях часто возможно и употребление глагола *сидеть*, ср.: *На песке лежал / сидел крокодил и смотрел на нее грустными глазами*.

< И словари, и грамматики отмечают в качестве характерных употребления *лежать* для описания видимых нами как бы с высоты больших неподвижных объектов, в каком-то смысле «пространств». *ЛЕЖАТ*: море, степь, равнина, пропасть, ущелье, горы (NB!); город, крепость, развалины и др. Однако и про горы, и про город, и про крепость, и даже про развалины (т. е. про все сколько-нибудь возвышающиеся объекты) можно сказать и *СТОИТ*, если сделать акцент на их существовании / функционировании. Когда говорят *Перед нами стояли развалины крепости* (при возможном ...*лежали*...), это значит, что хотят подчеркнуть, что крепость еще в каком-то смысле функционирует — например, воспринимается в качестве препятствия на пути. Последняя интерпретация, пожалуй, наиболее частотна, ср., например, *Перед нами стоял бушующий океан* и мн. др. Отметим, что в отличие от множественного *горы* единственное число *гора* в русском языке не концептуализуется как «пространство».

С другой стороны, всё, что предназначено для использования, скорее описывается глаголом *стоять*. Обратим внимание на некоторые интересные случаи.

< О цветах говорят, что они *стоят*, не тогда, когда они растут, а тогда, когда они поставлены в вазу. Ср., однако, *деревья стоят / лес стоит* (о растущих деревьях).

< Вещества тоже могут описываться глаголами *стоять* и *лежать*: так, *соль, сахар, мука стоят на столе*, упакованные в пачки или пакеты (происходит метонимический перенос *пакет стоит* ⇒ *соль / сахар стоит*; такой же перенос возможен и для глагола *лежать*). Однако насыпанные горкой соль или сахар не описываются ни глаголом *стоять*, ни глаголом *лежать*. Выражение *вода стоит* подразумевает, что вода представляется действующим лицом, способным двигаться — опускаться, подниматься, уходить, ср.: *Вода ушла из колодца, Вода стоит высоко, В канаве стоит вода, но⁵ В стакане / в море стоит вода, и под.*

< *Пыль лежит на столе* и *стоит в воздухе*: в последнем случае она «работает» — «пылит». Точно так же объясняются сочетания *стоит дым* (*пар, чад, запах*), а также *мороз, жар, тишина, скука, холод, крик,*

⁵ Особое употребление представлено в контекстах типа: *Печать усталости лежала на ее лице*. Оно описывает неконтролируемое состояние человека, которое он может не проявлять и в отдельных случаях даже не ощущать, ср.: *Она весело болтала с нами, живо реагировала на все происходящее, но на лице ее лежала печать усталости*

выбор, вопрос, задача, проблема, и даже *полдень / март*; ср. также: *Ее лицо стояло в памяти / передо мной; стоит костью / как кость в горле*.

— Точка (и другие знаки препинания), печать и подпись *стоят* — тоже в функциональном смысле⁵.

< Тени, будучи отброшены, разумеется, *лежат* (*на стенах, на полу* и даже *на потолке*). При этом ни *луна*, ни *солнце*, ни *звезды*, конечно, не *лежат*, а исключительно *стоят на / в небе*: именно в этот момент они максимально освещают Землю.

< О деньгах всегда говорят *лежат*: в банке, на книжке, в кошельке, в кассе, в тумбочке. В русском языке нет представления об их рабочем состоянии (можно, правда, упомянуть такие глаголы, как *обращаться* и особенно распространившееся в последнее время *крутиться*).

< Предложение *Рукопись лежит в редакции* означает, что по каким-то причинам ей нет ходу, она не печатается. Аналогично интерпретируется и сочетание *лежать под сукном*.

Как мы уже говорили, функциональная составляющая *стоять* и нефункциональная *лежать* имеется и в тех сочетаниях, когда *стоять* и *лежать* характеризуют имена лиц; во многих случаях эти составляющие трудно разглядеть, но в сочетаниях типа *стоять в обороне* (= 'обороняться') / *на посту*, *стоять на своем*, *стоять насмерть*, и наоборот, *лежать на боку / в обмороке / без чувств / без памяти* они, как представляется, достаточно очевидны. Отметим также интересное наблюдение В. Н. Топорова о противопоставлении этих двух состояний «в оценочном плане по шкале хорошо — плохо» (1996: 44), с примерами типа *стоять в истине, добре, вере* и *лежать во лжи, зле, ереси*.

Наконец, обратим внимание на поведение частей в контексте *стоять*. В русском языке *стоять* не описывает положение частей, пусть и вертикальных, если они концептуализуются именно как части, а не как отдельные объекты, ср. **посреди палубы стоит мачта*; **на башне стоял высокий шпиль*; **верхняя ветка / макушка дерева стояла на высоте трех метров* и т. п.; ср. однако возможное: *посреди участка уже стоял фундамент* (фундамент представляется как самостоятельный объект) или: *обе его ноги стояли на верхней ступеньке* (ноги видятся как бы отдельно от человека). Стандартным средством описания «выпирающей», в том числе и вверх, части объекта, являет-

и глаза ее не смеялись. Ср. здесь осознанное и в каком-то смысле контролируемое состояние, описываемое как: *Тревога стояла в ее глазах* ≈ *Ей было тревожно; ее глаза передавали тревогу*.

ся глагол *торчать*. Конечно, есть случаи, когда одна и та же картина может быть описана и с помощью *стоять*, и с помощью *торчать*, ср.: *прямо посреди фабричного двора стояла / торчала невыразимо ржавая труба*. В первом случае мы думаем об этой трубе как об отдельном, независимом предмете определенной конфигурации, соответствующей его предназначению, а во втором — как о части двора, нарушающей, так сказать, его «ровность».

Обратим внимание, что глагол *лежать* также избегает субъектов-частей. Важным исключением здесь является устойчивое *волосы лежали <волнами> у нее на плечах*, ср. здесь невозможное (при условии ненарушения самого отношения часть-целое): **подол платья лежал на полу*, **уши <зайца> лежали на спине* и под.; для описания таких ситуаций используются другие глаголы с более сложной семантикой (например, *касаться* или *доходить до*). По-видимому, дело тут в том, что в русском языке позиционные глаголы вообще игнорируют зону частей-целых — по причинам, которых мы коснемся ниже в разделе, посвященном *висеть*.

6. Семантическая доминанта глагола *сидеть*

Перейдем теперь к рассмотрению глагола *сидеть*. Мы уже говорили, что *сидеть* применимо к птицам и насекомым: бабочка, муха, паук *сидят* — в том случае, если они неподвижны и опираются на свои конечности. Такое языковое поведение отличает соответствующие лексемы от имен животных, которые, как мы знаем, обычно уподобляются человеку и различают разные положения в пространстве. Однако в русском языке так ведут себя далеко не все животные. Например, про мышь или крысу никогда не скажут *стоит*: *Посреди комнаты сидела / *стояла мышь*. Про белку тоже не говорят *стоит*, даже если она и замерла, «стоя» на четырех лапах. Крыса, мышь, белка, еж, хомяк, бурундук — всё это «быстрые», с точки зрения носителя языка, постоянно движущиеся звери (так же, как насекомые и птицы) — они редко бывают неподвижны⁶, и в этот момент они как бы замирают, застывают. Вот это **фиксированное** положение и характерно для семантики русского *сидеть*.

Действительно, *гвоздь в стене, топор на топорнице, пробка в бутылке, луковица / репка в земле, хорошо признанная одежда, пирог в печи* представляют собой примеры **фиксированного**, неизменно **неподвиж-**

⁶ Отметим интересное наблюдение М. Гиро-Вебер (Guiraud-Weber 1992: 230), что перемещение таких животных обычно не описывают глаголом *идти* (только *бежать*): так, говорят *пробежала* (не **прошла*) *мышь*.

ного состояния и описываются глаголом *сидеть*. Эта же составляющая *сидеть* определяет интерпретацию следующих примеров:

Сосед-помещик сидит в деревне;
Целый месяц сижу дома: ни в театр, ни на концерт;
На работу она не ходит: сидит с ребенком;
Два дня сидим без хлеба: лень выйти;
Не сиди без дела, займись чем-нибудь;
Нельзя слишком долго сидеть на диете / на одних фруктах.

Данные сочетания имеют в качестве субъектов людей, однако ни одно из них не предполагает буквально их «сидячего» положения. Речь идет только о неизменности того положения, которое описывается: помещик долго не выезжает за пределы деревни, т. е. всё время находится в деревне; в доме нет хлеба и он почему-то не покупается, так что состояние «быть без хлеба» сохраняется два дня; человек ограничивает свое питание (например, фруктами), т. е. добровольно не ест ничего другого, и это состояние не меняется, и т. д.

Нам кажется, что и в тех случаях, когда реальное «сидение» всё же имеет место (ср., например, *сидеть за уроками / чертежами / диссертацией / работой*), семантический компонент неизменности, фиксированности состояния также реализуется, ср.: *целый день сидел за уроками, десять лет просидел над диссертацией*. Особенно характерны в этом плане русские «серийные» синтаксические конструкции, неоднократно привлекавшие внимание славистов и типологов (одна из самых ранних известных нам работ — статья Miller 1970; ср. также Литвинов 1984 и Вайс 1993), со значением прогрессива, т. е. актуальной деятельности, заполняющей некоторый сплошной неограниченный промежуток времени — ср. *сидит пишет, стоит курит, лежит читает*. Представляется, что степень грамматикализации *сидеть* в этих контекстах наибольшая, ср., с одной стороны, *стоит думает* (обязательно стоит) и, с другой стороны, *сидит думает* (вообще говоря, не обязательно сидит, но обязательно ‘непрерывно’)⁷. Можно считать, что такие употребления являются шагом на пути к грамматикализации этих глаголов.

Такого рода неизменность состояния может, конечно, быть и вынужденной, ср.: *сидеть в тюрьме, под арестом, в осаде*. Семантический компонент неизменности позволяет объяснить и «дальнюю периферию» *сидеть*: *сидеть на бобах, сидеть в четырех стенах, сидеть как именинник, сидеть (звезде) в голове, сидеть в девках*. Еще одно интересное сочетание — *глаза сидят на лице*. Обычно это говорят в

⁷ Интересно, что в паремиях глаголы *стоять, сидеть, лежать* имеют статус вечно длящегося действия (Николаева 1995).

том случае, когда глаза *глубоко сидят* и поэтому как бы более фиксированы.

Интересно, что, в отличие от *стоять* и *лежать*, *сидеть* обязательно требует указания на местонахождение субъекта. На наш взгляд, этот синтаксический факт хорошо вписывается в представленную выше семантическую картину позиционных предикатов: фиксированность где-то в рамках определенного пространства или ситуации для *сидеть* VS функциональность (вообще говоря, нелокализованная) для *стоять* и полная нефункциональность для *лежать*.

Экскурс. *Сидеть* в типологическом освещении

Типологическая релевантность такого семантического компонента значения, как фиксированность субъекта в пространстве, а также связь этого компонента со смыслом ‘сидеть’ на сегодняшний день изучены недостаточно (несмотря на вышедший не так давно фундаментальный сборник Newman (ed.) 2002). Между тем, в германских языках эквиваленты русского *сидеть*, так же, как и в русском, широко используются с неодушевленными субъектами — именами предметов и ситуаций, и по крайней мере для этих языков такое исследование возможно.

Специальный интерес для нас представляет нидерландский язык*, в котором имеется значительная зона непозиционных употреблений глагола *zitten* ‘сидеть’ (см. в особенности Lemmens 2002 и указанную там литературу). В статье Lemmens 2002 даются характерные примеры типа: *Er zit geen bier meer in het vat* ‘В бочке больше нет (букв. ‘не сидит’) пива’ или: *Hoeveel zand zit in één zak?* ‘Сколько песка помещается (букв. ‘сидит’) в одном мешке?’ Там же фиксируются следующие контексты, в которых в нидерландском также используется *zitten*: ‘морковка в земле’, ‘бородавка на лбу’, ‘подкова на копыте’, ‘часы на запястье’, ‘пломба в зубе’, ‘кольцо на пальце’, ‘парик на голове’, ‘гвоздь в крышке стола’, ‘градусник под мышкой’, ‘пластырь на руке’, ‘уши на голове <криво сидят>’, ‘колесо на оси’, ‘носок на ноге’, ‘нога в носке’, ‘ошейник на собаке’, ‘воздух в комнате’ (например, в предложении типа ‘В этой комнате <сидит> много воздуха’), ‘косточки в фруктах’ и под.

Обратим внимание, что приведенные примеры и контексты таковы, что для всех них (а также для многих других — сколько-нибудь полный их список мы не можем здесь привести, он был бы слишком велик) фиксированность, предложенная в качестве семантической доминанты для русского, также оказывается применимой. Существенно, однако, что большинство контекстов, разрешенных в нидерландском, в русском, как легко видеть,

* Следующий далее фрагмент представляет отрывок из совместной статьи Рахилина, Лемменс 2003.

абсолютно неприемлемы (ср., например, **кольцо сидит на пальце*, **нога сидит в носке*, **пластырь сидит на руке* и др.). Следовательно, круг употреблений русского *сидеть* с «предметными» субъектами оказывается значительно уже, чем в нидерландском, и он полностью «поглощается» *zitten*.

Таким образом, если опираться не только на внутри-русскую картину с тройкой квазисинонимов *сидеть-стоять-лежать*, а привлекать данные других языков, получится, что наше описание *сидеть* не вполне точно: оно, как оказывается, скорее, описывает нидерландский, чем русский глагол. Задача уточнения семантики *сидеть* сводится, следовательно, к описанию различий в употреблении этих глаголов.

Соответственно, обратим внимание на следующее:

< *Zitten* допускается в случае контакта двух поверхностей, причем не только в случае одушевленного субъекта (или *фигуры* — в терминах Л. Талми) как в ситуациях типа ‘гусеница на листе’, ‘птица на ветке’, но и в случае контакта двух неодушевленных предметов (‘подкова на копыте’, ‘пластырь на руке’, ‘пуговица на пальто’, ‘нос/уши на голове’ и проч.). Заметим, что в нидерландском в большинстве случаев здесь требуется очень плотный контакт, когда фигура приклеена (ср. пластырь), прибита (ср. подкова), пришита (ср. пуговица) или каким-то иным способом прочно связана с фоном (см. Lemmens 2002) — в этом смысле как раз и можно говорить о фиксированности фигуры в данном классе употреблений *zitten*. Русское *сидеть*, как мы видели, «усиливает» контакт предметов не (или не только) через его плотность, а, так сказать, через его площадь: с неодушевленными субъектами *сидеть* не допускает поверхностного, а требует трехмерного контакта фона и фигуры. Нидерландский же допускает и поверхностный, и трехмерный контакт.

< Трехмерный контакт может представляться двояко. Во-первых, как обьемлющий, или охватывающий, — когда фигура является «надетым» на фоновый объект контейнером/квазиконтейнером (т. е. контейнером «без дна» — очень распространенный топологический тип объектов, ср. *кольцо*). Во-вторых, контейнером может быть фоновый объект, а фигура — его содержимым.

Первый случай — вида ‘кольцо на пальце’, ‘ошейник на собаке’, ‘носок на ноге’, как мы видели, характерный для нидерландского, в русском реализуется практически в единственном сочетании — *топор <крепко> сидит на топорище*. Второй случай, когда фигура «вставлена» в контейнер, как ни странно, в русском также не реализуется в чистом виде (здесь особый случай представляет сочетание *пробка сидит в бутылке*), тогда как в нидерландском, как мы видели, контексты типа ‘пломба в зубе’, ‘угли в очаге’, ‘вода в бутылке’, ‘градусник под мышкой’, ‘монетка, <зажатая (букв. ‘сидящая’)> в кулаке’, ‘сабля в ножнах’ и под. допустимы и даже часты.

Суть в том, что в русском требуется погружение объекта не просто в другой объект, а в *среду*, охватывающую этот объект целиком и не имеющую никакого заранее приготовленного отверстия — фоном, таким обра-

зом, в случае трехмерного контакта по типу «погружение», в русском должна быть среда, а не контейнер. Показательным примером здесь может служить пара *гвоздь — винт*. По-нидерландски *zitten* применимо к ним обоим, а по-русски *сидит в крышке стола* — только *гвоздь*, но не *винт*. Разница в том, что гвоздь входит в цельную поверхность, а винт — в готовое отверстие, что, видимо, противоречит идее *сидеть*. Ср. также *луковица сидит в земле* — **ломба сидит в зубе* (по-русски в этом случае говорят *стоит* — в полном соответствии с описанным выше «функциональным» правилом).

Ясно, что и первый тип трехмерного контакта — «охват» (когда фигура является контейнером) в принципе должен быть устроен так же: он тоже должен запрещать готовые отверстия. Отсюда и запреты на контексты типа «носок на ноге» или «кольцо на пальце», которые такое отверстие предполагают. Вспомним, однако, что одно такое сочетание в русском всё-таки возможно — это *топор на топорище*.

Объяснение здесь следующее. Русское *сидеть* отдает предпочтение контакту по типу «объект — среда» перед контактом по типу «контейнер — содержимое» потому, что в случае погружения фигуры в (плотную) среду, как плотность контакта, так и фиксированность фигуры в пространстве значительно выше, чем в случае исходного отверстия. Таким образом, в русском из концепта ситуации 'сидеть' исключаются не контейнеры сами по себе, а исключается слишком слабая степень фиксированности фигуры в пространстве: ведь русское *сидеть*, как мы уже говорили, требует большей фиксированности, чем нидерландское *zitten*. Однако топор и топорище, как известно, связаны гораздо более тесно, чем просто содержимое и контейнер: топор не *надевается* на топорище как кольцо — топорище *вбивается* в топор, и степень контакта фигуры с фоном оказывается здесь значительно выше, чем у обычного квазиконтейнера; следовательно, это сочетание «подходит» под семантику *сидеть*⁸.

Совершенно аналогично, «сидит» пробка в бутылке: данное сочетание приемлемо только в том случае, если контакт фона и фигуры слишком те-

⁸ Очень интересной является зона частей-целых. Можно было бы ожидать, что в русском, в силу требования большей, чем в нидерландском, фиксированности, части могут становиться фигурами, а целые — фоном. На деле всё обстоит наоборот: это возможно в нидерландском, но не в русском: *Er zit een bars in de Spiegel* 'В зеркале (букв.: сидит) трещина', но: **В зеркале сидит трещина*. Представляется, что в нидерландском возможность *zitten* в контекстах часть-целое обусловлена метафорой контейнера: целое осмысливается как контейнер для части, так что в приведенном примере зеркало как бы вмещает в себя трещину. Интересно, что наряду с *zitten* для выражения отношения часть-целое в нидерландском часто выбирается *hebben* 'иметь'. Запрет в русском можно объяснить только общим для всех русских позиционных глаголов отрицательным отношением к контекстам с частями-целыми, см. выше о *стоять* vs. *торчать*, а также ниже раздел о глаголе *висеть*.

сен — например, когда пробку приходится вытаскивать штопором с большими усилиями.

Таким образом, по сравнению с нидерландским *zitten*, русское *сидеть* требует более жесткой фиксированности фигуры. В свою очередь, большая фиксированность предполагает более плотный контакт — в частности, в случае трехмерного контакта неодушевленных фона и фигуры, в русском языке контакт устроен так, что поверхности фона и фигуры теснейшим образом взаимодействуют. Ярким примером столь тесного взаимодействия оказывается ситуация, когда фигура погружена в фон, представляющий собой плотную среду.

Нидерландский же «разрешает» менее жесткую фиксированность, поэтому в нем под концепт ‘сидеть’ подпадают, помимо объектов, погруженных в плотную среду, и контейнеры с содержащимися в них объектами (или объекты, находящиеся в контейнере) и просто скрепленные поверхности.

Отдельную проблему представляет сопоставление метафорических переносов ‘сидеть’ в русском и нидерландском. В принципе, имеется очень значительная зона пересечений. Она касается устойчивых состояний типа *сидеть в тюрьме, сидеть без денег, сидеть без хлеба, <безвыездно> сидеть в деревне*, в которые (как в плотную среду) «погружен» субъект. Ср. нидерландское *Ik zit zonder geld* ‘Я сижу без денег’ и другие сходные контексты употребления *zitten* (Lemmens 2002, Рахилина, Лемменс 2003).

Для русского языка, как мы видели, именно такие контексты и составляют метафорическую зону *сидеть* — за пределы метафоры «устойчивое состояние как плотная среда для субъекта этого состояния» русский язык не выходит. В этом смысле можно считать, что нидерландский опять (как и следовало ожидать) оказывается шире, «свободнее» русского. Действительно, у *zitten*, как кажется, больше метафорических употреблений.

С теоретической точки зрения, было бы интересно проследить, за счет чего происходит это расширение — например, в какой степени оно связано с метафорой контейнера, которая не свойственна русскому. В Lemmens 2002 приводится целый ряд примеров на эту тему. В частности, там говорится, что метафора контейнера, в отличие от метафоры контакта, допускает абстрактное движение. И русский, и нидерландский материал явным образом подтверждают эту идею: в метафорических контекстах с русским *сидеть* (которые как раз и реализуют метафору контакта) фиксированными могут быть только статичные, но не динамичные ситуации, в нидерландском же допускаются и те, и другие. В частности, нидерландское предложение *Waar zitten we in de film?* со значением ‘В каком месте сюжета фильма мы находимся?’ буквально переводится как: ‘где мы сидим в этом фильме?’ На русский же оно не может быть переведено с помощью *сидеть* именно потому, что фоном здесь является не состояние, а абстрактное движение.

Нидерландский более свободен и в отношении синтаксической структуры метафоры: там действие может быть не только фоном, но и фигурой,

ср.: *Er zit actie in de film* 'В фильме есть (букв.: сидит) движение' — в русском языке, напротив, за ролью метафорической фигуры жестко закреплён (одушевленный) субъект ситуации.

Что касается фона-контейнера, в нидерландском это очень широкий класс объектов, см. примеры из Lemmens 2002 и Рахилина, Лемменс 2003, в которых в роли контейнера выступают такие концепты, как *groep*, *игра*, *проблема*, *текст*, *жизнь* и др., ср.: *de groep waar ik nu in zit* 'группа, в которой я теперь состою (букв.: сижу)'.

Обратимся теперь к проблеме типологической релевантности семантических описаний позиционных глаголов — в нашем случае, глаголов сидения. Мы хотели бы обратить внимание на два аспекта этой проблемы.

Во-первых, с типологической точки зрения, интересна идея фиксированности объекта в пространстве как таковая. Видимо, такая ситуация вообще достаточно значима, чтобы выражаться в естественном языке специальными средствами. В частности, последние исследования семантики русского локативного падежа, или, как его называют, второго предложного, говорят о том, что, в общем, то же значение (или, точнее, некоторая его модификация) выражается и грамматическими средствами: выясняется, что «общие свойства русских конструкций со вторым предложным падежом во всех типах контекстов оказываются достаточно единообразными: они описывают ситуацию плотного, интенсивного контакта, при котором либо позиция или функция объекта оказываются жестко детерминированы, либо его свобода перемещения ограничена, либо его природа частично или полностью изменена» (Плунгян 2002: 251). В этой работе падежная кодировка значения фиксированности в пространстве обсуждается и в типологическом аспекте — в частности, обращается внимание на то, что в некоторых дагестанских языках встречается падежная форма с так называемой локализацией сонт, выражающей сходный тип плотного контакта объектов (ср. также Ганенков 2005).

В нашем случае, речь шла не о грамматических, а о лексических средствах выражения фиксированности в пространстве — мы показали, что есть языки, где эту роль на себя берут позиционные глаголы со значением 'сидеть'. Это не случайно: «исходной точкой» для семантического развития в таком случае служит антропоцентричная ситуация 'находиться в «сложенном» положении' — а она является для человека и удобной, и устойчивой. По-видимому, такое семантическое развитие свойственно и германским языкам (в нашем случае, прежде всего, нидерландскому), и русскому — но в разной степени; эту «степень» можно попытаться описать набором признаков, который в дальнейшем мог бы служить основой для более широкого типологического исследования — может быть, построения семантической карты концепта «сидеть» в языках мира.

(1) трехмерный контакт с плотной средой (+ рус, + нидерл)

- (2) охват / погружение в контейнер (– рус, + нидерл)
- (3) плотный контакт (скрепление) двух поверхностей (– рус, + нидерл)

Другой интересный типологический аспект — это связь грамматикализации лексемы и «освоения» ею периферийной зоны употреблений. Легко видеть, что чем более свободна лексема в далеких от своих центральных употреблений зонах — как нидерландское *zitten*, «захватившее» очень значительную (по сравнению с русским *сидеть*) область непозиционных контекстов, тем вероятнее в этом языке и большая степень грамматикализация конструкций с этой лексемой.

В частности, если в русских «сериальных» конструкциях с *сидеть* в качестве главных возможны только глаголы, описывающие состояния и процессы, то в нидерландском, где периферия значительно шире, в качестве основных глаголов возможны и действия. Например, в нидерландском вполне приемлемы сочетания со значением ‘сидит едет’, совершенно недопустимые в русском — хотя в данном случае сама ситуация, несмотря на то, что в качестве основного глагола и выбран глагол движения, обозначает фиксированное положение субъекта в пространстве. Более того, нидерландский способен идти и дальше по пути грамматикализации: он разрешает и предложения типа *Ik heb zitten ronlopen* (букв. ‘я сидел-гулял’) в значении перфектного прогрессива — ‘я (всё время) гулял’, см. Lemmens 2002. В этом отношении чрезвычайно интересны ограничения на данную конструкцию в нидерландском — иными словами, те границы сочетаемости *zitten*, которые пока им не перейдены. Эти лексические ограничения позволили бы установить корреляцию между семантически наполненными употреблением *zitten* и его грамматикализированным вариантом.

7. Вместо послесловия

Возвращаясь к поставленному в начале работы вопросу о том, является ли русский язык в отношении своих позиционных предикатов классифицирующим или универсальным, обратим внимание на то, что ответить на него, вообще говоря, нельзя — потому что в русском языке настоящих позиционных предикатов, как оказывается, нет. Более того, уже самые предварительные результаты лексико-типологической анкеты показывают, что основные семантические доминанты рассмотренных глаголов в принципе могут, хотя бы частично, сохраняться или воспроизводиться в других языках. Заслуживает внимания и идея о связи функциональности не только с «вертикальным» стативом, но и с вертикальным измерением вообще, обсуждающаяся в Ekberg 1995.

8. После послесловия: глагол *висеть*

Глагол *висеть* не входит в тройку *стоять-сидеть-лежать*, потому что не взаимозаменяем с ними — он имеет в русском языке свою «семантическую нишу», описывая особого рода состояние объекта: ‘держаться на чем-либо без опоры снизу, быть прикрепленным к чему-либо, имея возможность движения в стороны’ [МАС]. Вместе с тем, он тоже описывает местоположение объекта, как бы замыкая эту группу основных русских позиционных глаголов, и поэтому безусловно имеет право быть рассмотренным наряду со *стоять, лежать и сидеть*⁹. Самое интересное, однако, в том, что и глагол *висеть* не является в русском языке в чистом виде глаголом местоположения. Доказательству этого мы и посвятим последний раздел данной главы.

Как кажется, зона ‘висеть’ в русском языке легко распадается на три группы ситуаций: во-первых, ситуации, если так можно сказать, «законного висения» — когда объект имеет специальное приспособление, чтобы держаться без опоры, будучи прикрепленным к чему-то. Так висят корзины и ведра (на ручках), лампы (на шнурах), качели, люльки, ружья, одежда (на крючке или вешалке), веревка, занавеска, а также зеркало, книжная полка, объявление, таблица, афиша (на гвоздиках, кнопках...) и т. п.

Вторую группу образуют ситуации, при описании которых оказывается, что *висеть* для данного объекта почему-то плохо: плохо, когда *одежда висит на человеке*, или когда *пуговица висит на пальто*, а также когда *парус или флаг висит на мачте / древке*. Что-то неправильное есть и в том, что *на собаке шерсть висит клочьями* или у кого-то *в углу рта висит папироса*; даже когда *провода висят* — происходит что-то неладное (например, обрыв связи). Однако во всех этих случаях *депотативно* ничего особенного с точки зрения канонической ситуации ‘висения’ не происходит: действительно, чем, собственно, отличается ‘висеть на вешалке’ от ‘быть надетым на человека’ применительно, скажем, к пиджаку? С точки зрения пиджака это, наверное, все равно. А вот с языковой точки зрения это совершенно разные вещи, иначе бы мы не говорили *пиджак висит на нем, как на*

⁹ Идеей добавить к *стоять, лежать и сидеть* еще и *висеть* мы обязаны Ю. Д. Апресяну.

вешалке, имея в виду, что пиджак должен, видимо, делать нечто другое. Что же? Пока не ясно.

Третью группу составляют ситуации, которые, вопреки всем нашим ожиданиям (основанным на представлении о *висеть* как о глаголе местоположения в пространстве — примерно том, что зафиксировано в МАС), вовсе не допускают описания с помощью глагола *висеть*. Так, по-русски не говорят:

**На ней висели бусы, хотя говорят:*

На елке висели игрушки.

Не говорят даже и:

**На ней висели серьги /^{??}у нее в ушах висели серьги*, при том что совершенно допустимо:

В носу у вождя этих людоедов висело огромное золотое кольцо.

Или:

Шляпа его была насквозь мокрая, а на длинном носу висела большая дождевая капля.

Плохо сказать *висеть* и применительно к «висящим» орденам и медалям:

??А на груди его висела медаль за город Будапешт.

Нельзя описать с помощью глагола *висеть* и бутоны цветов на стеблях — даже и очень крупные:

**На стеблях висели огромные бутоны роз* (несколько лучше, может быть, дело обстоит с <крупными> фруктами: *?на всех деревьях уже висели яблоки и груши / кокосы / *вишни / *орехи*).

И уж совсем невозможно:

**На самом крупном быке висело ядро.*

Висит не говорят и про маятник остановившихся часов, и про гитару певца (**На Высоцком всегда висела гитара*), и про очки на носу.

В том же ряду можно привести и следующий пример (принадлежащий Ю. Д. Апресяну): по-русски нельзя сказать **Обои висят на стене*; поместим вместо куска обоев белый лист — и глагол *висеть* будет звучать в таком контексте уже лучше, но идеально с *висеть* будет почему-то согласоваться ситуация, когда на этой бумаге что-то изображено — например, таблица Менделеева; предложение *На стене висит таблица Менделеева* совершенно безупречно (в отличие от предыдущих, и прежде всего от первого, которое, однако, с «тополо-

гической» точки зрения описывает абсолютно аналогичную ситуацию).

Итак, во всех этих примерах объект ‘висит’ не хуже, чем в других случаях, представленных, например, в первой группе. Кроме того, практически для каждой из этих ситуаций есть близкая, где *висеть* абсолютно уместно. В чем же здесь загадка?

Наша гипотеза сводится к тому, что толкование МАС верно, но неполно — оно «упускает» некоторый компонент, который в определенных случаях оказывается необходимым для порождения предложений с *висеть*.

В канонических примерах первой группы объект, который держится на весу без опоры, тем самым *независим* от других объектов — коллизии, следовательно, возникают в тех случаях, когда этот объект, с одной стороны, находится в положении в пространстве, удовлетворяющем всем критериям ‘висеть’, а с другой стороны, по самой своей природе (с точки зрения языка) связан с какими-то другими объектами, т. е. *не независим*.

Простой случай языковой связи объектов — отношение часть—целое: например, маятник часов, дверь в дверной коробке (коробка, конечно, с точки зрения языка — часть двери), древко и полотнище флага (флаг), бутоны цветов и др. В этом случае либо *висеть* невозможно (третья группа примеров, ср., например, маятник, бутон), либо оно возможно, но тогда описывает *нарушенную связь* части с целым, отсюда компонент отрицательной оценки во второй группе примеров (ср. *флаг висел на древке; дверь висела в проеме* ‘плохо пригнана — видимо, плохо закрывается’; ср. также: *шерсть висит клочьями, волосы висят* — обычно — <какими-то> прядями, т. е. как чужие; ср. еще: *руки висят как плети* — т. е. как посторонние, независимые от человека предметы).

Сложный случай языковой связи объектов описан нами в § 2 Главы I, где речь шла о том, что помимо частей-целых и отдельно существующих друг от друга объектов есть еще один, в каком-то смысле промежуточный класс отношений — отношение между объектом и его *дополнителем*. Отношение дополнительности связывает чашку и блюдце, нитку и иголку, наволочку и подушку, ключ и замок, крышку и кастрюлю и мн. др., а также человека и его одежду, украшения, такие «мелочи» как очки, часы, трубка и проч. — т. е. объекты, которые сосуществуют друг с другом, совместно функционируют, но ни один из них при этом не является частью другого.

В § 3 Главы I было показано, что русский язык выделяет такие не-части-и-не-целые специальными средствами: так, в отличие от частей—целых, они не вступают в генитивную конструкцию (ср.: **блюдец чашки, ключ замка* и др.), но зато обычно допускают конструкцию с *от* (ср. *блюдец от чашки, ключ от замка* и под.). Кроме того, для них характерна нестандартная интерпретация локативных конструкций с предлогом *на* или *в*, а также комитативной конструкции с предлогом *с*. Примерами могут служить такие сочетания, как *наволочка на подушке* (не в значении ‘находиться сверху’, а в значении ‘быть надетой на’) или *замок на двери* — опять-таки, не ‘находящийся на поверхности’, а ‘прикрепленный совершенно определенным способом’). Комитативные сочетания с дополнителями типа *человек с трубкой / с орденом* также интерпретируются иначе, чем стандартное *человек с газетой*, т. е. не так, что ‘человек держит трубку / орден в руке’, а что ‘курит трубку’ / ‘носит орден’; аналогично, *чашка с блюдцем* или *ваза с цветами* интерпретируются не обычным образом, т. е. так, что ‘чашка находится рядом с блюдцем’ или ‘ваза находится рядом с цветами’, как это естественно для стандартных сочетаний типа *ручка с карандашом, вилка с ложкой, книжка с тетрадкой* и мн. др., а как ‘чашка стоит на блюдце’, ‘цветы стоят в вазе’.

Абсолютно гомогенного класса — с лингвистической точки зрения — дополнители не образуют, потому что они «нарушают правила поведения» в разных конструкциях (ср. предметы одежды — они ведут себя канонически в конструкции с предлогом *с*: *мальчик с кепкой* значит ‘тот, который держит кепку в руке’, но зато имеют особую конструкцию с предлогом *в*: ср. *женщина в галстукe, бабушка в галошах*). Кроме того, «нарушает правила» каждый дополнитель по-своему, так что предсказать семантическую интерпретацию нестандартной конструкции каким-то единым образом нельзя. Общим их лингвистическим свойством является, скорее, сама нестандартность поведения в паре — причем эта нестандартность в принципе хорошо объяснима. Действительно, если два эти объекта определенным образом связаны функционально, они, в частности, имеют устойчивое расположение друг относительно друга — так сказать, «взаимную топологию», поэтому предложные конструкции — прежде всего локативные и комитативные — отражают именно это их наиболее естественное взаимное расположение, а оно, конечно, для каждой двух пар задается конкретной ситуацией взаимодействия, и поэтому индивидуально.

При описании дополнителей нами уже было отмечено, что эта индивидуальность поведения сближает дополнители с частями, в том числе и лингвистически: ведь у частей-целых тоже индивидуальная «взаимная топология» и они тоже интерпретируются нестандартно в локативных и комитативных конструкциях (ср. такие сочетания, как *ручка на чашке почему-то другого цвета*; *шнур на лампе перекрутился* [не ‘на поверхности’]; *чайник с носиком или без?* [не ‘рядом’] и мн. др.). Случай с *висеть* — еще один пример такого сближения. Объект и его дополнители — так же, как и часть с целым — тоже оказываются **связанными** друг с другом, и в контексте этого глагола дополнители и части ведут себя одинаково: либо запрещают такого рода сочетания, либо подчеркивают ущербность ситуации. Например, сочетание **ярко висит на быке* невозможно, так же как **ордена висят* или **гитара висит*, а сочетание *одежда на нем висит*, возможно, подчеркивает своего рода «отделенность» человека от его одежды (ср. *как на вешалке* — т. е. как на постороннем, не связанном с одеждой отношением дополнительности объекте). Точно так же ведут себя сочетания *папираса висела в углу рта* («неправильная» ситуация: папиросу не курят, она посторонний объект), *паруса /провода висели на мачтах /столбах* — только в «нерабочем» состоянии, и др.

Разумеется, пример на *елке висят игрушки* допустим в русском языке — потому что елка и игрушки — разные, независимые друг от друга объекты. Другое дело — украшения человека, находящиеся с ним в отношении дополнительности. В самом деле: игрушки на елку можно вешать как угодно, каждый раз выбирая новое пространственное соотношение, но бусы нельзя повесить на руку, а браслет — на шею (а если такая нестандартная ситуация случится, ее именно и можно будет описать с помощью предиката *висеть*: *у нее на ухе почему-то висел мой браслет*). Употребить здесь *висеть* — значит разорвать привычную связь между объектом и его дополнителем. Именно это происходит в приведенном выше примере с вождем людоедов, где глагол *висеть* подчеркивает кольцо скорее как неуместный посторонний предмет в носу, нежели как украшение (ср. также пример с каплей дождя, которая является посторонним предметом и по своей природе).

¹⁰ Идея «возможности (свободного) движения в стороны», угаданная МАС, является, по-видимому, следствием этой семантической составляющей (частым, но не обязательным).

Рассмотрим теперь пример Ю. Д. Апресяна в рамках нашей гипотезы. Обоим, действительно, являясь дополнителем, не должны *висеть* на стене, потому что не могут считаться по отношению к ней независимым объектом. Однако лист бумаги, конечно, уже объект посторонний, и тем более, если на нем нарисована таблица Менделеева. Сказать: *таблица Менделеева висит* — пусть даже она нарисована на таком же куске обоев — значит признать этот кусок бумаги (обоев) **отдельным независимым** объектом и выразить это обстоятельство языковыми средствами.

Таким образом, **существенным** для семантики глагола *висеть* является сильный **нелокативный** компонент его значения ‘независимость объекта’¹⁰; присутствие нелокативного компонента ‘роднит’ *висеть*, как мы показали выше, с другими русскими позиционными глаголами — *сидеть*, *стоять* и *лежать*. Впрочем, как мы уже знаем, чисто позиционными — т. е. обозначающими положение в пространстве их как раз и нельзя назвать.

§ 2. *Идти* — глагол ненаправленного перемещения?

1. Семантика «обобщающих» употреблений *идти*

Мир движется. Всё течет, едет, бежит, прыгает, падает, скользит, ползет — потому что у каждого объекта свой способ движения: на колесах, на крыльях, в воде, в воздухе... И над всем этим множеством «частных» глаголов в языке царит *идти*. Не канцелярское *перемещаться*, не довольно редкое и, в общем, как оказывается, специфическое *двигаться* (см. ниже), а именно *идти*, исходно (по крайней мере, согласно интуиции носителей языка) также обозначающее один из конкретных способов движения («переступая ногами и ни в какой момент не утрачивая полностью контакта с поверхностью», если воспользоваться известной формулировкой, данной в Апресян 1974: 108). На этот аспект семантики *идти* — и некоторые его следствия — мы и хотели бы обратить внимание в настоящей работе.

¹¹ Заметим, что это явление свойственно не только русскому языку. Так, в работе Viberg 1996 исследуются в статистическом плане возможности контекстной замены самых разных глаголов на, соответственно, *go* (в английских текстах) и *gå* (в шведских текстах).

Действительно, мы говорим: *поезд* или *машина идет* (вместо *едет*), *корабль идет* (вместо *плывет*), *самолет идет на посадку* или *пыль идет* (вместо *летит*), *снег идет* (вместо *падает*), *вода* или *кровь идет* (вместо *течет*), даже про лошадей и конькобежцев, из которых одни на самом деле скачут, а другие — скользят по льду, мы всегда можем сказать что-то вроде *идут с хорошей скоростью* или *идут голова в голову*. Качели качаются из стороны в сторону — но говорят и *идут то вправо, то влево*. Наконец, в языковом мире *идут* и такие предметы, которые в физическом мире совершенно неподвижны — например, говорят: *эта лестница идет* (но, кстати, не **движется*) *на первый этаж* и, более того, *там будет школа, а потом идет (*движется) наш дом*¹¹.

Загадка *идти* в том, что, при всем многообразии таких «обобщающих» употреблений, они все-таки ограничены. Нельзя, например, сказать **Золотая рыбка идет к старику* (только *плывет*) или **Ласточка с весною в сени к нам идет* (только *летит*) и др.

При этом во всех контекстах, где замена на *идти* допустима, есть нечто общее: там всегда обнаруживается, если так можно сказать, неслучайность, в каком-то смысле целенаправленность движения. Самой яркой иллюстрацией, как кажется, здесь могут служить транспортные средства. Действительно, весь транспорт по расписанию — *идет*; и чаще, а в некоторых случаях просто правильнее, чем *едет*, *плывет* и под., говорят именно *поезд / автобус / паром идет* (или *не идет*) *в Петербург*, ср. *«электричка не едет в Петербург, «наш паром туда не плывет»*. Жестче всего привязаны к расписанию и маршруту поезда — они *идут по рельсам*. Поэтому *поезда плохо ходят* (**ездят*), *идут (*едут) с большими опозданиями* и под., хотя в принципе это верно и для маршрутных автобусов, троллейбусов, катеров, паромов и под. Но у них водитель может зазеваться — и, глядишь, *автобус едет (*идет) куда глаза глядят*. Если же пассажиру говорят, что *автобус идет в другую сторону* — значит, уже не водитель, а пассажир виноват: он или сел не в тот автобус или не знает, что у автобуса сменился маршрут.

Машина, обычно не связанная маршрутом, тем не менее, тоже может *идти* — если ее движение заранее обусловлено, ср.: *Не волнуйтесь, за нами в аэропорт уже идет машина*, т. е. ‘мы не движемся (= находимся в аэропорту); машина движется к нам, специально чтобы забрать нас оттуда’. В принципе, здесь можно сказать и *За нами едет машина* (пусть с меньшей детерминированностью, но в том же значении), но интересно, что, даже с большей вероятностью, последнее

понимается как ‘мы движемся; вслед за нами (возможно, совершенно случайно) едет какая-то машина’, и в таком смысле в этом контексте заменить *ехать* на *идти*, конечно нельзя. Понятно, что *велосипед, карета, кибитка, сани, тарантас, экипаж* и проч. — *едут*, а не *идут*, но *дилижанс*, например, может и *идти в Лондон*.

Что касается плавающего транспорта, то его движение в языковой картине мира скорее детерминировано — это значит, что даже естественнее сказать *корабль идет в порт / в открытое море* или эми-нец *идет к берегу / к вражескому кораблю*, чем *плывет*. (Ср., однако, в каком-то смысле в действительно более маргинальной ситуации свободного плавания: он <кораблик> *плывет (*идет) себе в волнах на раздутых парусах*.) То же для: *катер, крейсер, баржа, ледокол* и под. Однако одиночный *плот*, конечно, *плывет (*идет) по реке*; ср. также *плыла (*шла), качалась лодочка*, но: *завтра рыбацкие лодки идут (*плывут) в открытое море*. *Яхта* может *плыть*, а может и *идти* — в зависимости от ситуации, но на соревнованиях *яхты* (так же, как и *машины, конькобежцы, лошади* и др.) только *идут (первыми / последними / с хорошим временем и т. д.)*, так как в этом случае коммуникативный акцент смещается со способа движения на его целенаправленность. И даже *рыбы идут* (а не **плывут*) *косяком / на удочку / на червя / в сети*, ср. *лосось идет (*плывет) метать икру в реки* — хотя каждая рыбина, будучи предоставлена сама себе и не имея никаких обязательств, разумеется, *плывет*, а не **идет*.

Но птицы — только *летают*, в этом их главная привилегия, не даром говорят «свободен, как птица». И пока еще, как свидетельствует наш язык, абсолютно все воздушные средства передвижения для человека больше похожи на птиц, чем на обычный регулярный транспорт, ср.: *Сюда летит (*идет) самолет / вертолет / ракета / спутник...* Обратим внимание, что, например, гораздо более привычные человечеству небесные светила, издревле известные своей приверженностью к строгому порядку движения, никогда не **летят по небу*, хотя иногда *идут*, ср. *солнце медленно идет к зениту*, однако если говорить о *кометах*, то они именно *летят*. Кроме того, *идут (*летят) тучи* — чтобы принести дождь и ненастье, но *облака*, будучи более легкомысленными, могут и *лететь*. Ср. также *пыль*, которая может и *лететь*, и *идти из-под копыт* — но только *лететь* (не **идти*) *во все стороны*.

Между тем и *самолет*, и *вертолет* именно *идет* (не *летит*) *на посадку*, а также *на взлет* — и, обратим внимание, *идет* (а не **едет*) *на*

взлетную полосу. Кроме того, *самолет*, и даже *птица*, способны целенаправленно подниматься или опускаться — *идти* (**лететь*) *вниз* или *вверх*, тогда как неуправляемое движение вниз в воздухе называется *падением*, и глагол *падать* по уже понятным причинам никогда на *идти* не заменяется, ср.: *самолет / бомба / камень падает* (**идет*) *вниз*, но *качели* только *идут* *вниз*. Про снег можно сказать и *падает*, и *идет*, а вот *дождь* или *град* только *идут*. Интересно, что движение вниз в воде и называется, и осмысливается совершенно иначе, чем в воздухе. В воде нет никакой свободы движения — все с неизбежностью (и по жестко заданному маршруту) *идет на дно*. Маркированным является, наоборот, «добровольное», а значит более лабильное, движение по направлению к дну: например, подводная лодка, если не тонет, то не **идет*, а *погружается* *вниз*.

Характерно, что именно *идти* называет контролируемое человеком движение инструментов: *иглолка идет вперед-назад*, *коса идет вправо-влево*, *молот идет* *вниз* и под. Если бы мы сказали *движется*, это соответствовало бы самопроизвольному перемещению объекта в пространстве, обычно без ясной для наблюдателя цели и траектории — по удачной формулировке В. Н. Топорова (1996: 23), «глаголы с корнем **d(ь)vig-* акцентируют <...> «силовые» смыслы». Таким образом, про *гайку* говорят, что *она хорошо идет* — когда ее кто-то завинчивает, тогда как «независимое» *мельничное колесо* как раз не **идет*, а *движется*. *Вода из крана течет* или *идет* — ясно, что это происходит не произвольно, а *вода в реке* только *течет* или *движется*, но не **идет* — как бы делая это по своей воле.

Таким образом, хотя русское *идти* действительно может обозначать конкретный способ движения, свойственный прежде всего человеку и животным — а именно, с помощью ног, но кроме того оно может, в отвлечение от способа движения, обозначать произвольное движение, подчиненное определенной цели или маршруту¹². Сказанное имеет некоторые нетривиальные семантические следствия.

¹² Эта специфика «обобщающего» *идти*, кстати, проявляется и в переносных употреблениях, ср. при обозначении цели: *на это идет глина / 2 м ткани...*; *такие бочки идут под соление*; *статья идет в сборник* и др.

2. Наблюдатель в семантике *идти*

Дело в том, что в случае целенаправленного движения его маршрут должен быть так или иначе известен — либо заранее фиксирован, либо эксплицитно выражен при самом глаголе *идти*. Если на время «забыть» обо всех других способах выразить маршрут (а они существуют, взять хотя бы валентность траектории движения, или «маршрута», о которой см. подробнее Апресян 1974: 125–130, а также Рахилина 1990b: 113–114, Jackendoff 1990), тогда применительно к валентностям начальной и конечной точки это означает, что они должны быть всегда так или иначе заполнены. «На помощь» тут приходит говорящий или наблюдатель (о понятии наблюдателя см. подробно Fillmore 1975, 1983; Апресян 1986b, Падучева 1996: 266–270).

Речь в данном случае пойдет, конечно, прежде всего о настоящем времени и повелительном наклонении — которые, как известно, являются наиболее «дейктическими». В прошедшем времени эффекты, о которых пойдет речь, наблюдать значительно труднее.

В принципе, говорящий или наблюдатель при *идти* способен «становиться» и в позицию исходного пункта, ср.: *Куда ты идешь?* (= ‘отсюда’), и в позицию конечного: *Откуда ты идешь?* (‘сюда’), ср. также: *Паром идет с той стороны* (‘на нашу сторону’) или *Из Гонконга идет новый вирус гриппа* (‘к нам’), и мн. др., но *Идите прочь!* (‘отсюда’) или *Скажите, во сколько идет поезд на Лугу?* (‘отсюда’), и под.¹³

Любопытным семантическим «развитием» случая, когда наблюдатель мыслится в начале пути, является класс употреблений *идти* с вытянутыми объектами, ср.: *эта лестница идет на первый этаж* — ‘отсюда’, т. е. с того места, где находится говорящий или наблюдатель, который имеет возможность «проследить» ее движение. То же для *мост идет на тот берег*, *пещера / шахта / нора идет на большую глубину*, а также *башня идет вверх на большую высоту*. Так «идут» *забор*, *перила*, *ограда*, *ров* и мн. др. вытянутые предметы — но только жесткой конфигурации, «маршрут» по которым или вдоль которых одно-

¹³ Вообще говоря, можно обсуждать позицию наблюдателя при *идти* и в других случаях, в частности, в контекстах с единственной выраженной валентностью траектории, о которой мы вскользь упомянули выше, — например, считая, что в таких случаях движение происходит *мимо* наблюдателя, ср.: *по дороге идут подводы* или *время идет*. Ср. в этой связи Wilkins, Hill 1995: 250, где утверждается, что английское *go* часто обозначает «бесконечное» движение на некотором расстоянии от дейктического центра.

значно определен. Однако если форма предмета не жесткая, и, следовательно, объект располагается (лежит или висит) свободно, *идти* не употребляется. Так, нельзя сказать ни **Вдоль всей крепостной стены идет река* (только *течет*), хотя можно *...идет канал / ров*, ни **по стене идет вниз веревка / канат / цепь*, хотя можно *...идет пожарная лестница*. Кроме того, так же, как вытянутые предметы, «идут» и множества объектов, организованные в цепочки (*столбы идут вдоль дороги*, *ряд кресел идет до стены* и под.) или покрытия (*паутина идет по всему потолку*; *сыпь идет до правого уха*; *ржавчина идет по стыку деталей*; *узор идет по всему подолу*) — как если бы последовательность объектов постепенно разворачивалась перед наблюдателем, взгляд которого «идет» вперед.

Можно считать, что то же самое происходит и в некоторых специальных прагматических ситуациях — например, в ситуации чтения текста, когда буквы и знаки *идут* друг за другом — в том смысле, что открываются взгляду наблюдателя (= читателя) по очереди, ср.: *после «а» идет «б», потом идет запятая...* Или когда человек объясняет дорогу — как бы в воображении выстраивая ориентиры в некоторую последовательность и «минуя» их: *там будет школа, а потом идет наш дом*. Аналогично и со слоями, т. е. при воображаемом движении «отсюда» — вниз: *сначала идет глина, потом идет песок...* Интересно, что зрительная ситуация легко переносится на слуховую, но только ту, которая воспринимается как осмысленная последовательность звуков, например: *слышишь, идет барабан, теперь идет флейта* (ср. ^{??}*идет стук*), и, конечно, на следующие друг за другом периоды времени или события, ср.: *сначала идет обед, потом — ужин...*

Во всех этих случаях упорядоченность объектов присуща уже не им самим, а данной прагматической ситуации, поэтому здесь необходима ее дополнительная внешняя «разметка», которая эту структуру поддерживает, ср. пары типа *сначала ~ потом / после* или *сперва ~ теперь*.

3. *Идти* или *приходить*?

До сих пор мы говорили о тех случаях, когда одна валентность — исходного или конечного пункта, или хотя бы маршрут, все-таки выражена. Вместе с тем, поддаются интерпретации и примеры, где при *идти* выражен один лишь субъект. В этом случае, теоретически, говорящий или наблюдатель по-прежнему должен был бы замещать то переменную начальной, то конечной точки — так что такие предложения должны были бы иметь хотя бы два значения.

Обратим, однако, внимание на семантическую несимметричность ситуаций удаления и прибытия в этом случае. Если говорящий (наблюдатель) находится в начальной точке (= удаление), то невыраженная конечная интерпретируется как заполненная анафорически — т. е. известная из предыдущего текста, ср. оруджавское: <В огонь, ну что ж!> *Иди! Идешь?* (= ‘отсюда — в огонь’). В принципе, она могла бы интерпретироваться как связанная квантором общности — т. е. ‘иди куда угодно’, но оказывается, что для этого при *идти* надо либо выразить направление движения (*иди вон, прочь* и др.), либо эксплицитно указать дейктическое заполнение исходной точки (*иди отсюда*).

Правда, есть очень небольшой класс употреблений, в которых кванторная интерпретация все же возможна — но при отрицании, ср.: *Бочка застряла в дверях и не шла / не идет дальше*. Обратим внимание, что без отрицания в такой ситуации в значении удаления нельзя употребить *идти*, ср.: **Наконец, бочка идет* — в этом случае выбирается «настоящий» глагол удаления: *И вдруг неожиданно бочка пошла*. Заметим, что *идти*, как и с инструментами, описывает здесь только вынужденное движение — в результате специальных усилий человека: ‘не шла’ в данном случае значит что-то вроде ‘не катилась’, ‘не толкалась вперед’, ‘не везлась по полу’, ‘нельзя было катить’. Ср. Levin, Rapoport 1992, где для описания такого смысла выделяется специальный признак DEC (direct external cause, т. е. непосредственная внешняя причина <движения>). Авторы этой работы считают, что положительное значение этого признака характеризует целый класс английских глаголов — но не *go*, судя по их списку, тогда как русское обобщающее *идти* (в полном соответствии со всем сказанным выше), очевидно, может принимать положительное значение этого признака.

Таким образом, при удалении «полная» интерпретация изолированного *идти* достигается только за счет обращения к предшествующему контексту.

В ситуации прибытия — когда говорящий / наблюдатель находится в конце пути, начальной оказывается та точка в поле его зрения, в которой он в данный момент увидел идущий объект, ср.: *Идет Онегин с извиненьем* = ‘наблюдатель замечает Онегина в некоторой точке

¹⁴ Другой класс дейктических контекстов составляют формы повелительного наклонения — *Иди! Идите! Идем(те)!*, но они как раз в изолированном употреблении могут интерпретироваться практически только в смысле ‘удаление’, потому что здесь наиболее простой является ситуация, когда слушающий — который в этом случае является не только субъектом движения, но и адресатом сообщения, находится там же, где говорящий, так что идти он может только от него (имея известную ему или им обоим цель).

и видит, как он перемещается в то место, где локализует себя наблюдатель'. Таким образом, ситуация прибытия, в отличие от удаления, оказывается как бы самодостаточна: если конечная точка уже определяется как позиция наблюдателя / говорящего, то одновременно — с его же помощью — определяется и начальная точка.

Естественно, что именно такая возможность одновременного заполнения сразу двух свободных валентных мест наиболее благоприятна для моделирования ситуации в случае «изолированного» употребления обобщающего *идти*. Она и реализуется — в наиболее дейктических контекстах, т. е. в настоящем времени, — это значит, что абсолютное большинство соответствующих примеров интерпретируется не как контексты удаления, а как контексты прибытия, ср.: *Ой! Мой трамвай идет!* (= 'сюда', 'подходит')¹⁴; ср. также следующие примеры с тем же значением 'к нам', 'сюда', 'к говорящему' / 'наблюдателю':

дым идет <от очага>;
тепло идет <от печки>;
<от цветов> идет приятный запах;
Встать! Суд идет!;
дождь / снег / град идет;
вода (из крана) идет;
кровь идет;
слух / молва идет;
от задней стены идут парты;
идут новые времена;
весна / ночь идет (в смысле 'скоро наступит');
тиф идет / холода идут;
проценты идут;
карта идет;
ему идет 10-й год;
сон не идет, и др.

¹⁵ Еще раз подчеркнем, что речь идет об *обобщающем идти* — и в этом смысле показательно, что интерпретация предложений типа *слон идет* (= 'мимо') отличается от предложений типа *автобус идет* ('сюда') — собственно, по той же причине, по которой поведение обобщающего *идти* будет отличаться от *плыть, ползти, скакать* и др. глаголов, фокализованной (по Мельчук, Иорданская 1995) или профилированной (по Лангакеру, см. Приложение, 2.6) составляющей которых будет способ движения, а не его детерминированность.

¹⁶ Указанное явление, впервые систематически описанное Ю. С. Масловым, подробно обсуждается, в частности, в работе Апресян 1988а.

(Заметим, кстати, что в большинстве примеров и в прошедшем времени сохраняется дейктический эффект, ср.: *шел запах <от цветов>; <от печки> шло тепло; шла весна* и т. п.)

В результате получается, что ввиду описанного переплетения семантических и прагматических факторов обобщающее *идти* понимается как фактический синоним *прийти*¹⁵. С одной стороны — в свете классической работы Fillmore 1968 — это неожиданно: близкое *идти* английское *go*, наоборот, всегда считалось глаголом удаления. С другой стороны, есть мнение, что *go* становится глаголом удаления (и, как выясняется, тоже далеко не всегда) как бы не по своей воле, а в силу системных «соображений» — так сказать, «в пику» *come* (см. Wilkins, Hill 1995). Но и в русском языке соотношение *идти* и *прийти* тоже, как известно, нетривиально: ведь у *прийти* как раз нет формы настоящего актуального времени (нельзя сказать **смотри, он приходит*)¹⁶. Поэтому можно было бы считать, что, в дополнение ко всему сказанному, системные соображения действуют и в русском: это они вынуждают *идти* занять пустующее в семантической системе место (поэтому говорят *смотри, он идет* домой). Однако возможно, что всё обстоит наоборот: весь тот комплекс семантико-прагматических обстоятельств, который мы здесь описывали, смещает *идти* в сторону ‘приходить’ — причем, как уже говорилось, именно в формах настоящего времени — и следовательно, семантически форма настоящего актуального времени от *приходить* оказывается просто лишней.

Наконец, есть и общее соображение, помогающее понять тенденцию к сдвигу русского *идти* в сторону *прийти*. Оно не противоречит ничему сказанному до сих пор, а как бы дополняет обрисованную здесь картину.

Сравнительно недавно лингвистами была замечена асимметрия конечной и начальной точек, или источника (*source*) и цели (*goal*) движения в целом. Эта асимметрия получила название *Goal-bias* («сдвиг в сторону конечной точки»), или *Goal-over-source principle* («принцип преобладания конечной точки над начальной»). Разные исследователи отмечали, что конечная точка является более важной, нежели начальная, что находит непосредственное отражение в языковой структуре (Verspoor et al. 1999: 97–98; Stefanowitsch, Rohde 2004).

В типологической работе (Bourdin 1997) показано, что это явление можно считать почти что универсальным: конечной точке свойственна меньшая маркированность. Это отражается в ряде ее свойств,

таких как бульшая простота выражения (на грамматическом или лексическом уровне). Ей свойственно и большее число семантических противопоставлений при выражении конечного пункта (в связи с этим возможно, например, асимметричное устройство парадигмы пространственных показателей) и т. п.

Дается и когнитивное объяснение этому явлению. Например, в Ikegami 1987: 135; Ungerer, Schmidt 1996: 225 и сл. эффект *Goal-bias* объясняется так: указания на то, что достигнута конечная точка движения, самого по себе достаточно для представления ситуации движения; зная конечный пункт, мы можем установить путь движения при помощи процедуры логического вывода, и т. п. Л. Ферм (1990: 53–55) называет конечную точку «логически главным направлением» при перемещении, которое отнюдь не всегда может быть установлено по контексту и, как правило, составляет рему высказывания. Исходное же местоположение может быть, во-первых, нерелевантно; кроме того, обычно оно известно просто по умолчанию: ‘оттуда, где находился X’.

Обратим внимание и на то, что данное явление свойственно не только движению в буквальном смысле этого слова, но и так называемому абстрактному движению. Так, полисемия ‘размер’ → ‘дистанция’ (типа *высокий дом ? высокий потолок*), о которой мы подробно говорили в § 2 Главы II или пара значений предлога *через* (равно как и его английского аналога *over*): *перешел через дорогу* → *живет через дорогу* (см. подробнее § 3 Главы III), прекрасно описываются как час-

Глава V

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: ВАЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА

тний случай сдвига акцента на конечный пункт абстрактного движения — так сказать, движения взгляда наблюдателя. А поскольку в этом случае конечный пункт равносителен результату ситуации, становится ясно, что и вся метонимия типа ‘процесс’ → ‘результат’ (ср. *белье высохло за два часа* ‘процесс’ → *белье <уже> высохло* ‘результативное состояние’) подпадает под идею *Goal-bias*, которая в таком случае выглядит весьма общим когнитивным принципом.

§ 1. Именные валентности

1. Вводные замечания

Анализируя предметные имена и их сочетаемость, мы неоднократно апеллировали к значению предиката, семантически связанного с данным именем и обычно описывающего стандартный способ использования соответствующего объекта (см., например, Главу II, § 1–2 и др.). По нашему мнению, в семантическое представление большинства предметных имен встроен такой функциональный предикат — причем со своим набором валентностей. Поверхностно эти валентности выглядят как именные модификаторы разного рода (предложные и падежные конструкции, отыменные прилагательные), но семантически само присутствие при имени этих модификаторов, а иногда даже и конкретный способ их оформления в предложении мотивированы предикатом.

Так, схема толкования имени *автобус* содержит предикат ‘перемещать’, так как *автобус* обозначает транспортное средство, которое **перемещает** пассажиров по определенному маршруту — из пункта А в пункт Б; имя *экран* (во втором значении) в толковании содержит предикат ‘защищать’, так как это приспособление, которое **защищает** человека от неблагоприятных воздействий. Некоторые имена (мы называем их **креативными**, см. подробнее § 2 настоящей главы, ср. также § 5 Главы 2) связаны не только или не столько с функциональным предикатом, сколько с предикатом, описывающим процедуру их создания — его тоже можно назвать **креативным**. Например, повесть кто-то **написал**, платье кто-то **сшил** и т. п.

Заметим, что в морфологической структуре имен *автобус*, *экран*, а также *роман*, *платье* и им подобных не содержится прямых указаний на предикаты ‘перемещать’ и ‘защищать’ — в отличие от (морфологически) отпредикатных лексем типа *изобретатель* или *изобретение*; таким образом, у этих имен предикаты оказываются встроен-

¹ Более эксплицитно «встроенность» функционального предиката в имя артефакта проявляется в английском языке (и многих, подобных ему), где существительное и соответствующий ему функциональный или креативный глагол морфологически не различаются, ср. *button* ‘пуговица’ — *to button* ‘пришивать пуговицу; застегивать на пуговицу’; *hammer* ‘молоток’ — *to hammer* ‘вбивать, вколачивать’; *butter* ‘масло’ — *to butter* ‘намазывать маслом’. В таких случаях возникает другая проблема — проблема описания данного типа полисемии; подробнее о формализации этого отношения см., например, Coperstake & Briskoe 1996.

ными не в поверхностную морфологическую, а в «невидимую» семантическую структуру¹. Известно, что сочетаемость отглагольных имен в целом определяется исходным предикатом: имя в этих случаях обычно наследует валентную структуру морфологически исходного глагола, ср. *учить детей музыке* → *обучение детей музыке* → *учитель детей / учитель музыки*. Конечно, встречаются и отклонения от этой основной стратегии, но они имеют свои объяснения.

Между тем и сочетаемость имен, морфологически не отпредикатных, во многом также подчинена предикатам: мы говорим *автобус в Можайск / из Клина* или *экран от радиоактивного излучения, повести Белкина* и под., заполняя валентности «невидимых» предикатов в толковании имен.

Сама идея поиска предикатной составляющей в структуре имени используется в некоторых современных описаниях предметной лексики. В частности, она лежит в основе формального представления имен в концепции группы Брендайского университета, которая работает под руководством Дж. Пустеевского (см., в частности, Pustejovsky 1995, 1996). В этой модели имена описываются с помощью так называемых *качественных структур* — *qualia structures*. В них входят четыре параметра, которые определяют семантику имени: «constitutive» (информация о том, является ли объект частью), «formal» (характеристика объекта, приблизительно соответствующая его таксономическому классу, но очень высокой степени общности), «telic» (назначение объекта), «agentive» (информация о стандартном способе создания объекта). Последние два параметра описывают как раз ту семантическую связь имени с соответствующими предикатами, о которой мы только что говорили. Так, имя *нож* в модели Пустеевского оказывается связано с предикатом *резать*, имя *пиво* — с предикатом *пить* и т. д. (Pustejovsky 1995: 100), так как эти предикаты отражают стандартную функцию предмета, обозначаемого именем (= «telic»).

Однако в этой модели, которая, по аналогии с «Порождающей грамматикой» Хомского, называется «Порождающим словарем» (The Generative Lexicon), никак не разработана проблема последовательного описания той именной сочетаемости, которая должна быть семан-

² Правда, процедуры наследования валентностей подробно описываются в книге Шаляпина 2007: 180 и след., но в этой работе сам термин *наследование* понимается иначе — не как семантический, а как синтаксический механизм передачи валентностей от одного узла синтаксической структуры другому.

тически унаследована от встроенных предикатов (хотя ее вполне можно считать «порожденной» этими предикатами).

Тем не менее, есть интересные попытки применить модель Пустеевского к описанию фрагмента именной сочетаемости, причем едва ли не самого важного, а именно, генитивной конструкции: английскую и датскую генитивные конструкции, опираясь на Пустеевского, описывали П. Енссен и К. Викнер (Jenssen, Vikner 1994); похожая модель применяется В.Б. Борщевым и Б. Парти для описания русского генитива (Борщев, Парти 1999; Partee, Borschev 1999).

Надо сказать, что функциональный предикат включался в толкование артефактов и раньше — например, в Толково-комбинаторном словаре и других работах, выполненных в рамках модели «Смысл \Leftrightarrow Текст». Так, толкование слова *окно* (Мельчук, Жолковский 1984: 488) содержит компонент '<...> предназначено для *обзора* со стороны *Y* <...> ландшафта *Z*', и соответствующая модель управления имени *окно* учитывает все эти валентности предиката со значением 'обозревать': ' $2 = Y$ «для кого обзор»'; ' $3 = Z$ «на какой элемент ландшафта обзор»'. Легко видеть, что в таком толковании процедура наследования именем валентностей встроенного предиката представлена явным образом и достаточно полно — в этом отношении модель «Смысл \Leftrightarrow Текст» по сравнению с «Порождающим словарем» Дж. Пустеевского оказывается более продвинутой. С такой последовательностью именные толкования ТКС составлены, впрочем, далеко не всегда, и эксплицитного теоретического описания процедуры наследования в работах этой школы нам найти не удалось. Тем не менее, существенно, что аппарат, предложенный в ТКС, дает принципиальную возможность подробно описывать и валентную структуру имени, и ее «историю».

В принципе, признание процедуры наследования именем предикатных валентностей должно было бы так или иначе поставить вопрос о способе выражения этих валентностей — между тем, такая задача в лингвистической литературе даже не затрагивается². Мы не можем предложить ее решение в полном объеме, но хотели бы, ограничившись предварительным рассмотрением имен с валентностями *реципиента*, *мотивировки* и *контрагента*, хотя бы частично заполнить эту лауну (большой по объему материал содержится в Городкова, Рахилина 2000). Источником для выборки списков и схем толкова-

³ Но, впрочем, не для всех. Так, в книге Stockwell, Schachter, Partee 1973 отглагольным именам типа *employer* и *employee* приписывается аргументная структура по аналогии с глаголом *employ* (ср. с. 764).

ний для нас по-прежнему служила База данных «Лексикограф. Предметные имена» (подробнее см. Красильщик, Рахилина 1992).

Экскурс

Справедливости ради следует отметить, что существует — а на Западе и практически безраздельно господствует (так что взгляды Дж. Пустёвского достаточно революционны) — точка зрения, согласно которой никакого на следования глагольных валентностей именами не может быть, потому что у имен в принципе нет аргументной структуры. Эта точка зрения (типичная для многих формально-логических теорий³, в частности, для теории Монтегю) в лингвистике была в свое время высказана Д. Даути (Dowty 1979, 1989) и затем подробно обсуждалась и уточнялась в Grimshaw 1990. Поскольку она прямо противоположна принятой в русской традиции (и в данной книге), мы позволим себе в этом экскурсе кратко проанализировать некоторые положения работы Grimshaw 1990, связанные с данной проблемой (см. в особенности третью главу ее книги).

Итак, достаточно распространенным в формально-логической традиции является следующее положение: на семантическом уровне имена отличаются от глаголов тем, что у глаголов аргументная структура есть, а у имен — нет. Единственным аргументом имени может быть его референт: имя *стол* представляется, таким образом, как предикат со значением ‘быть столом (X)’, где X — объект, являющийся столом. Очевидно, что аргументы глагола и именной аргумент, заполняемый референтом, — объекты разной природы. Поэтому о существовании «именного аргумента» в указанном смысле мы позволим себе «забыть», имея в виду, что нас интересуют только наследуемые (т. е. общие у имени и глагола) аргументы.

Между тем, наследуемых именных аргументов, как мы уже говорили, в этой теории не предусмотрено: все имена, включая отглагольные типа *driver* ‘водитель’ или *work* ‘работа’, оказываются в силу этого похожи по своей семантике на нефункциональные имена естественных классов типа *небо* или *белка* — т. е. такие, которые не связаны ни с какой ситуацией использования их человеком. Правда, в работе Дж. Гримшоу (фактически вслед за Chomsky 1970) предлагается все-таки выделять подкласс имен, имеющих аргументную структуру и, тем самым, более близких к глаголам. Это так называемые Complex event nouns (CEN) — имена типа *examination* ‘исследование; (процедура) экзамена’, *development* ‘(процесс) развития’, *destruction* ‘разрушение’, и др., аргументы которых предлагается считать совпадающими с аргументами соответствующих глаголов (в терминах модели «Смысл \Leftrightarrow Текст» такие имена называются обычно S_0 и тоже признаются семантически наиболее близкими к глаголам и имеющими тождественную глагольной модель управления, см. Мельчук 1974: 87).

Естественно, встает вопрос о том, каким образом в таком случае объясняется сочетаемость большинства имен. Именная сочетаемость признается

«независимой» от глагольной. Поэтому она обеспечивается не аргументами, а «модификаторами», которые свободно присоединяются к именам. Эти модификаторы вводятся предложными конструкциями, причем считается, что падежных конструкций у имен, в отличие от глаголов, быть не может, единственным исключением является приименной генитив.

Рассмотрим преимущества такого подхода перед идеей наследования.

Во-первых, он хорошо объясняет различия в сочетаемости имен и глаголов и, в частности, указывает причины, по которым обнаруживается разница между управлением глагола и отглагольного имени в случаях типа *судить кого-л. — суд над кем-л., соревноваться в беге — соревнование по бегу* (полный список см. Пайар, Плунгян 2000), утверждая, что в семантической структуре имен и глаголов аргіогі нет ничего общего. (Заметим, что для теорий, принимающих процедуру наследования, такие пары представляют нетривиальную проблему, которая, однако, насколько нам известно, до сих пор не обсуждалась.) Тождество управления глагола и отглагольного имени (ср. *издеваться над пленными — издевательство над пленными*) объясняется за счет совпадения предложных конструкций (модификаторов), которые в этих случаях используются и при глаголе, и при имени.

Во-вторых, такой подход объясняет действительно существующие обязательные запреты на поверхностное выражение при именах актанта с ролью инструмента в беспредложном падеже (в русском языке это творительный), ср.: *красить краской / кистью — *красильщик / *маляр краской / кистью*; ср. также **убийца топором* и мн. др. Заметим, что у CEN (т. е. у S_0) действительно почему-то оказывается значительно меньше запретов на «аргументную» сочетаемость, чем у всех других типов имен, ср. *работать над проектом — работа над проектом — *работник над проектом — *написал работу над проектом*, и это тоже не предусмотрено идеей наследования. В то же время, какую-то границу между «аргументными» и «неаргументными» именами (CEN и не-CEN) провести чрезвычайно трудно: например, остается неясным, будет ли в рамках такого подхода приписано к классу CEN русское слово *роды* (оно, безусловно, обозначает процесс, но нельзя сказать **роды мальчика*)?

Однако, наряду с запретами на беспредложный творительный, в том же русском есть, и достаточно многочисленны, абсолютно приемлемые примеры негенитивного падежного управления имен: *торговка рыбой, взятка прокурору*, ср. также: *ловцы сетями* (при действительно невозможном **ловец сетью / удочкой...*), *оскорбление действием, занятия музыкой* и мн. др. Обратите внимание, что если в рамках теории наследования отдельные запреты на поверхностное выражение обязательных аргументов или случаи несоответствия способов их выражения у имен и глаголов в принципе могут быть в конечном счете объяснены и «уложены» в теорию, то данные примеры подрывают самые основы подхода Даути—Гримшоу.

Другая претензия к анализируемой здесь точке зрения может быть сформулирована так: почему одинаковые сочетаемостные эффекты у имен и глаголов (ср., например, *бороться с*, *борьба с* и *борец с*) объясняются по-разному: в одном случае сочетаемость оказывается «аргументной», а в другом — «модификаторной»?

Принимая противоположную точку зрения, мы хотели бы на примере анализа конкретных групп имен показать, что такого рода поверхностные эффекты не случайны и сочетаемость имен мотивирована, причем принципы перехода от глубинной структуры (или, в терминологии Гримшоу — *лексической структуры*) к поверхностно-синтаксической у имен те же, что и у глаголов.

2. Имена с валентностью реципиента

Валентностью реципиента (REC) обладают, например, имена *доверенность*, *долг*, *наследство*, *подарок*, *письмо*, *рецепт*, *бюллетень* (в значении ‘справка о нетрудоспособности’), *стипендия*. Они соотносятся с трехместным предикатом типа ‘давать’:

‘кто’ (SUBJ) ‘что’ (OBJ) ‘кому’ (REC),

и, в принципе, наследуют такую валентную структуру. Однако у всех перечисленных слов объектная валентность кореферентна их собственному таксономическому классу (то, что дают, и есть этот объект) и поэтому поверхностно не выражается. В другой терминологии, эти имена сами являются объектными (т. е. S_2 по классификации, принятой в Московской семантической школе, см. Мельчук 1974): это значит, что они заполняют объектную валентность соответствующего предиката и не имеют своей объектной валентности. Так или иначе, объектная валентность встроенного предиката при реципиентных именах не выражается.

Их субъектная валентность выражается беспредложным или предложным генитивом (*подарок бабушки* / *от бабушки*), а валентность реципиента-получателя — дативом (*подарок бабушке*) или генитивом с предлогом *для* (*подарок для бабушки*), причем даже тогда, когда эти валентности выражаются одновременно (*подарок бабушки внуку*). Теперь рассмотрим этот способ кодирования с точки зрения процедуры наследования валентностей встроенного предиката.

Семантически ситуация, с которой соотносятся данные имена, предполагает передачу какого-либо объекта одним субъектом другому, т. е. одновременно движение объекта и смену possessора. Поэто-

му она описывается не стандартной формулой, характерной для движения: *от ... к*, а конструкцией: *от кого ... кому / для кого*, отражающей бенефактивный компонент значения, т. е. «заинтересованность» того участника ситуации, который служит «конечным пунктом» передачи объекта, становясь его новым посессором. В соответствии с этим, именам «разрешается» наследование предлога *от*, но «запрещается» предлог *к* (**подарок к бабушке*). Кроме того, поскольку и субъект, и объект (в разное время) оказываются посессорами, каждый из них может быть выражен генитивом (но не оба одновременно, ср. известную проблематику двойного генитива); так, сочетание *наследство купца Прянишникова* может быть понято не только как ‘имущество, принадлежавшее купцу <и оставленное наследникам>’, но и как ‘имущество, унаследованное купцом и теперь ему принадлежащее’. То же верно и для адъективной конструкции: *бабушкин подарок* — это и ‘вещь, которую подарила бабушка’, и ‘вещь, подаренная бабушке’. В этих случаях посессивный компонент ситуации «заслоняет» идею перемещения.

Лексемы *доверенность* и *рецепт* полностью подчиняются описанной выше схеме в том, что касается субъекта и реципиента. Их особенностью является существование у них еще одной обязательной валентности, которая оформляется винительным падежом с предлогом *на*: *рецепт на сердечные капли*, *доверенность на машину* и др.; ср. также: *документы / ордер на квартиру*, *деньги на новый холодильник* и под.). Заметим, что она легко совмещается с реципиентной, ср. *доверенность Игорю на бабушкину машину*, и даже (хотя и несколько более тяжеловесно): *бабушкина доверенность Игорю на ее машину*. Семантически эта валентность представляет собой разновидность целевой (как и следует ожидать — ввиду типичного для цели способа оформления), но с очень конкретной семантикой: ‘с целью **приобрести** X’. Она встречается и при глаголах — со значением целевого накопления или траты, ср.: *копить на*, *одолжить на*, *откладывать на*, *заработать на*, *дать / взять / получить на* и под. (ср.: *взять денег на обед* = ‘взять деньги, чтобы приобрести обед’, *копить на машину* = ‘копить <деньги>, чтобы купить машину’ и под.). Обычно такие глаголы предполагают в качестве объекта ‘деньги’, однако в том же ряду можно рассматривать и сочетания типа: *дать / заработать на орехи*; *зарезать свинью на сало*; *разобрать сарай на дрова*; *истратить время на пустые разговоры*; *пустить бумагу на черновики*; *судью на мыло*.

В свою очередь, имена объектов таких предикатов — если этот предикат встроен в семантику объекта — наследуют данную валентность. Наиболее характерным из них является имя *деньги*, ср.: *деньги на дом* или *документы* (и их разновидности): *документы на машину*, *ордер на квартиру*, аналогично: *доверенность на*, *рецепт на*, и др. За пределами денег и документов подобные сочетания в основном окказиональны (как например разг. *оборотки на черновики*), в качестве более стандартной в таких случаях используется конструкция с предлогом *для*: *оборотки для черновиков*, *свекла для борща* ([?]*на борщ*) и под. Обратим внимание, что семантически очень близкий к этой конструкции класс представляют имена, валентные на отпредикатные со значением 'X, предназначенный для S₀': *капуста на засолку*, *грибы на сушку* и под. Здесь тоже более каноническим является предлог *для*: *для сушки*, *засолки*.

3. Имена с валентностью мотивировки

Валентность мотивировки в нашей выборке имеют следующие лексемы: *алименты*, *взнос*, *гонорар*, *диплом* (в значении ≈ 'документ, свидетельствующий об определенных достижениях субъекта и выданный в качестве награды за эти достижения'), *компенсация*, *кредит*, *медаль*, *награда*, *налог*, *орден*, *пенсия*, *плата*, *пособие*, *ссуда*, *штраф*. Все эти имена мы считаем четырехвалентными; соотносящаяся с ними ситуация описывается схемой, которую можно считать частным случаем рассмотренной в предыдущем разделе:

‘кто’ (SUBJ), ‘что’ (OBJ), ‘кому’ (REC), ‘за что’ (MOTIV).

Действительно, она также описывает процедуру *получения* реципиентом от субъекта некоторого объекта — обычно денежной выплаты (ср. *гонорар*, *штраф*, *взнос*) или другой награды (*ордена*, *медали* и под.). Тем самым, встроенным предикатом в этой схеме, как и в предыдущей, оказывается предикат смены посессора — типа ‘давать’ или ‘платить’.

Унаследованные от этого предиката, при имени поверхностно реализуются три валентности — SUBJ, REC и MOTIV; объектная валентность, как и в предыдущем случае, оказывается кореферентна вершинному имени: *гонорар* и обозначает ту ‘сумму денег’ (OBJ), которую кто-то (SUBJ) кому-то (REC) платит за что-то (MOTIV), поэтому OBJ не выражается поверхностно. Таким образом, в качестве третьей при

именах этой группы выступает на самом деле четвертая — валентность мотивировки (смены посессора). Эта валентность может выражаться одной из трех предложных конструкций: *за* + вин. п.; *на* + вин. п.; *по* + дат. п.

Лексемы, имеющие значение ‘вознаграждение за некоторое событие, совершившееся *ранее*’ (*гонорар, диплом, компенсация, плата, штраф, награда, орден, медаль*) требуют предлога *за*: *гонорар за статью / книгу, награда за храбрость / подвиг, плата за электроэнергию / услугу* и т. п. Ср. глагольное управление типа *платить за, благодарить за, наказывать за*, которое выражает то же значение.

Лексемы, содержащие целевой компонент ‘деньги, предназначенные для того, чтобы нечто приобрести *в будущем*’ (ср. *кредит, взнос, ссуда*), предполагают использование предлога *на* (см. подробнее предыдущий раздел): *кредит на строительство, ссуда на гараж* и под.

Обратим внимание, что из этого ряда явным образом «выбивается» лексема *налог*, управляющая *на* вместо ожидаемого *за*: *налог на имущество / *налог за имущество*. Действительно, *налог на имущество* стандартно должен был бы интерпретироваться как ‘налог, предназначенный для последующего приобретения имущества’ — однако реальная интерпретация ‘налог, уплачиваемый за уже существующее (ранее приобретенное) имущество’ семантически близка к той, которая предусмотрена для *плата / благодарность... за*.

По-видимому, ключевую роль в таком «сдвиге» оформления валентности сыграло морфологическое дублирование предлогом приставки в глагольном управлении: *налагать на кого / что*; ср. *налагать пошлину на товары / запрет на производство* и под. (ср. также *наложить на себя руки*), которое, скорее всего, связано с локативной метафорой и наследуется именем.

Для имен *пенсия* и *пособие* регулярным способом реализации валентности мотивировки служит конструкция с предлогом *по*, которая, в отличие от конструкций с *на* и *за*, прямо не наследуется, ср. сочетания типа: *пенсия (пособие) по старости / по инвалидности* (а также: *отпуск по уходу за ребенком / по семейным обстоятельствам, неаванс по болезни* и под.), в которых ‘старость’ и ‘инвалидность’ не являются ни свершившимися событиями, за которые выдается компенсация (ср. *благодарность за*), ни целью, для осуществления которой она предназначена (как в *кредит на*). В данном случае *по* выражает одну из *стандартных причин* ситуации, ср. конструкцию *по (уважительной) причине*, которая используется и для оформления глагольных

сирконстантов (*убежать / отказаться / бросить курить по важной причине*). В таком случае для значения *по* оказывается существенна идея выбора из некоторого заданного списка (см. замечание в конце данного раздела): редкие, экстравагантные, случайные причины для конструкции с *по* не годятся: **пособие по пожару / по затоплению / по аварии* (в таких случаях говорят: *в связи с*). Кроме того, сами ситуации должны «располагать» к таким «регулярным», «ожидаемым» причинам: характерно, что предлогом *по* управляют вполне «бюрократические» имена *пенсия, пособие, отпуск, отгул* — но не (обозначающие менее систематические события) *помощь, прогул* и др.

Что касается способов поверхностного оформления первой и второй валентностей при именах этой группы — соответственно, субъектной и реципиентной — то здесь действует схема смены посессора, описанная в предыдущем разделе: *гонорар издательства «Иностранная литература» / от издательства / издательский гонорар (переводчику / для переводчика)*. Обратим внимание, что, в полном соответствии с нашими ожиданиями, неодушевленный адресат при имени *вклад* интерпретируется как конечная точка, а не посессор, и выражается не дательным падежом, а конструкцией «*в + вин. п.*»

Регулярные способы выражения всех валентностей в этой группе, в принципе, могут сочетаться друг с другом, ср.: *Обязать нижеподписанных лиц в месячный срок получить пособие по инвалидности Министерства обороны сотрудникам, пострадавшим при пожаре Самарского ГУВД, в ближайшем отделении Сбербанка*. Для слов *медаль, орден, штраф* субъект — в силу его единственности и определенности — всегда остается невыраженным.

Предлог *по* в этих «валентных» контекстах требует специального исследования: он, как и генитив, является приемным и не наследуется от вставленного предиката. Тем не менее, уже сейчас мы можем сформулировать одно существенное ограничение на его употребление: *по* предполагает **выбор** из нескольких областей деятельности (или знаний). Ср.: *директор завода*: директор несет ответственность «за все сразу», поэтому конструкция **директор по заводу* недопустима, между тем заместители директора ответственны каждый за свой участок работы, множество которых и составляет необходимую для *по* зону выбора, так что становится возможно: *заместитель директора по кад-*

⁴ Об экспансии предлога *по* в современном русском языке см. Гловинская 1996.

⁵ Другой, более традиционный тип неодушевленного контрагента представлен в примерах типа *лекарство от гриппа, экран от излучения*, где способ поверхностного оформления контрагента прямо наследуется от встроеного предиката типа «защитить», ср. *защитить от врагов*. У имен возможен также морфологический способ выражения этой валентности — прилагательным с префиксом *анти-* или *противо-*: *противогриппозное лекарство, антирадиационный экран*.

рам / по науке / по административным вопросам и т. д. Ср. также: *инструктор по плаванию, инспектор по финансовым вопросам, задание по алгебре* и др.

В связи с этим в конструкциях с отглагольными именами часто возникает эффект уменьшения конкретности сообщения, если его тема выражена конструкцией с *по*. Ср. *обсуждение регламента* — это обсуждение *всего* регламента пункт за пунктом, тогда как употребление чрезвычайно частотной разговорной конструкции *обсуждение по регламенту*⁴ означает, что обсуждению подлежит не весь регламент целиком, а какие-то отдельные вопросы (отсюда и неопределенность).

4. Имена с валентностью контрагента

Традиционно под термином «контрагент» (введенном в Fillmore 1968) понимается активный участник ситуации, отличный от субъекта этой ситуации (подробнее см. Апресян 1974: 127). При таком определении эта роль оказывается одновременно слишком широкой и слишком узкой. Так, в этот семантический класс по определению попадает ‘Источник’ в ситуации смены посессора (*взял у Петра*), при том, что и семантически, и по способу своего поверхностного оформления он, скорее, сближается с ролью исходного пункта движения. С другой стороны, идея взаимодействия с субъектом предполагает обязательную одушевленность заполнителя данной валентности — между тем и семантически, и по падежному оформлению, традиционные контрагенты типа <спорить> с *Петром* естественно отождествлять, например, с неодушевленными актантами ситуаций типа <граничить> с *полем*. Мы рассмотрим как раз последний случай — имена типа *граница, дистанция, пролив, промежуток*⁵.

В соответствующей валентной структуре <SUBJ, OBJ, CONTRAG> субъектная валентность кореферентна описываемому имени и не выражается поверхностно. Что касается объектной валентности и валентности контрагента, то они могут быть поверхностно выражены, но способ их выражения зависит от семантики встроенного предиката. Так, имена *дистанция, пролив, промежуток* описывают естественно возникший объект между двумя другими и содержат предикат ‘находиться между’ — ‘то, что находится между *X* и *Z*’ — и поэтому требуют обязательно одновременного выражения объекта и контрагента в наследуемой именем конструкции между *X*-ом и *Z*-ом.

Так же могут интерпретироваться и имена *граница*₁ (ср. *граница между полем и лесом*) и *граница*₂ (ср. *граница между Россией и Украи-*

ной). Однако *граница₁* и *граница₂* в то же время являются артефактами, созданными с целью разграничить два объекта — и эта информация должна отражаться в их толковании — например, с помощью предиката ‘разделять’ (‘чтобы разделять *Y* и *Z*’). Поэтому имена *граница₁* и *граница₂* имеют и другой тип управления объектом и контрагентом (унаследованный от своего второго предиката): они допускают конструкцию *Y* с *Z*-ом или *Y* и *Z*: *граница России с Китаем, граница поля с болотом; граница России и Китая, граница поля и болота* (ср. запрет на **против Англии с Францией; *промежуток верхней строки и нижней* и под.).

Существует еще один способ оформления пары объект — контрагент, который свойствен — из перечисленных выше — слову *граница₃*. Речь идет о сложных прилагательных, которые описывают межгосударственные (в сочетаниях с другими именами — еще и междзыязыковые) отношения: *российско-турецкая граница*. Надо сказать, что это достаточно редкий способ оформления именных аргументов. Он действителен только для очень узкой семантической зоны стран, народов и языков (ср. невозможность появления в таких сочетаниях лексики *граница₁*: **поле-болотная граница*) и, судя по обычным контекстам, в которых является приемлемым, выражает их **взаимодействие** друг с другом, ср., например: *англо-немецкий словарь / перевод; англо-бурская война; грузино-абхазские переговоры / экономические отношения; русско-китайская приграничная торговля* и под. Попадая в этот ряд, *граница₃* обнаруживает дополнительный компонент значения по сравнению, например, с *граница₁*: *граница₂* — ‘объект (= ‘место’, ср.: *на границе*), находящийся между территориями стран, чтобы разделять их’, но кроме того и ‘чтобы осуществлять между ними взаимодействие’.

В связи с только что сказанным, обратим внимание на слово *фронт*, семантически довольно близкое к этой группе, хотя и не содержащее ни предиката ‘находиться между’, ни предиката ‘разделять’: *фронт* — это просто место, где находятся передовые части войска во время военных действий. Поэтому нельзя сказать ни **фронт между Англией и Германией*, ни **фронт Англии с Германией*. Между тем, передовые части находятся на фронте, чтобы взаимодействовать с противником — следовательно, правомерно ожидать сочетаний *фронт* со сложными прилагательными типа *англо-германский*, которые, действительно, оказываются приемлемы. Некоторые замечания о се-

* Первоначальный вариант опубликован в: А.В. Бондарко (ред.). Теория функциональной грамматики: Локативность, бытийность, посессивность, обусловленность. СПб.: Наука, 1996, 27–51.

мантике и морфологии сложных прилагательных подобного рода в русском языке можно найти также в Мельчук 1990: 480–481.

Мы рассмотрели именные сочетания, имеющие, как было показано, аргументную природу. Они могут быть как беспредложными (ср. валентность реципиента), так и сочетаниями с предлогами (ср. валентность контрагента) — суть от этого не меняется: семантический механизм, мотивирующий такую сочетаемость у этих имен наследуется от встроенных в их семантику предикатов и поэтому оказывается общим с глаголами.

§ 2. О русской лексеме *чей* (семантика посессивности, вопрос и валентная структура имени)*

1. Вводные замечания

В этом разделе мы продолжим обсуждение проблем, связанных с валентной структурой предметного имени, — но в совершенно новом контексте. Здесь валентная проблематика исследуется в рамках задачи описания семантики частных вопросов со словом *чей*; нам потребуется установить, как и какие именные валентности могут быть «задействованы» в интерпретации таких вопросов.

Традиционное представление о вопросах со словом *чей* как вопросов о принадлежности одушевленному субъекту (ср. МАС: «*Чей* — вопрос о принадлежности чего-л. кому-л.») диктует такое их семантическое представление, при котором идея принадлежности отражается в виде специального предиката (в некоторых моделях описания называемого «фиктивной лексемой») со значением ‘принадлежать’, ‘находиться во владении’ (*X* принадлежит *Y*-у’).

Слабое место этого описания прежде всего в том, что оно предполагает семантическую независимость элементов *X* и *Y* в приведенной структуре, тогда как между *X* и *Y* могут существовать достаточно сложные семантические отношения, влияющие на интерпретацию конструкции. Именно эти случаи оказываются наиболее уязвимыми для традиционной посессивной интерпретации: непосредственно связывающее *X* и *Y* семантическое отношение может изменить ее — и обычно изменяет.

Тем самым, вопрос с *чей* выступает в неожиданной роли, а именно, в роли индикатора семантических отношений между двумя лексемами. Оказывается, что в большинстве случаев эти отношения моделируются как раз именной валентной структурой. Дело в том, что семантическая структура вопроса с *чей*, как и других частных вопросов, согласно традиционным представлениям логико-семантического подхода к описанию вопроса (подробный обзор работ этого направления см. в Белнап, Стил 1981, а также в Падучева 1985), содержит так называемую **вопросительную переменную**, которая заполняется при ответе на этот вопрос. В Крейдлин, Рахилина 1984, 1990 мы показали, что эта вопросительная переменная «выбирается» при интерпретации частного вопроса из незаполненных семантических переменных того слова, которое попадает в сферу действия оператора вопроса. Чаще всего такой переменной становится незаполненная валентность лексемы, синтаксически зависимой от вопросительного слова. При этом выбирается не любая незаполненная валентность, а только валентность определенной семантики. Следовательно, анализ вопросов со словом *чей* должен опираться на описание валентной структуры — или хотя бы некоторого фрагмента этой структуры — имен, которые могут попадать в синтаксическую сферу действия *чей*. Обратим внимание, что по сравнению с материалом, рассмотренным в предыдущем разделе этой главы, здесь решается задача «второго порядка» сложности: именная валентная структура как бы встраивается в логико-семантическую структуру частного вопроса. В таком случае степень адекватности нашей модели именной валентной структуры можно проверить: она тем более удачна, чем лучше обеспечивает правильные ответы на вопрос с *чей*.

Ниже мы подробно рассмотрим различные группы лексем, способных замещать *X* в посессивной конструкции вида *чей X?* и обсудим подходящие в этих случаях правила интерпретации посессивного вопроса.

Нам представляется уместным начать с примеров, занимающих центральное место в работах, посвященных посессивности, — а именно, имен родства и названий частей тела — так называемых реляционных имен.

2. Имена родства

Итак, пусть *X* — имя родства (*брат, свекровь, муж* и под.). С синтаксической точки зрения, это тот случай, когда на месте *X* в конструкции *чей X?* стоит предикатная лексема со своим набором валентностей. У имени родства две валентности: '*кто* есть родственник *кого*'; нас будет интересовать вторая — именно этой валентности соответствует вопросительная переменная, которая заполняется при ответе на вопрос со словом *чей*, ср. *Чей ты сын??* 'Сделай так, чтобы я знал *Y*-а, такого, что ты сын *Y*-а'.

Имя родства может трансформироваться в имя своего первого актанта, омонимичное имени родства: структура вида: *X* — *отец Y*-а переходит в этом случае в структуру вида *отец Y*-а, точно так же, как *X* должен *Y*-у трансформируется в *должник Y*-а. *Отец* и *должник* становятся отпредикатными именами деятеля. Согласно идеологии модели «Смысл \Leftrightarrow Текст», эти имена (типа *S₁*) сохраняют все (кроме первой) валентности предиката, и в том числе вторую, т. е. ту, которая в контексте вопроса с *чей* заполнена вопросительной переменной, ср. *чей отец?*, *чей должник?*, а также *чей помощник?*, *чей убийца?* и под. Заметим, что при ответе на вопрос валентность может заполняться только лексемой, обозначающей конкретное лицо или группу лиц — не(конкретно-)референтные ответы не допускаются. Это ограничение естественно для имен родства (в родственных отношениях состоят либо конкретные лица, либо группы конкретных лиц) и естественно для имен деятеля, ср. недопустимые пары: **Чей ненавистник?* — *Женицин*, **Чей любитель?* — *Домашних птиц*, при возможном: *ненавистник женицин* и *любитель домашних птиц*.

К именам родства примыкает группа названий лиц, которые в соответствующих синтаксических контекстах могут обозначать двухместное отношение или первый актант такого отношения (эта информация должна фиксироваться в их словарной статье): *девушка, парень, младенец, мальчик, девочка, дама, мужик, баба, старуха, старик* и под. (но не, например, *юноша*). Ср.: *Это девушка Ивана; Вошел Васильков со своей дамой; Девочки, к вам пришел ваш мальчик* [Л. Петрушевская] — при невозможности **Девушки, к вам пришел ваш юноша*.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении в рамках задачи описания вопросов с *чей* (и, видимо, шире — посесивных конструкций) имена родства оказываются с синтаксической точки зрения как бы частным случаем имен деятеля, так что такого рода примеры имеют общую семантико-синтаксическую трактовку.

3. Части тела

Для лексем, называющих части тела, вопросительной переменной в конструкции *чей X* будет переменная, соответствующая (посессивной) валентности имени *X*.

Посессивная валентность, по-видимому, не должна приписываться названиям внутренних органов (с научной точки зрения также являющихся «частями тела», хотя и не поддающихся непосредственному восприятию): такие слова, как *сухожилие*, *артерия*, *предсердие* и т. п., в нормальном случае не употребляются в контекстах, позволяющих говорить о существовании индивидуализированного обладателя; исключением является в этой группе только слово *сердце* с его особой ролью в наивной картине мира. С другой стороны, лексемам *кровь* и *пот*, с формальной точки зрения не обозначающим никаких «частей», по-видимому, на основании их синтаксического поведения посессивная валентность должна быть приписана. Все сказанное свидетельствует о том, что в наивной картине мира (в отличие от научной) не все «части» человеческого тела равноправны; некоторые из них претендуют на особую связь с индивидуальным обладателем, другие же остаются вовсе незамеченными, в некотором смысле оказываясь как бы несуществующими.

При ответе вопросительная переменная замещается именем конкретного живого существа (существ); в противном случае ответ некорректен, как некорректен и вопрос, предполагающий такого рода ответ, ср. неприемлемое **Чью ножку вы запекли в духовке? — Куриную* (вопрос предполагает в ответе не конкретную курицу, а вид птицы). Ср. также *Знает кошка, чье мясо съела*, где недопустима интерпрета-

⁶ Что касается объектной валентности, то сочетания типа *пустынная ложка*, *чайная ложка*, *ложка для варенья* и др. заставляют предполагать, что и эта семантико-синтаксическая информация не теряется в лексеме *ложка*.

⁷ Ср., впрочем, вполне приемлемую пару: — *Чей станок? — Немецкий*, демонстрирующую распространенный для некоторой группы артефактов вариант креативной интерпретации с *чей* — страна или организация-производитель. Ср. еще: *чья машина?*, *чья духи?*, *чья валюта?* и т. п. Заметим, что в этом случае меняется тип объекта, с которым денотативно соотнесена лексема. Так, *чья духи?* может пониматься как 'кто пользуется данным конкретным флаконом?' vs. 'какая страна производит этот вид духов?' (*конкретный флакон'); *чья газета?* = 'кто читает этот экземпляр газеты?' vs. 'какой издатель (организация, страна, и т. п.) издает печатное издание с таким названием?'. Легко видеть, что одушевленность *X*, вообще говоря, вытекающая из креативной интерпретации или идеи использования (пользователь обычно — лицо) должна пониматься достаточно широко, ср. сочетания типа *газета союза композиторов*, которые, видимо, целесообразно описывать как посессивные (ср. Апресян и др. 1989: 25, где семантический признак 'лицо' приписывается не только собственным именам лиц, но и именам организаций).

ция ‘кошка знает, мясо какого животного (говядину, свинину, и т. п.) она съела’ (о допустимой интерпретации этого примера см. ниже).

4. Имена артефактов

Что такое *Ванина ложка*? Это ложка, которой Ваня <обычно> ест. Что такое *ее комната*? Это комната, в которой она <обычно> живет. (Ср.: *Я ем Ваниной ложкой*; *Нас поселили в ее комнате*.) Бóльшая часть вопросов с *чей*, содержащих артефакты, интерпретируется однозначно, причем предполагается ответ не о том, кому принадлежит данный объект, а том, кто его обычно использует. В этих случаях артефакт жестко связан с предикатом, обозначающим процесс его использования (*telic*, в терминологии Дж. Пустеевского). Заполняя валентность такого предиката, артефакт становится как бы супплетивным отпредикатным именем и наследует какие-то его переменные (ср. выше раздел об именах родства). К числу наследуемых, может оказаться, относятся и переменные субъекта действия — т. е. лица, использующего артефакт. В таком случае посессивное отношение есть способ формального выражения такой валентности. Артефакт *ложка*, очевидным образом, связан с предикатом *есть*, который описывает процесс нормального использования ложки и имеет по крайней мере три валентности: ‘кто ест что чем’. *Ложка* заполняет третью и имеет возможность унаследовать остальные две, в число которых входит субъектная, ср. интерпретацию вопроса *чья ложка?*⁶

Заметим, что субъектная валентность является наиболее частым, но не единственным кандидатом на выражение посессивного отношения: в случае, когда несубъектные валентности могут быть заполнены именем лица, возможна их конкуренция с субъектной валентностью, ср. *чей портрет?* (также: ‘кого изображает?’), *чей памятник?* (также: ‘кому поставлен?’), и т. п.

Вообще говоря, предикат, с которым связано имя артефакта, не обязательно обозначает процесс использования артефакта — возможно актантное отношение между именем артефакта и предикатом, обозначающим процесс создания артефакта (*agentive*, в терминологии Дж. Пустеевского). Ср. вопросы типа *Чье письмо?*, интерпретирующиеся не только как ‘кто получил’ (о пользователе), но и ‘кто написал’ (креативная интерпретация). Вторая (креативная) интерпретация, впрочем, не равным образом естественна для всех без исключения артефактов, ср. *Чей дом?* — скорее, ‘кто живет?’, чем ‘кто построил?’;

Чей станок? — скорее, ‘кто на нем работает?’, чем ‘кто его сделал?’. Вне контекста вторая интерпретация вряд ли вообще возможна⁷. Креативная интерпретация посессивных конструкций возникает в основном для тех имен артефактов, которые обозначают объекты, в принципе поддающиеся воспроизведению одним человеком («тиражированию»), но при этом индивидуальные в каждом экземпляре, так что и облик, и свойства объекта определяются его автором, создателем. Таковы названия произведений искусства, для которых прежде всего устанавливается актантное отношение с предикатами креативной семантики, обозначающими процесс создания артефакта (ср. *чья картина / скульптура*).

Вообще говоря, прагматические условия, меняющие интерпретацию предложений и словосочетаний, могут определять выбор нестандартного предиката, естественного только для описания данной конкретной ситуации. Так, *Ванина ложка* может в какой-то ситуации значить, например, ‘ложка, с которой играет Ваня’, а *станок Иванова* — ‘станок, который чинит Иванов’. Отсюда и возможность нестандартной интерпретации вопроса *Чей X?* Однако это должна всегда быть «ожидаемая» нестандартность: нестандартный ответ на вопрос с *чей* в случае, если *X* — артефакт, возникает только тогда, когда спрашивающий его ожидает, т. е. когда и спрашивающий, и отвечающий осознают, что между данными *X* и *Y* устанавливается (благодаря ситуационному контексту) некоторое новое, дополнительное отношение, прагматически более сильное, чем то, которое задается словарно (ведь отношение между именем артефакта и предикатом, называющим способ использования или создания соответствующего объекта, конечно, лексикографически фиксировано).

5. Имена артефактов и имена естественных классов

Описанная выше модель интерпретации адекватна только в том случае, если предикат, с которым данный артефакт связан аргументным соотношением, имеет субъектную валентность. Совершенно очевидно, что это условие будет соблюдаться не всегда. Возьмем, например, имя *забор*. Оно связано с предикатом *огораживать*, имеющим две валентности: *X огораживает Y* (*забор огораживает садовые*

⁷ Здесь, однако, также, что называется, «нет жесткой границы»: среди имен естественных классов могут попадаться и такие, которые можно считать именами артефактов — например, *масло* или *мясо*. Ср. интерпретацию уже упоминавшегося предложения *Знает кошка, чье мясо съела* = ‘Кошка знает, кто должен был съесть то мясо, которое съела она’.

участки), см. Рахилина 1990. Объектную валентность лексема *забор*, безусловно, наследует (*забор вокруг дома*). Но субъектной валентности у этого имени артефакта по понятным причинам быть не может. В таких случаях имена артефактов ведут себя так же, как неартефакты — имена естественных классов, такие, как, например, *заяц*. Посессивные конструкции с такими именами оформляют не обязательную валентность, а факультативную — валентность посессора. И семантика этого отношения шире, чем семантика актантных отношений, специфику которых мы обсуждали выше. Ее описанием можно было бы считать толкование, предложенное А. Вежицкой в Wierzbicka 1980a:

«Я обладаю вещью значит ‘Я имею право (= ‘общество хочет, чтобы я мог’) сделать с этой вещью все, что я захочу’».

Итак, имена естественных классов можно описывать как имеющие факультативную валентность посессора. На семантическом уровне представления это означает, что посессор связан с такого рода именами опосредованно, через некоторый семантический предикат (\approx ‘принадлежать’) и не входит в семантическое представление имени, а заполняет валентность этого предиката. Легко видеть, что этот класс случаев возвращает нас к традиционной трактовке посессивности (см. выше). Конечно, имен естественных классов относительно немного, но, как было показано выше, группа лексем, подлежащих «традиционному» описанию, должна быть расширена за счет некоторого количества имен артефактов.

Между тем, необходимо отметить, что структурное тождество посессивных конструкций с именами артефактов и именами естественных классов может достигаться не только за счет того, что некоторые артефакты «похожи» на имена естественных классов (тем, что не связаны ни с каким предикатом), но и за счет того, что некоторые имена естественных классов «похожи» на артефакты — они, напротив, оказываются связанными с предикатом, описывающим процесс использования человеком данного объекта. Ср., например, имя *дерево*, связанное с предикатом *сажать* или *выращивать*, что делает вопрос *Чье дерево?* достаточно легко интерпретируемым. Очевидно, что это утверждение распространяется вообще на растущие

⁹ Это утверждение, впрочем, тоже не вполне точно, т. е. здесь не учтены аргументные отношения имен артефактов с предикатами креативной семантики.

¹⁰ *Окурок* в данном случае представляет весьма своеобразную группу частей-остатков, ср. *огрызок, огарок, обеды* и под.

культурные (саженные) растения. В ситуации *Посадил дед репку* ответ на вопрос *Чья репка?* будет однозначен. Так же ясно и что граница между «актантной» и «традиционной» интерпретацией посессивных конструкций проходит не в том месте, где кончаются имена артефактов и начинаются имена естественных классов⁸, а между именами тех объектов, которые обычно используются человеком некоторым фиксированным способом, и остальных⁹. Ср. имена *донышко* и *окурок*. Оба они называют части артефактов¹⁰, но способ «использования» человеком окурка (и соответствующего ему целого — сигареты, папиросы, и т. п.) жестко фиксирован и назван предикатом *курить* (имеющим в качестве первого актанта лицо *X*: *X курит Y*).

Ничего подобного нельзя сказать о лексеме *донышко*, описывающей часть у посуды различных типов. Эта часть непосредственно не связана ни с каким видом деятельности человека. Поэтому легко интерпретируется вопрос *Чей окурок?* (= ‘кто курил?’) и вне прагматического контекста неясен вопрос *Чье донышко?* Ср. точно так же противопоставленные вопросы *Чье деревце?* (? ‘кто посадил?’) и *Чье облако?*

6. Имена лиц

С семантико-синтаксической точки зрения, имена, называющие лиц, достаточно разнообразны. Прежде всего, это имена деятеля типа *должник*, *убийца* и под., а также имена родства, которые были рассмотрены выше. Они имеют в своем семантическом представлении валентность, заполняемую именем живого существа. Это отношение оформляется посессивными средствами.

Несколько более сложной оказывается интерпретация в контексте вопроса с *чей* имен профессий, таких, как *портной*, *архитектор*, *повар*, *машинистка*, *парикмахер*. Однако и в этом случае интерпретация однозначна: *Чей портной?* ≈ ‘для кого шьет?’, *Чья машинистка?* ≈ ‘для кого печатает?’, и т. п. В семантических описаниях этих лексем также встроена валентность на имя лица — это обязательная (посессивная) валентность, присущая объекту действия, ср.: *портной Y-a* ≈ ‘тот, кто шьет одежду Y-a’, *парикмахер Y-a* ≈ ‘тот, кто

¹¹ Ср. лексическую функцию *Sap* в модели «Смысл ⇔ Текст» (Мельчук 1974).

¹² Но ср. *Он — человек Горбачева (Аль-Капоне)*, с очевидной параллелью к именам лиц типа *старик*, «расширяющим» множество имен родства (см. выше соответствующий раздел).

стрижет и причесывает волосы *Y-a'*, *архитектор Y-a* ≈ 'тот, кто строит дом (дома) *Y-a'*', и т. д. Переменная, заполняющая такую «встроенную» валентность, и оказывается вопросительной переменной в вопросе с *чей*.

Какие-то похожие решения, по-видимому, должны быть найдены и для описания некоторых других имен лиц (а также имен групп лиц, имен организаций и учреждений — см. сноску 6 в разделе 4) в контексте вопросов со словом *чей*. Так, например, оказывается, что на вопрос *Чей писатель (поэт, художник)?* или *Чье правительство (министерство внутренних дел, армия, флот)?*, а также, например, *Чей город?* отвечают именем страны (народа), на чьей территории родился (живет) ученый или писатель, в которой сформировано правительство или находится город. Ср. неприемлемую пару: *— *Чей город?* — *Город Пушкина*, при том, что рассматриваемые порознь вопрос и ответ грамматически правильны. Толкования такого рода имен должны, следовательно, содержать соответствующую переменную — в первом случае отражающую национальную принадлежность лица, а в других — административную принадлежность крупного населенного пункта или <государственной> организации (учреждения).

Другой вид возможной семантической переменной в толковании имени лица (и в особенности, групп лиц, организаций и под.) — переменная начальника (руководителя) *X-a*¹¹, ср.: — *Чей театр? Спесивцева*; — *Чей батальон, подразделение? — Майора Семенова*; *Чья армия? — Боливара*; *Чей отдел, сектор? Чей класс?* [классного руководителя]; *Чей институт, цех, завод?* и даже *Чей программист?* Эта переменная входит в толкование имен профессий¹², причем только таких, которые предполагают подчиненное положение по отношению к некоторому другому лицу, так что суть профессиональной деятельности оказывается в выполнении чужого «заказа». Если же толкование имени профессионального деятеля содержит отсылку к некоторому коллективу, команде, в которых только и может осуществляться эта деятельность (ср. *вратарь, матрос, актер* и др.), то и эта переменная может стать вопросительной в контексте вопроса с *чей*, ср.: — *Чей актер? — Театра на Таганке*; — *Чей вратарь? — «Спартак»*. Среди имен профессий есть, однако, и имена, обозначающие, так сказать, индивидуальную трудовую деятельность: *машинист, охотник, моряк* (ср. *матрос*), *мельник, пилот, паяц* (ср. *шут* в *Чей шут?* ? 'для кого шутит?') и др. В этом случае, как и, например, в случае с именами национальной принадлежности (*казах, латыш* и под.), не имеющи-

ми никаких семантических переменных в толковании, интерпретация посессивной конструкции опирается исключительно на прагматический контекст. Оператор вопроса связывает здесь не семантическую переменную в толковании лексем, а переменную, связанную с предикатом, описывающую конкретную прагматическую ситуацию.

7. Отглагольные имена ситуации

Процедура поиска вопросительных переменных в вопросах *Чей X?*, содержащих отглагольные имена с незаполненной первой валентностью, — в принципе та же, что и, например, для названий частей тела. Она сводится к заполнению этой валентности именем живого существа. Таким образом, вопрос *Чей путь мы собою теперь устилаем?* «структурно» аналогичен вопросу *Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?* (Багрицкий). Это касается всех видов отглагольных имен со свободной первой валентностью (имен объекта [S_2], имен способа действия [S_{mod}], имен результата [S_{res}] и др.), кроме отглагольных имен ситуации — S_0 . Для описания этой последней группы лексем в контексте притяжательных конструкций (и, в том числе, вопроса со словом *чей*) требуется, по-видимому, совершенно другой подход. Этот подход должен, в частности, объяснять следующую особенность интерпретации вопросов *Чей X?* с S_0 .

Если S_0 имеет два одушевленных актанта (ср. такие S_0 , как *убийство*, *мобилизация*, *утрата*, *охрана* и др.), то оказывается, что а priori нельзя сказать, какой из них будет соответствовать посессору в посессивных конструкциях. В зависимости от конкретного отглагольного имени, это может быть первый актант (ср. *чье понимание* — ‘кто понимает’), может быть второй актант (ср. *чье награждение* — ‘кого награждают’), а для некоторых S_0 допустима двоякая интерпретация (ср. *чье посещение* — ‘кто посетил’ или ‘кого посетили’).

Совершенно очевидно, что чисто синтаксическое правило интерпретации посессивного отношения, пригодное для описанных выше простых случаев, здесь не подходит — механизм выбора посессора связан не с синтаксической структурой X (с некоторой долей условности можно считать, что синтаксическая структура обсуждавшихся выше S_0 одинакова — по крайней мере, в интересующем нас аспекте), а с семантикой отглагольного имени, в частности, с ролевой характеристикой его актантов. Если пользоваться стандартной терминологией, то можно отметить, что второй актант выбирают в каче-

стве посессора те отглагольные имена, у которых наблюдается агентивно-пациентное распределение ролей (первый актант — агенс, второй пациенс), ср. *замена, исключение, мобилизация, убийство...* У S_0 с первым актантом в роли экспериенцера этот актант оказывается посессором (ср.: *моя утрата* или *на чье понимание вы рассчитываете?*). Двойственная интерпретация свойственна S_0 с агентивно-реципиентной структурой (*воспитание, критика, обман, одобрение, посещение*).

В принципе, предложить простые правила, объясняющие такое семантическое поведение имен ситуаций в контексте вопросов с *чей*, не удастся. Ниже будет изложена попытка решения этой проблемы, основывающаяся на некотором специальном усложнении семантического представления посессивного вопроса.

Вообще говоря, «непредсказуемость» поведения имен ситуаций известна: можно даже сказать, что она является их наиболее ярким родовым свойством (отличающим их, например, от инфинитивов). Ср. *он жаждет помощи* ‘он жаждет, чтобы ему помогли’ / *‘жаждет помочь’, *он жаждет мести* ‘он жаждет отомстить’ / *‘чтобы ему отомстили’, *он боится мести* ‘он боится, что некто отомстит ему’, и т. п. Интерпретация конструкций с отглагольными именами (правила установки кореферентности) в таких случаях зависит от ролевой семантики вершинного и вставленного (номинализованного) предикатов и определяется правилами «семантического согласования»: кореферентность устанавливается между такими двумя актантами, роли которых тождественны или обнаруживают максимальное совпадение семантических характеристик (например, между двумя пациенсами, между пациенсом и экспериенцером, и т. п.). Подробнее о проблемах, связанных с описанием имен ситуаций, см. Плунгян, Рахилина 1988.

Нам представляется, что в случае посессивного вопроса можно предположить действие аналогичного семантического механизма, управляющего выбором нужной валентности у отглагольного имени. На первый взгляд, такое утверждение может показаться несколько неожиданным — ведь контекст *чей* + S_0 не содержит вершинного предиката (типа финитного глагола в примерах, представленных выше), с актантами которого происходило бы семантическое согласование актантов отглагольного имени. Однако проблема решается, если принять, что такой предикат присутствует в глубинно-семантическом представлении вопроса *Чей X?*, содержащего S_0 . Свой-

ства этого предиката таковы, что он требует установления кореферентности либо с пациенсом, либо с экспериенцером. Следовательно, он должен содержать актанта с некоторой *слабо агентивной* ролью. Таким образом, мы предполагаем, что конструкции со словом *чей* содержат глубинный двухместный предикат, первая валентность которого заполняется актантом — именем лица со слабо-агентивной ролью, а вторая валентность — отглагольным именем S_0 . Семантикой этого предиката, исходя из всего сказанного, предлагается считать нечто вроде ‘быть вовлеченным в’ (X вовлечен в ситуацию S_0). Предикат с такими свойствами будет обеспечивать именно тот тип установления кореферентных связей, который реально будет иметь место для *чей*-вопросов. Ср.: *Чье исключение?* = ‘кто вовлечен в ситуацию исключения?’ = ‘кого исключают?’ [тот, кто исключает, не ‘вовлечен <помимо воли> в ситуацию’, а сам является ее каузатором]. *Чье понимание?* = ‘кто вовлечен в ситуацию понимания?’ = ‘кто понимает?’ [поскольку тот, кого понимают, сам стимулирует возникновение всей ситуации].

Конечно, такой механизм является достаточно сложным, и его детали нуждаются в уточнениях. Однако, с нашей точки зрения, без привлечения правил семантического согласования с глубинным предикатом в принципе невозможно объяснить особенности синтаксического поведения отглагольных имен (в отличие, как мы видели, от имен других типов, позволяющих ограничиться более простыми правилами).

8. Некоторые выводы

Посессивное отношение негомогенно. И семантическая, и синтаксическая интерпретация разных видов посессивных конструкций оказывается различной. Во многих случаях посессивные конструкции имеют достаточно жесткую семантику и хорошо моделируются актантными отношениями (например, конструкции с разными классами отглагольных имен, кроме имен ситуаций, — а также с именами артефактов). Традиционный способ описания посессивного отношения, когда посессор вводится семантическим предикатом ‘принадлежать’, оказывается в таких случаях неэффективным. Поэтому предлагается принять традиционное описание посессивного отношения,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в частности, «посессивного» вопроса *Чей X?* лишь для небольшой группы лексем — в основном, имен естественных классов.

Особый способ представления приходится постулировать для посессивных конструкций, содержащих отглагольные имена ситуации (S_0), где посессор выбирается по сложным правилам, учитывающим ролевые характеристики отглагольного имени.

В некоторых случаях обнаруживаются семантические ограничения на роль посессора. Представляя безусловно важную лексико-графическую информацию, такого рода ограничения могут отражать «энциклопедические» сведения о том, что, например, золото может принадлежать частному лицу, а нефть или медная руда обычно принадлежат государству или компании (главе компании). Однако в некоторых случаях такого рода информация касается настолько общепринятого, устойчивого отношения между объектом и некоторым лицом (группой лиц, учреждением, организацией и под.), что должно обязательно фиксироваться в толковании данной лексики. Таковы отношения *театр — режиссер театра*, *завод — директор завода*, *писатель, ученый — страна писателя, ученого*, и под. Такого рода отношения также могут выражаться посессивными средствами.

При этом оказывается, что с наибольшей строгостью они соблюдаются при ответе на вопрос со словом *чей* и с наименьшей — при построении повествовательной посессивной конструкции, на способ интерпретации которой серьезное влияние оказывает прагматический контекст употребления.

Особого внимания заслуживает описание семантически аномальных, но прагматически релевантных интерпретаций посессивных конструкций. По-видимому, принцип здесь должен состоять в восстановлении необходимого (и соответствующего по своей семантике прагматическому контексту) опущенного предиката (в частности, предиката ‘принадлежать’), описывающего некоторое окказиональное отношение между членами посессивной конструкции.

Книга завершена. В ней описан большой и многообразный новый языковой материал, в котором непросто ориентироваться. В этом последнем разделе я хотела бы обобщить его — подвести итоги и обозначить перспективы своего подхода к проблеме.

Итак, главная проблема, которая здесь обсуждалась, — это *проблема сочетаемости* предметных имен. Обычно ее решают, исходя из двух противоположных идей: идеи свободной сочетаемости и идеи сочетаемости полностью идиоматичной (она называется фразеологической, лексической и др.). Обе эти идеи, однако, подвергаются в работе сомнению.

Действительно, иллюзия о существовании в языке зоны свободной сочетаемости исчезает, как только сочетаемость начинает рассматриваться сколько-нибудь подробно — а именно это и сделано в книге. Даже в зонах, традиционно считавшихся представляющими свободную сочетаемость имен, — в зонах адъективных конструкций с качественными прилагательными цвета и размера — обнаруживаются существенные ограничения и достаточно строгие правила, задающие границы сочетаемости (см. Главу II).

То же касается и сочетаемости лексем (в данном случае, имен) с грамматическими показателями — семантика числовых и падежных форм, несмотря на их морфологическую регулярность, может прямо зависеть от семантики исходной лексемы, да и сама возможность сочетаемости с грамматическим показателем тоже не абсолютна и тоже регулируется правилами сочетаемости (см. Главу I).

В принципе, эти правила имеют семантическую природу: сочетаемость языковых единиц определяется их семантикой и зависит, например, от таксономического класса имени (ср. конструкции с отыменными прилагательными, анализируемые в § 6 Главы I), от того, обозначает ли оно множество, часть или целое — и какую часть: отторжимую или нет (см. Главу I), и т. п. Однако в ряде случаев эти правила используют информацию, которую принято выносить за рамки семантической, — ярким примером здесь служит топология обозначаемых именами объектов (см. § 2 и 3 Главы II, § 1 и 2 Главы III и др.). Есть и менее тривиальные примеры: «жизненный цикл» объекта (см. § 5 Главы II), «включенность» объекта в процесс естественного для него функционирования (§ 1 Главы IV), целенаправленность его движения (§ 2 Главы IV) и др. Однако согласно той концепции, которая развивается в книге, это означает только то, что рамки семанти-

ческого описания должны в этих случаях быть раздвинуты по сравнению с традиционным описанием.

Серьезным аргументом в пользу такого решения служит следующее. Все те свойства, которые определяют сочетаемость, не являются собственно свойствами объектов как таковых, потому что они не описывают реальный мир. Они соотносятся лишь с *отражением* реального мира в языке, т. е. с тем, что принято называть *языковой картиной мира*. Известно, что языковая картина мира существенно отличается от действительности. Поэтому ни «жизненный цикл» объекта, ни его цвет, ни топология, ни другие физические признаки, которые определяют сочетаемость имени, нельзя почерпнуть непосредственно из физической реальности. Носитель языка «знает» эту информацию как языковую и, переходя на другой язык, он должен, как оказывается, «переключаться», «забывая» об одних свойствах объектов и «вспоминая» о других (ср., в частности, § 6 Главы II), — поэтому и лингвист должен включать подобную информацию в модель языка (например, объединяя ее с семантической и называя «когнитивной»).

Отдельный вопрос — *почему* так происходит, т. е. почему языковая реальность не совпадает с физической и вещи никогда не представляются в языке в точности такими, какие они есть на самом деле. Дело в том, что язык *антропоцентричен* по своей природе, поэтому, отражая мир, он всегда «смотрит» на него с точки зрения человека. Это значит, что, во-первых, языковое сознание в качестве своеобразных точек отсчета неявно фиксирует в языке «человеческие параметры» — например, размер или температуру, а затем обращает внимание на то, больше данный объект «человеческого» размера, меньше или сопоставим с ним, выше его температура «человеческой», сопоставима с ней или ниже (§ 2 и 6 Главы II), и т. д. Интересно, что такая точка отсчета имплицитна: ни форма человека, ни его естественный цвет, ни температура в языке специально не выражаются (см. § 3, 4, 6 Главы I и др.).

Другое важное обстоятельство, на которое язык, ввиду своей антропоцентричности, обращает внимание — это функциональность объектов. Выясняется, что все свойства объектов рассматриваются и описываются в языке не вообще, а только в процессе естественного для данного объекта процесса функционирования, т. е. фактически — в процессе использования его человеком — и подтверждение этому можно найти практически в любом разделе книги (см. в особенности § 1 Главы II). Все характеристики объекта, несущественные в процессе его функционирования, в языке игнорируются. Именно поэто-

му целые группы имен могут не сочетаться с прилагательными цвета, обозначениями границ, не входить в конструкции ориентирования (§ 3 Главы II, § 1 и 2 Главы III) и др.

Таковы языковые образы объектов, по сравнению с физическими, явно «ущербные», редуцированные: они «видятся» носителю языка лишь как в той или иной мере сопоставимые с человеком и приспособленные к его жизни. Между тем, в сущности, именно эти образы лежат в основе правил сочетаемости имен, к какому бы уровню лингвистического представления мы их ни приписали.

Понятно, что правила, имеющие такую природу, в принципе не могут действовать избирательно и что они определяют систему сочетаемости целиком — следовательно, говорить об идиоматичности сочетаемости, имея в виду ее немотивированность, было бы опрометчиво. Правила едины, и сочетаемость мотивирована. Мотивированы и метонимические переносы, и метафоры, и то, что принято называть «устойчивыми сочетаниями» (ср., например, Экскурс к § 2 Главы II или § 6 Главы II, или Главу IV). Другое дело, как реально, т. е. сочиняя тексты, носитель языка пользуется этим обстоятельством: «берет» ли он конструкции в готовом виде или каждый раз их порождает. Эта проблема тоже обсуждается в книге (см. § 3 Главы III). Показано, что общий принцип мотивированности конструкций никак не препятствует тому, чтобы говорящий пользовался и готовыми, уже «собранными» блоками, и, по их подобию, конструировал новые. В такой интерпретации можно принять и термин «устойчивость», и другие, сходные с ним.

Для имен блоками являются именные конструкции, причем главной особенностью предметной лексики, как показано в книге, является отсутствие одной определенной конструкции, наиболее полно отражающей сразу все ее свойства (наподобие аргументной структуры глагола). Предметное имя «ориентировано» одновременно на множество синтаксических конструкций (в работе это его свойство названо *лабильностью*), и в каждой из них оно проявляет заранее «заложенные» в нем, но акцентированные именно данным контекстом свойства. Действительно, предикат связан с какой-то одной ситуацией, а предмет участвует во множестве ситуаций — понятно, что имя, в отличие от глагола, входит сразу во множество характерных контекстов (см. подробнее Введение).

Одновременно, различные контексты классифицируют предметную лексику, и, помимо таксономической классификации, в зоне предметной лексики действуют мереологическая, топологическая,

Приложение

ИДЕИ И ИДЕОЛОГИ КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ*

сознании носителя языка одновременно приписываться к двум и даже более классам одной классификации, причем в одном и том же значении. (Отсюда следует, что именные классификации, в том числе и таксономическая, недревовидны.) Так, *поле* — это и поверхность, и пространство, *вода* — и среда, и напиток, *игрушка* — артефакт и произведение искусства и т. д. (ср. § 6 Главы I, § 2, 5, 6 Главы II и др.) Такой эффект — еще одно проявление лабильности имен, и он свидетельствует, что языковой образ предмета многомерен, т. е. соединяет в себе сразу несколько представлений об этом предмете, и поэтому толкование предметного имени, если оно адекватно отражает его свойства, должно быть построено так, чтобы объединять эти несколько описаний.

Итак, полное толкование предметного имени устроено очень сложно и содержит очень большой объем информации: оно должно отражать все нюансы его мереологии, таксономии, топологии и др., описывать его способ функционирования и даже — во многих случаях — способ, которым этот объект создан (§ 2 Главы V). Оно, как показано в § 1 Главы V, «вбирает» в себя и участников тех ситуаций, с которыми связано: пользователя, создателя, контрагента, реци-

* Первоначальный вариант опубликован в: Семиотика и информатика, 1998, вып. 36, 274–323. *Примечание ко второму изданию.* Этот обзор описывал двадцатилетний период развития когнитивной семантики, с акцентом на ее общетеоретических основаниях. С тех пор многое изменилось (например, появились такие существенные области исследований, как корпусная семантика или лексическая типология), и если бы была возможность, следовало бы написать дополнение под заголовком «Десять лет спустя». Но с одной стороны, возможности такой у автора не было, а с другой — как я убедилась, вернувшись к этому тексту сегодня, все главные теоретические основания остались прежними, «революций» не произошло. Поэтому я ограничилась минимумом правки, добавив, где возможно, новейшую литературу.

¹ О когнитивной лингвистике см., в частности, серию обзоров: Кубрякова 1994; Демьянков 1994; Кибрик 1994; Ченки 1997; ср. также Степанов 1995, Паршин 1996 и Филипенко 2000; см. в особенности «Краткий словарь когнитивных терминов» (Кубрякова и др. 1996). Из недавних публикаций вводного характера см. прежде всего Evans, Green 2006; Evans 2007, а также Taylor 2002 и Croft, Cruse 2004.

пиента, мотивировку и мн. др.; аргументы предикатов, встроенных в семантику имени, наследуются им и тоже определяют его сочетаемость.

Тем самым, лингвистическое описание имен в каком-то смысле бесконечно и задача его совершенствования вечна и неразрешима. (Правда, так же бесконечно любое описание любого фрагмента семантики — уже потому, что оно переводит мысли в неадекватную им форму: слова, пусть даже и метаязыка.) Можно только — с большей или меньшей тщательностью — представлять его отдельные аспекты; собственно, это и сделано в книге.

² В настоящем разделе мы опираемся прежде всего на работу Geeraerts 1988a, ср. также обсуждение данной проблематики в Geeraerts 1992; Степанов 1995.

Сегодня можно с уверенностью говорить о целом направлении в западной лингвистике, которое ставит во главу угла задачу семантического описания языка. С некоторой долей условности его можно назвать когнитивной семантикой — в рамках более широкой области: когнитивной лингвистики¹. В свою очередь, когнитивная лингвистика тоже возникла достаточно недавно: ее, так сказать, днем рождения считают симпозиум в Дуйсбурге, организованный Рене Дирвеном (Дуйсбургский университет, Германия) весной 1989 года. Именно на этой конференции был основан журнал «Когнитивная лингвистика» (ставший одним из лучших современных лингвистических журналов; его первым редактором был Дирк Герартс — Лувенский университет, Бельгия), там же была задумана серия монографий «Исследования по когнитивной лингвистике», в которой, в частности, вышла книга Langacker 1991a. Впрочем, может быть, точкой отсчета нужно считать предыдущую конференцию, в Трире (тоже организованную Р. Дирвеном), или во многих отношениях замечательный сборник Rudzka-Ostyn 1988, изданный под редакцией недавно скончавшейся Бригиды Рудзки-Остин (Лувенский католический университет, Бельгия) — кстати, эта книга тоже вышла в 1988 году.

В настоящем обзоре мы хотели бы нарисовать самую общую картину семантических исследований в рамках этого направления, как оно себя осознает. Трудность нашей задачи в том, что, несмотря на некоторую общность взглядов, точек зрения и даже иногда методов исследования, здесь нет ни какого-то одного признанного лидера, «мэтра», ни уже готовой модели, а есть, наоборот, живое многообразие и интересные поиски новых решений и новых задач — идущие, подчас, в разных направлениях.

1. Из истории когнитивной семантики²

Хорошо известно, что в начале XX века в лингвистике произошла радикальная смена научной идеологии. Ф. де Соссюр (скорее, даже, его последователи) изменил предмет исследований, причем

¹ Интересно, что за пределами нашей страны сторонники аппликативной модели, хотя и немногочисленные, также существовали. Во Франции, например, в то время ими были славист и типолог Златка Генчева и математик, работающий на стыке математической лингвистики и когнитивной психологии, Жан-Пьер Декле (ср. Descles et al. 1985). Более подробно о французских версиях когнитивного направления см. наш обзор Плунгян, Рахилина 1994.

сделано это было замечательным образом — простым проведением границ: вот — синхрония, а вот — диахрония; это — язык, а это — речь. Такая процедура (произведенная, впрочем, совершенно в традициях структурализма начала века, господствовавшего и в других областях человеческого знания) имела удивительный эффект: в одночасье лингвистика стала похожей на точную науку, а данный прием — проведение границ — с успехом использовался и дальше, пожалуй, вплоть до конца 60-х годов (ведь именно к 60-м годам лингвистика максимально сблизилась с математикой и кибернетикой — в частности, в связи с исследованиями по машинному переводу). Так, были проведены границы между фонетикой и фонологией, морфологией и морфонологией, различали глубинный и поверхностный синтаксис, актанты и сирконстанты, словарную и энциклопедическую информацию, и т. д., и т. п. Тогда казалось, что чем больше границ, тем лучше, потому что таким образом можно выделить некоторую узкую, автономную и потому решаемую задачу — описать, например, автономный синтаксис или даже только один алломорф морфемы, одно значение лексемы или одно употребление синтаксической конструкции. (Ср. стандартное название статьи того периода: «Об одном...») Следует, действительно, отметить, что большинство результатов структурной лингвистики (в том числе замечательных) были получены именно благодаря четкой, «разделительной» постановке задач.

«Разделительная» постановка задач господствовала и в структурной семантике: до-структуралистская, историческая лингвистика критиковалась и за то, что смешивала синхронию с диахронией, и за то, что не имела собственных, лингвистических методов исследования (подробнее об этом см. Geeraerts 1988a).

В принципе, модель Хомского (который, между прочим, с самого начала объявил задачей лингвистики описание когнитивной способности человека, ср. об этом ниже) вполне вкладывается в «разделительную» идеологию: ведь его модель описывает как раз автономный синтаксис. Однако уже в середине 60-х годов оказалось, что для порождения этой моделью правильных фраз английского языка к системе синтаксических правил необходимо «добавить» интерпретационный компонент (см. знаменитую статью Katz, Fodor 1963, ср. также Geeraerts 1988c). В начале это был забытый к тому времени и вновь открытый компонентный анализ, затем он был дополнен семантическими отношениями: синонимией, антонимией, гипонимией и простейшими селективными признаками (в том духе, что гла-

гол *есть* сочетается с названиями съедобных и не полностью жидких объектов), но каждый следующий шаг «раздвигал» установленные границы канонической модели. Бурные дискуссии начала 70-х годов по поводу идей Катца (см. Bierwisch 1969; McCawley 1971; Lakoff 1972) заставили продвинуться дальше: использовать для представления значения формализмы логики предикатов. Между тем, структуры типа тех, которые предлагаются в логике, должны быть интерпретируемы — таким образом, происходит всплеск референциальной семантики в 70-е годы, и растет интерес к неклассическим логикам (временные, интенциональные логики, грамматика Монтегю). На Западе на этой волне возникли целые школы формальной лингвистики и логической семантики (ср., например, Partee 1976; Dowty 1979). У нас вплоть до недавнего времени формальная логическая семантика не получала серьезного резонанса (за исключением, разве что, почти забытых работ 1960—1970 гг. С. К. Шаумяна, создавшего на основе логики Карри так называемую «аппликативную модель языка»³), но эффект расширения, так сказать, исходно установленных границ семантики знаком и нашей лингвистике, — в частности, яркий пример тому — как раз интерес к проблемам референции (ср. прежде всего работы Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучевой); одно время шло даже обсуждение того, не нужно ли ввести дополнительный, референциальный уровень в модель «Смысл \Leftrightarrow Текст».

«Логический» период семантики оставил в лингвистике еще одну важную идею: идею противопоставления пресуппозиции и ассерции. К этому времени семантическое описание уже представляло собой текст, написанный с помощью единиц семантического языка, связанных определенными отношениями. Оказалось, что этот текст состоит из двух *неравноправных* частей: неотрицаемой пресуппозиции и отрицаемой ассерции. Тем самым были открыты новые правила описания сочетаемости, построенные уже не на (в общем, исчерпавшей себя) идее селективных признаков, а на понятии *сферы действия* (*scope*) лексемы (ср., например, сборник Szabolcsi (ed.) 1997, а также Богуславский 1996: 46—48).

От проблем референции — всего один шаг до прагматики: сначала оказалась существенной, выделенной роль одного особого референта — говорящего, причем настолько, что без понимания этой роли невозможно ни интерпретировать, ни порождать предложения даже

с самыми простыми глаголами движения, такими, как *come* или *go* (Fillmore 1983, ср. также Апресян 1986, где эта проблематика обсуждалась на материале русского языка). Потом выяснилось, что для правильной интерпретации по крайней мере некоторых типов предложений, т. е. для того, чтобы адекватным образом сопоставить им верную внеязыковую ситуацию, недостаточно исчерпывающим образом построенной семантической структуры, потому что в естественном языке *He передадите ли мне соль?* отчего-то оказывается не вопросом, а просьбой, а тавтологии типа *Boys are boys* осмысленны. И чтобы эти и подобные им факты объяснить, необходимо «пристроить» к семантической модели компонент, каким-то образом описывающий *прагматику* — отношения между говорящим и слушающим, в том числе их намерения, явные и скрытые, положение в социальной иерархии, их принадлежность к той или иной культуре и т. д., и т. п., — как видим, происходит очередное расширение границ лингвистического описания, причем на этот раз «изгородь» перенесена так решительно далеко, что, очевидным образом, оказалась на совершенно чужой территории, нарушив суверенитеты психологии, социологии, этнографии и т. п.

Если в истории нашей отечественной науки такое расширение границ семантики в целом принималось и приводило к постепенным изменениям задач и методов лингвистического исследования, то модель Хомского всеми способами старалась сохранить идею автономного синтаксиса, по возможности отгородившись от семантики и прагматики. Неудивительно, что наиболее яркие лингвисты США (кстати, практически все они были в свое время учениками Хомского) оказались «диссидентами» как Стандартной теории, так и последующих ее модификаций. Так, и Дж. Лаков, и Р. Лангакер, и Р. Джэкендофф начинали с порождающей грамматики — и все они стали значительными фигурами в когнитивной семантике.

⁴ Некоторые другие, возможно, менее известные у нас имена: Клод Ванделуаз, Дирк Герартс, Рене Дирвен, Эва Домбровска, Гюнтер Радден, Джон Тейлор; специально обратим внимание на исследователей, использующих материал славянских языков: Стивен Дикки, Туре Нессет, Мириам Фрид, Лора Янда.

⁵ Другая его книга того же плана — Jackendoff 1987. Важным направлением деятельности Джэкендоффа (см. в особенности Jackendoff 1990) является разработка метаязыка для семантического представления предикатов, «надстроенного» над теорией семантических ролей Хомского (*theta-roles*). Среди когнитивистов Джэкендофф во многих отношениях идеологически остался наиболее близок хомскианству.

Вообще говоря, это не случайно. С одной стороны, в процессе построения формальной алгоритмической модели языка на каждом ее этапе усложняется алгоритм и правила. И несмотря на это, всякий раз оказывается, что какие-то фрагменты естественного языка всё равно не порождаются, а то, что порождается, наоборот, не существует в языке, так что требуются новые и новые усовершенствования. Поэтому именно рамки узкой алгоритмической модели заставляют однажды задать вопрос: а что если человек думает и говорит совершенно иначе — т. е., не алгоритмически. В этом смысле когнитивная лингвистика возникла как принципиальная альтернатива генеративному подходу Хомского. С другой стороны, как мы говорили, как раз Хомскому принадлежат слова о том, что задача лингвистики — это изучение когнитивных способностей человека, а семантика (как и грамматика в целом) — часть психологии. Эта идея никак не была реализована в практике моделей Хомского, однако, может быть, это и было то самое ружье, которое должно было однажды выстрелить: главная общая мысль, объединившая когнитивную лингвистику в новое направление — та, что языковые способности человека — это часть его когнитивных способностей.

Фактически здесь кончается *история* возникновения направления и нам следовало бы перейти к изложению общей концепции или хотя бы общих подходов исследователей этого направления. Однако, повторим, строго говоря, ничего этого нет. Достаточно сказать, что к представителям когнитивного подхода в семантике причисляют, например, Джорджа Лакова, Рональда Лангакера, Рея Джэкендоффа, Чарльза Филлмора и Адель Голдберг, Леонарда Талми, Уильяма Крофта, Жилия Фоконы⁴. Это известные имена — одного их упоминания достаточно, чтобы дать представление о разнообразии подходов внутри когнитивной парадигмы. Поэтому наше дальнейшее изложение больше всего будет напоминать своего рода панораму идей и результатов когнитивной семантики; некоторая его гетерогенность имеет естественные объяснения и оправдания.

Многие — например, Ч. Филлмор, Р. Лангакер, Б. Рудзка-Остин — включали в число теоретиков когнитивной семантики и А. Вежбицкую. Мы, однако, отказались от идеи обсуждать концепцию А. Вежбицкой в настоящем обзоре, хотя включение ее в когнитивную парадигму кажется нам абсолютно верным и естественным. Работы А. Вежбицкой у нас достаточно хорошо известны (кажется, гораздо лучше, чем на Западе), они широко цитируются, многим из них посвящены специальные статьи и рецензии: Фрумкина 1989:

46–51; Бурас, Кронгауз 1990; Фрумкина 1990; Бурас, Кронгауз 1992; Апресян 1994; Фрумкина 1994; 1995; В.Ю. Апресян 1995; Плунгян, Рахилина 1996b, ср. также предисловие Е. В. Падучевой к сб. Вежибицкая 1996.

2. Теория: идеи, понятия, гипотезы, точки зрения

2.1. Семантика и когнитивная деятельность

Автор книги с таким названием — *Рей Джэккендофф*; в ней обосновывается связь семантики с другими науками, описывающими когнитивные способности человека, прежде всего, психологией (Jackendoff 1983)⁵. Идея эта является центральной для всего направления когнитивной лингвистики, она обсуждается во многих фундаментальных работах этого направления (ср. прежде всего Langacker 1987). Утверждается, что при восприятии речи человек использует те же механизмы, что и при восприятии вообще — зрительном восприятии или восприятии, скажем, музыки. Отсюда небывалый всплеск интереса к пограничным областям лингвистики и ее ближайшим соседям — герменевтике, гештальт-психологии, когнитивной психологии: соответствующая литература широко цитируется в лингвистических работах, заимствуются термины и понятия, ср. *фон / фигура*, *правила предпочтения* и т. д., ср. также роль теории прототипов, возникшей в рамках гештальт-психологии и получившей мощное развитие в лингвистике (подробнее о прототипах см. раздел 2.4).

Такой подход исключает автономность лингвистики как науки, и, конечно, тем более исключает автономность ее отдельных областей — таким образом, в рамках когнитивной парадигмы отрицается автономный синтаксис. С другой стороны, если речь идет о каких-то общих с внеязыковыми правилами или хотя бы общих принципах, на которые эти правила опираются, то это должны быть семантические правила — следовательно, внутри лингвистики когнитивный подход естественным образом предполагает главенство семантики (когнитивной семантики), которая определяет поведение лексем, их частей и сочетаний, конструкций, предложений и т. д. Соответственно, общие и частные семантические исследования должны в конечном счете *объяснить* поведение языковых единиц. При этом требуется, чтобы объяснения опирались на достаточно общие «человеческие» механизмы, т. е. были *антропоцентричны*. И здесь, как нам ка-

жется, происходит «встреча» когнитивной семантики с отечественной традицией. Разница только в том, что идея антропоцентричности языка в когнитивной семантике оказывается как бы «навязанной сверху»: она следует из базовых положений теории, и из нее должны исходить лингвистические исследования. В более привычной нам парадигме (куда, по-видимому, естественно включить и работы А. Вежбицкой) антропоцентричность языка была открыта в процессе глубоких семантических исследований, т. е. «внутри» лингвистики, и это создало новые возможности для расширения ее границ (подробнее об этом см. также Алпатов 1993).

2.2. О соотношении семантики и действительности

Общеизвестно, что для семантических исследований вопрос о соотношении семантики и действительности чрезвычайно важен, потому что он касается *предмета исследования* этой области лингвистики. С точки зрения теоретиков и практиков когнитивной семантики (см. прежде всего Jackendoff 1983; Langacker 1987; 1988; 1991a; Talmy 1983; Cienki 1989; Casad 1988), действительность «проецируется» в семантику естественного языка, и полученная языковая картина («projected world», в терминах Р. Джэкендоффа) отличается от мира действительности. Это объясняется, во-первых, специфическими особенностями человеческого организма (например, человек видит свет и цвет, и поэтому они есть в языковой картине мира, — но не видит рентгеновские лучи, и они в ней не отражены). Во-вторых, как известно, одну и ту же ситуацию носитель языка может описывать по-разному. Исходный набор параметров ситуации (или соответствующих им семантических признаков) при этом сохраняется, но какие-то из этих признаков акцентируются, а какие-то — затушевываются; в этих случаях Р. Лангакер говорит о «*гранях*» (facettes) си-

⁶ Подробнее о трудных случаях описания размеров в русском языке см. § 2 Главы II. Обратим здесь внимание на то, что случай с водосточной трубой может быть описан совершенно иначе: дело в том, что высокие объекты, подобно человеку, «стоят», т. е. закреплены снизу и видятся снизу вверх (наблюдатель внизу), тогда как, например, глубокие — сверху вниз (наблюдатель как бы мысленно опускается на дно). Обычные трубы, столбы, деревья расположены подобно стоящему человеку, т. е. закреплены снизу и не имеют верхней опоры. Водосточная же труба в каком-то смысле свисает со стены или крыши и поэтому должна измеряться сверху вниз (как, например, веревка); ср. здесь ноги человека или лапы животного, которые тоже опи-

туации или языковой единицы, ее символизирующей. Например, сравнивая предложения:

Bill sent a walrus to Joyce (Билл послал моржа <к> Джойс)

и:

Bill sent Joyce a walrus (Билл послал Джойс моржа)

он (как бы в целом соглашаясь с генеративистами, порождающими эти предложения из одной и той же глубинной структуры — предлог *to* при таком описании либо вставляется, либо опускается чисто механически), признает их в каком-то смысле семантически эквивалентными, но с акцентом на разных гранях — в первом случае, на, так сказать, пути следования моржа, а во втором — на новом посесивном отношении. (О «гранях» см. также ниже, раздел 2.6.)

Наконец, языковая картина мира отличается от мира действительности в силу специфики конкретных культур, стоящих за каждым языком. В конкретном языке происходит *конвенционализация* (Langacker 1987; Casad 1988) — как бы негласное коллективное соглашение говорящих выражать свои мысли определенным образом. Например, в языке кора (Мексика, юто-ацтекская семья) для того, чтобы сказать *Свеча сгорела* нужно глаголу *гореть* приписать два пространственных префикса — со значением ‘внутри’ и ‘вниз’. (Этот факт обсуждается в Casad 1988, где ему дается вполне логичное объяснение: говорящие на кора сводят процесс горения свечи к горению ее фитиля, которое происходит внутри свечи сверху вниз.) Таким образом, утверждается, что семантики разных языков должны быть разными, однако в работах этого круга обычно не выдвигаются гипотезы о природе этих различий, подобные, например, универсально-семантическому уровню над конкретно-языковыми семантиками (ср. Апресян 1980) или, тем более, теории «семантических примитивов» в духе А. Вежицкой (ср. Wierzbicka 1972, 1996; Goddard, Wierzbicka (eds.) 1994, 2002; Goddard (ed.) 2008).

В терминах Л. Талми процесс отражения действительности в языке называется *схематизацией*; он сравнивает его с условностями детского рисунка, в котором натура, так сказать, *идеализирована* (Talmy 1983; 2000). Л. Талми интересуется прежде всего схематизация простран-

сываются как *длинные*, а не *высокие*, но колонны здания (даже упирающиеся в портик) — всегда *высокие* (взгляд снизу вверх).

ства. Чтобы оценить его вклад в разработку этого фрагмента семантики, нам придется совершить небольшой исторический экскурс.

Семантика размеров традиционно описывалась в рамках компонентного анализа, где, например, горизонтально вытянутые объекты получали помету [+ длинный], не вытянутые — [– длинный], вертикально вытянутые — [+ высокий], и т. д. Для того, чтобы приписать семантические признаки такого рода, нужно было бы, вообще говоря, произвести полный геометрический обмер объекта как он есть. Между тем, уже в 1967 г. в пионерской статье М. Бирвиша (Bierwisch 1967) было показано, что самых тщательных измерений будет недостаточно для того, чтобы предсказать сочетаемостные свойства прилагательных размера типа *длинный*, *высокий* и под.: так, водосточная труба (в отличие от обычной, например, заводской) описывается не как *высокая*, а как *длинная* (см. подробнее Апресян 1974: 58–59). Предлагалось усложнить признаковое описание, добавив к определению ‘высокий’ идею независимого положения объекта; этот дополнительный признак позволил бы измерять, например, у водосточной трубы, прикрепленной к стене, не «высоту», а «длину» (как у несамостоятельного объекта), см. с. 120.

Однако и такой принцип решения проблемы семантики пространства (пошаговое усложнение картины описания, ориентированное на каждый частный случай, конкретный объект, когда новые признаки могут вводиться *ad hoc*, немотивированно) не может считаться полностью удовлетворительным⁶, и Л. Талми предлагает совершенно иную пространственную модель. Он считает, что геометрия Евклида, которую лингвисты усвоили в школе, и связанная с такими понятиями, как размер, расстояние, длина, угол и под., не имеет отношения к языковой картине мира. В языке человек измеряет не отдельные параметры объекта, а объект целиком, относя его к тому или иному *топологическому типу* (круглые, плоские, вытянутые, бесформенные объекты, и т. п.). С точки зрения Л. Талми, именно топологические типы «организуют» языковое пространство и служат в нем ориентирами.

Таким образом, когнитивная семантика предлагает модели фрагментов языковой картины мира: они будут разными для разных языков, но они сопоставимы, и их сопоставление и есть та задача, на которой исследователи ставят акцент. Отметим в связи с этим контрастные исследования по семантике грамматических категорий, словообразованию и лексике, такие, как Rudzka-Ostyn 1985; Taylor 1988; Cienki 1989; Janda 1993, Newman (ed.) 1997 и 2002 и мн. др. Нам

кажется, что нельзя не упомянуть здесь и работу Л. Талми (Talmy 1975, см. также Talmy 2000) по типологии глаголов движения, выполненную на материале большого числа языков. Идея этой работы состоит в том, чтобы проследить, какими средствами (корень, приставка, послелог и т. п.) кодируются в языках два основных семантических компонента глагола движения: тип движения и его ориентация. Это исследование Талми породило целый поток работ, посвященный типологии «лексикализации» предикатов движения в разных языках по описанным им моделям. Ср., например, одну из недавних монографий Zlatev 1997 с попытками обобщения данных такого рода, а также сборник Hickmann, Robert (eds.) 2006.

2.3. Понятие концепта

Концепт (concept) занимает центральное место в когнитивной теории, и в этом ее отличие, например, от школы формальной, логической семантики. Концепты приписываются самым разным языковым единицам — в первую очередь обозначениям естественных классов (типа *bird*), ситуаций (типа *run*), но и индивидов (типа *George Lakoff*).

Главным свойством концептов нередко считается их неизоллированность, связанность с другими такими же — поэтому всякий концепт погружен в **домены (domains)**, которые образуют структуру, ближе всего соотносящуюся с филлморовским понятием фрейма (см. Филлмор 1985; ср. также *qualia structure* в Pustejovsky 1995). Домены образуют тот (мы бы сказали — семантический) фон, из которого выделяется концепт: концепт ‘дуга’ понимается «с опорой» на представление о круге, ‘гипотенуза’ «опирается» на понятие о треугольнике, и т. д. В терминах Р. Лангакера соотношение между концептом и доменом описывается зрительной парой **профиль — база** (см. ниже).

В таком простом случае, как эти, домен у концепта один, но обычно в число доменов входит и время, и пространство, и др. (их множество называют еще **domain matrix** — матрицей доменов).

⁷ Номер «Cognitive linguistics», где опубликована данная статья Тейлора, как раз и посвящен обсуждению отношений между этими теориями в связи с юбилеем Джекендоффа.

Так оказалось, что идеология когнитивной семантики очень тесно связана с визуальными, образными представлениями — обычно концепты, как и другие теоретические конструкты в рамках этой теории, рисуют (см. раздел 2.6). Тем самым, одновременно иллюстрируется близость визуального и языкового восприятия: действительно, если то, что мы думаем, когда говорим, можно «увидеть» глазами, разные когнитивные системы скорее всего связаны.

В качестве примера невизуального описания концепта обычно приводят всем известные списки свойств, характеризующих слова *mother* или *bachelor* по Дж. Лакову (ср. Clausner, Croft 1999: 2). Такой домен содержит набор признаков (dimensions), каждый из которых, впрочем, сам может интерпретироваться как отдельный домен, ср. ‘тон’, ‘яркость’, ‘насыщенность’ для концепта цвета. Как кажется, эти признаки тем хуже организованы, чем менее исходное слово предикативно (и это естественно), но зато концептуальное описание глаголов привычно опирается на их ролевую структуру. Иногда над признаками, над ролевой структурой обнаруживается некоторая «надстройка» — Лаков (Lakoff 1987) называет ее «идеализированной когнитивной моделью» (idealized cognitive model — ИКМ). Это все наши представления об объекте сразу, в целом, некий «нерасчлененный образ», который и порождает признаки, ролевую структуру и т. д.

В этой связи интересна полемика Дж. Тейлора с Р. Джэкендоффом по поводу способа представления концептов *running* и *jogging* (Taylor 1996). Джон Тейлор — известный представитель когнитивного направления (ср. Taylor 1995; 1997 и др.); что касается Джэкендоффа, то его теория близка к когнитивному направлению, но не является его частью⁷. Собственно, данная полемика началась по поводу слов *goose* и *duck*. Джэкендофф предлагал описывать их признаками [– thing], [+ animate], [– human], [+ bird] — тем самым, различие между ними не отражается в его концептуальной структуре, но он не видит способа, который мог бы исправить это положение. В частности, идея добавить признак [+/- long neck] кажется ему «patently ridiculous», потому что такие признаки, с его точки зрения, должны

⁷ Первые работы Э. Рош были посвящены цветообозначениям, и первые гипотезы касались психологии восприятия цвета: к некоторым цветам человек более восприимчив, чем к другим, в силу специфики устройства своего перцептивного аппарата. Впоследствии область применения психологической гипотезы оказалась значительно уже, чем само понятие прототипа. Подробное изложение и критику работ, идей и экспериментов Э. Рош см., в частности, в Wierzbicka 1985; Geeraerts 1988b; Фрумкина и др. 1991.

быть семантически элементарны (Jackendoff 1990: 33). Более того, тождество концептуальных структур здесь совершенно оправданно, поскольку синтаксическое поведение этих лексем в целом идентично, а концептуальная структура именно синтаксическое поведение и предсказывает. Однако в дополнение к концептуальной структуре Джэкендофф апеллирует к трехмерному представлению, предложенному Д. - Марром (3D-model), которое позволяет схематично представить форму объекта (как видим, модель Джэкендоффа тоже опирается на визуальный ряд).

Интересно, что Дж. Тейлор не возражает по поводу *duck* и *goose* (как если бы различия между концептами утки и гуся в самом деле сводились к длине шеи этих птиц! — ср. здесь Wierzbicka 1985, где определены принципы описания семантики имен естественных классов); между тем концептуальная структура Р. Джэкендоффа его не устраивает, причем именно ее ориентацией на синтаксис, поэтому ему приходится перевести свою аргументацию в иную плоскость. Действительно, если данные языковые образы можно хотя бы «нарисовать», чтобы эксплицировать их различия, — то как быть с противопоставлением между *running* и *jogging*? Между тем, согласно модели Джэкендоффа, эти лексемы тоже получают одну и ту же концептуальную структуру — это Тейлор и опровергает.

Для начала он очерчивает ИКМ для *jogging*. *Jogging* ассоциируется со здоровым образом жизни, физической формой и под. преуспевающих людей среднего класса развитых стран. Отсюда следует, что его концепт не совместим с соревнованиями, целевыми ситуациями («если прототипическому джоггеру нужно куда-то попасть, он садится в БМВ» — Taylor 1996: 26), а также с малолетними детьми, стариками, животными и другими концептами, допустимыми для *run*. И только вследствие этого возникают синтаксические ограничения, которые «просмотрел» Джэкендофф, потому что начинал с синтаксиса, а не семантики. Например, не говорят **jog to catch the bus* (говорят: *run*), **jog* (но: *run*) *after someone* и т. д., и т. п. Таким образом, фактически Дж. Тейлор в данном случае говорит об очень хорошо известной в нашей традиции мотивированности синтаксиса языковой единицы ее семантикой.

2.4. Прототипическое значение

Это — одна из «психологических» идей Э. Рош (Rosch 1977; Mervis, Rosch 1981) и др., вызвавшая огромный резонанс в лингвистике, целые потоки статей и книг «за» и «против». Суть ее в том, что человек воспринимает любую семантическую категорию как имеющую центр и периферию и, следовательно, имеющую «более прототипических» и «менее прототипических» представителей, связанных между собой отношениями «семейного сходства» (*family resemblance*)⁸. Так, малиновка и воробей попадают, скорее, в число прототипических птиц, тогда как страус и курица — на периферию «птичьей» категории.

После открытия Рош, которая связывала идею прототипа только с исследованиями языковых классификаций <предметной> лексики, были сделаны попытки статистически «посчитать» категориальные прототипы в языке, т. е. с помощью достаточного количества испытуемых определить, каковы в сознании носителя языка прототипические фрукты, чашки, болезни и т. д. Эта задача оказалась довольно сложной и, видимо, как часто случается со статистическими методами в лингвистике, малокорректной — ведь результаты даже самых аккуратных подсчетов всё равно требовали своего объяснения. Во-первых, выяснилось, что в разных языках прототипическими могут являться разные представители категории, например, прототипический фрукт для американца — апельсин, тогда как для русского, скорее, яблоко. Во-вторых, неизвестно, оттого ли малиновка оканчивается для носителя английского языка наиболее частотной птицей, что именно она концентрирует в себе максимум «птичьих» свойств, или потому, что это особая птица в культуре Англии (ср., например, день малиновки, восходящий к дохристианским временам, народный и детский фольклор — *Mother Goose Rhymes*, и т. п.), и почему по опросам информантов именно рак является прототипической болезнью — не потому ли, что это просто самая страшная и, тем самым, маркированная, а вовсе не прототипическая болезнь?

Критика статистического понимания прототипа дается, например, в Geeraerts 1988b; Д. Герартс, в частности, замечает, что вывести прототип из факта частотности означает ставить телегу впереди лошади: не потому яблоко, в отличие от манго, прототипический фрукт, что оно чаще встречается в текстах, а оно чаще встречается потому, что является прототипическим, в отличие от манго.

Между тем, попытки как-то использовать статистический потенциал понятия *прототипа* и даже расширить область его применения продолжались и продолжают, пожалуй, до сих пор. Хорошо известны работы У. Лабова (одна из них даже переводилась, см. Лабов 1978), посвященные поискам прототипических свойств предметной лексики, когда испытуемые должны были выбирать уже не вид фрукта, животного, птицы и т. п., а <референциальные> свойства, существенные, например, для определения чашки (наличие ручки, размер доньшка в соотношении с высотой и под.). Тем самым, работы Лабова и им подобные претендовали уже на статус исследований по лексической семантике. Такой «арифметический» подход к семантике был подвергнут сокрушительной критике в книге Wierzbicka 1985. Действительно, при всём психологизме когнитивного подхода, он опирается (или должен опираться) не на индивидуальные свидетельства отдельных испытуемых о данной языковой единице, а на опыт **всех** носителей, закрепленный в языке, а этот опыт проявляется в языковом поведении лексемы, и прежде всего — в ее сочетаемостных свойствах. Что же касается информантов Лабова, то они, вероятнее всего, исследовали не языковые единицы, а соответствующие им референты, что, безусловно, не одно и то же.

Понятие прототипа пытались формализовать и, тем самым, придать ему больше «научного веса». Инструментом для этого были выбраны *размытые множества* Заде (Zadeh 1965). Однако, как убедительно показал Р. Джэкендофф (Jackendoff 1983: 116), в качестве математической модели прототипа размытые множества имеют недостатки — пингвин, например, ведь не является на 71 % птицей, а на остальные 29 % — кем-то еще. Он просто птица, несмотря на свою периферийность и непрототипичность.

Таким образом, прототип остался в статусе неформального понятия (впрочем, в лингвистике это не единственный случай) и сугубо теоретического (если признавать сомнительность его статистических приложений). Скептик мог бы понизить его до научной метафоры, но это не меняет дела: прототип уже довольно долго «держится на плаву», не исчезая из лингвистического узуса. В таком случае, какую лингвистическую реальность он отражает?

В семантических теориях значение представляли как множество семантических признаков или как текст на семантическом метаязыке. Однако и в том, и в другом случае разные фрагменты семантического представления оказывались равноправны: вся семантическая

информация, включенная в толкование языковой единицы, автоматически признавалась одинаково значимой — в отличие от той (например, энциклопедической) информации, которая оказывалась за его пределами. Но интуитивное представление о языковом концепте состоит в том, что он объединяет признаки и свойства разного веса — эту идею в семантику впервые «впустила» Э. Рош.

Интересными представляются рассуждения Д. Герартса о том, почему языковые концепты устроены прототипически, т. е. неравномерно, по принципу центр—периферия. Одно из открытий когнитивной психологии состоит в том, что когнитивная деятельность требует сочетания двух принципов: структурной стабильности (*structural stability*) и гибкой приспособляемости (*flexible adaptability*). Иными словами, для ее эффективности, с одной стороны, требуется по крайней мере на какое-то время — сохранять постоянный способ организации системы категорий, а с другой стороны, система должна быть достаточно гибкой, чтобы иметь возможность приспосабливаться к изменениям. Прототипическая организация значения оптимальным образом удовлетворяет этим требованиям, потому что прототип имеет сильный стабильный центр, позволяющий носителям языка легко выделять прототипические значения и отличать их друг от друга, и более аморфную, подверженную изменениям, *зависимую* (*dependent*, в терминологии Б. Хокинса [Hawkins 1988]) периферию.

2.5. Фигура и фон (*figure and ground*)

Это противопоставление, как мы уже говорили, тоже пришло в семантику из гештальт-психологии, см. Paprotté 1988: 458 и след); в лингвистический обиход его ввел замечательный американский типолог Леонард Талми, имя которого уже неоднократно упоминалось выше (Talmy 1978, 2000).

Известно, что человек воспринимает и членит действительность, так сказать, неравномерно: какая-то информация является для него базовой, исходной, а какая-то — новой, наиболее значимой в настоящий момент. В лингвистической теории это противопоставление связывалось с точкой зрения говорящего на ситуацию, которая в этом случае становится обязательной, но переменной характеристикой этой ситуации: то, что для одного говорящего (или для данного говорящего в данный момент) важно, для другого (или для того же, но, скажем, через некоторое время) уже не важно. Для отражения этого

феномена была построена теория коммуникативной организации текста, в которой, в разных ее ветвях и направлениях, использовались такие пары понятий, как данное — новое, тема — рема, топик — фокус и под. (иногда несколько пар одновременно). Важнейшее (и очень естественное) свойство объекта этой теории — его, так сказать, принципиальная нежесткость: то, что было новым, легко становится старым, тема переходит в рему и под. (вспомним здесь хотя бы пассивизацию, которая как раз происходит из-за такого рода смены точки зрения говорящего).

Между тем, подобные переходы осуществимы далеко не всегда. Л. Талми обратил внимание на, если так можно сказать, лексическую заданность распределения внимания говорящего в некоторых контекстах. Так, из двух предложений:

The bike is near the house (Велосипед рядом с домом)

и

?The house is near the bike (?Дом рядом с велосипедом)

очевидным образом, второе гораздо менее удовлетворительно и как минимум требует дополнительных контекстных условий для того, чтобы стать сколько-нибудь приемлемым. Причем такого рода несимметричность никаким образом не может быть исправлена, потому что она встроена в лексическую систему языка: во всякой ситуации говорящий различает движущиеся (или потенциально движущиеся) объекты, *фигуры*, и неподвижные — они образуют *фон*, на котором движутся фигуры. Это противопоставление легко переносится из пространства во время: событие (фигура) может происходить во время некоторого процесса (являющегося фоном), но не наоборот, ср.

?Shah Rukh ruled Persia through / around Christ's crucifixion

— (?Шах Рух правил Персией во время распятия Христа)

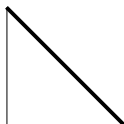
⁹ Как мы уже говорили, Л. Талми много занимался типологией организации пространства в языках мира и глаголами движения; для задач этой области семантики, возможно, обобщение филлморовских ролей удобно, но вряд ли ими можно обойтись при классификации предикатов в целом, когда канонического инвентаря ролей как правило, наоборот, не хватает.

¹⁰ По шутливому замечанию Ч. Филлмора по поводу *boxes* в грамматике Лангекера (а также тех, что используются в его, Филлмора, собственной теории конструкций, о которой см. ниже), новым теориям и представлениям своих знаний современная лингвистика во многом обязана успехам компьютерной фирмы *Apple*, которая, наконец, дала возможность лингвистам перейти от однообразия скучных стрелок и узлов, в изображении которых прошло как минимум 30 лет, к квадратикам и картинкам, обозначившим начало новой эры в семантике.

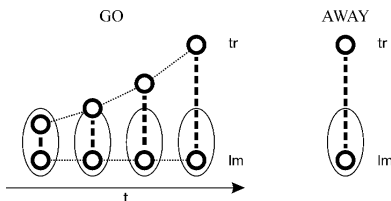
И у фигур, и у фона есть свои свойства: так, фигуры мобильны (во времени и пространстве), они имеют пространственные или временные границы (объект на фоне пространства, факт на фоне процесса), тяготеют к определенности, ср. примеры А. Херсковиц (Herskovits 1986):

The house is near the church — **A house is near the church* (в случае неопределенности требуется специальная экзистенциальная конструкция: *There is a house near the church*).

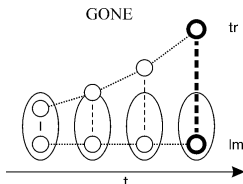
Характерным фоном, наоборот, являются неподвижные, громоздкие объекты, не обязательно определенные и часто не имеющие пространственных или временных границ. (Л. Талми отмечает интересные корреляции между типами фигур и фона в разных грамматических классах — в частности, эквивалентность между исчисляемыми существительными и глаголами-событиями, с одной стороны, и между неисчисляемыми существительными и глаголами-процессами/состояниями, с другой; при этом в языке могут существовать специаль-



Более сложный пример: английское слово *away* ('прочь') изображается на картинке в виде отношения между <потенциально> движущимся объектом и точкой отсчета: объект находится в точке, максимально удаленной от области точки отсчета; при этом *вся* картинка оказывается профилем — так же, как и при изображении процесса, обозначаемого английским глаголом *go* (*удму*) (Langacker 1988: 62):



Здесь нарисована последовательная смена состояний во времени, причем каждое последующее состояние описывает большее удаление объекта от точки отсчета, в области которой объект исходно находился — и все эти состояния, по мнению Р. Лангакера, составляют профиль процесса¹¹. А вот для причастия *gone* профилем будет только результирующее состояние (тождественное отношению, описываемому наречием *away*), а все остальное — база (Langacker 1988: 62):



ные грамматические средства, преобразующие элементы одного класса в элементы другого, ср. англ. конструкции типа *give a cry* или русские сингулятивы типа *солом-ин-а*, ср. Talmy 1988.)

Понятие фона-фигуры нашли применение в первую очередь в многочисленных работах, посвященных описанию семантики предлогов (например, Herskovits 1986), и в каких-то случаях они действительно помогают исследователю объяснить ограничения на употребление предложных конструкций, потому что предлоги всегда создают неравномерность в картине мира, ориентируя один предмет или событие относительно другого. Кроме того, это понятие используется и в работах по аспектологии (ср. Paprotté 1988).

Сам же Л. Талми считает фон-фигуру удачным дополнением (а при некотором развитии этой идеи и альтернативой) системе падежей Ч. Филмора (см. подробнее Talmy 1978: 641–648), отмечая в качестве недостатка системы филморских падежей то, что в ней все падежи как бы равноправны, — в частности, мобильные (агнс, инструмент, пациенс) никак не противопоставлены статическим (источнику, конечной цели, маршруту, местоположению)⁹.

¹¹ Обратить внимание, что в данном случае в профиль процесса попадают и движущийся объект (по Талми — фигура), и точка отсчета (по Талми — фон); таким образом, противопоставление фон/фигура по своим результатам не совпадает с противопоставлением база/профиль; впрочем, как будет ясно из дальнейшего изложения, и концептуально это разные вещи.

2.6. Профиль и база (profile and base). Активная зона (active zone)

Профиль и база — это еще одна иерархия внутри семантического представления. Она предложена Р. Лангакером в рамках его теории «когнитивной грамматики» (Langacker 1987; 1988; 1991a; 1991b).

Роналд Лангакер — крупнейший теоретик и один из основателей когнитивной семантики как особого направления. Его когнитивная грамматика — это довольно своеобразная работающая модель языка, которую, конечно, изложить в данном обзоре полностью невозможно, тем более, что Лангакер очень много публикуется, особенно в последнее время (ср. Langacker 1993a; 1993b; 1994; 1995a; 1995b и др.). Поэтому здесь мы рассмотрим только некоторые самые общие идеи и понятия, которые, как нам кажется, выходят за рамки одной модели.

В когнитивной грамматике значения языковых единиц изображаются в виде схем — вспомним *схематизацию* и *идеализацию* Л. Талми, уподоблявшего наши представления о действительности детскому рисунку. Так вот, Р. Лангакер действительно *рисует* семантику; каждый такой рисунок помещен в квадратик (*box*¹⁰), и в грамматике имеется способ связывать квадратики (т. е. отдельные фрагменты семантического представления) между собой, так, чтобы в результате из фрагментов получалась цельная результирующая картинка, соответствующая фразе, предложению и т. д. К сожалению, мы вынуждены оставить в стороне и всю технику этой процедуры, и ее содержательные аспекты, и связанную с ней терминологию (как, например, понятие *валентности*).

Картинки эти в большей или меньшей степени схематичны, в них используются условные обозначения и пометы. Так, участники ситуации обычно обозначаются кружками, и при каждом таком кружке (рядом или внутри) помечается его роль: *TR* — движущийся объект (*trajector*), *LM* — ориентир (*landmark*), *V* — наблюдатель (*viewer*), *R* — реципиент (*recipient*), и др.; кроме того используются стрелки, сплошные и пунктирные линии соединения, и т. д. Надо отметить, что схемы всегда снабжены подписями, и, в общем, привыкнуть к ним и даже научиться рисовать нечто похожее, может быть, даже не сложнее, чем привыкнуть к деревьям зависимостей. Но самое существенное, пожалуй, — это то, что в каждой схеме некоторая часть всегда оказывается выделенной (т. е. нарисованной жирным) по сравнению

с остальными, и это и есть *профиль* языковой единицы, а всё остальное — ее *база*. Простой пример: слово *гипотенуза*; в системе Р. Лангакера она изображается так, что профилем оказывается соответствующая сторона треугольника, а сам он — базой (Langacker 1988: 59):

Теперь попробуем ответить на вопрос, что же моделирует противопоставление профиль—база, т. е. как можно было бы «перевести» эти понятия с языка грамматики Лангакера в более традиционную для нас парадигму рассуждений. Вообще говоря, это задача довольно трудная, потому что привычная нам семантическая традиция (будь то Московская семантическая школа или лексикография А. Вежбицкой) ориентирована прежде всего на максимально подробное описание («портретирование») *индивидуальной* лексической единицы или группы таких единиц.

Что же касается западной научной парадигмы, то там до последнего времени лексикография существовала как бы вне работающей модели языка; ведь модель призвана отражать системно организованную грамматику, а словарь, в отличие от нее — это, по характерному выражению из одной генеративистской работы (посвященной, между прочим, проблемам описания структуры слова), «вещь чрезвычайно скучная; ...он как тюрьма: в нем только нарушители» (the lexicon is incredibly boring by its nature. ...The lexicon is like a prison — it contains only lawless...) [Di Sciullo, Williams 1987]. Равнодушие к «личностям нарушителей» приводит к тому, что, даже непосредственно обратившись к проблемам лексической семантики, западная лингвистическая традиция ищет здесь систему и правила, мыслит классами слов и хочет видеть между ними общее. Поэтому предлагаются не точные и подробные толкования, а только условные схемы толкований — зато такие, которые можно сравнивать друг с другом. Причем сравнивать можно не одни лишь близкие синонимы, но и, с лексикографической точки зрения, просто разные вещи (как например, глаголы движения и глаголы чувства, и даже, как мы видели, глагол *go* и наречие *away*). Профиль и база Р. Лангакера дают одно из оснований для такого сравнения. Профиль выделяет в семантике слова ту *грань*, которая описывает самый грубый ее контур (отсюда и выбор термина), например, что-то вроде таксономического класса для имен (*classroom* — классная комната, *bedroom* — спальня и *dining-room* — столовая будут иметь один и тот же профиль, см. Hawkins 1988: 250) или семантического типа для глаголов (примером семантического типа могут служить глаголы процесса; определение процесса дается, в частности, в Langacker 1987: 244–275). В каком-то смысле это расшире-

ние идеи топологических типов Л. Талми (см. раздел 2.2) на всю область семантики: в своем восприятии концептов человек оперирует не отдельными семантическим признаками и их множествами, а цельными образами — контуры, или профили этих образов дают возможность носителю языка проводить аналогии между разными концептами, сравнивать их, заменять один на другой в метафорических контекстах (подробнее см. раздел 2.7).

Еще одна *грань* семантического представления, выделяемая в когнитивной грамматике Р. Лангакера, — *активная зона* (Langacker 1984; 1991a: 189–201); это понятие близко к знакомой нам (*семантической*) *сфере действия* (Богуславский 1996): активная зона в семантическом представлении лексемы не существует сама по себе, а возникает в контекстном употреблении, причем в зависимости от контекста активизироваться могут разные аспекты семантики лексемы. Простой пример: у имени *box* ‘ящик, коробка’ в контексте предлога *in* ‘в’ активизируется то, что связано с внутренней частью емкости, а в контексте предлога *on* ‘на’ — то, что связано с ее поверхностью (как правило, верхней). Частным случаем активной зоны является, по-видимому, ассерция (противопоставленная пресуппозиции): активной зоной предикатного выражения в контексте отрицания окажется его ассертивный компонент.

2.7. Метафора

Теория метафоры Дж. Лакова и М. Джонсона (Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1987, Kövecses 2002; ср. также Баранов 2004) достаточно хорошо известна; поэтому мы здесь ее излагать не будем, а кратко остановимся на месте этой теории в когнитивной семантике.

При «проецировании» реальной действительности в язык человек сравнивает и отождествляет разные конкретные объекты, опираясь, в частности, на представления об их топологических типах (см. выше, раздел 2.2). Опираясь абстрактными понятиями, человек делает то же самое (ведь когнитивная деятельность, как мы помним, едина в разных своих проявлениях), а именно, сравнивает и отожде-

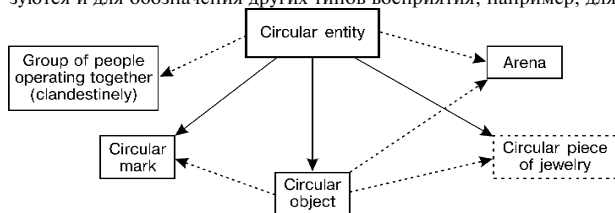
¹² Исследование этой конкретной области действия метафоры в английском языке предлагается в Rudzka-Ostyn 1988a; термины *donor domain* и *recipient domain*, использующиеся в этой и других работах, посвященных метафоре, Б. Рудзка-Остин возводит к Kittay, Lehrer 1981.

ствляет абстрактное с конкретным: мы говорим *письмо пришло*, употребляя глагол, описывающий пешее перемещение человека, по отношению к неодушевленному объекту, обнаруженному в почтовом ящике. Но каким образом мы выбираем именно этот глагол? Мы знаем, что то, что произошло с письмом на самом деле — это, по выражению Р. Лангакера, *абстрактное движение* (Langacker 1986; 1991a: 149–164), и мы сравниваем суть этого движения, его общую характеристику, а другими словами, *профиль этого движения* — с такими же общими характеристиками знакомых нам ситуаций конкретного движения: *прийти, убежать, войти* и под.; оптимальным образом «подходящим», т. е. тождественным по своему семантическому типу (профилю), оказываются глаголы прибытия, и среди них наиболее нейтральный — *прийти*. Это и есть в самом общем виде механизм метафоры. Он сродни аналогии, строящей и перестраивающей, как известно, морфологические системы языков; собственно, метафора — это и есть принцип аналогии, только действующий в семантике. Поэтому в когнитивной модели языка метафора занимает не периферийное, а центральное место. Действительно, если в структуралистской и постструктуралистской семантике лингвист мог себе позволить объявить, что он занимается основными значениями лексем, а метафорические переносы оставляет «на потом», то с точки зрения когнитивиста практически все значения (даже грамматические) связаны друг с другом цепочкой метафорических переносов (см. в этой связи работы о значении падежей, показателей каузатива, глагольных префиксов и под., ср. Rudzka-Ostyn 1985; Brugman 1988; Janda 1988 и 1990, Tuggey 1988, Taylor 1997 и др.).

Во всякой метафоре должны быть *донорская* и *реципиентная* зоны; скажем, глаголы движения могут употребляться в значении глаголов речи, тогда движение — это донорская зона для речи, которая, в свою очередь оказывается реципиентной¹². Донорская зона конкретна и антропоцентрична: для ее формирования, как известно, широко используется человек, в частности его тело (ср. *горлышко, ручка* и т. д.), местонахождение в пространстве и движение (ср. *он в ярости / пришел в ярость*). Важно, что выбор донорской зоны всегда мотивирован.

Таким образом, когнитивная семантика берется отвечать на до сих пор запретный вопрос о том, *почему*, или *каким образом* возникает то или иное значение. А это, в свою очередь, шаг к созданию *диахронической семантики* (из специалистов в этой области укажем прежде всего И. Свитсер и Д. Гепартса, ср. Sweetser 1990; Geeraerts 1986), которая бы исследовала типологию и универсалии способов развития

того или иного значения — тем самым, как отмечает Д. Герартс (Gee-gaerts 1988a: 660 и след.), лингвистика вновь обращается к своим историко-филологическим, «доструктуралистским» традициям. Он сравнивает работу И. ван Гиннекена 1912 года и работу И. Свитсер 1984 года (Van Ginneken 1910–1912; Sweetser 1984) и показывает, что их подходы настолько близки, что полученные ими результаты можно сопоставлять. Свитсер исследует развитие концепта глагола ‘слышать’ — по ее наблюдениям, оно происходит по линии ‘слышать’ ⇒ ‘слушать’ ⇒ ‘обращать внимание’ (ср. русск. *Не слушай ты его!*) и, далее, ‘слушаться’. Производные же от корня с этим значением обычно значат ‘сообщение’, ‘знаменитость’, ‘слава’ (ср. русск. *слухи, на слуху*). В свою очередь, Ван Гиннекен обратил внимание на то, что прилагательные, описывающие восприятие на слух, легко используются и для обозначения других типов восприятия, например, для



зрительного или тактильного (здесь русские примеры аналогичны голландским, ср. *громкие цвета, кричащая одежда, глухая крапива*). Соединив эти результаты, можно, вообще говоря, получить новый, по крайней мере, в виде правдоподобной гипотезы: что в языке (во всяком случае, в таком, который подчиняется правилам Ван Гин-

¹³ Хорошо известная идея цепочечной организации значения (впервые предложенная еще в Darmsteter 1887, подробнее см. Апресян 1974: 182) своеобразно преломляется в книге Wierzbicka 1980b, содержащей описание значений русского творительного падежа, где эта идея используется как альтернатива инвариантному подходу Р. Якобсона. Эта книга А. Вежицкой, однако, как кажется, осталась абсолютно незамеченной на Западе (как, впрочем, и многие другие замечательные ее работы: характерно, например, что в книге Джэкендоффа с названием «Семантические структуры» [Jackendoff 1990], использующей к тому же понятие семантических примитивов, фамилия Вежицкой ни разу не упомянута). В статьях, выполненных в традициях когнитивной семантики и посвященных описанию семантики конкретных лексических и грамматических значений в разных языках, в этой связи цитируются значительно более поздние работы Р. Лангакера, К. Ванделуаза, Л. Янды и др.

некена и Свитсер) прилагательное со значением ‘громкий’ может характеризовать имя, обозначающее славу, знаменитость и их носителей, — ср. в этой связи русск. *громкая слава* или *шумная известность*.

Таким образом, мы видим, что в когнитивной семантике метафора становится рабочим инструментом описания полисемии, причем (вполне в духе этого подхода) одновременно и в синхронном, и в диахроническом аспекте.

2.8. Организация значения. Полисемия

Хорошо известны *инвариантные* теории организации значения; в основе всех этих теорий лежит общий тезис, согласно которому у всякой языковой единицы значение одно, но в зависимости от контекстных употреблений оно трансформируется. Противники этого подхода считают, что всё многообразие контекстных употреблений свести воедино удастся довольно редко и те, кто ставит себе такую задачу, могут решить ее (в особенности, если речь идет о лексике частотной, и, следовательно, встречающейся в многочисленных и, как правило, разнообразных контекстах — такой, как предлоги, частицы и тем более грамматические показатели) только с помощью очень абстрактного описания. При этом инвариант оказывается настолько далек от каждого из конкретных употреблений языковой единицы, что сама необходимость его введения (не говоря уже о его объяснительных возможностях) становится по меньшей мере неочевидной. Но если считать альтернативой инвариантному описанию традиционно предлагаемое (например, в толковых словарях) простое перечисление (в принципе, неограниченного количества) значений «списочное решение», то возникает вопрос, каким образом человек вообще ориентируется в этом множестве и почему всё это разнообразие покрывается одной языковой единицей. Другими словами, даже если принять, что возможности человеческой памяти очень велики, практически безграничны, и человек может помнить сколь угодно большой словарь, то почему этот словарь организован с помощью отношений полисемии, когда было бы гораздо удобнее для каждого подзначения иметь свой способ выражения? Таким образом, оба решения проблемы полисемии — инвариантное и «списочное» — имеют довольно давнюю историю и каждое — свои изъяны.

Когнитивная семантика предлагает свой способ описания многозначности, в каком-то смысле промежуточный: введение инвариантного значения в лингвистическое описание считается в принципе допустимым, поскольку инвариант может существовать в сознании носителя, облегчая человеку восприятие концепта (хотя, вообще говоря, не у всякой языковой единицы можно обнаружить значение такого уровня абстракции [Langacker 1991a: 3]); инвариант, однако, не покрывает всего разнообразия употреблений языковой единицы — это только некоторая абстрактная идея, связанная с данным значением. Точно так же, не покрывает их и *прототипическое* значение — оно охватывает только самые типичные и частотные употребления. Но все значения и употребления не случайны и не произвольны — они семантически связаны между собой, так что каждое значение может «породить» одно или несколько новых, и в конечном счете они образуют «цепь» (chain) или «сеть» (network) значений данной языковой единицы¹³. Простой пример, иллюстрирующий такой способ описания, приводится во многих работах Р. Лангакера (см., например, Langacker 1991a: 103) — это организация значений английского слова *ring* ‘кольцо, круг и т. п.’:

На этом рисунке видно, что все значения слова *ring* связаны, причем всегда одним из двух типов отношений. Во-первых, это отношение *спецификации* (*круг* и *кольцо* — виды круглых предметов) — на рисунке эта связь обозначена жирной стрелкой. Во-вторых, это отношение *расширения значения* (т. е., фактически, метафорического переноса); так, *арена* — не вид круглого предмета, потому что она, вообще говоря, может и не иметь круглой формы (например, боксерский *ринг*). Таким образом, отношения между значениями в схеме неравноправны, но неравноправны и сами значения: *круглое* или *круглый предмет* претендуют на «высшую» или исходную точку в схеме, где берут начало большинство стрелок (фактически — инвариант, но Лангакер не пользуется этим термином), а *кольцо* — на место прототипического, т. е. самого яркого и центрального значения.

Но сеть или цепочка значений для когнитивной семантики — это только начало теории полисемии; самое главное — возможность если не предсказать, то объяснить разнообразие значений. Так, Р. Тейлор, говоря о разнице когнитивной семантики и компонентного анализа, указывает, что, даже используя в своем описании декомпозицию (разложение на более элементарные семантические компоненты), он хочет видеть в полученной семантической картине цельность и при-

чинность, т. е. отсутствие случайности как в организации каждого значения в отдельности, так и в организации подзначений в некоторое единство; критерием здесь служит не только и не столько простота описания, сколько его антропоцентричность (Taylor 1988).

Следовательно, важнейшей задачей когнитивной семантики оказывается описание *типов* или *способов* перехода от одного значения к другому; делается это на материале разных языков и разных значений — лексических, словообразовательных, грамматических — в предположении, что здесь действуют общие семантические механизмы. В следующем разделе мы рассмотрим примеры такого рода исследований. Кроме того, ряд лингвистов занят восстановлением истории значения, т. е. того, как, в какой последовательности возникали различные новые подзначения; диахроническая картина выступает в этом случае как своего рода аргумент в пользу того или другого варианта синхронного описания. Напомним, что идея изоморфности синхронного и диахронного описания в свое время была очень популярна в морфологии и морфонологии (ср. в особенности работы М. Халле и др. в области «порождающей морфологии»). В тот период, однако, основной пафос исследователей (в соответствии с духом структуралистской парадигмы) был скорее направлен на утверждение автономности диахронии и синхронии, тогда как аналогичные процедуры в когнитивной семантике, напротив, исходят из принципиального неразличения законов исторического развития языка и его синхронного устройства.

2.9. Топологическая семантика

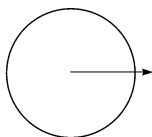
В этом разделе мы хотели бы подробнее остановиться на работах, рассматривающих отношения между отдельными значениями лексемы.

Данное направление исследований можно было бы назвать *топологической семантикой*. Действительно, мы уже говорили о том, что когнитивная семантика рассматривает смысл (например, соответствующий какому-то типу употреблений лексемы) как схему или проекцию действительности. Такие схемы можно — и даже естествен-

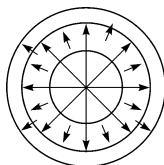
¹⁴ Например, осязание, которое, как на первый взгляд кажется, нарушает это правило (см. Ченки 1997: 347), конечно, на самом деле, тоже сводится, во-первых, к контакту, а во-вторых, к восприятию, т. е. движению некоторого импульса к человеку.

но — изображать (вспомним опыты Лангакера или условные топологические схемы Талми), «рисовать» — причем так, чтобы были видны связи между разными типами употреблений (ближе всего соответствующих подзначениям лексической единицы). Это и есть то, что называется *image schema* — термин, который, с нашей точки зрения, точнее всего было бы переводить на русский язык как *топологическая схема* (см. ниже). На ней изображаются пространственные связи и взаимодействия конкретных объектов; они же являются, как мы помним, донорской зоной для абстрактных ситуаций.

В центре внимания «пространственных» исследований находятся предлоги, приставки и адвербиальные модификаторы глаголов. С описания пространственных отношений начинал и Р. Лангакер; тогда его теория называлась не когнитивной, а «пространственной» грамматикой (*Space Grammar*; ср., например, Langacker 1982; ср. также исследования в близком направлении французского лингвиста Ж. Фоконье, работающего в США, прежде всего Fausconnier 1985).



Harry *ran out* of the room
'Гарри выбежал из комнаты'



The syrup *spread out*
'Сироп растекался'

Понятие же *image schema* было введено в Johnson 1987 как типовая модель (pattern), применимая к описанию сразу многих языковых единиц. Примеры схем: 'контейнер', подробно обсуждавшийся в статье Е. С. Кубряковой (1999), 'путь', 'поверхность', 'препятствие', 'контакт', 'шкала' и др. (более полный список см. в Ченки 1997). Однако не всякий концепт может быть «собран» из таких первичных семантических схем, потому что каждая из них апеллирует к простейшим формам или движениям человеческого тела, которые носителю языка привычны и понятны и которые он может поэтому легко переносить и на окружающую действительность. Происходит, таким образом, ан-

тропоцентрическая «привязка» основных «кирпичиков», фрагментов семантического представления. Она базируется на идее (Дж. Лакова), которая называется *embodiment* (воплощение в человеческом теле) и возвращает лингвистику во времена локалистских теорий: первичным признается не просто связанное с человеком, а лишь связанное с его пространственными ощущениями и моторными реакциями¹⁴. Есть и набор абстрактных понятий, которые могут быть изображены в виде *image schemas*: 'количество', 'время', 'пространство', 'каузация', 'тождество' и т. п.; эти понятия, в свою очередь, могут лежать в основе других, более абстрактных или, наоборот, предметных, но во всех случаях, благодаря тому, что в основе самой первой, исходной их схематизации, лежит переход от конкретного к абстрактному, и более того, от пространства ко всему остальному, пространственно-моторные значения всегда первичны. Именно эта прямая связь с простейшими пространственными «примитивами» побуждает переводить термин *image schema* не как *образная схема* (ср. Кубрякова 1996), а как *топологическая схема*. Этот перевод, во-первых, подчеркивает, что образные схемы лежат в основе всех когнитивных «картинок», а во-вторых, акцентирует локалистскую идею.

Итак, отдельные подзначения и, следовательно, топологические схемы, связаны между собой; иногда связи, или *мосты*, по выражению К. Ванделуаза [Vandeloise 1988; 1991] (ср. понятие «семантического мостика», предложенного авторами модели «Смысл \Leftrightarrow Текст»), между отдельными топологическими схемами представляются исследователю настолько регулярными, что могут быть описаны стандартными семантическими *трансформациями* перехода от одной схемы к другой. Примеры таких трансформаций рассматриваются в работах Дж. Лакова и К. Бругман. Например, в подтверждение регулярности (для английского языка) перехода от схемы *path* (схема *пути*, т. е. перемещения из одной точки в другую) к схеме *end-of-path* (схема, отражающая местонахождение объекта в точке, которая соответствует конечному пункту движения), в Brugman, Lakoff 1988 приводятся следующие пары:

¹⁵ Такого же рода отношения — только гораздо более широкого диапазона — между отдельными схемами толкований глаголов устанавливаются и в работах группы Е. В. Падучевой. Эти авторы говорят о «высечивании» или «затушевывании» того или иного аргумента, о «мене коммуникативных рангов» и т. п. (ср. Кустова 1998, 2004; Падучева 1998; 1998а, 2004), т. е. также об изменении точки зрения говорящего или динамическом аспекте дейктической составляющей толкования.

*Sam walked **over** the hill* (path) ‘Сэм шел через гору’

*Sam lives **over** the hill* (end-of-path) ‘Сэм живет за горой’

*Sam walked **around** the corner* (path) ‘Сэм зашел за угол’

*Sam lives **around** the corner* (end-of-path) ‘Сэм живет за углом’

*Harriet walked **across** the street* (path) ‘Гарриет перешла улицу’

*Harriet lives **across** the street* (end-of-path) ‘Гарриет живет через улицу’

*Mary walked **down** the road* (path) ‘Мэри шла по улице’

*Mary lives **down** the road* (end-of-path) ‘Мэри живет в конце улицы’

Такие пары оказываются чрезвычайно продуктивными, хотя есть и исключения, ср.:

*Sam walked **to** the house* (path) ‘Сэм шел к дому’

Sam lives **to the house* (end-of-path) *‘Сэм живет к дому’

В работах С. Линднер (Lindner 1982; 1983) и др., посвященных английским предлогам — прежде всего, *up* и *out*, — было предложено понятие *рефлексивного движущегося объекта* (*reflexive trajectory*) и введена трансформация рефлексивизации, которая может быть проиллюстрирована следующей парой предложений:

*Harry ran **out** of the room* ‘Гарри выбежал из комнаты’

*The syrup spread **out*** ‘Сироп растекался’

Исходной топологической схемой здесь является первая — она описывает выход объекта из замкнутого пространства; во втором предложении и подобных ему примерах описывается ситуация, когда движущийся объект перестает находиться в заданных ему его собственных границах: сироп растекается, ковер разворачивается, так что то, что было «внутри», оказывается «снаружи». Подобные пары употреблений также часто встречаются среди английских предлогов, ср.:

*He stood **apart** from the crowd* (non-refl.) ‘Он стоял в стороне от толпы’

*The book fell **apart*** (refl.) ‘Книга развалилась’

По мнению Дж. Лакова и К. Бругман, в основе такого рода соответствий лежат особенности человеческого восприятия. Например, когда человек следит за движением, он сначала фокусирует свое внимание на самом перемещении, а потом — на конечном пункте. Это соответствует трансформации «*path focus* \Rightarrow *end-of-path focus*». Объяс-

няется и трансформация рефлексивизации. Дело в том, что, воспринимая движущийся объект (*trajector*) и неподвижный ориентир (*landmark*) как два разных объекта, человек устанавливает между ними отношения, которых требует предлог. Но те же отношения могут быть воспроизведены и в том случае, если движущийся объект и ориентир движения — не разные объекты, а части одного и того же, где речь идет о смене состояний этого объекта, при котором одна его часть может осмысляться как ориентир, а другая — как движущийся объект. Таким образом, описываются семантические трансформации, регулярные для разных лексем в языке (и даже для лексем разных языков) и позволяющие, в частности, прогнозировать развитие многозначности слова. Фактически, речь идет в таком случае о семантических моделях метонимии.

В действительности, как справедливо, на наш взгляд, замечают Клознер и Крофт (Clausner, Croft 1999), во всех случаях трансформаций перехода речь идет не о замене одной схемы на другую, а об изменении профиля (в смысле Р. Лангакера) — т. е. о *перепрофилировании одной и той же схемы*, о переносе коммуникативного акцента, и, в конечном счете, точки зрения говорящего — например, с траектории на конечный пункт и т. д. Содержательно этот способ интерпретации не так уж далек от комментариев самих изобретателей топологических схем: ведь, описывая метонимическую трансформацию 'путь' ⇒ 'конец пути', они тоже обращают внимание, что взгляд говорящего останавливается на наиболее *значимой*, конечной точке (см. Brugman, Lakoff 1988)¹⁵.

Между тем, далеко не всегда отношения между топологическими схемами так регулярны, в том числе и для предлогов. Тем не менее, эти схемы во всех случаях как-то связаны между собой, и их набор не случаен. Вопрос о причинах нерегулярной и непредсказуемой многозначности также обсуждается в теории когнитивной семантики. Б. Хокинс в Hawkins 1988 (где он совершенствует свое собственное¹⁶ «Теория грамматикализации» описывает возможные пути возникновения грамматических значений (и грамматических показателей) из лексических значений (и самостоятельных лексем). Ее основные положения были сформулированы в пионерской работе Х. Лемана (Lehmann 1982), опиравшегося, в свою очередь, на ряд идей Антуана Мейе. Теорию грамматикализации можно рассматривать как одно из ответвлений когнитивной лингвистики, находящееся на стыке когнитивной семантики и когнитивной морфологии; подробнее см., например, Bybee 1985; Heine, Claudi, Hünemeyer 1991, Bybee, Perkins, Pagliuca 1994, Heine, Kuteva 2002, Майсак 2005 и мн. др.

ное представление о семантике предлогов со значением ‘medium’ — ‘нахождения внутри’), опираясь на идеи Э. Рош, предлагает обобщающую модель «мостов» между разными типами употреблений.

Согласно Э. Рош, разные категории — в том числе, если говорить о лингвистике, например, семантика разных лексем — должны максимально четко различаться в представлении носителя языка. Однако Б. Хокинс уточняет Рош: различаются не категории, а ядра категорий, причем настолько, что эти различия можно описывать структурными методами, вплоть до дифференциальных и селективных признаков. Однако у каждого ядра-прототипа есть периферия, и тут никакой «старый» аппарат не работает, потому что чем дальше от ядра, тем сложнее и на первый взгляд запутанней набор признаков, характеризующий языковую единицу. Например, она может характеризоваться признаком, входящим в «ядро» совсем другой категории, а со «своей», наоборот, почти ничего не иметь общего — но это, по мнению Хокинса, не повод, чтобы переводить ее в другую категорию, а доказательство, что структурный аппарат в области периферии не работает. Периферия устроена иначе, она опирается, скорее, на принцип аналогии, который, в данном случае, действует следующим образом: некоторый семантический признак оказывается *спонсором*: он «втягивает» в категорию дополнительные элементы. Например, для предлогов со значением ‘внутри’ существенным признаком оказываются границы объекта, так что «ядром» здесь являются ситуации нахождения внутри замкнутого пространства, однако у контейнеров, имеющих отверстие, носитель языка находит так много общего с замкнутыми пространствами, что пренебрегает отверстием, и контейнеры как бы втягиваются в класс замкнутых пространств. В свою очередь, такие производные, или, как их называет Хокинс, *зависимые* употребления, могут образовывать своеобразные периферийные центры, так что их семантические признаки могут затем служить спонсорами для следующих зависимых элементов. Например, почти все части тела — контейнеры, и поэтому их названия сочетаются с «медиальными» предлогами; лексема *подбородок*, которая не является обозначением контейнера, ведет себя, тем не менее, аналогично другим частям тела, «втягиваясь» в категорию ‘medium’ (ср. *удар в подбородок*).

¹⁷ Критический разбор этой точки зрения с подробным анализом русского материала см. в книге Анны А. Зализняк (2002: 60 и след.).

Своеобразной иллюстрацией идеи Хокинса может служить история глагола ‘хотеть’, рассмотренная известным африканистом и типологом Б. Хайне (Heine 1994) в рамках «теории грамматикализации»¹⁶.

В языках часто сосуществуют два типа употреблений глагола со значением ‘хотеть’: (1) ‘Человек хочет есть’ и (2) ‘Дождь хочет пойти’. Обычно второе объясняют метафорическим сдвигом по отношению к первому: дождь как бы одушевляется. Между тем, историко-типологический анализ языков такого решения не подтверждает. Оказывается, что для ‘хотеть’ характерен еще один тип употребления: (1a) ‘Старик хочет упасть’, при этом исторически такой тип является «промежуточным» по сравнению с (1) и (2): в языке (1) всегда появляется раньше (2), и чаще всего происходит так, что (1) исчезает, а (1a) остается наряду с (2).

Легко проследить эволюцию семантики ‘хотеть’ «по Хокинсу»: в первом типе употреблений ‘хотеть’ описывает одушевленного и контролирующего ситуацию субъекта; затем сильный (центральный) признак одушевленности (признак-спонсор) втягивает в зону употреблений ‘хотеть’ одушевленного, но не контролирующего ситуацию партиципанта (1a). Центром по-прежнему является одушевленность, но признак ‘— контроль’, бывший в употреблениях типа (1) периферийным, в употреблениях типа (1a) приобретает активность и впоследствии втягивает неконтролируемые неодушевленные употребления типа (2). Что происходит потом? Оказывается, что в языке случаев, когда ситуация ‘хотеть’ не контролируется субъектом, в результате становится больше, чем тех случаев, когда ‘хотеть’ выступает как контролируемый предикат, и — центр категории смещается в сторону (2). Употребления типа (1) становятся периферийными; как показывает Хайне, со временем глагол ‘хотеть’ часто вообще перестает употребляться в этих контекстах и заменяется на глаголы другой первоначальной семантики, например, типа ‘искать’ (которые, в свою очередь, тоже должны для этого пройти определенную семантическую эволюцию и за счет некоторого активного признака втянуть в зону своего употребления ‘хотеть’).

Мы уже отмечали, что поиски непосредственных и опосредованных «мостов» — вплоть до исследования метафорических переносов — ведутся не только для значений лексем, но и для значений морфем, причем как словообразовательных (прежде всего, пространственных приставок и суффиксов), так и словоизменительных (падежных аффиксов, видовых показателей). Так, анализируя каузатив-

но-аппликативную конструкцию в ацтекском языке, Д. Тагги апеллирует к топологическим схемам Р. Лангакера, представляющим глагол *run*, — эти схемы служат образцом семантического описания в его работе Tuggy 1988. Он объясняет, что задача описания семантики морфемы, в сущности, ничем не отличается от описания семантики лексемы. (Аналогичное утверждение было сделано значительно раньше А. Вежбицкой (1980b) и Ю.Д. Апресяном, ср. Апресян 1980: 10, а также Апресян 1985.) Результатом исследования Тагги, как и следовало ожидать, оказываются схемы, связывающие между собой достаточно сильно, на первый взгляд, удаленные значения каузатива и аппликатива (в ацтекском языке они выражаются одним и тем же показателем).

Почти всегда подобные работы читать интересно, единственная проблема, которая непременно начинает занимать читателя — это возможность ограничений в установлении подобных связей или мостов. Такой вопрос задается — см., в частности, Lakoff 1990, где он, правда, обсуждается применительно к метафорам; ответ на него предлагается формулировать не в виде запретов, а в виде предпочтений: ограничить воображение носителя языка, в том числе в том, что касается структурирования внеязыковой ситуации, трудно, но можно попытаться предсказать общую стратегию его поведения. Так, Дж. Лаков выдвигает *гипотезу устойчивости* метафоры (invariance hypothesis): если концепт некоторой языковой единицы сравнивается с другим и этот другой становится в языке конвенциализованным источником метафоры для данной языковой единицы, то этот источник диктует языковой единице не отдельные употребления, а целиком свою, так сказать, когнитивную топологию¹⁷. Таким образом, если (по Дж. Лакову) в языке любовь — это путешествие («love is journey»), то следует ожидать, что в этом языке все или по крайней мере очень многие параметры путешествия окажутся перенесенными в область концепта любви (влюбленные уподобятся путникам, на их «пути» появятся «препятствия», и т. д., и т. п.). Другой пример действия принципа устойчивости — уже из области поэтической метафоры. Дж. Лаков и

¹⁸ Ср. следующие работы, посвященные описанию конкретных конструкций (обычно английского языка) и правил их употребления: Fillmore, Kay, O'Connor 1988; Kay 1990; Fillmore, Kay 1992; Brugman 1983; Goldberg 1995 и 2006, Croft 2001, Fried, Östman (eds.) 2004, Fried, Boas (eds.) 2005, Östman, Fried (eds.) 2005.

М. Тернер исследовали метафоры смерти в английской поэзии (Lakoff, Turner 1989); оказалось, что очень многие образы регулярно повторяются — так, при персонификации смерть регулярно представляется, например, как возница, кучер, шофер и под. или как жнец; есть и другие регулярные метафоры, они также разбираются, но вопрос состоит в том, почему именно эти, а не другие аналогии (не учитель, режиссер, продавец мороженого) оказываются столь частотными. Ответ предлагается искать в области действия гипотезы устойчивости. Общая метафора DEATH IS DEPARTURE (смерть — это уход), «работающая» во многих сочетаниях, в том числе и в русском языке, может служить отправной точкой в подобного рода рассуждениях. Уход — это событие, и если мы воспринимаем его как результат воздействия со стороны некоторого активного субъекта, того, кто помогает его осуществить, то это наводит на мысль о кучерах и возницах. Но исходным пунктом может быть и другая устойчивая метафора: PEOPLE ARE PLANTS (люди — это растения). Растения, как и люди, растут, зреют и умирают, и если мы хотим увидеть это последнее событие как результат деятельности некоторого активного субъекта, то таким субъектом может быть, например, жнец.

В поисках ограничений или предпочтений при установлении связей различных употреблений языковых единиц можно идти от некоторого общего принципа, и искать подтверждений ему в языковом материале — это как раз стратегия Лакова, выдвигающего гипотезу устойчивости; но можно и исследовать конкретные языки, чтобы затем искать общие закономерности — фактически семантические универсалии, и, как мы уже говорили, конкретно-языковых работ, в том числе и сопоставительных, выполненных на материале сразу нескольких языков, в рамках когнитивной семантики тоже достаточно много, так что и здесь можно ожидать интересных обобщений.

2.10. Грамматика конструкций (construction grammar)

Ч. Филлмора

Чарлз Филлмор — пожалуй, один из самых ярких современных лингвистов. У него относительно немного работ, зато индекс цитирования его статей чрезвычайно высок, и это потому, что Филлмору удалось первому высказать несколько новых идей, ключевых для современной лингвистики, — причем сделать это так, что лингвисты

самых разных направлений смогли их воспринять и затем использовать в своих исследованиях. Прежде всего, это падежная грамматика (знаменитые «глубинные падежи»: агенс, пациенс, место и т. д., см. Fillmore 1968); следующую по значимости идею выбрать труднее, но, наверное, это введение роли наблюдателя ситуации, — в связи с описанием значения глаголов *come* и *go* (Fillmore 1983).

В последних же по времени работах Ч. Филлмор предложил идею *конструкций*, т. е. таких языковых выражений, у которых есть аспект плана выражения или плана содержания, не выводимый из значения или формы их составных частей (примерами конструкций могут служить такие языковые выражения, как обороты *let alone*: *He would not give me ten cents, let alone ten dollars* 'Он не дал бы мне и десяти центов, не говоря уже о десяти долларах', условные конструкции, сравнительные конструкции типа *He is as Was Y: Joe is as tall as Bill* 'Джо такого же роста, как Билл', и под.¹⁸). Оказалось, что и эта идея, хотя и предложена была независимо, вне рамок какой бы то ни было теории, прекрасно «встраивается» в круг современных воззрений западной семантики. Во-первых, она явным образом отталкивается от принятых традиций, и прежде всего, от синтаксиса Хомского, который в свое время (Chomsky 1981: 92) «отменил» конструкции, признав их *epiphenomenal* — выводящимися из общих правил; в действительности же для конструкций в грамматиках Хомского просто нет места, и по многим причинам. Например, конструкции отрицают известный принцип *композиционности* (аддитивности) языка, восходящий к Фреге и объявляющий, что значение всякого языкового выражения сводится к сумме значений составляющих его лексических единиц и синтаксических правил, их соединяющих. В самом деле, ведь конструкции тем и замечательны, что не сводятся к составляющим и отношениям между ними, — в них, кроме того, есть еще *значение самой конструкции*, которое, в частности, накладывает те или иные ограничения на участников конструкции. Именно в силу этих ограничений в конструкции *Here is John* в качестве предикатов возможны только *be* 'быть', *come* 'приходить', *sit* 'сидеть', *stand* 'стоять', *lie* 'лежать' и иногда *hang* 'висеть' [Lakoff 1983]. (Ср. русск.: *Вот идет Иван*, при сомнительном ²*Вот читает [работает, пьет] Иван*.)

Во-вторых, грамматика конструкций отрицает какое бы то ни было противопоставление информации лингвистически значимой и факультативной, выводимой по стандартным правилам, «неинтересной»: конструкции могут вбирать в себя любой материал, в том чис-

ле и периферийные обстоятельства, наречия, определения и т. д., и везде правила оказываются достаточно нетривиальны.

В связи с этим обратим внимание на любопытное «метазамечание» А. Голдберг по поводу грамматики конструкций (Goldberg 1995: 11 и след.).

Распространенная логика лингвистических рассуждений говорит о том, что синтаксические правила строятся на основе лексических ограничений (*syntax is a projection of lexical requirements*). Этот принцип, в частности, эксплицитно выражен в Теории управления и связывания Хомского как принцип Проекции (Projection Principle) и в Грамматике лексических функций Бреснан. (Заметим, что в модели «Смысл \Leftrightarrow Текст» или, например, функциональной грамматике, этот принцип также принят за основу.) Если (поверхностный) синтаксис отражает лексические ограничения, то прежде всего он должен отразить семантические роли глагола. Тем самым, глагол оказывается в центре синтаксической структуры, по аналогии с формальной логикой, описывающей отношения между предикатом и его аргументами: глагол — это такой n -местный предикат, «ожидающий» аргументов «правильного» типа. Однако в лингвистике при этом ходе рассуждений происходит, по мнению, А. Голдберг, движение по порочному кругу: то, что глагол семантически является n -аргументным предикатом, устанавливается исходя из того, что у него n дополнений; в то же время говорится, что у него n дополнений, так как у него n -аргументная семантическая структура.

Если согласиться с А. Голдберг, нужно признать, что грамматика конструкций, пожалуй, *единственная* теория, которая пытается из этого порочного круга выйти, потому что она исходной делает конструкцию, а не глагол; при этом глаголы с некоторым базовым значением могут легко встраиваться в эту конструкцию. Более того, проблема актантов и сирконстантов при такой постановке вопроса, вообще говоря, снимается: определенный набор аргументов (независимо от их статуса) может образовывать конструкцию, «годную» для того или другого класса глаголов и способную втягивать глаголы других классов. Обратим внимание еще раз на то, что сам взгляд на соотношение словаря и грамматики здесь, как и в западной лингвистике в целом, иной, чем тот, к которому мы привыкли. Нет словаря, «штучных» лексем с их максимально нагруженным семантико-синтаксическим «обозом», а есть грамматика классов слов и типов их поведения.

Теперь покажем, как конкретно эта процедура представляется А. Голдберг.

Работа А. Голдберг (Goldberg 1995) интересна как попытка совместить основные теоретические ветви когнитивной семантики, а именно, когнитивную грамматику Р. Лангакера, грамматику конструкций Ч.Филлмора и то особое внимание к роли метафоры в языке, которое привили западной лингвистике Дж. Лаков и М. Джонсон.

Язык как бы строится из конструкций, способ схематичного представления таких конструкций может быть проиллюстрирован на примере конструкции 'превращения' — *X caused Y to become Z* (ср.: *He made it better / a stone*):

sem	CAUSE-BECOME	<agt result-goal pat>
	PRED	< >
syn	V	sbj obj pp/adj obj

Русскому читателю эта схема может напомнить схему модели управления глагола: в верхней строке — семантические актанты, а в нижней — способы их синтаксического оформления в предложении. Если же искать отличия такого рода схем от модели управления, то модель управления, если так можно сказать, семантически подробнее и глубже, тогда как аргументные схемы ориентированы скорее на *типы* предикатов, чем на описание конкретного вершинного глагола — с этой особенностью когнитивной семантики мы уже сталкивались неоднократно.

Разные конструкции могут быть связаны друг с другом — обычно одна наследует семантику и форму другой. Подобное наследование усматривается в тех случаях, когда исследователь видит системные отношения между этими конструкциями. Например, есть *cause-motion* конструкция (*He moved it back*) и упомянутая выше результиративная конструкция — благодаря устойчивой метафоре «Change of State as Change of Location» (перемена состояния как перемена

¹⁹ Механизм «необразования» нового значения здесь тот же, что действует, например, в предметных именах, когда одно и то же имя интерпретируется, например, то как емкость, то как устройство (*колодець*) и в связи с этим получает и те, и другие синтаксические свойства, однако размежевать такое имя на два подзначения не представляется возможным, так как оба разных семантических компонента обязательно присутствуют в толковании одновременно, см. подробнее, например, Гл. I § 6 или Гл. II § 5, раздел 6.

местоположения), между этими конструкциями устанавливается отношение мотивированности: результитивная конструкция (отражающая перемену состояния) мотивирована конструкцией каузации движения (которая описывает перемену местоположения). Здесь, как обычно, более конкретная семантическая область (движение) оказывается донорской (см. 2.7) по отношению к более абстрактной — результату; таким образом теория метафоры дополняет грамматику конструкций.

Системные отношения в семантике обеспечивают и формальную близость конструкций. Другой пример: так называемая *way-construction* (конструкция пути, ср.: *Frank dug his way out of the prison* ‘Фрэнк выбрался из тюрьмы’, букв. ‘Франк прорыл себе путь из тюрьмы’) «складывается» из двух: креативной конструкции, ср. *He made a path* ‘Он сделал проход’ и нетранзитивной конструкции перемещения типа *He moved into the room* ‘Он прошел в комнату’; при этом накладывается и семантика, и модели управления обеих исходных конструкций.

Внутри конструкции может развиваться полисемия, но, опять-таки, не случайно. Так, *way-construction* расщепляется на две: основную конструкцию, описывающую средства (*means*) передвижения, и производную, со значением образа действия (*manner*), и это происходит потому, что способ выражения средства (или инструмента) вообще в языке часто склеивается со способом выражения образа действия, ср. англ. *with a knife* ‘<с> ножом’ (инструмент) и *with care* ‘аккуратно’, букв. ‘с тщанием’ (образ действия).

Теперь рассмотрим отношения между конструкцией и глаголом. Во всех семантических школах принято считать, что семантика глагола раз и навсегда задает его синтаксические возможности, и прежде всего, структуру его модели управления. Поэтому для того, чтобы объяснить, каким образом семантически одноместный и синтаксически непереходный английский глагол *to sneeze* ‘чихнуть’ употребляется в составе транзитивной конструкции *He sneezed the napkin off the table*, букв. ‘Он счихнул салфетку со стола’, необходимо ввести дополнительное значение глагола *to sneeze*, которое бы объясняло данную возможность. Но это — если исходить из, так сказать, «глаголоцентричной» модели предложения. А вот если считать, как предла-

²⁰ Эти и подобные свойства глаголов звучания (в связи с семантикой приставки *про-* в русском языке) обсуждаются, с использованием несколько иного метаязыка, в Кронгауз 1995; ср. также Кронгауз 1998: 159–170.

гает А. Голдберг, что семантическим центром является не глагол, а конструкция, то глагол просто встраивается в разные конструкции (при условии, что он соответствует ограничениям на глагольное место, которые они предусматривают); а то, какие ему в этих конструкциях уготованы аргументные места, — это участь, с которой ему приходится так или иначе мириться.

Таким образом, глагол *sneeze* может встраиваться в непереходную конструкцию, которая является для него основной, и, кроме того, в конструкцию каузации движения: ср. *сдуть / смахнуть / сдвинуть / убрать что-л. откуда-л.* — благодаря тому, что в семантику глагола ‘чихнуть’ так или иначе входит идея каузации движения (чихая, человек перемещает струю воздуха от себя)¹⁹.

Рассмотрим теперь такой пример:

Дилижанс ехал через деревню.

Согласно А. Голдберг, это предложение представляет нетранзитивную конструкцию перемещения. Глагол описывает неопредельный процесс перемещения в пространстве, в данном случае, одновременно уточняя способ перемещения (транспортное средство). Мы могли бы иначе описать способ движения, например: *дилижанс плыл / скользил / резво семенил* и т. п., но при этом должно безусловно соблюдаться правило, по которому семантические «добавки» не меняют типа (или, по Р. Лангакеру, профиля) ситуации, т. е. это должен быть неопредельный процесс. Более того, мы можем использовать механизм переносного употребления и подставить на место глагола перемещения глагол другой семантической группы (ср.: *Дилижанс лилил / чесал / молотил через деревню*), лишь бы этот глагол сохранял идею неопредельного процесса (ср. невозможность **взмахнул через деревню*, **запряг через деревню* и др. под. примеры, где эта идея нарушена). Конечно, в нормальной ситуации ни один из них не имеет такого управления (ср. *чесать за ухом* / **через ухо*), но в рамках данной конструкции они его получают по аналогии и интерпретируются тоже по аналогии с тем основным семантическим типом глаголов, который в этой конструкции употребляется.

В этом же ряду следует рассматривать и многочисленные примеры употребления в данной конструкции глаголов звучания, ср. *Ди-*

²¹ Об использовании сходных идей при описании словообразовательных процессов транспозиции (как слияния значений источника и производного слова) см., например, Кубрякова 1997: 58 и сл.

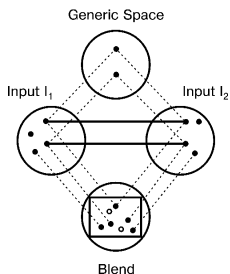
лижанс ухал / хлюнал / скрипел / улюлюкал через деревню, так как в массе своей это глаголы неопределённого процесса, и они тоже интерпретируются в этой конструкции как особого рода передвижение. Обратим внимание, что если только глагол звучания имеет другую общую характеристику (другой профиль), он оказывается недопустим в этой конструкции, ср. невозможность:

**Мальчик говорил через деревню*

**Поезд свистел через деревню*

**Веселая компания пела через деревню*

Денотативно, всё это ситуации, которые могут осуществляться одновременно с движением и, тем самым, характеризовать его, так сказать, звуковую сторону. Однако здесь дело не сводится к неопределённому процессу — уже хотя бы потому, что предполагается адресат. Для *говорить* и *петь* это очевидно; *свистеть* в данном случае тоже описывает передачу сигнала (ср. вполне возможное *пули свистели через деревню*). Также обстоит дело и с глаголами *мычать*, *лаять* и *жужжать* (о насекомых) — они тоже осмысляются как глаголы передачи



информации (говорения на соответствующем языке): **Корова мычала / собака лаяла / пчела жужжала через деревню*²⁰.

Таким образом, в рамках грамматики конструкций удастся не только избежать размножения значений глагольной лексики, но и объяснить, почему в одних случаях переносные употребления возникают, а в других — нет.

2.11. Blending

Это традиционный английский термин для описания словообразовательных и синтаксических гибридов — каламбурных, типа *brunch* (*breakfast + lunch*), или возникших в результате простой оговорки, типа *at the same hand* (*on the other hand + at the same time*), ср. Dirven, Verspoor 1998: 68; Cienki, Swan 1999. Обычно такие, в общем, периферийные для языка явления в русской традиции называются *контаминацией*²¹. Именно такой перевод предлагается для термина *blending*, например, в Баранов и др. 1996: 69. В словаре Медникова, Апресян 1993: 242, где также упоминаются терминологические переводы *blending* (имеются в виду морфологические «слова-гибриды»), говорится о *контрактации двух основ*. По замечанию, сделанному в свое время Т. В. Булыгиной, при выборе перевода здесь существенно, насколько важно отразить в данном случае идею не просто совмещения, но *неправильного* совмещения двух разных моделей в одной. «Контаминация» такой смысл безусловно имеет, а «контрактация» или, например, «совмещение моделей» — нет. Между тем само по себе, в обычных значениях, *blending* тоже ни на что отрицательное или хотя бы неправомерное в обозначаемом им *смешении* (а вернее даже — *слиянии*: этот глагол применим прежде всего к жидкостям) не указывает. Это обстоятельство, видимо, и позволило в последнее время значительно расширить область применения данного понятия в когнитивной лингвистике.

Расширение было предложено Ж. Фоконье и М. Тернером (Fauconnier, Turner 1996, 1998), причем в первую очередь как альтернатива Теории концептуальной метафоры Лакова и Джонсона (Lakoff, Johnson 1980). Лаков и Джонсон предлагали считать, что один домен (например, ‘понимание’) структурируется другим (например, ‘видение’), ср.: *The committee has kept me in the dark* ‘Комитет держал меня в неведении’, букв. ‘в темноте’; эти домены назывались, соответственно, *Source* (Источник) и *Target* (Цель) (Grady, Oakley, Coulson 1997: 102). Фоконье и Тернер представили метафору иначе — как *совмещение* или *слияние* (*blending* — но, видимо, не *контаминацию*!) двух так называемых *ментальных пространств* (*mental spaces* — термин из Fauconnier 1985). Ментальное пространство — это уже не абстрактный домен, а сценарий конкретной ситуации. Например, одно из ментальных пространств в данном случае представляет человека, стоящего в темноте.

В этой связи вспоминается описание И. М. Богуславским (1988) сочинительного сокращения в примерах типа:

А дождь все усиливался, и уже не капли, а стремительные струи со свистом впились в землю (Б. Окуджава).

Разбирая структуру этого предложения, И. М. Богуславский обратил внимание на то, что, хотя «*капли* и *струи* одинаково относятся к глаголу синтаксически», «свойство ‘со свистом вливаться в землю’ относится, очевидно, только к *струям*» (Богуславский 1988: 13). Он выдвинул гипотезу наложения двух структур (ср. здесь INPUT SPACE 1, INPUT SPACE 2), которое становится возможным благодаря тому, что в основе обоих сочиняемых предложений лежит одно значение типа ‘падать на землю’ (ср. здесь GENERIC SPACE). Особенно интересна следующая цитата: «Источником деканонизации послужил <в данном случае> фактор линейного развертывания предложения, открывающий для говорящего возможность в некоторых пределах “на ходу” изменять значение и структуру предложения» (там же, с. 14).

Как можно видеть, в подобных построениях предлагается взаимодействие не словаря и грамматики, а словаря и самой процедуры порождения текста говорящим, или *дискурса*. К сожалению, в настоящих заметках мы не имеем возможности остановиться подробно на проблемах дискурса, но важно, что среди работ по когнитивной семантике исследования по дискурсу занимают довольно большое место и продолжают расширяться (ср. сборник Van Hoek, Kibrik, Noordman 1997, вышедший в серии Current Issues in Linguistic Theory; ср. также обзорные статьи Кибрик 1994 и 2009) и что в целом интерес когнитивистов смещается от общих принципов устройства абстрактного языка к тому, как конкретный носитель думает, строит речевую стратегию, управляет известной ему информацией, когда говорит или пишет.

3. Вместо заключения

Настоящий обзор ни в коей мере не претендует на полноту представления работ и авторов даже в такой сравнительно небольшой области, как когнитивная семантика. Нашей задачей было, скорее, проследить некоторые тенденции развития современных исследовательских подходов — показать, что при всем их разнообразии, есть,

тем не менее, нечто общее: в них всякий раз разрушаются и размываются границы, установленные и принятые до сих пор, т. е. в период структурализма и постструктурализма: границы между семантикой и психологией, между диахроническим и синхронным описанием, языковыми и речевыми употреблениями (они оказываются проявлениями языковой способности), между словарной и энциклопедической информацией, существенными и факультативными семантическими признаками, между отдельными подзначениями лексем и даже разными лексическими концептами. Одновременно оказались оспорены наиболее общие принципы лингвистического описания, — такие, как принцип *экономии* (согласно которому грамматика должна «покрывать» как можно более обширный материал минимальным числом аксиом, правил, трансформаций и проч., тем самым, чем проще — и, вообще говоря, короче грамматика — тем она лучше); принцип *общности* (правила грамматики должны обеспечивать построение всех правильных предложений языка, уподобляясь, в каком-то смысле, алгоритмическому устройству, так сказать, большой компьютерной программе); принцип *редукционизма* (все, что может порождаться правилами грамматики, должно быть из самой грамматики исключено — иначе произойдет дублирование, которое, в свою очередь, противоречит принципу экономии описания). Провозглашается, что язык не экономен, он не только допускает дублирование, но и требует его, в языке нет семантически пустых категорий и «работает» он не по алгоритмическим законам.

Таким образом, можно считать, что лингвистика (по крайней мере в одном из своих направлений) в каком-то смысле восстановила преемственность с историко-философскими традициями конца XIX — начала XX века (подробнее об этом см. Geeraerts 1988a; 1992; Алпатов 2007).